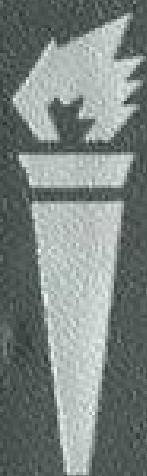


РЫЛЕЕВ



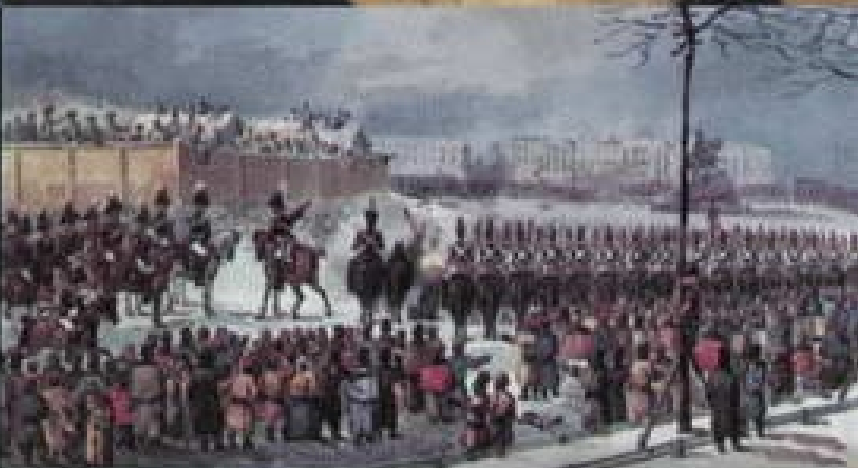
ЖЗЛ

А. Тютюба, О. Киянская

РЫЛЕЕВ



Анастасия
Тютюба,
Оксана
Киянская



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation



Кондратий Рылеев (1795—1826) прожил короткую, но очень яркую жизнь. Азартный карточный игрок, он несколько раз дрался на дуэлях, за четыре года военной службы ни разу не получил повышения и вышел в отставку в чине подпоручика, но вскоре прославился как поэт и соиздатель альманаха «Полярная звезда», ставшего заметным явлением даже на фоне тогдашнего расцвета литературной жизни и положившего начало российской коммерческой журналистике. Он писал доносы на коллег-конкурентов, дружил с нечистоплотным журналистом Фаддеем Булгариным, успешно управлял делами Российско-американской компании и намеревался изменить государственный строй.

Биография Рылеева во многом пересматривает традиционные взгляды на историю тайных обществ и показывает истинные мотивы действий героя, его друзей и оппонентов: какую роль играл он в борьбе могущественных придворных фигур; благодаря чему издаваемый им альманах превратился в выгодное предприятие; каким образом штатский литератор стал лидером военного заговора; наконец, почему он, не принимавший активного участия в восстании на Сенатской площади, был казнен.

-
- [Анастасия Готовцева,](#)
 - [Пролог](#)
 - [Глава первая.](#)
 - [«Дворовые дети боярские»](#)
 - [«Жесткосердный человек»](#)

- [«Женщина добродетельная» и «благодетель»](#)
 - [«Всех прелестей собор»](#)
 - [«Ангел Наташенька»](#)
 - [«Девушка не молодая, но ветреная»](#)
- [Глава вторая.](#)
 - [«Время террора»](#)
 - [«Он заменил мне умершего родителя»](#)
 - [«Гений ведет меня к славной цели»](#)
- [Глава третья.](#)
 - [«Твоим вниманием не дорожу, подлец»](#)
 - [«Тверда, как медь, Россиян грудь»](#)
 - [«Корона тебе назначена творцом»](#)
 - [«Пребудем тверды»](#)
 - [«Временные заседатели Парнаса»](#)
- [Глава четвертая.](#)
 - [«Хотели зарезать Россию»](#)
 - [«Разговаривали и разъехались»](#)
 - [«Он приковал к себе сердца»](#)
 - [«Под Высочайшим Его императорского величества покровительством...»](#)
- [Глава пятая.](#)
 - [«Главная причина всех беспорядков и убийств»](#)
 - [«Человек, заслуживающий доверия»](#)
 - [«Странная смесь зверства и легкомыслия»](#)
 - [«Гибель казалась благополучием»](#)
- [Эпилог.](#)
- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА К. Ф. РЫЛЕЕВА](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)

- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)

- [comments](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)

- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)

- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)

- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)

- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)

- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)
- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)

- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)
- [241](#)
- [242](#)
- [243](#)
- [244](#)
- [245](#)
- [246](#)
- [247](#)
- [248](#)
- [249](#)
- [250](#)
- [251](#)
- [252](#)
- [253](#)
- [254](#)
- [255](#)
- [256](#)
- [257](#)
- [258](#)
- [259](#)
- [260](#)
- [261](#)
- [262](#)

- [263](#)
- [264](#)
- [265](#)
- [266](#)
- [267](#)
- [268](#)
- [269](#)
- [270](#)
- [271](#)
- [272](#)
- [273](#)
- [274](#)
- [275](#)
- [276](#)
- [277](#)
- [278](#)
- [279](#)
- [280](#)
- [281](#)
- [282](#)
- [283](#)
- [284](#)
- [285](#)
- [286](#)
- [287](#)
- [288](#)
- [289](#)
- [290](#)
- [291](#)
- [292](#)
- [293](#)
- [294](#)
- [295](#)
- [296](#)
- [297](#)
- [298](#)
- [299](#)
- [300](#)
- [301](#)

- [302](#)
- [303](#)
- [304](#)
- [305](#)
- [306](#)
- [307](#)
- [308](#)
- [309](#)
- [310](#)
- [311](#)
- [312](#)
- [313](#)
- [314](#)
- [315](#)
- [316](#)
- [317](#)
- [318](#)
- [319](#)
- [320](#)
- [321](#)
- [322](#)
- [323](#)
- [324](#)
- [325](#)
- [326](#)
- [327](#)
- [328](#)
- [329](#)
- [330](#)
- [331](#)
- [332](#)
- [333](#)
- [334](#)
- [335](#)
- [336](#)
- [337](#)
- [338](#)
- [339](#)
- [340](#)

- [341](#)
- [342](#)
- [343](#)
- [344](#)
- [345](#)
- [346](#)
- [347](#)
- [348](#)
- [349](#)
- [350](#)
- [351](#)
- [352](#)
- [353](#)
- [354](#)
- [355](#)
- [356](#)
- [357](#)
- [358](#)
- [359](#)
- [360](#)
- [361](#)
- [362](#)
- [363](#)
- [364](#)
- [365](#)
- [366](#)
- [367](#)
- [368](#)
- [369](#)
- [370](#)
- [371](#)
- [372](#)
- [373](#)
- [374](#)
- [375](#)
- [376](#)
- [377](#)
- [378](#)
- [379](#)

- [380](#)
- [381](#)
- [382](#)
- [383](#)
- [384](#)
- [385](#)
- [386](#)
- [387](#)
- [388](#)
- [389](#)
- [390](#)
- [391](#)
- [392](#)
- [393](#)
- [394](#)
- [395](#)
- [396](#)
- [397](#)
- [398](#)
- [399](#)
- [400](#)
- [401](#)
- [402](#)
- [403](#)
- [404](#)
- [405](#)
- [406](#)
- [407](#)
- [408](#)
- [409](#)
- [410](#)
- [411](#)
- [412](#)
- [413](#)
- [414](#)
- [415](#)
- [416](#)
- [417](#)
- [418](#)

- [419](#)
- [420](#)
- [421](#)
- [422](#)
- [423](#)
- [424](#)
- [425](#)
- [426](#)
- [427](#)
- [428](#)
- [429](#)
- [430](#)
- [431](#)
- [432](#)
- [433](#)
- [434](#)
- [435](#)
- [436](#)
- [437](#)
- [438](#)
- [439](#)
- [440](#)
- [441](#)
- [442](#)
- [443](#)
- [444](#)
- [445](#)
- [446](#)
- [447](#)
- [448](#)
- [449](#)
- [450](#)
- [451](#)
- [452](#)
- [453](#)
- [454](#)
- [455](#)
- [456](#)
- [457](#)

- [458](#)
- [459](#)
- [460](#)
- [461](#)
- [462](#)
- [463](#)
- [464](#)
- [465](#)
- [466](#)
- [467](#)
- [468](#)
- [469](#)
- [470](#)
- [471](#)
- [472](#)
- [473](#)
- [474](#)
- [475](#)
- [476](#)
- [477](#)
- [478](#)
- [479](#)
- [480](#)
- [481](#)
- [482](#)
- [483](#)
- [484](#)
- [485](#)
- [486](#)
- [487](#)
- [488](#)
- [489](#)
- [490](#)
- [491](#)
- [492](#)
- [493](#)
- [494](#)
- [495](#)
- [496](#)

- [497](#)
- [498](#)
- [499](#)
- [500](#)
- [501](#)
- [502](#)
- [503](#)
- [504](#)
- [505](#)
- [506](#)
- [507](#)
- [508](#)
- [509](#)
- [510](#)
- [511](#)
- [512](#)
- [513](#)
- [514](#)
- [515](#)
- [516](#)
- [517](#)
- [518](#)
- [519](#)
- [520](#)
- [521](#)
- [522](#)
- [523](#)
- [524](#)
- [525](#)
- [526](#)
- [527](#)
- [528](#)
- [529](#)
- [530](#)
- [531](#)
- [532](#)
- [533](#)
- [534](#)
- [535](#)

- [536](#)
- [537](#)
- [538](#)
- [539](#)
- [540](#)
- [541](#)
- [542](#)
- [543](#)
- [544](#)
- [545](#)
- [546](#)
- [547](#)
- [548](#)
- [549](#)
- [550](#)
- [551](#)
- [552](#)
- [553](#)
- [554](#)
- [555](#)
- [556](#)
- [557](#)
- [558](#)
- [559](#)
- [560](#)
- [561](#)
- [562](#)
- [563](#)
- [564](#)
- [565](#)
- [566](#)
- [567](#)
- [568](#)
- [569](#)
- [570](#)
- [571](#)
- [572](#)
- [573](#)
- [574](#)

- [575](#)
- [576](#)
- [577](#)
- [578](#)
- [579](#)
- [580](#)
- [581](#)
- [582](#)
- [583](#)
- [584](#)
- [585](#)
- [586](#)
- [587](#)
- [588](#)
- [589](#)
- [590](#)
- [591](#)
- [592](#)
- [593](#)
- [594](#)
- [595](#)
- [596](#)
- [597](#)
- [598](#)
- [599](#)
- [600](#)
- [601](#)
- [602](#)
- [603](#)
- [604](#)
- [605](#)
- [606](#)
- [607](#)
- [608](#)
- [609](#)
- [610](#)
- [611](#)
- [612](#)
- [613](#)

- [614](#)
- [615](#)
- [616](#)
- [617](#)
- [618](#)
- [619](#)
- [620](#)
- [621](#)
- [622](#)
- [623](#)
- [624](#)
- [625](#)
- [626](#)
- [627](#)
- [628](#)
- [629](#)
- [630](#)
- [631](#)
- [632](#)
- [633](#)
- [634](#)
- [635](#)
- [636](#)
- [637](#)
- [638](#)
- [639](#)
- [640](#)
- [641](#)
- [642](#)
- [643](#)
- [644](#)
- [645](#)
- [646](#)
- [647](#)
- [648](#)
- [649](#)
- [650](#)
- [651](#)
- [652](#)

- [653](#)
- [654](#)
- [655](#)
- [656](#)
- [657](#)
- [658](#)
- [659](#)
- [660](#)
- [661](#)
- [662](#)
- [663](#)
- [664](#)
- [665](#)
- [666](#)
- [667](#)
- [668](#)
- [669](#)
- [670](#)
- [671](#)
- [672](#)
- [673](#)
- [674](#)
- [675](#)
- [676](#)
- [677](#)
- [678](#)
- [679](#)
- [680](#)
- [681](#)
- [682](#)
- [683](#)
- [684](#)
- [685](#)
- [686](#)
- [687](#)
- [688](#)
- [689](#)
- [690](#)
- [691](#)

- [692](#)
- [693](#)
- [694](#)
- [695](#)
- [696](#)
- [697](#)
- [698](#)
- [699](#)
- [700](#)
- [701](#)
- [702](#)
- [703](#)
- [704](#)
- [705](#)
- [706](#)
- [707](#)
- [708](#)
- [709](#)
- [710](#)
- [711](#)
- [712](#)
- [713](#)
- [714](#)
- [715](#)
- [716](#)
- [717](#)
- [718](#)
- [719](#)
- [720](#)
- [721](#)
- [722](#)
- [723](#)
- [724](#)
- [725](#)
- [726](#)
- [727](#)
- [728](#)
- [729](#)
- [730](#)

- [731](#)
- [732](#)
- [733](#)
- [734](#)
- [735](#)
- [736](#)
- [737](#)
- [738](#)
- [739](#)
- [740](#)
- [741](#)
- [742](#)
- [743](#)
- [744](#)
- [745](#)
- [746](#)
- [747](#)
- [748](#)
- [749](#)
- [750](#)
- [751](#)
- [752](#)
- [753](#)
- [754](#)
- [755](#)
- [756](#)
- [757](#)
- [758](#)
- [759](#)
- [760](#)
- [761](#)
- [762](#)
- [763](#)
- [764](#)
- [765](#)
- [766](#)
- [767](#)
- [768](#)
- [769](#)

- [770](#)
- [771](#)
- [772](#)
- [773](#)
- [774](#)
- [775](#)
- [776](#)
- [777](#)
- [778](#)
- [779](#)
- [780](#)
- [781](#)
- [782](#)
- [783](#)
- [784](#)
- [785](#)
- [786](#)
- [787](#)
- [788](#)
- [789](#)
- [790](#)
- [791](#)
- [792](#)
- [793](#)
- [794](#)
- [795](#)
- [796](#)
- [797](#)
- [798](#)
- [799](#)
- [800](#)
- [801](#)
- [802](#)
- [803](#)
- [804](#)
- [805](#)
- [806](#)
- [807](#)
- [808](#)

- [809](#)
- [810](#)
- [811](#)
- [812](#)
- [813](#)
- [814](#)
- [815](#)
- [816](#)
- [817](#)
- [818](#)
- [819](#)
- [820](#)
- [821](#)
- [822](#)
- [823](#)
- [824](#)
- [825](#)
- [826](#)
- [827](#)
- [828](#)
- [829](#)
- [830](#)
- [831](#)
- [832](#)
- [833](#)
- [834](#)
- [835](#)
- [836](#)
- [837](#)
- [838](#)
- [839](#)
- [840](#)
- [841](#)
- [842](#)
- [843](#)
- [844](#)
- [845](#)
- [846](#)
- [847](#)

- [848](#)
 - [849](#)
 - [850](#)
 - [851](#)
 - [852](#)
 - [853](#)
 - [854](#)
 - [855](#)
 - [856](#)
 - [857](#)
 - [858](#)
 - [859](#)
 - [860](#)
 - [861](#)
 - [862](#)
 - [863](#)
 - [864](#)
 - [865](#)
-

**Анастасия Готовцева,
Оксана Киянская
РЫЛЕЕВ**

**ЖИЗНЬ[®]
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ**

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1638

(1438)

Пролог.

«СЛАВНА КОНЧИНА ЗА НАРОД!..»

Основная канва жизни Кондратия Федоровича Рылеева, хрестоматийно известного поэта и заговорщика, считается хорошо изученной. Сын небогатого дворянина, сподвижника Суворова, отставного подполковника Федора Рылеева, он родился 18 сентября 1795 года, учился в 1-м кадетском корпусе, где и начал писать стихи, после его окончания служил в армии (в 1814—1818). Выйдя в отставку, женился, с 1820 года жил в Петербурге, исправлял должность заседателя Петербургской уголовной палаты, публиковался в лучших столичных журналах, издавал (1823—1825) знаменитый альманах «Полярная звезда», приобрел литературную славу. С апреля 1824-го Рылеев — правитель дел коммерческой организации, Российско-американской компании.

Параллельно с этими легальными занятиями развивалась его конспиративная деятельность. В 1823 году Иван Пущин, заговорщик с шестилетним стажем и сослуживец Рылеева по Петербургской уголовной палате, принял его в тайное общество, и поэт быстро стал одним из его лидеров. Он активно участвовал в подготовке восстания на Сенатской площади, а через несколько часов после событий попал под арест. По завершении семимесячного следствия и суда тридцатилетний поэт был казнен на кронверке Петропавловской крепости 13 июля 1826 года.

Яркий, неординарный, наделенный многочисленными талантами, Рылеев и делами, и стихами сильно повлиял на литературный процесс 1820-х годов. Кажется, этот факт не берется оспаривать никто из серьезных исследователей. В историографии ему повезло гораздо больше, чем кому бы то ни было из участников тайных обществ 1820-х годов: он — герой множества статей и нескольких специальных монографий^[1].

Однако эти исследования, несмотря на свою многочисленность, не способны дать ответы на многие вопросы, возникающие при изучении жизни и творчества Рылеева. При первом, даже самом беглом знакомстве с посвященной ему литературой становится очевидным: биография Рылеева — в том виде, в каком она существует сегодня, — насквозь легендарна.

«Нельзя... отделаться от некоторого странного чувства, когда, читая стихи Рылеева, думаешь о том, что ожидало его и его товарищей», — утверждал Н. А. Котляревский, один из первых биографов поэта^[2]. Это

странное чувство преследует всякого, кто берется писать о Рылееве. Оно одушевляло и вспоминавших его друзей-единомышленников. В 1827 году Вильгельм Кюхельбекер, находясь в заточении, написал стихотворение «Тень Рылеева». В уста погибшего товарища он вложил слова:

Блажен и славен мой удел:
Свободу русскому народу
Могучим гласом я воспел,
Воспел и умер за свободу!
Счастливец, я запечатлел
Любовь к земле родимой кровью!^[3]

Такого же рода и знаменитое «Воспоминание о Рылееве» Николая Бестужева. Это мемуарное произведение, написанное в 1830-х годах, было опубликовано А. И. Герценом в 1861-м в Лондоне. Согласно Бестужеву, «все действия жизни Рылеева ознаменованы были печатью любви к отечеству; она проявлялась в разных видах: сперва сыновнею привязанностью к родине, потом негодованием к злоупотреблениям и, наконец, развернулась совершенно в желании ему свободы». Бестужев подчеркивал, что важнейшим качеством характера Рылеева была жертвенность. Согласно Бестужеву, Рылеев был убежден не только в необходимости собственных действий, но и «в будущей гибели, которою мы должны купить нашу первую попытку для свободы России».

На страницах бестужевских мемуаров Рылеев предстает гармоничной личностью, пылким идеалистом, практически никогда не помышлявшим ни о чем другом, кроме любви к родине: «Мысль о перемене в отечестве не оставляла его ни на минуту, не давала ему покоя ни днем, ни ночью»; «... единственная мысль, постоянная его идея была пробудить в душах соотечественников чувствования любви к отечеству, зажечь желание свободы»^[4].

Бестужевский подход к личности и творчеству Рылеева был закреплен авторитетом Герцена и Огарева. По мнению Герцена, «серьезный стих Рылеева» «ударял, словно колокол на первой неделе поста, и звал на бой и гибель, как зовут на пир...». Огарев утверждал, что Рылеев «стремился высказать в своих поэтических произведениях чувства правды, права, чести, свободы, любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию»^[5].

Подобные рассуждения ущербны, легендарны — и эта истина уже

давно усвоена наукой. Еще в 1930 году А. Авербух написала статью под примечательным названием «Образ Рылеева в легендарно-поэтической традиции». Исследовательница рассуждала о том, каким образом «фиктивная биография» Рылеева обростала фактами и подробностями: «После смерти поэта они (произведения Рылеева. — А. Г., О. К.) зазвучали по-новому, приобрели новый смысл и значение; они наполняются той кровью, которая была пролита на эшафоте, и становятся действенными и животворящими. Они питают легенду»^[6].

Похожие выводы можно найти и в более поздних исследованиях. Так, составитель единственного на сегодняшний день Полного собрания сочинений Рылеева А. Г. Цейтлин считал, что «вся жизнь Рылеева послужила материалом для либеральной легенды о нем». В. Г. Базанов и А. В. Архипова утверждали, что обаяние личности Рылеева, «революционера, погибшего за свои убеждения, так велико, что для многих оно как бы заслонило эстетическое своеобразие его творчества». «Сразу после казни декабристов начал складываться миф о Р[ылееве]: трагический финал отбросил отблеск на всю предыдущую жизнь, на существовавшие в постоянном взаимовлиянии поэтическое творчество и житейскую биографию, отчетливо высветив его путь — от сатиры “К временщику” через предчувствия “Войнаровского” и “Наливайки” к Сенатской площади и кронверку Петропавловской крепости», — справедливо считает современный биограф поэта С. А. Фомичев^[7]. Однако осознание факта существования этой легенды никоим образом не препятствовало и не препятствует всё новому и новому ее воспроизведению — настолько в данном случае велика сила традиции.

Если дореволюционные ученые отмечали готовность Рылеева «пасть в борьбе за свободу родины», его «общий рыцарский характер» «как деятеля и человека», то советским историкам и филологам импонировал «гражданский, революционный пафос» поэзии Рылеева, И Цейтлин, и Базанов, и другие исследователи убеждали друг друга в том, что поэзия Рылеева находилась в тесной связи «с прямыми интересами общественного развития», а сам «поэт-гражданин» «действовал на своих читателей прежде всего тем, что все его творчество без остатка посвящено горячо любимой родине». Главное, что роднило Рылеева с его советскими исследователями и почитателями, заключалось, по-видимому, в том, что «он был... партийный литератор»^[8].

Между тем трагическую гибель Рылеева вряд ли следует напрямую соотносить с его стихами. Трудно поверить, что поэт в реальной жизни не

думал ни о чем другом, кроме счастья родины, предчувствовал свою казнь и, более того, страстно желал ее. Ни один из документов не дает возможности подозревать в Рылееве суицидальные наклонности. Кроме того, как и любой другой человек, Рылеев был многогранен: он был мужем и отцом, другом и любовником, служил, занимался издательской и журналистской деятельностью, писал не только гражданские, но и — по преимуществу — любовные стихи. Кроме поэтического и издательского талантов, он обладал недюжинными способностями финансиста, и поэтому столь удачной оказалась его деятельность и на посту правителя дел Российско-американской компании, и в журналистике.

*

При попытке отрешиться от легенды и заново проанализировать источники сразу же бросаются в глаза лакуны в наших представлениях о жизни и творчестве Рылеева, нехватка документального материала для заполнения этих лакун. Но даже те источники, которые есть в нашем распоряжении, позволяют сделать вывод: биография Рылеева изобилует странностями и несообразностями.

Необычность эта сопровождает его с самого раннего детства. Поздний ребенок, горячо любимый матерью, Рылеев, тем не менее, в самом раннем детстве был отдан в кадетский корпус. Для того чтобы понять причины, по которым четырех лет от роду лишился родительской заботы, необходимо представлять себе биографии хотя бы ближайших его родственников — матери, отца, брата и сестры. Однако до настоящего времени пролить свет на семейную историю Рылеевых не удавалось. Неизвестно, почему, вступив в службу, проведя на ней почти пять лет, пройдя Заграничные походы, Рылеев так и не получил повышения в чине. Мы не знаем, когда он начал писать стихи, какие поэтические тексты были первыми в его творчестве.

Литературная карьера Рылеева началась со скандала. Сатира «К временщику», направленная против «подлого и коварного» Аракчеева, наделала много шума. Публикация сатиры заставила читателей ожидать правительственных репрессий в отношении дерзкого поэта. Однако они не последовали, и это удивило читателей еще больше, чем сам факт выхода сатиры. М. В. Нечкина справедливо называла сатиру «К временщику» «легально напечатанной, но антиправительственной по существу»^[9]. То же можно сказать и о многих других его произведениях, проникнутых гражданственностью. Но до самого ареста Рылеев практически не знал

проблем с цензурой и «в стол» писал крайне мало.

Конечно, как «поэт-гражданин» Кондратий Рылеев едва ли был радикальнее Александра Пушкина, автора «Вольности» и «Кинжала». Он вполне соотносим, например, с Петром Вяземским или тем же Вильгельмом Кюхельбекером. Однако вольнолюбивые стихи этих поэтов, за редким исключением, не были напечатаны и распространялись в списках. С другой стороны, гражданская тема в отечественной поэзии 1820-х годов вообще становится «общим местом», занимает лидирующее положение на страницах журналов. Удивляло современников не само присутствие этой темы в творчестве Рылеева, а степень ее радикализма именно в подцензурных текстах.

«Непостижимо, каким образом в то самое время, как строжайшая цензура внимательно привязывалась к словам, ничего не значащим, как то: ангельская красота, рок и пр., пропускались статьи, подобные “Волинскому”, “Исповеди Наливайки”», — удивлялся на следствии друг Рылеева Владимир Штейнгейль. Другой подследственный, Дмитрий Завалишин, не мог понять, «каким образом Рылеев давно не был потребован к допросу», ведь «“Исповедь Наливайки”... не оставляла никакого сомнения насчет его мыслей и духа». Завалишин «недоумевал, каким образом они выходили в свет, и охотно поверил силе [тайного] общества, обширности связей и участию важных особ»^[10].

Создается впечатление, что не только цензоры, но и лица, приближенные к высшей власти, — к примеру жена Александра I Елизавета Алексеевна, — всячески помогали Рылееву формировать «идеологию решительной борьбы с самодержавием». В 1823, 1824 и 1825 годах после выхода в свет каждого из трех выпусков знаменитого альманаха «Полярная звезда» Рылеев (как и его друг Александр Бестужев, осужденный впоследствии на вечную каторгу) получал от императрицы «благоволения» и ценные подарки, причем официальной причиной награждения являлось не только удачное составление альманаха, но и «полезные труды» его составителей на поприще отечественной словесности^[11].

Провинциальные же читатели, не искушенные в политической и литературной жизни столицы, и вовсе были уверены, что произведения Рылеева отражают точку зрения властей. «Читая и переписывая “Думы” Рылеева, мы, гимназисты, вовсе и не воображали, что Рылеев государственный преступник, и знать не знали, что он был казнен. Напротив, он казался нам добрым патриотом», — писал в мемуарах

академик Ф. И. Буслаев, в конце 1820-х — начале 1830-х годов пензенский гимназист^[12].

Рылеев, в отличие от многих поэтов, эксплуатировавших в 1820-х годах гражданскую тему, был «литературным генералом», столичной знаменитостью. Более того, среди всех участников заговора он был, пожалуй, самой публичной личностью, известной всей образованной России. Уже в 1822 году журналы и газеты объявили его одним из «лучших российских поэтов» — наряду с Александром Пушкиным, Василием Жуковским, Евгением Баратынским и Антоном Дельвигом. Ревнивые замечания о «знаменитом» Рылееве читаем в письмах Пушкина. Именно ему Пушкин прочил место министра на российском Парнасе^[13].

И естественно поэтому, что скандальным, непонятым для не посвященных в тайны конспирации современников оказался громкий и кровавый финал литературной карьеры Рылеева, сопряженный с публичной казнью через повешение. «Жители Петербурга исполнились ужаса и печали»; «Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, нет возможности», — вспоминали современники^[14].

Изучая тайную, конспиративную деятельность Рылеева, исследователь неминуемо сталкивается с еще большим количеством несостыковок.

Буквально за несколько месяцев, прошедших с момента вступления в заговор, Рылееву удалось сплотить вокруг себя разрозненных участников давно развалившихся тайных организаций, принять в свою «отрасль» гвардейскую молодежь, начать подготовку реального восстания с целью захвата власти. Согласно приговору, вина Рылеева состояла, в частности, в том, что он «усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приуготовлял способы к бунту... приуготовлял главные средства к мятежу и начальствовал в оных»^[15]. Однако неясно, каким образом мог «приуготовлять главные средства» к военному перевороту человек сугубо штатский, журналист и издатель. Непонятно, как ему удавалось «управлять» тайным обществом, состоявшим почти сплошь из военных, почему офицеры-заговорщики столь быстро признали штатского литератора своим безусловным лидером.

Остается нерешенным и самый главный вопрос рылеевской биографии: за что же он все-таки был повешен? Конечно, он обсуждал вопросы цареубийства — но не он один. Рылеев убеждал офицеров, участников заговора и просто сочувствующих, вывести своих солдат на Сенатскую площадь — но и этим накануне 14 декабря занимался не только он. Хорошо известно, что «диктатором» восстания был избран не Рылеев, а

гвардейский полковник князь Сергей Трубецкой. Однако в 1826 году Трубецкому удалось избежать высшей меры наказания.

«Хотя он (Рылеев. — А. Г., О. К.) был лучший мой друг, но для истины не скрою, что он был главною пружиною предприятия; воспламеняя всех своим поэтическим воображением и подкрепляя своею настойчивостию», — показал на следствии Александр Бестужев^{[16](#)}. Однако высказывание Бестужева отражает скорее его собственное отношение к Рылееву, а не реальное положение дел накануне восстания. «Поэтического воображения» и «настойчивости» явно недостаточно для того, чтобы вывести солдат. К тому же на Сенатской площади над войсками «начальствовали» офицеры, а вовсе не литераторы, а сам Рылеев в непосредственном революционном действии участия не принимал.

И у Николая I должны были быть особые причины для того, чтобы поставить Рылеева «вне разрядов» наряду с признанным лидером тайных обществ Павлом Пестелем и руководителем восстания Черниговского полка Сергеем Муравьевым-Апостолом. Причины эти до сих пор были скрыты как от глаз современников, так и от внимательного взора позднейших исследователей.

*

Авторы искренне благодарят коллег: В. Л. Гопмана (РГГУ), М. А. Злобину, Д. П. Ивинского (МГУ им. М. В. Ломоносова), Л. Ф. Кациса (РГГУ), М. П. Одесского (РГГУ), В. С. Парсамова (РГГУ), Д. М. Фельдмана (РГГУ), Р. С. Спивак (Пермский ГНИУ), В. А. Шкерина (Институт истории и археологии Уральского отделения РАН), С. Е. Эрлиха (издательство «Нестор-История») за терпение, дружеское участие и ценные советы при написании этой книги.

Глава первая.

«КРУГ ДОБРЫХ РОДНЫХ»

«Дворовые дети боярские»

Семейная история любого, даже ничем не примечательного человека достойна осмысления — сегодня этот факт бесспорен. История государств и народов складывается не только из социальных, политических и экономических факторов. Познание истории невозможно без учета личного опыта людей и семей. Люди, составлявшие семью Рылеева, интересны не только в качестве своеобразного «приложения» к нему. В биографии каждого из них по-разному преломились эпохи: Екатерининская, Павловская, Александровская, Николаевская.

Биографию же самого Рылеева, как и любого прославившегося человека, исследователи практически всегда «собирают» из значимых событий: Отечественная война, Заграничные походы, общественные и литературные движения, тайные общества, Сенатская площадь... Но Рылеев был не только офицером, поэтом и заговорщиком, но еще и сыном, братом, мужем и отцом — словом, частным человеком. Взаимоотношения с родственниками влияли на его характер ничуть не меньше, чем взаимоотношения с литераторами или политическими сподвижниками. Письма Рылеева наполнены неподдельным интересом к близким людям, как он выразился в одном письме, к «кругу добрых родных, с которыми всё мило»^[17].

Частная жизнь Рылеева представляет не меньший, а может быть, даже больший интерес, чем его деятельность в тайных обществах. Ибо, по словам Марселя Пруста (процитированным в одной из работ основателя научной школы микроистории Карло Гинзбурга), «глупцы воображают, что огромные масштабы общественных явлений дают прекрасную возможность глубже проникнуть в душу человека; они должны, напротив, уяснить, что, именно спускаясь в глубины личности, можно получить шанс понять эти явления»^[18].

О дворянском роде Рылеевых известно мало. Историк-генеалог Петр Долгоруков утверждал, что предки поэта были среди опричников Ивана Грозного. Он считал, что Кондратий Рылеев искупил их преступления собственной «службою на благо родины», вкладом «в дело русских свободолюбивых мучеников, имена которых всегда будут глубоко почитаться»^[19]. Долгоруков не привел документов, подтверждающих его гипотезу. Однако в составе «государева двора» середины XVII века числились пять представителей этого рода: «Васюк, да Иванец, да Митька,

да Вахно Козловы дети Рылеева», а также «Васильев сын Иванец» — «дворовые дети боярские» (провинциальные дворяне) из подмосковного города Рузы^{20}. Очевидно, что к моменту составления списка род Рылеевых был уже в достаточной степени разветвлен. Следовательно, начало его действительно следует искать во второй половине XVI столетия. Род Рылеевых внесен в шестую (столбовые дворяне) и вторую (военное дворянство) части родословных книг Тульской и Казанской губерний.

Согласно сведениям краеведа А. А. Григорова, та ветвь рода, к которой принадлежал поэт, обосновалась в Костромской губернии и владела большим имением Охлябино (Ахлебнино). Дед его, Андрей Федорович Рылеев, служил в Преображенском полку «бомбардирской роты бомбардиром» и в 1749 году был «за болезнью от полковой и гарнизонной службы отставлен вовсе», получил «армейских полков подпорутской» чин и отпущен в свой дом в Охлябино, чтобы «во оном доме жить ему свободно и к делам ни к каким его не определять»^{21}. По-видимому, отставка была связана с рождением у него сына Федора, который, согласно документам, происходил «из российских дворян Костромского наместничества Галицкой округи». Андрей Рылеев умер не позже 1784 года; согласно официальным документам, в это время за ним числилось «мужеска пола 15 душ»^{22}.

Ко времени правления Екатерины II род Рылеевых был уже достаточно разветвленным. Его члены служили по преимуществу в провинции; сведениями о них наполнены адрес-календари конца XVIII века. Выборные судебские должности в Макарьевске (Костромская губерния) и Задонске (Воронежская губерния), городничий (воевода) в уездном городе Цивильске (Казанская губерния) — вот основные места службы представителей этого рода.

Рылеевы отличились и в военной службе, снискали благоволение и покровительство Александра Суворова, Григория Потемкина и самой императрицы. Так, военным историкам известен майор, а затем подполковник Санкт-Петербургского карабинерного полка Иван Карпович Рылеев. Он был ценим и любим Суворовым; полководец отзывался о нем как о дельном офицере и человеке «неустрасимой храбрости». В 1771 году Рылеев много раз отличался в сражениях с польской Барской конфедерацией, в известной битве при Столовичах командовал всей русской кавалерией. Затем — опять-таки вместе с Суворовым — он участвовал в разгроме Пугачевского восстания. Именно подполковник Рылеев нанес поражение отряду Салавата Юлаева — «с башкирцем

Салаваткою имел презестокое сражение»^{23}.

Еще один представитель рода служил в 1780-х годах ассессором в табачной конторе в городе Ромен (Ромны) на Украине. Разведение табака было при Екатерине II делом государственным и находилось под личным контролем императрицы. Роменской табачной конторой руководил один из екатерининских придворных Григорий Теплов, автор книги «О засевах разных Табаков чужестранных в Малороссии» (СПб., 1763). Непосредственным местом службы «ассессора Рылеева» был, судя по всему, Киев с окрестными деревнями. В Центральном государственном историческом архиве Украины сохранились сведения о конфискации у тамошних жителей «денег, волов, лошадей и прочего», проведенной ассессором вместе с другим чиновником. Жители пожаловались вышестоящему начальству, но Рылеев наказан не был. Очевидно, конфискация проводилась для нужд табачной конторы^{24}.

С «ассессором Рылеевым», очевидно, связано появление у семьи украинской недвижимости — дома в Киеве, состоявшего «в 1-й части в 1-м квартале по улице Васильковской в смежности с правой стороны киевского мещанина еврея Менделя Сатановского, с левой лабораторной роты рядового Константина Полигсеева»^{25}. К началу века дом этот уже успел сильно обветшать.

Главной знаменитостью среди членов фамилии в конце XVIII века был Никита Иванович Рылеев. Суворов, хорошо его знавший, выражал в письмах опасение, чтобы его не «поровняли» с Рылеевым. Екатерининский вельможа, с 1784 года петербургский обер-полицмейстер, а с 1793-го — столичный гражданский губернатор, на этих высоких должностях он снискал себе репутацию усердного, но недальновидного служаки. В свете о нем ходило множество легенд. Сообщают, в частности, о его приказе: «Объявить всем хозяевам домов с подпискою, чтобы они заблаговременно, и именно за три дня, извещали полицию, у кого в доме имеет быть пожар». Особую известность получил еще один анекдот: «У императрицы Екатерины околела любимая собака Томсон. Она просила графа Брюса распорядиться, чтобы с собаки содрали шкуру и сделали бы чучелу. Граф Брюс приказал об этом Никите Ивановичу Рылееву. Рылеев был не из умных; он отправился к богатому и известному в то время банкиру по фамилии Томпсон и передал ему волю императрицы. Тот, понятно, не согласился и требовал от Рылеева, чтобы тот разузнал и объяснил ему. Тогда только эту путаницу разобрали»^{26}.

Возможно, кое-какие истории и выдуманы, но реальную ситуацию они

хотя бы отчасти отражают. Согласно «Памятным запискам» статс-секретаря А. В. Храповицкого, Екатерина говорила о своем чиновнике: «Полевые офицеры... ежели малый рассудок имеют, то от практики делаются способными быть обер-полицмейстерами, но здешний *сам дурак*»^[27].

Стоит отметить, что в 1790 году именно Никита Рылеев разрешил к печати радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву». Естественно, после начала следствия против автора «богомерзкого сочинения» у обер-полицмейстера были неприятности, однако на его карьере они серьезно не отразились. Государыня ценила преданность Рылеева: он был готов искоренять крамолу всеми доступными средствами. Дух эпохи, воинственный и в то же время домашне-протекционистский, допускавший «дурь» и «чужачество» как норму жизни, вполне воплотился в биографии полицмейстера.

Степень родства Никиты и Кондратия Рылеевых установить не удалось. Однако из сохранившихся писем поэта выясняется, что он общался с семьей чиновника, в частности, был знаком с «гном Прево» и его женой Елизаветой Никитичной, урожденной Рылеевой^[28]. Дочь обер-полицмейстера, в замужестве Прево де Люмиан, в юности была фрейлиной Марии Федоровны, тогда еще великой княгини. Выпускница Смольного института Елизавета Рылеева была однокурсницей и подругой «Суворочки» — Натальи Суворовой, дочери полководца. Как подруга «Суворочки» упомянута она в письмах полководца. Степень родства двух ветвей рода Рылеевых установить не удалось, однако известно, что Елизавета Никитична, как и отец поэта, происходила из Костромской губернии^[29].

В письмах Суворова упоминается и ее муж Августин (в России — Иван Иванович) Прево де Люмиан. Французский подданный, он перешел на русскую службу в 1788 году. Известный мемуарист Филипп Вигель характеризовал его следующим образом: «Прево де Люмиан, Иван Иванович... настоящий осёл из Южной Франции, ко всеобщему удивлению, в русской службе достиг до чина генерал-майора, и что удивительнее — по артиллерии, что и еще удивительнее, при Екатерине. Мужик добрый, не спесивый... Прево и все прочие были народ веселый, гульливый». Видимо, Вигель не совсем прав: «осёл из Южной Франции» был боевым товарищем Суворова.

Недаром Павел I в сентябре 1798 года прислал Прево в Кончанское, имение опального фельдмаршала, чтобы узнать суворовское мнение о специфике войны с французами. Соображения полководца были записаны

— и документ сохранился^{30}.

Прево де Люмиан был известным масоном, членом более десяти масонских «мастерских», в том числе ложи Астреи и Капитула Феникса — главных, «управляющих» лож в России начала XIX века. Он был одним из руководителей ложи *Amis reunis* (Соединенных друзей) — той самой, в которой началась масонская карьера будущего руководителя Южного общества Павла Пестеля. Не исключено, что именно родственник привил интерес к масонству Кондратию Рылееву: в начале 1820-х годов тот вступил в ложу Пламенеющей звезды. Среди знакомых Рылеева по этой ложе — воспитатель суворовского сына Аркадия, затем инспектор классов в Пажеском корпусе Карл Оде де Сион, генерал-лейтенант и сенатор Егор Куше-лев, а также множество столичных купцов^{31}.

Семьи Никиты Рылеева и Прево де Люмиана входили в столичный высший свет. Благодаря семейным связям обзавелся некоторыми светскими и литературными знакомствами и Кондратий Рылеев. В мартовском номере журнала «Невский зритель» за 1821 год он анонимно опубликовал стихотворное послание «Переводчику Андрوماхи», адресованное графу Дмитрию Хвостову, снискавшему известность литератора плодовитого, но бездарного. По форме это послание — панегирик «переводчику Андрوماхи»;

Пусть современники красот не постигают,
Которыми везде твои стихи блещут;
Пускай от зависти их даже не читают
И им забвением грозят!

...

Так, так; твои стихотворенья
В потомстве будут все читать
И слезы сожаленья
На мавзолей твой проливать.

Однако по сути это была едва завуалированная издевка, что угадал и адресат. Хвостов отмечал: Рылеев в частном разговоре прямо сказал ему, что «пошутил»^{32}.

Как известно, граф был объектом насмешек многих литераторов. Однако в 1821 году Рылеев только входил в столичные литературные круги. А у Хвостова, несмотря на одиозную репутацию, были связи в журналах. Наконец, он был сенатором. «Шутить» по его адресу Рылееву было явно не

по чину

Однако сколько-нибудь серьезных последствий «шутка» не имела. Вероятно, она была сочтена приватной, семейной.

Хвостов, секретарь Суворова, женатый на племяннице полководца, был хорошо знаком с семьей Никиты Рылеева, что видно, в частности, по суворовским письмам. Два года спустя Хвостов печатался в рылеевской «Полярной звезде». Понятно, что обусловлено это было вовсе не «достоинствами» хвостовских стихов, а именно семейными связями.

«Жесткосердный человек»

Федор Андреевич Рылеев, отец поэта, тоже был человеком Екатерининской эпохи. Точную дату его рождения установить не удалось, но, вероятно, он родился в середине 1740-х годов. К 1795-му, моменту рождения сына, у Федора Рылеева крестьян уже не было. Очевидно, родовое имение Охлябнино было промотано: в 1807 году жена писала ему с укоризной, что детям своим он «не оставил ни мальчика, ни девки, а всё продал спустя руки»^{33}.

Подобно родственникам, Федор Рылеев хорошо знал Суворова: службу он начал в 1766 году подпрапорщиком Суздальского пехотного полка, которым командовал Суворов. Воевал с польскими конфедератами: согласно послужному списку; «в действительных с неприятелем сражениях, при осадах, блокадах и штурмовании крепостей, из коих под замком Краковским во время приступа ранен, и потом во всех тех движениях и форсированных маршах, где только Суздальский пехотный полк был под командою бывшего бригадиром и генерал-майором, что ныне генерал-аншеф и кавалер, графа Александра Васильевича Суворова-Рымникого, безотлучно находился»^{34}.

Однако документы свидетельствуют: несмотря на участие в боевых действиях и на рану, полученную в результате неудачного штурма краковского замка в 1772 году, офицером в Суздальском полку он так и не стал. Надо полагать, отец поэта не входил в число любимцев ни Суворова, ни сменившего его в должности полкового командира полковника В. В. Штакельберга. Первый офицерский чин — корнета — Федор Рылеев получил в 1773 году, уже перейдя в Нарвский карабинерный полк. Затем были десятилетняя гарнизонная служба, чин поручика и должность полкового квартирмейстера. Однако и в Нарвском полку значительной карьеры он тоже не сумел сделать.

Лишь в начале 1780-х годов ему удалось каким-то образом обратить на себя внимание Григория Потемкина, тогда президента Военной коллегии. Можно предположить, что в данном случае не обошлось без вмешательства влиятельного родственника Никиты Рылеева, как раз в 1784-м ставшего бригадиром и назначенного столичным обер-полицмейстером^{35}.

Потемкин передал государыне «челобитную» Федора Рылеева с просьбой освободить его от полевой службы по болезни. Следствием этой «челобитной» стал высочайший указ от 30 октября 1784 года: «Полкового

квартирмейстера Рылеева по прошению его за имеющейся засвидетельствованной по аттестату лекарскому болезни, из полевой службы уволить по достоинству с награждением капитанского чина, и по собственному его желанию определить в Санкт-Петербургские гарнизонные батальоны с тем, буде в оных капитанской вакансии ныне нет, то до последующей состоять ему сверх комплекта на своем содержании, чего ради и определить его к новой команде по надлежащему, где ему на новый чин и учинить присягу»^{36}.

В капитанах Рылеев долго не задержался: через пять месяцев, 13 марта 1785 года последовал еще один указ Екатерины: «На место произведенного сего марта 10 дня оной (Военной. — А. Г., О. К.) коллегии из экзекуторов в полевые полки подполковника Андрея Дурасова, по признанной способности, в штаб коллегии в экзекуторы произвести Санкт-Петербургских гарнизонных батальонов капитана Федора Рылеева». При этом назначении Рылеев стал премьер-майором, минуя секунд-майорский чин^{37}.

В Петербурге Федор Рылеев прослужил пять лет. Надо полагать, это были счастливые годы. Он входил в светские круги столицы, разделял охвативший российскую аристократию интерес к масонству. В 1780-х годах он — член двух масонских лож: Конкордии и Соединенных братьев. В обеих ложах ему удалось достичь высокой степени наместного мастера; во второй из них он числился также мастером стула^{38}. Военное руководство ценило Федора Рылеева, о чем красноречиво свидетельствует его назначение в 1788 году командиром 2-го батальона только что сформированного Эстляндского егерского корпуса^{39}.

Организация в российской армии подразделений легкой пехоты — одна из важнейших военных реформ Екатерины II. С конца 1760-х годов егерские команды формировались при дивизиях и полках. Создание таких подразделений курировала сама императрица, этим начинаниям сочувствовали Г. А. Потемкин, П. А. Румянцев и А. В. Суворов. В конце 1780-х годов стали создаваться отдельные егерские корпуса: Кубанский, Екатеринославский, Малороссийский, Кавказский, Таврический, Бугский, Финляндский, Лифляндский. Эстляндский егерский корпус был создан 24 августа 1788 года. К подбору кадров для службы в егерях Екатерина подходила весьма тщательно, требуя назначать в корпуса особо расторопных офицеров, отличавшихся «искусным военным примечанием»^{40}.

Четырнадцатого июня 1788 года Федор Рылеев, признанный годным

для службы в егерях, «за отличные труды, при коллегии понесенные, произведен подполковником»^{41}. Вскоре он отправился к новому месту службы. Командование батальоном в Эстляндском егерском корпусе — самая яркая страница военной биографии отца поэта.

Фактически батальон в егерском корпусе был равен пехотному полку: он делился на шесть рот, численность солдат в нем была немногим меньше тысячи человек. Со своим батальоном Федор Рылеев прошел Русско-шведскую войну 1788—1790 годов. Война в основном шла на море, но и на суше было несколько сражений. В частности, в апреле 1790 года русские потерпели от короля Густава III поражение под Пардакоски. В этом бою участвовал и Федор Рылеев — его батальон действовал в отряде генерал-майора Ф. П. Денисова, известного графа-казака. Согласно формулярному списку Рылеева, 18 апреля он «четырьмя ротами *сражался* с превосходными неприятельскими силами и, наконец, составляя с егерями тыл ретирующемуся нашему войску, не допустил неприятеля себя преследовать, а 24 того же года и месяца, упредя все войски сии, с батальоном, ему порученным, поспел весьма благовременно и [у] деревни Саренде атаковал корпус войск шведских, королем предводимый, сбил оный и преследовал до деревни Матеталь»^{42}.

За эти сражения подполковник Рылеев был награжден. В рескрипте Екатерины II, данном в Царском Селе 29 апреля 1790 года, сказано:

«Нашему подполковнику Рылееву.

Усердная ваша служба, труды в приведение в исправность второго Эстляндского егерского батальона, добрая воля и мужество, оказанные вами при атаке войском нашим под начальством генерал-майора Денисова корпуса неприятельского, королем шведским предводимого, обращают на себя Наше внимание и милости. В изъявление оных Мы всемилостивейшее пожаловали вас кавалером ордена Нашего Святого Равноапостольного князя Владимира четвертой степени, которого знак при сем доставляя, повелеваем вам возложить на себя и носить установленным порядком. Удостоверены Мы совершенно, что вы, получа сие со стороны Нашей ободрение, потщитесь продолжением службы вашей вящее удостоиться монаршего Нашего благоволения»^{43}.

Федор Рылеев «потщился» оправдать монаршее доверие — следующей кампанией стала для него война с Польшей, в ходе которой он вновь оказался под началом Суворова. Монаршую благодарность он заслужил, в частности, тем, что «был с батальоном во многих движениях и делал форсированные марши, поспевал всегда благовременно на отражение

неприятеля в поведенные места». За это, а также за «оказанную им храбрость в сражении под Миром» 31 мая 1792 года он «был яко отличившийся рекомендован и получил всемилостивейшее пожалованную золотую шпагу»^{44}.

*

Дальнейшая военная карьера Федора Рылеева сложилась неудачно. Точная дата его выхода в отставку неизвестна, однако вряд ли он остался на службе после 1796 года, когда на престол вступил Павел I и был расформирован Эстляндский егерский корпус. Вместе с Екатерининской эпохой завершилась и военная биография подполковника.

Столь же неудачной оказалась в итоге и его семейная жизнь. Причинами тому, по мнению мемуаристов, были тяжелый характер подполковника и его жестокий нрав. Так, Дмитрий Кропотков, внук близкой подруги матери поэта, повествует о жизни семьи в следующих словах: «Отец Рылеева, бригадир екатерининского времени, был человек суровый, крутой и властолюбивый в высшей степени. От его непреклонной воли терпели все домашние, не исключая и членов его семейства. Кондратий Рылеев... терпел от отца едва ли не более всех. За неуспех в науках или за малейшую детскую шалость отец сек его лозою нещадно. Впрочем, снисхождения он не имел даже к матери его, Настасье Матвеевне, с которою обходился весьма дурно. В бытность мою с Натальей Михайловной Рылеевой (женой поэта. — А. Г., О. К.) в деревне Батовой она мне показывала погреб, в который этот жестокосердный человек запирали мать Рылеева, женщину добродетельную и весьма умную»^{45}.

Почти все исследователи биографии Рылеева повторяли истории про его тяжелое детство, погреб, жестокого отца и несчастную мать: «Мирного, счастливого детства Рылеев не знал. Детская его жизнь в семье была омрачена отсутствием отцовской любви и постоянным страхом и грустью при виде терпеливой и пугливой заботливости о нем матери»; «Первые впечатления детства не оставили светлых воспоминаний в душе ребенка. Отец его был человек крутой и до крайности властолюбивый: он жестоко обращался с крестьянами и дворовыми, не менее суров был и со своей семьей: жену... он нередко запирали в погреб, сына за малейшие шалости наказывал розгами»^{46}.

Все биографы единодушно указывают, что родители Рылеева не жили

вместе: отец уехал в Киев, мать же до самой своей смерти в 1824 году проживала в собственном имении Батово под Петербургом.

«Женщина добродетельная» и «благодетель»

Сведения о жене Федора Рылеева Анастасии Матвеевне, урожденной Эссен, крайне скудны. Неизвестно, к какому из колен рода Эссенов она принадлежала, кто были ее родители. Неизвестно, как она познакомилась с будущим мужем, когда вышла замуж, как и где чета Рылеевых жила до рождения сына Кондратия.

Похоронена она на кладбище в селе Рождествено (старое написание — Рожествено) Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии. Над могилой сын поставил памятник, хорошо сохранившийся до наших дней. На нем лаконичная надпись: «Мир праху твоему, женщина добродетельная. Анастасия Матвеевна Рылеева. Родилась декабря 11 дня 175, скончалась июня 2 дня 1824». Год рождения Анастасии Рылеевой, согласно надписи, состоял всего из трех цифр. А значит, сам Рылеев о возрасте матери имел лишь приблизительные сведения.

*

Детство поэта и в самом деле было омрачено семейной трагедией, оказавшей самое серьезное влияние на формирование его характера и взглядов. Известно, что он очень рано, почти в младенческом возрасте, был определен в кадетский корпус. По свидетельству мемуаристов, мать, горячо любившая сына, отдала его в корпус, «не желая иметь в отце его дурной пример» и стремясь оградить ребенка от «сурового отцовского обращения»^{47}.

Можно сказать, что Рылеев в четыре с половиной года остался практически сиротой при живых родителях. Недаром «впоследствии он не раз упрекал мать, что она рано отдала его в корпус и тем лишила его родительских ласк»^{48}. Естественно, что причины этой семейной трагедии, повлиявшей на мировосприятие будущего поэта, заслуживают подробного и серьезного анализа.

*

Дошедшие до нас документы рисуют Федора Андреевича

добродушным гулякой и мотом, который «не сохранил и супружеской верности», «имел... целый гарем»; следствием этой гульбы было рождение у него дочери Анны, которую Анастасия Матвеевна «приняла на воспитание... и любила... как свое собственное дитя»^[49]. Конечно, Федор Рылеев не был образцом семейных добродетелей. Но от содержания «гарема» до физических издевательств над собственной женой и сыном конечно же очень далеко.

Более того, в 1912 году В. И. Маслов опубликовал два письма родителей Рылеева друг другу. Написаны они в 1810-х годах, когда будущий поэт уже учился в кадетском корпусе, а его родители давно не жили вместе. Федор Андреевич называет жену «милой Настенькой», спрашивает, куда ему следует переслать для нее деньги, высказывает сердечную признательность за воспитание его внебрачной дочери в следующих выражениях: «Благодарю милосердного Бога! радуюсь душевно, что ты, милая моя другиня, здорова! молю всевышнего Спасителя! да продлит дни твои и здравие... О всевидящий Боже! Тебе отверзта вся внутренность сердца и души, сколько исполнены они чувствованиями благодарности к другу и жене». Тональность же послания Анастасии Матвеевны совершенно другая: она в резкой форме отказывается выслать мужу требуемые книги, объясняя, что желает оставить их «сыну нашему от тебя»^[50].

Конечно, на основании только двух случайно сохранившихся писем сделать вывод о том, кто был виноват в семейной трагедии, достаточно сложно. Однако некоторый свет на ее причины проливает история жизни еще одного родственника Рылеева — Петра Малютина.

*

Точное место появления на свет Рылеева до сих пор неизвестно. Большинство исследователей утверждали, что он родился в деревне Батово Софийского (впоследствии переименованного в Царскосельский) уезда Санкт-Петербургской губернии. Однако эта версия не выдерживает критики: во-первых, согласно утверждению знавших Рылеева современников, он был «новгородским уроженцем». А во-вторых, имение Батово досталось его матери в январе 1800 года, через пять лет после рождения сына^[51].

В фондах Центрального государственного исторического архива

Санкт-Петербурга хранятся подлинники купчих на Батово: «Лета тысяча осмисотого генваря в шестой надесять день генерал-майор и кавалер Петр Федоров сын Малютин, в роде своем не последний, продал я отставного подполковника Федора Андреева сына Рылеева жене Настасье Матвеевой дочери собственное свое недвижимое имение, всемилоостивейше пожалованное мне в тысяча семьсот девяносто шестом годе по именному его императорского величества высочайшему указу в вечное и потомственное владение, состоящее в Санкт-Петербургской губернии Софийского уезда в деревне Батове писанных по нынешней пятой ревизии крестьян мужеска пола двенадцать душ... а взял я, Малютин, у нее, Рылеевой, за то свое недвижимое имение со всем означенным денег серебряною монетою тысячу пятьсот рублей». Такая же купчая, датированная 16 января, подписана «отставной благородных девиц инспектрисой» Марьей Дешамп; она получила от Анастасии Рылеевой «денег серебряною монетою три тысячи четыреста рублей»^[52].

Покупка Батова, скорее всего, была номинальной — средств для приобретения имения не было ни у Федора Рылеева, ни у его жены. Более вероятно, что Малютин не только подарил матери поэта свою часть Батова, но и дал ей упомянутые 3400 рублей серебром для покупки оставшейся части имения у бывшей инспектрисы Смольного института Дешамп.

Такая версия подтверждается письмами Анастасии Рылеевой, где она называла Малютина «благодетелем», который «дал ей кусок хлеба». Батово она именovala «Петродаром» и «мызой Петродар» не только в письмах, но и в официальных документах^[53].

Вообще Петр Малютин — личность загадочная и для семьи Рылеевых роковая. Исследователи биографии и творчества Кондратия *Рылеева* не могут пройти мимо этой фигуры. Но до сего момента ничего конкретного ни о нем самом, ни о его взаимоотношениях с Рылеевыми сказано не было. Исследователи единодушно отмечают, что Малютин приходился Рылеевым родственником. Но даже степень этого родства определить не удавалось.

Между тем Екатерина Ивановна Малютина, жена, а затем вдова генерала, письма Кондратию Рылееву подписывала: «Сестра Ваша К. Малютина», а Анастасию Матвеевну называла «тетушкой». Конечно, Малютина не была ни сестрой поэта, ни племянницей его матери. Когда Батово перешло к Рылеевым, она еще не была женой генерала. Официальные документы указывают другую степень родства: в деловых бумагах 1826 года жена Рылеева Наталья Михайловна официально именует Малютину *невесткой* своего мужа^[54].

Указания на степень родства Малютина и Рылеевых содержатся и в материалах следствия по делу о тайных обществах: в восстании 14 декабря оказался замешан Михаил Петрович Малютин, сын генерала, подпоручик гвардейского Измайловского полка. В показаниях Следственной комиссии Малютин-младший утверждал, что к тайному обществу не принадлежал. Однако «накануне происшествия, быв у дяди моего (здесь и далее курсив наш. — А. Г., О. К.) Рылеева», услышал от него просьбу не присягать Николаю I и отговаривать солдат от этой присяги. В день восстания подпоручик пытался действовать в соответствии с этими словами, «будучи уверен в истине слов того, которому я привык слепо повиноваться, да и могли я предполагать, чтобы человек, обязанный семейством, для достижения своей цели захотел пожертвовать собою или племянником»^[55].

Таким образом, из приведенных свидетельств можно сделать однозначный вывод: Петр Малютин и Кондратий Рылеев были братьями. При этом Анастасия Матвеевна матерью Малютина быть не могла: в письмах она обращалась к Малютину не как к сыну, уважительно называя его «Петром Федоровичем». Зато именно своим родственником официально именовал Малютина Федор Рылеев. Скорее всего, подобно дочери Анне, Малютин был его побочным, незаконнорожденным ребенком.

Согласно формулярному списку, Малютин родился в 1773 году; по другим данным — в 1771-м^[56]. Несмотря на то, что первые годы его жизни и службы прошли в царствование Екатерины II, брат Рылеева — человек Павловской эпохи. С детства он служил в гатчинских войсках цесаревича Павла Петровича, воспитывался среди тех, кого впоследствии называли «опричниками» павловского царствования^[57]. Характеризуя гатчинцев, екатерининский гвардеец князь Алексей Щербатов утверждал: «Офицеры сего войска вообще были без всякого образования и воспитания, многие, выгоняемые из полков армии и не находя нигде места, являлись в Гатчину, где принимаемы были без затруднения, из сего можно судить, каков был корпус сих офицеров». Аналогичную оценку дал гатчинцам и Филипп Вигель: «Это были по большей части люди грубые, совсем необразованные, сор нашей армии: выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, эти люди находили убежище в гатчинских батальонах и там, добровольно обратясь в машины, без всякого неудовольствия переносили всякий день от наследника брань, а может быть, иногда и побои»^[58].

Отзывы о гатчинцах как о людях «низкого» происхождения, плохо образованных, жестоких, можно найти во многих других документах

эпохи. Скорее всего, эти оценки преувеличены; не исключено, что подобные слухи специально распространялись Екатериной II, не любившей и боявшейся сына-наследника.

Однако в какой-то мере отзывы эти отражали реальную ситуацию: тяжелейшая служба, каждодневная многочасовая муштра, мизерное жалование, а также тот факт, что войска цесаревича не были официально признаны Екатериной в качестве действующих воинских частей, развивали в офицерах ощущение своей маргинальности в военном мире. Но, с другой стороны, для многих гатчинцев служба при цесаревиче Павле была единственным способом выйти в люди. И если бы Малютин не попал в Гатчину, ему пришлось бы мириться с незавидной участью незаконнорожденного, не имевшего практически никаких карьерных перспектив.

Побочный сын Федора Рылеева начинал службу, подобно отцу, с нижних чинов. В октябре 1785 года, двенадцати лет от роду, он стал капралом. Нет сведений о том, что делал Малютин первые два с половиной года службы. Возможно, он учился в одной из гарнизонных школ, основанных еще в 1721 году для солдатских детей и сирот, или служил в строю. Зато точно известно, что числился Малютин во 2-м флотском батальоне — одной из частей, которые подчинялись цесаревичу Павлу как генерал-адмиралу и входили в состав гатчинских войск. С 1 января 1788 года Малютин уже официально состоял «в службе его высочества». В мае он получил офицерский чин подпоручика. В 1788, 1789 и 1790 годах Малютин участвовал «в кампании в Балтийском море и находился против шведов в сражениях». После окончания войны со шведами в жизни Малютина происходит крутой перелом. В 1792 году он стал поручиком, в 1793-м — капитаном и практически сразу же секунд-майором^{59}. Именно в начале 1790-х годов Павел заметил Малютина и приблизил к себе. Современник вспоминает: «В фронтовом деле он был величайший мастер; за то всё ему прощалось»^{60}. Подобного рода таланты наследник престола весьма ценил.

Можно утверждать, что Малютин умел ладить не только с Павлом, но и со всеми сослуживцами. Например, с конца 1793 года по 1795-й он служил в батальоне, которым командовал премьер-майор Федор Эртель, сделавший впоследствии незаурядную полицейскую карьеру. Эртель любил Малютина и продвигал по службе. Доверял ему и Алексей Аракчеев — впоследствии грозный «временщик» александровского царствования, в 1790-х годах игравший в Гатчине одну из ключевых ролей. Будучи

инспектором гатчинской пехоты, Аракчеев отдал, например, следующий приказ: «Во время отсутствия моего из Гатчины иметь смотрение вместо меня за всем майору Малютину, к которому и подавать рапорт плац-адъютанту»^{61}.

*

Малютин стал командиром сформированного в начале 1796 года 5-го мушкетерского батальона — сделал блестящую (по гатчинским меркам) карьеру. Стоит учесть, что другими пехотными батальонами в Гатчине командовали, помимо упоминавшихся выше Эртеля и Аракчеева, сам цесаревич Павел и его сыновья Александр и Константин^{62}.

Шестого ноября 1796 года цесаревич Павел стал императором Павлом I. На Малютина, как и на большинство других гатчинских офицеров, буквально пролился золотой дождь. Безвестный секунд-майор стал одной из ключевых фигур в гвардейской иерархии. 9 ноября он получил чин подполковника и вместе со своим батальоном перевелся в лейб-гвардии Измайловский полк, а на следующий день вместе со всем гатчинским войском торжественно вступил в столицу. Князь Щербатов вспоминал, что явление гатчинцев вызвало шок среди гвардейских полков, «наполненных офицерами из первейших фамилий российского только дворянства, хорошо образованных и составляющих по большей части лучшее общество и даже двор императрицы Екатерины». «Сии пришлецы, которые навсегда сохранили название гатчинских офицеров, никогда не смешивались с нами; но они были нашими учителями», — констатировал Щербатов^{63}.

Четвертого декабря последовал императорский указ о награждении близких новому императору людей, в том числе и гатчинцев, землями и крепостными «душами». Подполковнику Петру Малютину «в вечное и потомственное владение» была пожалована тысяча крепостных; к отдаче были назначены «Санкт-Петербургской губернии Рождественского уезда Дворцовой Рождественской волости деревни: Ляды, Дамищи, Грязны, Выри, Замостье, Поддубье, Новый Сиверск и Старый Сиверск, да в Батове двенадцать [душ]»^{64}.

Двадцать восьмого декабря 1796 года Малютин был произведен в полковники, через год стал генерал-майором. 3 июня 1799 года 26-летний генерал становится командиром лейб-гвардии Измайловского полка^{65}, еще полгода спустя — генерал-лейтенантом. К январю 1801-го он —

кавалер двух орденов, Святой Анны 1-й степени и Святого Иоанна Иерусалимского. Иными словами, к началу нового века у Малютина было всё; молодость, богатство, императорская милость, положение в свете — и, соответственно, почти неограниченные возможности.

После смерти Павла I и воцарения Александра I карьера генерала не прервалась. При новом государе Малютин возглавлял Украинскую пехотную инспекцию, то есть начальствовал над всеми расположенными на Украине пехотными частями. Сохраняя должность командира Измайловского полка, он командовал крупными войсковыми соединениями под Аустерлицем (1805) и Фридландом (1807); за участие в этих сражениях получил «императорские благоволения». 20 мая 1808 года он был награжден орденом Святого Георгия 3-го класса — «в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в сражении против французских войск» при Гейльсберге и Фридланде, «где поступал с отменной неустрашимостью и подавал собою пример подчиненным»^[66].

Филипп Вигель вспоминал, что среди гатчинцев были «чрезвычайно злые» люди, но тут же оговаривался, что эта характеристика не касалась Малютина, с которым мемуарист был знаком. Внезапное возвышение не сделало генерала ни жестоким, ни надменным: Вигель запомнил его как «доброе малое», «с благоговением и стыдом» принимавшего рапорты по службе от увенчанных лаврами екатерининских генералов^[67].

Малютин был благодарным и верным человеком, и об этом знали все окружавшие его люди. Недаром в марте 1801 года, когда гвардейские заговорщики решили убить императора Павла, одной из первоочередных их задач была нейтрализация командира измайловцев. Ибо никто из них не сомневался, что генерал императора не предаст и на сторону заговорщиков не встанет. По одной из версий, накануне цареубийства Малютин был арестован, по другой — его просто напоили^[68].

Но, судя по замечаниям мемуаристов, интеллектуальные запросы генерала были минимальными: время, свободное от службы, он использовал единственным доступным ему способом — кутил. Причем кутежи Малютина, о которых в обществе ходили легенды, совсем не были похожи на загулы его отца Федора Рылеева — тот при всей своей «гульливости» сумел только промотать небольшое отцовское наследство. Так, Вигель писал, что генерал был «гуляка, великий друг роскоши и всяких увеселений, который имел особенное искусство придавать щеголеватость даже безобразному тогдашнему военному костюму». В свете распространялись слухи о том, что накануне цареубийства 11 марта

заговорщики напоили Малютина «пьянее обыкновенного» — и в итоге он «пропил своего благодетеля»^{69}.

«Увеселения» генерала не закончились со смертью Павла — напротив, приняли масштабный характер. Павел Петрович, как известно, кутежей не любил, а Александр Павлович, соратник Малютина по службе в Гатчине, относился к ним спокойно. Степан Жихарев писал: «Генерал-лейтенант Малютин и шеф лейб-гусарского полка Андрей Семенович Кологривов были известные гуляки. В тогдaшнее время о них говорили: “Кто у Малютина пообедает, а у Кологривова поужинает и к утру не умрет, тот два века проживет”»^{70}.

Жихареву вторил Фаддей Булгарин, знаменитый журналист и агент тайной полиции: «Генерал Малютин, командовавший Измайловским полком, отличался в Петербурге старинным русским хлебосольством, молодечеством и удалством. В Измайловском полку были лучшие песенники и плясуны, и как тогда был обычай держать собственные катера, то малютинский катер был знаменит в Петербурге своим роскошным убранством и удалыми гребцами-песенниками. Вот образчик тогдaшней жизни. Осенью 1806 года, в пять часов пополудни, отправился я в Измайловские казармы, чтобы навестить, по обещанию, поручика Бибикова. На половине Вознесенского проспекта услышал я звуки русской песни и музыки. У Измайловского моста я нашел такие густые толпы народа, что должен был слезть с дрожек и пробираться пешком. Что же я тут увидел! Возле моста, на Фонтанке, стоял катер генерала Малютина. Он сидел в нем с дамами и несколькими мужчинами, а на мосту находились полковые песенники и музыканты, и почти все офицеры Измайловского полка, в шинелях и фуражках, с трубками в зубах. Хоры песенников, т. е. гребцы и полковой хор, то сменялись, то пели вместе, а музыканты играли в промежутки. Шампанское лилось рекой в пивные стаканы, и громогласное “ура!” раздавалось под открытым небом. В самое это время государь император подъехал, на дрожках, с набережной Фонтанки, шагов за пятьдесят от толпы народа, и спросил у полицейского офицера: “Что это значит?” — “Генерал Малютин гулять изволит!” — отвечал полицейский офицер, и государь император приказал поворотить лошадь и удалился. Тогда это вовсе не казалось странным, необыкновенным или неприличным. Другие времена, другие нравы! Разумеется, меня схватили под руки и заставили вместе пировать. Часов в восемь вечера, в темноте, почти все мы отправились на катерах, украшенных разноцветными фонарями, на Крестовский остров, с песенниками и музыкой, где на даче, занимаемой

генералом Малютиным только для прогулок, приготовлен был ужин. Мы возвратились домой утром»^{71}.

Кутежи, разумеется, обходились дорого. Уже к 1802 году из тысячи подаренных Павлом душ у Малютина осталось 609. С 1808 года кутить генералу стало еще труднее — он вышел в отставку, причины которой выяснить не удалось. А в августе 1817-го Кондратий Рылеев с прискорбием констатировал, что «Петр Федорович» «все деревни продал»^{72}.

Умер Малютин в 1820 году. Семья генерала к тому времени почти бедствовала.

Из отраженных в сохранившихся документах эпизодов жизни Малютина можно сделать вывод: он был добрым, храбрым и хлебосольным, но весьма недалеким человеком. Все эти качества генерала в полной мере проявились и в отношениях с семьей его отца. Вряд ли он желал своим родственникам зла — напротив, в отношениях с Рылеевыми он проявлял заботливость и щедрость. Однако со стороны его щедрость выглядела весьма своеобразно.

По хозяйственным документам Малютина первой половины 1800 года можно сделать вывод, что Федор Андреевич служил у сына управляющим. Сохранились четыре письма Рылеева на имя некоего «священного иерея Петра Ивановича» с однотипным содержанием. Рылеев — согласно «полномочию», данному ему «родственником», — просит «законным браком совокупить» желающих вступить в супружество крестьян из принадлежащих Малютину деревень^{73}.

Федор Андреевич исполнял обязанности управляющего не только у Малютина, но и у своей жены Анастасии Матвеевны. В частности, когда в 1802—1803 годах в одном из ближайших к Батову сел реставрировали местную церковь, то «по доверенности г-на Малютина и госпожи Рылеевой от мужа ее, господина подполковника Федора Андреевича Рылеева, для оцекотурирования оной церкви» было получено «известки 37 бочек»^{74}.

«Женщина добродетельная» сблизилась с Малютиным настолько, что их отношения вышли далеко за рамки светских приличий. Скандальным было дарение Батова именно Анастасии Матвеевне, в обход ее мужа. И этот факт вряд ли был случайным: в 1815—1816 годах письма матери Кондратий Рылеев будет пересылать в Петербург на имя генерала. Очевидно, что в это время Анастасия Матвеевна жила не в Батове, а в столичном доме Малютина, принимала от него денежные подарки и называла его не просто «благодетелем», но своим «другом»^{75}. Впоследствии она писала сыну, что муж не смог «обеспечить» ей

спокойствие, зато Малютин дал «кусочек хлеба»^{76}.

Скорее всего, именно связь «женщины добродетельной» с Малютиным стала причиной семейного разрыва Рылеевых. И именно вследствие этой связи ее сын попал в корпус в столь нежном возрасте. Но, даже учитывая всё это, вряд ли можно поверить, что отставной подполковник запирали жену в погреб — хотя бы потому, что упоминаемый мемуаристами погреб находился в Батове, а Рылеев-старший, согласно документам, там вообще не жил. Жил он в соседнем селении Даймище и оттуда исполнял обязанности управляющего. При первой же возможности он уехал в Киев и поселился в доме, который, очевидно, достался ему по наследству от родственника, ассессора Ромненской табачной конторы. В Киеве отец поэта принял должность управляющего имениями генерала Сергея Голицына. Но и здесь его ждали разочарования и неудачи. Наследники Голицына обвинили Рылеева в плохом управлении имениями, в «неотдаче будто бы им отчета с управления их имениями»^{77} и завели судебное дело. Суд наложил арест на киевский дом подполковника. Тяжба между Рылеевыми и Голицыными тянулась до 1838 года, когда Голицыны окончательно отказались от своих претензий. Дом остался в собственности внушки Федора Рылеева Анастасии Кондратьевны.

Уехав в Киев, Федор Андреевич никогда больше не видел ни жену, ни детей, лишь изредка обменивался письмами с Анастасией Матвеевной. Долгое время считалось, что отец поэта умер в 1814 году. Однако недавно были опубликованы документы, из которых следует, что смерть его наступила 13 сентября 1813-го. Похоронен он был «при Никольской, что при Аскольдовой могиле, церкви». Личные вещи отставного подполковника были после его смерти проданы с публичного торга — за них следовало получить 136 рублей 55 копеек. Но покупатели — дворяне Милковский и Глоговский, а также солдат Рожков — оказались несостоятельными: вещи взяли, а деньги долго не выплачивали. По этому поводу в киевском суде тоже велось производство. Кроме того, при оценке вещей пропали два фрака и столовое белье. По факту их пропажи было заведено особое дело^{78}.

Малютин, в отличие от отца, всегда помогал единокровному брату и деньгами, и советами. Когда Рылеев задумал жениться, благословение он испрашивал у матери и брата. 13 октября 1818 года он писал матери: «Прошу вас, дражайшая родительница, по долгу христианскому, прислать мне образ со своим благословением. Надеюсь также, что благодетель наш, Петр Федорович, не откажет в сем случае заступить место родителя,

которого и прежде я всегда видел в нем»^{79}. Скорее всего, забота Малютина о младшем брате была продиктована чувством вины.

Судя по письмам и мемуарам, Рылеев относился к брату потребительски. Узнав в 1815 году о тяжелой болезни Малютина, он писал: «Нет, нет! Он не умрет, он будет жить — он будет жить для блага, для счастья невинных детей своих, для оживления нас бедных! О дражайшая матушка! Неужели Бог не слышит те ежедневные, пламенные моления, сопровождаемые током слез, которые я ежедневно воссылаю к нему!» Но в том же письме после сетований о болезни «благодетеля» выражается желание служить «адъютантом при генерале Беннигсене»: «Я надеюсь, находясь при нем, не только составить свое счастье, но и почерпнуть много полезного для рода службы, в который себя посвятил». При этом Рылеев «осмеливается просить» умирающего брата об этом переводе и добавляет, что «надобно поспешить, ибо теперь время дорого»^{80}.

Вряд ли семейная трагедия способствовала развитию в Рылееве бескорыстной любви к людям. Скорее, это был первый урок житейской прагматики. Как и его брат, Рылеев с раннего детства сам пробивал себе дорогу в жизни. Однако биография Петра Малютина доказывала: главное для будущей карьеры — это выбор покровителя. Если этот выбор будет удачным, а стечение обстоятельств счастливым, карьера может быть головокружительной, такой, которой позавидуют многие аристократы.

В одном из ранних писем отцу, от 7 декабря 1812 года, семнадцатилетний Рылеев признавался, что «сердце» подсказывало ему: «Иди смело, презирай все несчастья, все бедствия, и если оные постигнут тебя, то переноси их с истинной твердостью, и ты будешь героем, получишь мученический венец и вознесешься превыше человеков»^{81}. Конечно, строки эти продиктованы традиционным для молодых людей начала XIX века наполеонизмом. Однако нельзя не признать, что живой пример вознесения «превыше человеков» будущий поэт видел рядом с собой, в близком родственнике.

Подобные идеи волновали Рылеева и впоследствии. Чем бы он ни занимался — служил ли в военной службе, писал ли стихи, издавал ли альманахи или участвовал в политическом заговоре — везде он стремился стать первым, подчинить себе «толпу». «Я хочу прочной славы, не даром, но за дело... а мнением подлого мира всегда пренебрегал», — утверждал он в одном из позднейших писем Фаддею Булгарину. Его сослуживец — автор мемуаров, чье имя не сохранила история, — замечал: Рылеев относился к своим товарищам с большой долей презрения и был убежден,

что «имя» его «займет в истории несколько страниц»^[82].

Впрочем, характером Рылеев сильно отличался от Малютина. Он не обладал выдержкой и терпением старшего брата и не был способен тратить на приобретение «славы» многие годы. Выпущенный из кадетского корпуса в 1813 году, в 1818-м он бросил службу. Причину отставки Рылеев объяснял матери следующим образом: «И так уже много прошло времени в службе, которая никакой не принесла мне пользы, да и вперед не предвидится, ибо с моим характером я вовсе для нее не способен. Для нынешней службы нужны подлецы, а я, к счастью, не могу им быть и по тому самому ничего не выиграю»^[83]. По-видимому, «нынешняя» служба сравнивается Рылеевым с «прошлой», принесшей «пользу» его старшему брату. Не последней причиной отставки были, по-видимому, и насмешки товарищей, не хотевших признавать в Рылееве великого человека и не видевших в нем ничего, кроме «излишней спеси, самолюбия и неправды в речах»^[84].

Рылеев, в отличие от брата, был начитан и умен. Он быстро понял, что Александровская эпоха разительно отличается от Павловской. Малютину просто повезло — его заметил и приблизил к себе наследник престола, Рылеев же, не ожидая подобного везения, всю жизнь подыскивал себе подходящих покровителей. В начале карьеры Рылееву покровительствовал Малютин, после окончания корпуса молодой офицер оказался «благодетельствованным» другим родственником, генералом Михаилом Рылеевым. В начале 1820-х годов покровителем поэта стал князь Александр Голицын, впоследствии — адмирал Николай Мордвинов. И если раньше почти всё мог решить «случай», то теперь важнейшим способом добывания «славы» стали деньги — судя по письмам и делам Рылеева, эту истину он усвоил очень хорошо^[85].

Так, в упомянутом письме отцу от 7 декабря 1812 года вслед за возвышенными размышлениями о славе, любви к монарху, «храбрости на поле славы» Рылеев пишет: «Вам небезызвестно, что ужасная ныне дороговизна на все вообще вещи, почему нужны и деньги, сообразные нынешним обстоятельствам», — и выставляет родителю достаточно крупный счет. Перечисляя необходимое обмундирование, Рылеев отмечает, что его покупка требует «по крайней мере, тысячи полторы; да с собою взять рублей до пятисот, а то придется ехать ни с чем», — и добавляет: «Надеюсь, что виновник бытия моего не заставит долго дожидаться ответа и пришлет нужные деньги к маю месяцу; также прошу прислать мне при первом письме рублей 50, дабы нанять мне учителя биться на саблях»^[86].

Очевидно, кадету казалось, что возвышенные размышления о службе монарху и о военной храбрости тронут сердце екатерининского подполковника и он выделит требуемую сумму. Однако его надежды не оправдались: отец не без оснований заподозрил сына в коварстве и в письме от 30 апреля 1813 года объяснял ему, что человеку следует изъясняться «собственными его, а не чужими либо выученными словами». Федор Андреевич писал, что «человек делает сам себя почти отвратительным, когда говорит о сердце и обнаруживает при том, что [оно] наполнено чужими умозаключениями, натянутыми и несвязными выражениями, и что всего гнуснее, то для того и повторяет о сердечных чувствованиях часто, что сердце его занято одними деньгами». Жене же он советовал преподавать сыну «наставления», «дабы он, выходя на поприще света, главным поставлял себе правилом в пылких его пожеланиях иметь воздержность, а в снабжении и содержании себя умеренность — полезные как для него самого, так и для нас, родителей»^{87}.

Когда Рылеев понял, что от отца денег получить не удастся, он стал просить их у матери — и на этот раз достиг успеха. По-видимому, «женщина добродетельная» остро чувствовала вину перед сыном и потому не жалела средств для его обеспечения. Сослуживец утверждал, что Рылеев — страстный, но неудачливый картежник — именно у матери добывал деньги для уплаты долгов. Кроме того, Анастасия Матвеевна «ежегодно присылала из Петербурга всю новую офицерскую обмундировку, а чрез год или как потребует присылала ему по полдюжины серебряных ложек, столовых и чайных. Но любимый сынок не умел ценить любви матери своей: к концу года и иногда и прежде у Рылеева не оставалось ничего, и снова обращался к матери, уверяя, что его обокрали»^{88}.

По-видимому, это свидетельство вполне достоверно; сохранившиеся письма Рылеева матери вполне подтверждают его. 10 августа 1817 года он требует: «Сделайте милость, пришлите из С.-Петербурга сукон: черного мне нужно на мундир, панталоны и сюртук, всего восемь аршин; из них четыре аршина купите лучшего; серого сукна нужно четыре аршина; сверх того необходимо нужно мне одна пара эполет с 11-м номером и шарф, который у меня всё еще тот же, который куплен мне при моем выпуске». В конце года требования эти оказываются обращенными не только к матери, но и к Малютину: «Знаю, сколь сие вас опечалит, но делать нечего: обстоятельства и судьба расположили так. Прибегните с просьбою к Петру Федоровичу, если сами не в состоянии; он сам увидит нашу необходимость и поможет, а мы, с помощью Божию, со временем отблагодарим его»^{89}.

Впрочем, 18 июля 1818 года, решив не шить нового обмундирования, а выйти в отставку, сын пишет матери, что «должен товарищам» 300 рублей и что его «обокрали под Мценском». Он просит прислать ему «хотя 500 р., а равно и сукон, дабы я мог одеться по-цивильному, ибо я уже не намерен обмундироваться по-военному»^[90]. Подобные примеры можно множить.

В середине 1810-х годов финансовое положение Малютина оказалось критическим, и Анастасия Матвеевна заложила Батово — иными способами удовлетворять запросы сына она не могла. «Деревня в закладе, тебе известно, что я насилу могу проценты платить, и то с помощью друга моего, Петра Федоровича», — сообщает она сыну в 1817 году^[91]. Но его денежные и имущественные искательства не закончились. Уже выйдя в отставку, женившись и переехав жить в столицу, он просит «маменьку» прислать ему «на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за всё платить деньги»^[92].

Однако Рылеев отличался от Малютина не только страстью к деньгам — он был поэтом. Лирическая и прагматическая стихии в его характере составляли единое целое. Первая из них приведет его несколько лет спустя в большую литературу, вторая же сделает организатором коммерческой журналистики, удачливым финансистом, правителем дел Российско-американской компании, а впоследствии — лидером тайного общества и организатором восстания 14 декабря 1825 года.

«Всех прелестей собор»

Среди юношеских произведений Рылеева есть стихотворное послание, которое называется «В альбом ее превосходительству К. И. М-ной»:

Ты желаешь непременно,
Написал чтобы я стих?
Как могу я, дерзновенный,
Быть певцом доброт твоих?
Мне ль представить то достойно,
Что в себе вмещаешь ты?
Мне ль изобразить пристойно
Милой образ красоты?
Кудри волнами, небрежно,
Из глаз черных быстрый взор,
Колебание груди снежной
И всех прелестей собор?
Сам Державин, дивный, чудный,
Вряд бы то изобразил;
Мне же слишком, слишком трудно
И — превыше моих сил!

Исследователи давно установили, что адресатом послания была жена генерала Малютина Екатерина Ивановна (1783— 1869). Стихотворение, как установлено, написано между 1816 и 1818 годами^[93].

Послание пронизано иронией — начиная с несоответствия заглавия, подчеркнуто официального («в альбом ее превосходительству»), и подчеркнуто же неофициального описания «прелестей» адресата. При первом знакомстве со стихотворением обращает на себя внимание чересчур вольное описание юным поэтом внешности жены генерал-лейтенанта. «Доброты» Екатерины Малютиной, «колебание» «груди снежной» ставили исследователей в тупик. Они пытались объяснить эту вольность особой формой стихотворения. Согласно их мнениям, оно «выдержано в стиле мадригала с условным описанием “прелестей” воспеваемой», Малютина изображена в нем «в типично мадригальной манере жгучей красавицы»^[94]. Но, даже учитывая мадригальную форму, подобное обращение к жене

здравствующего на тот момент брата и «благодетеля» выглядит странным.

Происхождение и биография Екатерины Малютиной исследованы еще меньше, чем происхождение и биография ее мужа; в данном случае приходится довольствоваться по преимуществу предположениями. Однако предположения эти подкрепляются документами, что и дает им право на существование.

Некоторую информацию можно почерпнуть из адресных книг 1820-х годов. Согласно «Указателю жилищ и зданий в Санкт-Петербурге» на 1823 год, изданному Самуилом Адлером (цензурное разрешение было получено 27 апреля 1822-го), некий «биржевой маклер» Гейнрих Израель владел в столице двумя домами в Васильевской части: под номером 627 «по 15 линии и Большому проспекту» и под номером 610 «по четырнадцатой линии»^[95].

О купце Израеле известно крайне мало. Согласно справочнику А. И. Серкова «Русское масонство», Иоганн Гейнрих Август Израель, уроженец Франкфурта-на-Одере, лютеранин, состоял членом масонской ложи Урании, которой руководил известный литератор XVIII века Владимир Лукин и которую посещал Николай Новиков. По-видимому, Израель был человек со связями, светскими и литературными. Можно сделать точный вывод о знакомстве Рылеева с семейством купца: в 1820-х годах поэт брал у кого-то из его представителей деньги в долг^[96].

В 1824 году вышел еще один указатель Адлера, дополняющий первый (цензурное разрешение — 7 января 1824 года). В нем дом 627 уже числится принадлежащим «Малютиной Катерине, генерал-лейтенантше». Этот дом впоследствии будет постоянно фигурировать в официальных бумагах Екатерины Ивановны. Малютина писала, что он принадлежит «собственно ей» и в октябре 1823 года заложен в Опекунский совет. Этот же дом как ее собственность упоминается во многих позднейших документах и адресных указателях^[97].

Между тем после смерти Петра Малютина в сентябре 1820 года его жена и дети остались «в совершенно скудном состоянии». Уже через месяц, в ноябре, вдова генерала просила императрицу Елизавету Алексеевну принять на свой счет содержание ее дочерей Екатерины и Любови в частном пансионе «девицы Неймейстер» — поскольку не имела средств «не токмо продолжать воспитание дочерей... в помянутом пансионе собственным своим иждивением, но даже и доставлять им безнуж[д]ное содержание». В удовлетворении просьбы, однако, было отказано, поскольку императрица находилась в ссоре с содержательницей пансиона и

решила «не иметь более в том пансионе своих воспитанниц»^{198}. Конечно же в подобной ситуации речь о покупке дома в столице идти просто не могла.

Вывод может быть только один: дом Израеля достался Малютиной по наследству, а значит, «биржевой маклер» (скончавшийся, по-видимому, как раз между выходом в свет первого и второго указателей Аллера) был ее родственником — скорее всего, отцом.

На основании второго указателя Аллера можно сделать вывод и о том, что Малютина была не единственной наследницей купца. У нее был родной брат, «ревельский купец 3 гильдии» Андрей Иванович Израель. Именно к нему перешел в собственность второй дом Иоганна Гейнриха Израеля, под номером 610.^{199} Наверняка отец дал своим детям неплохое образование и постарался через свои светские знакомства устроить их судьбу.

Естественно, генеральша Малютина о своем происхождении вспоминать не любила, в документах никогда свою девичью фамилию не упоминала, а напротив, всегда подчеркивала «благопристойность» собственного «знатного звания»^{100}.

*

Исследователь В. Нечаев сообщал: у генерала Малютина было «пять человек детей, прижитых до брака»^{101}. На чем основывался исследователь в своих утверждениях, установить не удалось, но косвенные подтверждения этому найти всё же можно.

Известно, что Михаилу Малютину, старшему сыну генерала, участнику событий на Сенатской площади, ко времени восстания было 22 года, а следовательно, родился он в 1803-м. Известно также, что в 1808 году у Малютиных родилась Екатерина (не вышедшая замуж), а в 1809-м — Любовь (в замужестве Титова)^{102}. Но только с декабря 1812 года Екатерина Ивановна начинает упоминаться в семейной переписке как жена генерала^{103}.

Всего же, согласно документам, у Малютиных было восемь детей. Кроме троих вышеназванных, известны Петр, Надежда (в замужестве Волжина) и Вера (умерла в раннем детстве, простудившись во время знаменитого наводнения 7 ноября 1824 года). Младшим ребенком в семье был, по-видимому, Николай, родившийся уже после смерти отца, в 1821 году. Он учился в Пажеском корпусе, с 1836 года находился на

действительной военной службе и в 1866-м вышел в отставку с чином майора интендантской службы^{104}. Сведений еще об одном ребенке генерала обнаружить не удалось.

Рылеев был знаком с Екатериной Малютиной еще с детских лет. Естественно, поначалу их отношения не могли быть ни дружескими, ни деловыми: Екатерина Ивановна была старше его на 12 лет. Впоследствии, когда Рылеев вырос, окончил кадетский корпус и поступил на службу, отношения эти приняли характер легкого флирта, о чем свидетельствует процитированное выше послание.

После отставки Рыльева и возвращения его в столицу между ними возникли финансовые дела. В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) хранятся письма Малютиной Рылееву 1820-х годов, написанные после смерти мужа — точнее определить время их написания не представляется возможным. Фрагменты их были опубликованы в 1925 году в журнале «Былое»^{105}. Из текстов писем следует, что Рылеев ведал большинством хозяйственных дел Малютиной. Так, в одном из писем она просит: «...столяру что-нибудь заплатить. Он сделал дверь, которая стоит 18 рублей, да 4 рамы зимние 12 рублей, а кроме того, что он теперь в нужде работает, так как вы сами видели это, приходится 30 рублей. Я уверена, что вы отдадите также обещанные вами мне на салоп 300 рублей». В другом письме содержится просьба выдать 10 рублей на «расходы в доме», в третьем — «дать на дорогу денег 100 рублей» сыну Михаилу, офицеру лейб-гвардии Измайловского полка^{106}.

Финансовые отношения связывали Рыльева и со старшими детьми Малютиной. Михаил Малютин обращался к «маменьке»: «...не можете ли у Конд[ратия] Федоровича] или где-нибудь достать 20-ть или 25 рублей... Первый батальон делает завтра обед полков[нику] Девиtte и складываются по 25 рублей. Я не знаю, где и взять денег, а сегодня надо отдать». Это письмо Малютина переправила Рылееву, снабдив собственной припиской: «Миленький К[ондратий] Федорович], не можете ли мне дать 25 рублей на короткое время. Мишечке должен Семенов и скоро отдаст. Я не замедлю»^{107}.

С аналогичной просьбой к Рылееву обращается и старшая дочь Малютиной Екатерина: «Любезный дядюшка, Кондратий Федорович! Маминька Вас просит, не можете ли Вы прислать 25 рублей. Она бы Вас, верно, не стала беспокоить, если бы не крайность... Целую Вас мысленно и остаюсь любящая Вас племянница К. Малютина»^{108}. По-видимому, Рылеев оплачивал большинство счетов Екатерины Ивановны и ее детей,

буквально содержал на свои деньги семью брата. Но, с другой стороны, в 1824 году Малютина дала ему в долг деньги на похороны матери^{109}.

В архиве сохранилось еще одно письмо Екатерины Ивановны Рылееву, свидетельствующее не только о финансовых, но и о любовных отношениях между ними. Тема письма — «страсть» Малютиной и ревность узнавшей о ней жены поэта Натальи Михайловны: «Любезный друг Кондратий Федорович, верите, я так хохочу, что не могу вспомнить Наталью Михайловну, я теперь боюсь огорчить ее своим приходом. Неужели серьезно? Я не верю! Только она так была для меня удивительна в последний раз, что легко можно узнать причину ее гнева. Теперь Вы сидите дома. Мосты сняты. Постарайтесь ее успокоить и уверить. Прощайте. Чем более нас будут ревновать, тем более наша страсть увеличится, и любить тебя ничто не в силах запретить. К. Малютина. Желательно — чтоб она сие прочла, тогда бы более уверилась»^{110}.

Письмо это написано в 1824 или 1825 году, поскольку Малютина пишет, что не может встретиться с Рылеевым, так как «мосты сняты». Однако известно, что в начале 1820-х годов Рылеев снимал квартиру на Васильевском острове и там же жила Малютина; следовательно, снятые мосты не могли быть препятствием для их встреч. В 1824 году Рылеев, ставший правителем дел Российско-американской компании, переехал в дом компании на Мойке и осеннее общение с обитателями Васильевского острова для него действительно стало затруднительным.

Последнее упоминание Рылеева о жене «благодетеля» относится к ночи накануне казни: в предсмертном письме поэт просил супругу «кланяться» «Катерине Ивановне и детям ее». «Скажи, чтобы они не роптали на меня за М[ихаила] Щетровича]: не я его вовлек в общую беду: он сам это подтвердит», — писал поэт^{111}.

*

Удивительным образом отношения Рылеева с Малютиной оказались переплетены с историей русской журналистики.

Как известно, Рылеев вместе со своим другом Александром Бестужевым издавал альманах «Полярная звезда». Первые выпуски — 1823 и 1824 годов — выходили по уже давно принятой в русской журналистике схеме. У альманаха был издатель — купец и книготорговец Иван Слёнин, который вкладывал деньги. Естественно, что именно он получал прибыль

от продажи, часть которой отдавал Рылееву и Бестужеву в качестве вознаграждения.

В начале 1824 года, сразу после выхода второй книжки альманаха, у Рылеева и Бестужева произошла размолвка со Олениным, они решили отказаться от его услуг и начать самостоятельно издавать «Полярную звезду». Однако конкуренты стремились отобрать у альманаха его лучших авторов (подробнее об этом будет рассказано в третьей главе). Чтобы сохранить авторский состав альманаха, требовалось придумать нечто привлекательное, такое, чего не было ни в одном другом издании. Рылеев и Бестужев решили выплачивать авторские гонорары — и тем самым положили начало российской коммерческой журналистике.

Однако для осуществления этого решения требовалось много денег. Даже если не брать в расчет сумму, нужную для выплаты гонораров, издание альманаха стоило очень дорого. На бумагу для полного тиража, на типографские расходы, на изготовление оттисков виньеток и рисунков необходимо было около двух тысяч рублей ассигнациями, что превышало годовое жалованье штабс-капитана гвардии более чем в два раза^{112}.

У штабс-капитана Бестужева, адъютанта герцога Александра Вюртембергского, управлявшего ведомством путей сообщения, таких денег быть не могло, он жил только на жалованье. Его большая семья, состоявшая, кроме него самого, из матери, трех незамужних сестер и четверых братьев, один из которых был несовершеннолетним, остро нуждалась в деньгах^{113}. «Финансистом» «Полярной звезды» стал Рылеев, и его деятельность на этом поприще оказалась весьма успешной.

После смерти Петра Малютина Рылеев вместе с вдовой генерала был назначен опекуном его детей. Согласно закону задача опекунов состояла в том, чтобы «пещись о пользе и благосостоянии» малолетних, сохранять и приумножать их имущество до их совершеннолетия.

Впоследствии, когда Рылеев уже находился в тюрьме, Екатерина Малютина предъявила к нему финансовые претензии. Она писала письма в различные инстанции, утверждая, что тот не выполнил свои опекунские обязанности. Малютина, как следует из ее писем, полагалась на «услужливую вежливость» Рылеева, «верила во всё ему не как опекуну, а более как доброжелательному родственнику», «быв уверена в честности и благонадежности своего соопекуна, полагала, что собственность сирот соблюдается с выгодою; а о противном никогда и не воображала, чтобы он мог каким-либо образом польститься на обиду малолетних». Рылеев же, злоупотребив ее доверием, якобы оставил ее, «бедную вдову», и детей без

средств к существованию^{114}.

Судя по письмам Малютиной, ей открылись глаза на нечистоплотность Рылеева в декабре 1825 года, когда «премудрый государь, как по вдохновении свыше, поручил искоренить гнездящееся в столице сей зло и облегчить участь страждущих»^{115}. Однако «зло» обнаружилось и в самом семействе генеральши: был арестован ее сын. Поэтому, пишет Малютина, «в сие ужасное для меня время, быв удручена по известным начальству причинам тягчайшею печалию, не только не могла припомнить о делах и обязанности опекунши, но едва не пострадала из привязанности к сыну собственною жизнью, с которого времени ныне едва только начинаю приходить в себя и, побуждаясь долгом матери, обязанною нахожусь пецись о пользе и благосостоянии своих детей»^{116}. Следствием выхода Малютиной из состояния «тягчайшей печали» как раз и стало предъявление ею финансовых требований Рылееву

Суть дела состояла в следующем: еще в 1802 году Петр Малютин положил в Опекунский совет при Санкт-Петербургском воспитательном доме 12 тысяч рублей для обеспечения денежного иска, предъявленного кредиторами одному из его умерших приятелей. Среди функций опекунских советов, кроме заботы о сиротах и вдовах, были и банковские. Согласно екатерининскому указу 1772 года советы имели право принимать вклады для приращения процентами, специально для этих целей при них создавалась сохранная казна^{117}. Вложив деньги, Малютин получил свидетельства о их приеме — два шеститысячных билета^{118}, которые отдал в Надворный суд, где рассматривалось дело о денежном иске.

По закону деньги эти можно было в любое время обналичить (как тогда говорили, «разменять»)^{119}, что и сделал Рылеев, став опекуном детей Малютиных. 19 октября 1823 года он с согласия Малютиной забрал билеты из суда, а вместо них в обеспечение иска в Опекунский совет были заложены петербургский дом Екатерины Ивановны и имение Батово. Вследствие этой операции они получили, с учетом процентов, 17 140 рублей 36 копеек. Малютина утверждала, что все эти деньги Рылеев оставил у себя, а она и ее дети из вырученных сумм практически ничего не получили^{120}.

В России со времен Екатерины II существовали законы, регулировавшие подобные сделки. Для получения сумм из сохранной казны под залог недвижимого имущества вкладчику необходимо было представить в Опекунский совет особое свидетельство, в котором указывалось, что имение дворянина действительно состоит «в собственном

его владении», «спору на сие имение, никаких исков и запрещения нет» и оно «может служить благонадежным залогом при займе денег». Свидетельство это выдавалось палатой гражданского суда той губернии, в которой находилось имение, за подписью всех членов и печатью палаты. Однако такие свидетельства часто выдавались с нарушением законодательства. Сенат давал гражданским палатам регулярные предписания о «непременном и точном исполнении изданных на означенный предмет постановлений»^{121}, но сразу справиться со всеми нарушениями было сложно.

Этот недостаток заемной системы и использовал Рылеев. При операции с «разменом» билетов он совершил обычный подлог. Батово не могло быть заложено, поскольку он не владел им, «в 1823-м году не имел никакого недвижимого имения — а досталось таковое ему впоследствии уже времени по наследству после покойной его матери подполковницы А[настасии] М[ихайловны] Р[ылеевой], умершей 1824 года в июне месяце»^{122}. Естественно, ответственность за этот подлог должны были разделить с ним члены Санкт-Петербургской палаты гражданского суда, подписавшие заведомо ложный документ.

В момент заклада Рылеев тоже служил в Санкт-Петербургском суде, правда, в уголовной палате. Но тесная дружба связывала его с председателем гражданской палаты коллежским советником Дмитрием Гавриловичем Высочиным — об этом свидетельствует некролог Высочина, написанный Рылеевым. В некрологе сообщалось, что «сей почтенный гражданин» «в течение сорокапятiletней службы своей всегда отличался справедливостью, усердием и примерным бескорыстием». Однако вряд ли эту характеристику следует признать полностью достоверной. Ложное свидетельство о владении Батовым не могло быть выдано гражданской палатой без ведома ее председателя.

Высочин умер вскоре после выдачи этого свидетельства — некролог был напечатан в столичной ежедневной газете «Русский инвалид» в октябре 1823 года. Вполне возможно, что это был единственный в карьере «почтенного гражданина» случай ненадлежащего исполнения должностных обязанностей и что после его смерти действительно «осталось многочисленное семейство в совершенной бедности»^{123}. Нельзя исключить также, что именно осознание незаконности собственных действий и боязнь ответственности привели председателя палаты к скоропостижной смерти. Однако в любом случае смерть Высочина была на руку Рылееву, ибо позволяла предать забвению факт получения ложного

свидетельства. И, если бы не восстание на Сенатской площади и не претензии Малютиной, история с «разменом» билетов вообще никогда бы не всплыла.

Рылеев узнал о требованиях генеральши лишь в апреле 1826 года. До этого времени он вполне доброжелательно упоминает о Малютиной в тюремной переписке с женой, просит ее «засвидетельствовать» родственнице почтение. 13 апреля в письме жене — в ответ на ее сообщение о малютинских претензиях — появляется фраза: «Скажи Катерине Ивановне, чтобы она не беспокоилась, ей всё будет отдано с процентами»^{124}.

В его последующих письмах опять идет речь о Малютиной и ее деньгах, но историю с билетами Рылеев старательно обходит. Не упоминает он о ней и при ответе на официальный запрос следствия о состоящих под запрещением имениях подсудимых^{125}. У Рылеева были веские причины для молчания: если бы следствие заинтересовалось тонкостями этой операции, ему вполне могли быть предъявлены не только политические, но и уголовные обвинения. Согласно закону, «если кто из любителей явился в каком подлоге и обличен будет, тот имеет быть лишен имения, чести и чинов»^{126}.

Но показания об этом деле на следствии дал Михаил Малютин: «Дом моей матушки, находящийся на В[асильевском] о[строве] в 15 линии, заложен опекуном моим, отставным подпоручиком Рылеевым в 1823 году»^{127}. И 21 июня, меньше чем за месяц до казни, Рылеев был вынужден признаться в письме жене: «Упомянутые билеты по желанию Щатерины] Щвановны] выданы, один ей, а другой мне с наложением запрещения на ее и мое имение»^{128}.

Разбирательство по поводу долгов Рылеева надолго пережило его самого и стало серьезным препятствием на пути продажи Батова вдовой поэта. Ее представитель Федор Миллер сначала пытался доказать полную беспочвенность претензий Малютиной — на том основании, что Рылеев в 1823 году еще не владел имением. Однако документы однозначно противоречили его утверждениям, и он был вынужден признать участие Рылеева в операции по «размену» билетов. Впрочем, благодаря усилиям Миллера в 1827 году было решено признать за бывшим опекуном малолетних детей генерала лишь половину долга. Сумма в 8570 рублей 18 копеек была при продаже Батова вычтена в пользу Малютиной^{129}. Дворянская опека установила, что вторую часть суммы, полученной от «размена», присвоила себе Екатерина Малютина. Факт получения ложного

свидетельства на следствии вообще не был расследован.

В 1823 году, пускаясь вместе с Малютиной в аферу, Рылеев вряд ли собирался обманывать «бедную вдову» и ее детей. Конечно же он был уверен, что вскоре сумеет внести нужную сумму обратно в Опекунский совет, тем более что полгода спустя, 2 июня 1824 года, умерла мать Рылеева и перед ним открылись новые возможности по закладу в ломбард доставшегося по наследству имения. Уже в июле того же года Батово было снова заложено в тот же Опекунский совет на 24 года за 8400 рублей, причем на этот раз от имени покойной матери Рылеева^{130}. Причина использования ее имени предельно проста: закон запрещал владельцам дважды закладывать имение^{131}, а списки закладчиков публиковались в печати.

Действия по закладу имения позволили Рылееву располагать большой суммой наличных денег. Сейчас уже невозможно установить все статьи его расходов, но, скорее всего, именно из этих сумм были взяты деньги на издание альманаха.

*

В декабре 1824 года несколько столичных периодических изданий поместили объявление о выходе в свет очередной, третьей, книжки «Полярной звезды». Номер был отпечатан в марте 1825 года. Рылееву удалось реализовать их с Бестужевым идею — сделать журналистику прибыльной для авторов. Всем участникам альманаха были выплачены гонорары — по 100 рублей за страницу текста^{132}, что по тем временам в журналистике было событием экстраординарным.

Как известно, Рылеев и Бестужев планировали в 1826 году выпуск альманаха «Звездочка». По-видимому, на этот раз финансовое положение Рылеева не было столь плачевным и для получения денег на издание не нужно было заимствовать их у «бедной вдовы» и закладывать собственное имение.

Во-первых, альманах 1825 года оказался коммерчески выгодным. По свидетельству друга Рылеева Евгения Оболенского, «“Полярная звезда” имела огромный успех и вознаградила издателей не только за первоначальные издержки, но и доставила им чистой прибыли от 1500 до 2000 рублей»^{133}. Во-вторых, 16 апреля 1824 года Рылеев стал правителем дел Российско-американской компании — крупной коммерческой

организации, занимавшейся пушным промыслом в русских колониях в Америке. Назначение это серьезно укрепило финансовое положение издателя «Полярной звезды». Помимо жалованья в ноябре 1825 года компания предоставила правителю дел трехтысячный кредит. В счет будущих доходов он приобрел в долг менее чем за полцены у одного из директоров компании десять акций, чтобы иметь право голоса на собраниях акционеров^{134}.

Соответственно, гонорары авторам «Звездочки» — по сравнению с печатавшимися в «Полярной звезде» в 1825 году — планировалось увеличить. Когда Лев Пушкин, занимавшийся делами своего ссыльного брата Александра, потребовал за отрывок из «Евгения Онегина», предназначенный для «Звездочки», по пять рублей за строчку, Александр Бестужев сразу согласился и прибавил: «Ты промахнулся... не потребовав за строчку по червонцу... я бы тебе и эту цену дал, но только с условием: пропечатать нашу сделку в “Полярной звезде” (имеется в виду планируемая «Звездочка». — А. Г., О. К.) для того, чтоб знали все, с какою готовностью мы платим золотом за золотые стихи»^{135}. Отрывок этот — «Ночной разговор Татьяны с няней» — состоит из пятидесяти шести строк. Следовательно, Лев Пушкин просил для брата гонорар в 280 рублей — по тем временам очень большие деньги. Бестужев же был готов заплатить в два раза больше — 560 рублей.

Друзья рассчитывали в 1826 году начать издание собственного журнала, и вполне очевидно, что коммерческие проблемы с этим изданием у них вряд ли возникли бы.

«Ангел Наташенька»

О жене Рылеева Наталье Михайловне (1800—1853), урожденной Тевяшовой, сохранилось гораздо больше биографических сведений, чем о других родственниках поэта.

Она происходила из старинной дворянской семьи. Родители ее, отставной прапорщик Михаил Андреевич (1763—1822) и Матрена Михайловна, в девичестве Зубарева (7—1856), владели частью имения Подгорное Острогожского уезда Воронежской губернии. Кроме Натальи, в семье были еще старшая дочь Анастасия (в замужестве Коренева) и три брата: Алексей, Иван и Михаил^[136].

О том, как Рылеев познакомился с будущей супругой, существует немало воспоминаний и романтических подробностей. Так, его сослуживец рассказывает, что после возвращения из Заграничных походов их рота была расквартирована в местечке Белогорье Острогожского уезда. Естественно, офицеры общались с местными помещиками, и Рылеев завязал знакомство с Михаилом Тевяшовым, «человеком прошлого столетия времен Екатерины, преисполненного доброты сердца, но прожившего в глуши более 30 лет, с плохим здоровьем».

Согласно тому же мемуарному свидетельству, дочери помещика Тевяшова были «без всякого образования, даже не знали русской грамоты; между тем отец их имел весьма хорошее состояние. Управлением хозяйства ни он, ни жена-старушка не занимались, всё шло по воле мужика их Артамона, а они, доживая век свой, молились Богу!... Смотревши на семейство Тевяшовых, мы удивлялись и сердечно сожалели, что русский дворянин, хорошей фамилии, с состоянием, прослуживши в военной службе более 20 лет, мог отстать от современности до такой степени и не озаботился о воспитании двух дочерей. В ихнем кругу или обществе “Московские ведомости” читались по выходе в свет спустя две-три недели, а иногда и месяц, потому что выписывали их 4 или 5 помещиков, живших один от другого на весьма значительном расстоянии».

Следствием знакомства с Тевяшовым было решение Рылеева стать учителем его дочерей: «...постоянно занимался с каждой из учениц, постепенно раскрыл их способности; он требовал, чтобы объясняли ему прочитанное, и тем изоцрился память их; одним словом, в два года усиленных занятий обе дочери оказали большие успехи в чтении, грамматике, арифметике, истории и даже закону Божию, так что они могли

хвалиться своим образованием противу многих девиц соседей своих, гораздо богаче их состоянием»^{137}.

В итоге Рылеев влюбился в Наталью Тевяшову. В сентябре 1817 года он сообщал матери: «...посещая довольно часто живущего от Белогорья в 30 верстах доброго и почтенного помещика Михаила Андреевича Тевяшова и быв принят в доме почти как за родного, я имел приятные случаи видеть двух дочерей его, видеть — и узнать милые и добродетельнейшие их качества, а особливо младшей. Не будучи романистом, не стану описывать ее милую наружность, а изобразить же душевные ее качества почитаю себя весьма слабым; скажу только вам, что милая Наталия, воспитанная в доме своих родителей, под собственным их примером и не видевшая никогда большого света, имеет только тот порок, что не говорит по-французски. Ее невинность, доброта сердца, пленительная застенчивость и ум, обработанный самою природою и чтением нескольких отборных книг, в состоянии соделать счастье каждого, в ком только искра хоть добродетели осталась. Я люблю ее, любезнейшая матушка, и надеюсь, что любовь моя продолжится вечно... Итак, любезнейшая матушка, от вас зависит благословить сына вашего и, позволив ему выйти в отставку, заняться единственно вашим и милой Наталии счастьем»^{138}.

Но, как следует из писем и мемуаров, эту пылкую страсть не приветствовали ни родители Натальи, ни мать Рылеева; очевидно, далеко не сразу дал благословение на брак и «благодетель» Петр Малютин. Родственники жениха считали, что невеста бедна и ее содержание ему не под силу; родители невесты тоже выражали сомнение в его способности устроить судьбу их дочери. Впрочем, в июне 1818 года Рылеев получил долгожданное согласие матери на брак и писал ей: «Слезы текли из глаз моих, когда я читал письмо ваше, чувствовал всю цену советов ваших, рассуждал, испытывал себя, и наконец, чувствуя, что я буду несчастнейший человек, если не соединюсь с Наташей, — показал родителям ее ваше письмо. Кажется, они были довольны сим поступком. Спрашивали Наташу, и на другой день объявили мне ее и собственное свое согласие, с тем, однако, условием, чтобы я вышел в отставку»^{139}.

О том, каким образом произошло «решительное» объяснение жениха с родителями невесты, повествует Дмитрий Кропотков: «Старик, усадив его в кресла, благодарил за честь, оказанную его дому, но с тем вместе представил ряд препятствий, не допускавших этого союза. Рылеев ответил, что все эти препятствия уже были им предвидены, и, в свою очередь, развернул весь план устройства своей будущности. Старик, однако же, не

удовольствовался этим планом и присовокупил новые доводы, окончательно разрушавшие сладкие мечты влюбленного артиллериста. Наконец Рылеев встал, медленно поднялся и старик, полагавший, что дело уже окончено. “Я люблю вашу дочь, — снова начал Рылеев, — и решился не выходить из этой комнаты, не получив вашего согласия на наш брак...” — “Что вы хотите этим сказать?” — “Что я не выйду отсюда живой”. При этих словах Рылеев вынул из кармана пистолет. Кроткий и миролюбивый Тевяшов питал крайнее отвращение ко всякому оружию, особенно огнестрельному, и потому при виде пистолета бросился к Рылееву и схватил его за руку. “Да подумали ли вы о том, что если б я и согласился на ваш брак, то не могу же принудить к тому мою дочь”, — проговорил взволнованный старик... В эту минуту двери распахнулись, и любимая дочь с рыданиями бросилась на шею своего отца: “Папенька, отдайте за Кондратия Федоровича или в монастырь!” — и с этими словами упала без чувств. Старик, не ожидавший с этой стороны нападения, был застигнут врасплох. Сопротивляться долее взаимному влечению молодых людей едва ли ему было и возможно. Старик закрепил их чувства своим благословением»^[140].

И даже если опустить все эти романтические подробности, можно однозначно сказать, что в основе отношений Рылеева и его жены было сильное, страстное и взаимное чувство, отразившееся во многих стихотворениях поэта («Н. М. Тевяшовой», «Извинение перед Н. М. Т.», «Акростих», «Триолет Наташе» и др.).

В декабре 1818 года Рылеев вышел в отставку, 22 января 1819-го в Острогжске состоялась свадьба, а 23 мая 1820 года у Рылеевых родилась дочь Анастасия. Осенью того же года семья окончательно переехала в столицу. В письмах жене Рылеев еще долго будет называть ее «ангелом Наташенькой».

*

Однако еще до свадьбы, в стихотворении «Резвой Наташе», Рылеев предупреждал будущую жену: вечно «порхать лишь на поле сует» нельзя, жизнь требует не только веселья, но и серьезности:

Всему есть, мой ангел, час свой! кто хочет
С счастьем в мире и дружестве жить,
Тот вовремя шутит, пляшет, хохочет,

Вовремя трудится, вовремя спит^{141}.

Он оказался прав: «резвость» и «порхание» его юной супруги быстро закончились. Священник Петр Мьгсловский, в июле 1826 года сопровождавший Рылеева на казнь, год спустя писал его вдове: «Было время, когда самые мелочные вещи доставляли полное удовольствие забавам и невинным радостям нежных лет Ваших, когда Вы, не зная ни скорби, ни забот, подобно птичке, летающей по верхам гор, видели только счастливое тещение дней Ваших: а ныне? Сознаться должно, что положение Ваше... довольно прискорбное»^{142}.

Однако взросление Натальи Михайловны началось задолго до казни ее мужа.

Во-первых, деньги, которые добывал Рылеев, его семье, по-видимому, не доставались. К тому же бесследно исчезли 15 тысяч рублей, полученные Натальей Михайловной в качестве приданого. Рылеев, будучи успешным финансистом и издателем, в частной жизни буквально считал каждую копейку. Так, в апреле 1825 года он подробно инструктировал жену, выезжающую в столицу из Подгорного, на какой станции и за какую цену следует нанимать лошадей^{143}. Наличных денег супруге он почти не давал, семья жила «в кредит». После смерти мужа Наталья Михайловна еще долго выплачивала долги портному, кузнечному мастеру, столяру, владельцам фруктовой и съестной лавок, аптекарю и учительнице дочери^{144}.

Во-вторых, Рылеев, как уже отмечалось выше, не отличался супружеской верностью. Документы свидетельствуют: отношения в семье испортились в 1824—1825 годах. По-видимому, одной из главных причин охлаждения поэта к супруге явилась смерть в сентябре 1824 года их годовалого сына Александра. В светских и литературных кругах столицы ходили упорные слухи, что Рылеев «не живет дома, что он часы своих досугов посвящает не супруге, а другим». В глазах современников он «не слыл отличным семейным человеком», «казался холоден к семье». Друг Рылеева Николай Бестужев фиксирует в мемуарах пылкое и страстное чувство, вспыхнувшее у поэта к некой «госпоже К.», которая, впрочем, оказалась «шпионом правительства». С утверждением Бестужева были согласны Матвей Муравьев-Апостол и Владимир Штейнгейль^{145}.

Большинство исследователей скептически относятся к «шпионской» линии в этом рассказе, однако существование «госпожи К.» не опровергают. Традиционно считается, что с этой страстью связаны

несколько поздних любовных стихотворений Рылеева («В альбом Т. С. К.», «Исполнились мои желанья...», «Покинь меня, мой юный друг...»), датированные 1824 годом; следовательно, история с «госпожой К.» происходила почти одновременно с «малютинской». Трудно сказать, насколько Наталья Михайловна была осведомлена о подробностях личной жизни мужа. Судя по семейной переписке, Рылеев нередко отсылал жену и дочь из столицы, а зачастую и сам без семьи покидал Петербург.

Между тем в архиве случайно сохранилось письмо Натальи Михайловны сестре Анастасии, оставшейся в деревне. Письмо не датировано, однако в нем упоминаются факты, позволяющие определить время его написания достаточно точно: «Еще, милая сестрица, уведомляю Вас: Сухазанет Петр Онуфирович произведен в полковники, барон Густав Романович переведен тем же чином в гвардию, в адъютанты, в Петербурге он теперь». Сухозанет, бывший командир Рылеева по конноартиллерийской роте, получил чин подполковника 15 сентября 1819 года; другой его бывший сослуживец *поручик* Густав Унгерн-Штернберг был переведен «лейб-гвардии в конную артиллерию с назначением адъютантом к генерал-майору Козену» 8 сентября того же года^{[146](#)}. Таким образом, письмо написано в конце сентября — октябре, через несколько месяцев после свадьбы.

Жена поэта рассказывает сестре о своих первых столичных впечатлениях: «И еще скажу Вам, сестрица, какие тут добрые дамы. Я ни в одной не заметила, чтоб были насмешницы, и так просто, откровенно все обращаются». Впрочем, написано письмо не только ради наивного рассказа о «дамах». Главная его тема — семейная жизнь Натальи Рылеевой. Начинается письмо большим и грустным стихотворением известного поэта Михаила Милонова «К сестре моей»:

Мечты сокрылися отрадны —
Их грозный опыт отогнал.
Повеял ветер осенний хладный
И цвет весны моей увял...

«Я Вам, милая сестрица, выписала эти стишки из книжки, они много похожи на мою с Вами разлуку. Когда, Бог даст мне, увижусь с Вами?» — комментирует Наталья Рылеева милоновский текст. «Офицеры сюда почти каждый день ходят, а мне так и так, когда там сижу, очень грустно сделается, и уйду в свою половину, и лежу или что-нибудь делаю. Милый

друг мой сестрица! Ради Бога, пишите мне письма чаще и обо всём уведомляйте», — продолжает жена поэта свой невеселый рассказ^[147].

Письмо это красноречиво свидетельствует: интересы Рылеева были чужды вчерашней провинциальной барышне практически с самого начала их семейной жизни. Рядом с мужем и его друзьями ей было одиноко и скучно.

Мемуары современников полны описаний внешности Рылеева, его мнений, поступков, стихов. Однако о его жене упоминается крайне редко, вскользь. В глазах друзей и знакомых поэта она не была ни женой-единомышленницей, подобно Екатерине Трубецкой, ни женой-другом, подобно Александре Муравьевой, ни даже женой несчастной, романтической, покинутой ради «дела», подобно Марии Волконской. Современники вспоминали Наталью Рылееву то как женщину «нелюдимую», «уклонявшуюся от знакомств», то как «добрую, любезную» хозяйку дома, которая «была внимательна ко всем» и «скромным своим обращением» внушала «общее к себе уважение»^[148]. Однако дальше общих фраз рассказ о ней не идет, никаких ее слов и поступков мемуаристы не припоминают. По-видимому, как личность она была крайне бесцветна, ничего из себя не представляла.

Естественно, что о конспиративной деятельности Рылеева Наталья Михайловна не ведала. Полной неожиданностью стали для нее события 14 декабря и последовавший затем арест мужа. Воспоминания Николая Бестужева содержат знаменитую сцену прощания супругов накануне решающих событий: «Жена его выбежала к нам навстречу, и когда я хотел с нею поздороваться, она схватила мою руку и, заливаясь слезами, едва могла выговорить:

— Оставьте мне моего мужа, не уводите его — я знаю, что он идет на погибель...

Рылеев... старался успокоить ее, что он возвратится скоро, что в намерениях его нет ничего опасного. Она не слушала нас, но в это время дикий, горестный и испытующий взгляд больших черных ее глаз попеременно устремлялся на обоих — я не мог вынести этого взгляда и смутился. Рылеев приметно был в замешательстве, вдруг она отчаянным голосом вскрикнула:

— Настенька, проси отца за себя и за меня!

Маленькая девочка выбежала, рыдая, обняла колени отца, а мать почти без чувств упала к нему на грудь. Рылеев положил ее на диван, вырвался из нее и дочерних объятий и убежал»^[149].

Трудно судить, было ли так на самом деле или склонный к мелодраматическим эффектам Бестужев и в данном случае приукрасил реальность.

*

На следующий день после повешения заговорщиков императрица Мария Федоровна, жившая тогда в Москве и еще не получившая сведений о совершении казни, спрашивала князя Александра Голицына: «Вы писали, что жена Рылеева интересна; что теперь с этой несчастной?»^{150} Из этого письма следует, что в 1826 году Наталья Михайловна, дотоле никому, в сущности, не нужная, превратилась в персону, до которой было дело даже особам царствующей фамилии.

Это превращение было обусловлено прежде всего тяжестью обстоятельств, в которых очутилась Рылеева. Муж, арестованный за участие в подготовке мятежа и через полгода казненный; одиночество, скрашиваемое только присутствием подруги покойной свекрови Прасковьи Васильевны Устиновой, бабушки мемуариста и историка Дмитрия Кропотова; бесплодные попытки добиться свидания с мужем и разобраться в его запутанных финансовых делах — всё это и сделало Рылееву «интересной».

Однако очень многие родственники заговорщиков оказались в 1826 году в крайне тяжелой житейской ситуации, но далеко не все они могли похвастаться столь явно выраженным высочайшим интересом к себе.

Из процитированного выше письма императрицы Марии Федоровны следует: именно князь Голицын впервые сообщил ей, что жена Рылеева заслуживает внимания. Голицын до 1824 года был министром духовных дел и народного просвещения, а затем главноуправляющим почтовым ведомством. Некогда всесильный временщик при Александре I, он сумел завоевать и доверие Николая I, был членом Следственной комиссии по делу о злоумышленных тайных обществах, постоянно общался с императором и его семьей.

С Рылевым Голицын был, видимо, хорошо знаком: в 1820 году знаменитая рылеевская сатира «К временщику» помогла министру устоять в противоборстве с другим временщиком, графом Аракчеевым. Отзывы современников рисуют Голицына человеком мягким, незлобивым, всегда помнившим добро. Рылееву он, конечно, помочь ничем не мог, однако для его жены сумел сделать многое.

Важным для Рылеевой оказалось 19 декабря 1825 года — в этот день она, удрученная арестом мужа, отправила на высочайшее имя прошение: «Всемиловитейший государь! Я женщина, и не могу ни знать, ни судить, в чем именно и в какой степени виновен муж мой; знаю только то и убеждена в сердце, что восприимлющим образ Божий на земли, паче всего, свойственно милосердие. Государь! убитая горестию, с единственною малолетною дочерью припадаю к августейшим стопам твоим; но, не дерзая просить о помиловании, молю об одном только: повелите начальству объявить мне, где он, и допускать меня к нему, если он здесь. О, государь! коль теплыя моления вознесу я тогда ко Всемогущему о долголетнем и благополучном твоём царствовании»^{151}.

И хотя на это прошение «высочайшаго соизволения... не последовало»^{152}, несколько часов спустя в ее квартире в доме Российско-американской компании появился чиновник, доверенный человек Голицына (его имя установить не удалось), и сообщил убитой горем Наталье Михайловне о намерении государя оказать ей финансовую помощь.

Голицыну же было сообщено: «Она (Наталья Рылеева. — А. Г., О. К.) предаётся неутешной скорби, которую разделяет с нею одна пожилая приятельница; других же знакомых не имеет. Со слезами благодарности выслушала она о милосердствующем внимании государя императора. На сделанный же вопрос, не имеет ли в чем нужды, по изъявленному Его величеством Соизволению на оказание ей пособия, отвечала, что у ней осталось еще 100 рублей после мужа, что ни о чем не заботится, имея одно желание увидеться с мужем, о чем подала всеподданнейшую просьбу лично Его императорскому величеству в 12 часов утра; и за то уже благодарит Бога и государя, что получила письмо от мужа, но то ее печалит, что не знает, где он и что с ним будет. За сим снова предалась она скорби и слезам. Приятельница же ее опасается болезненных оттого последствий»^{153}.

Вследствие этой записки, очевидно, попавшей в руки царя, Наталья Михайловна в тот же день получила «высочайше пожалованные» две тысячи рублей и разрешение переписываться с мужем. Через три дня после первого царского подарка ей была послана тысяча рублей от императрицы Александры Федоровны. В марте 1826 года Голицын уведомил Рылееву о том, что император «всемиловитейше пожаловать Вам соизволил единовременно две тысячи рублей ассигнациями»^{154}.

Вряд ли император сам решил оказать помощь Наталье Рылеевой: он был сильно раздражен событиями на Сенатской площади, и милости жене

одного из главных преступников непосредственно после мятежа наверняка не входили в его планы.

По-видимому, именно Голицын объяснил императору, что помощь жене мятежника — не просто богоугодное дело. Помощь эта сулила немалые дивиденды в общественном мнении, демонстрируя, что новый царь грозен, но в то же время и милосерден. Ибо, по справедливому замечанию современного исследователя К. Г. Боленко, «сознательно или интуитивно Николай I своим поведением во время восстания, а затем по отношению к заговорщикам и их родственникам сформировал в глазах большинства подданных такой образ российского императора, который в тот момент был наиболее востребован»^{155}.

Взаимоотношения Николая I с родственниками осужденных по делу о тайных обществах — тема для самостоятельного исследования. Известно, что спустя две недели после вынесения приговора император распорядился собрать сведения о материальном положении членов семей заговорщиков. Эти сведения легли в основу «Записки о состоянии и домашних обстоятельствах ближайших родных государственных преступников, по приговорам Верховного уголовного суда осужденных», составленной через год после царского повеления. Процесс сбора сведений для «Записки» проанализирован в статье М. А. Рахматуллина «Император Николай I и семьи декабристов»^{156}.

Историк утверждает: «Как свидетельствуют архивные документы, примерно двум десяткам семей декабристов императором Николаем I была оказана реальная помощь. Одним из них — единовременными и ежегодными денежными пособиями, другим — содействием в устройстве малолетних детей в престижные учебные заведения, что гарантировало им в дальнейшем относительно благополучное продвижение по общественной лестнице, третьим — и деньгами, и устройством детей. Всё это делалось не только без огласки, но в строго секретном порядке, и потому царя нельзя заподозрить в стремлении рядиться в тогу правителя сурового, но справедливого и великодушного»^{157}. Автор приводит цифры денежной помощи семьям преступников. Помощь эта составляла от двухсот до тысячи рублей и могла быть как единовременной, так и ежегодной. Однако родственникам большинства осужденных пришлось дожидаться ее по несколько лет.

И, конечно, никто из них не мог сравниться в объеме царских «милостей» с Натальей Рылеевой. Смерть мужа сделала Наталью Михайловну еще более «интересной» в глазах и верховной власти, и

русского образованного общества. Сразу же после казни Николай I возложил на князя Голицына обязанность сообщать ему «о состоянии несчастной госпожи Рылеевой», ставить в известность о ее нуждах^{158}.

Жене казненного преступника была назначена пенсия — три тысячи рублей в год; с момента ее второго замужества ту же сумму ежегодно получала дочь Анастасия.

«Многие, вероятно, будут крайне удивлены, когда узнают, что государь сей в отношении семейства важнейшего из государственных преступников простер великодушие свое гораздо далее: вдова Рылеева, находившаяся тогда в весьма затруднительном положении, получила семь или шесть тысяч рублей вспомоществования; и не только дочь его, но и внука приняты были впоследствии первая — в Патриотический, а вторая — в Елисаветинский институты на счет сумм его величества», — справедливо утверждал Кропотков^{159}.

В 1829 году девятилетняя Анастасия Рылеева действительно была помещена на казенное содержание в Патриотический институт. При этом была нарушена последняя воля ее отца, в предсмертном письме просившего жену «более всего заботиться о воспитании» дочери: «Я желал бы, чтобы она была воспитана при тебе»^{160}. Но очевидно, что вчерашняя провинциальная барышня не смогла бы достойно выполнить завет мужа.

В институт, куда Наталья Михайловна отдала дочь, принимались, согласно правилам, прежде всего дочери погибших на войне офицеров. На первых порах Анастасии Рылеевой пришлось нелегко. Одна из воспитанниц вспоминала впоследствии, что ее появление в институте вызвало ропот, девочки почувствовали себя «несчастливыми»: «К нам, патриоткам, отдали дочь бунтовщика!» Но институтское начальство быстро смирило гнев юных патриоток. Воспитанниц убедили, что «царь милосерд, он простил, принял сироту на свое попечение». А следовательно, «обижать ребенка-сироту» значило нарушать царскую волю, поступать непатриотично. И постепенно «Настенька вошла в общую колею, ее полюбили не из одной жалости, но и из-за личных ее достоинств: добра была, замечательно добра, тиха и услужлива»^{161}.

В 1832 году, когда девочка заболела, Наталья Михайловна вновь обратилась за помощью к Голицыну — просила разрешить ее дочери не посещать занятий до выздоровления. Голицын сообщил институтскому руководству: «По всегдашнему участию, приемлемому мною в бедственном положении г-жи Рылеевой, я докладывал о желании ее государю императору»^{162}. Естественно, просьба Голицына была уважена.

Таким образом, можно констатировать: финансовое благополучие и душевное здоровье Натальи Михайловны и ее дочери стали делом государственным, взятым под личный контроль не только Голицыным, но и самим императором.

*

Вслед за императором и Голицыным помощь Наталье Михайловне стали оказывать частные лица. Трагедия молодой женщины тронула многих современников: совершенно незнакомые ей люди слали деньги по почте, передавали через друзей и знакомых. Естественно, помощь «вдове Рылеевой» не воспринималась государством как проявление политической неблагонадежности — напротив, оказывавшие ее исполняли желание верховной власти.

Некоторые пожертвования сопровождались анонимными записками примерно следующего содержания: «Просим покорнейше принять прилагаемые 2000 р. и не подосадовать на усердие людей, принимавших душевное участие в Вашем положении. Надеются ежегодно доставлять подобную же сумму»^{163}. «Получил я из Москвы от неизвестного благотворителя 500 ассигнациями в пользу Вашу», — писал Наталье Михайловне священник Петр Мысловский. Отправляя письмо, Мысловский просил Наталью Михайловну «возвестить» «о руке таящейся и благотворной» через газеты^{164}.

Мысловский вообще постоянно заботился о Наталье Михайловне; его письма выдают истинное участие в «горестях» вдовы. «Так! Друг Ваш в глазах моих погас, как тихая заря на западе. Я лил мои слезы умиления и соединял их с его слезами сокрушения к сердцеведцу в ночь роковую и ужасную. Я был торжествующим свидетелем, когда он торжественно примирился с совестью своею и с Всеблагим Отцом Небесным. Мне виделось, чтобы Ангел-хранитель заботливо собирал слезы его, бережно влагал их в сосуд и уносил в небо, дабы посеянное слезами взрастить единою и бесконечною радостью. Я на пути ужасном приложил руку мою к сердцу покорного Небу сына, и — чувствовал, что оно тихо билось для единого Бога» — такими словами описывал священник предсмертные часы Рылеева^{165}.

По-видимому, через Мысловского Наталья Михайловна познакомилась с Федором Миллером, опытным чиновником-крючкотворцем, статским

советником и начальником архива канцелярии Министерства финансов. Миллер был хорошо известен в чиновничьих кругах столицы: в 1812 году он прославился как «спаситель» важных государственных бумаг. Катастрофа 14 декабря не обошла стороной и его семью. Его сын, лейтенант Гвардейского экипажа, оказался невольным участником событий на Сенатской площади и пять месяцев просидел в тюрьме. Племянник жены Миллера, штабс-капитан лейб-гвардии Финляндского полка Николай Репин, участник заговора, на площади не был, однако в 1826 году его приговорили к восьмилетней каторге. После приговора Миллер подружился со многими родственниками осужденных, постоянно помогал им деньгами и советами.

Главным объектом его заботы стала с 1826 года Наталья Рылеева. С июня 1827-го Миллер — опекун ее дочери. Именно благодаря вмешательству чиновника Рылеевой удалось снять запрещение с Батова и продать его; именно Миллер сумел доказать в различных инстанциях беспочвенность многих финансовых претензий Екатерины Малютиной. Очевидно, что благодаря Миллеру следствие не заинтересовалось фактом подлога при «размене» билетов Опекунского совета. Миллер утверждал в письме Рылеевой: «...есть люди, которые не имели удовольствия быть с Вами знакомы, берут душевное в Вас участие и сострадают в горе Вашем»^{166} — и, как и Мысловский, передавал ей деньги от «неизвестных особ».

Следует отметить, что «милости» императора, Голицына и рядовых «верноподданных» не означали для Натальи Михайловны отречения от памяти мужа — собственно, этого от нее никто и не требовал. Уже 23 августа 1826 года, на сороковой день после смерти Рылеева, она устроила у себя дома «поминальный обед». На обеде присутствовали Миллер с семейством, мать и сестры осужденных братьев Бестужевых, литератор Андрей Жандр и еще один литератор, журналист и друг Рылеева Фаддей Булгарин. Именно он и доложил об «обеде» в Третье отделение: «...всё у нее было очень печально, но вполне пристойно... о правительстве говорили уважительно, и особенно в речах госпожи Бестужевой высказывалось полное смирение, она говорила, что является самой несчастной из матерей, поскольку четверо ее сыновей были вовлечены Рылеевым в заговор; спасение и утешение она видит в религии»^{167}.

Рылеева прекрасно знала, где похоронен ее муж, — несмотря на то, что место погребения казненных мятежников считалось страшной государственной тайной. Знал об этом и Миллер, сообщавший вдове, что в

годовщину казни собирается посетить «уединенный остров» и там молиться^{168}. Судя по письмам, Миллер ходил на «уединенный остров» не один, а с несколькими друзьями.

Но эту тайну им должен был кто-то рассказать; более того, место захоронения кто-то должен был показать — иначе оставленную без всяких опознавательных знаков могилу найти было невозможно. Не исключено, что это был тот же Мысловский.

Однако ни Мысловский, ни Миллер, ни тем более Наталья Михайловна вовсе не были оппозиционерами, на свой страх и риск хранившими память о казненном преступнике. Документы позволяют сделать вывод: это было им официально *разрешено*. Жестом милосердия со стороны правительства выглядело «негласно целенаправленное» распространение письма заговорщика жене, написанного за несколько часов до казни^{169}.

В итоге жизнь вдовы поэта сложилась удачно: в 1833 году она — вторично и на этот раз, по-видимому, удачно — вышла замуж за некоего Григория Куколевского и воспитала дочь. В 1842-м Анастасия Рылеева была выдана замуж за отставного подпоручика Пущина, однофамильца соратника ее отца. В семье Куколевских и Пушиных бережно хранились рукописи и письма Рылеева; в начале 1870-х годов Анастасия Пущина передала большую их часть П. А. Ефремову для публикации. В 1872 году вышло первое в России издание сочинений и писем Рылеева, подготовленное Ефремовым и Пушиной.

«Девушка не молодая, но ветреная»

Совершенно по-иному сложилась жизнь еще одной женщины, связанной родственными узами с Рылеевым, — его сестры Анны Федоровны. Безусловно, биография ее достойна отдельного рассмотрения. К сожалению, источники, разрозненные и немногочисленные, не позволяют восстановить эту биографию в полном объеме. Но, анализируя те документы, которые дошли до нас, всё же можно сделать некоторые выводы о ее личности, отношении к жизни, судьбе.

Мы не знаем года рождения Анны Федоровны, однако известно, что она была несколькими годами старше брата-поэта. Рылееву она приходилась сестрой единокровной — только по отцу; имя ее матери история не сохранила. Возможно, Анна была полнородной сестрой Петра Малютина; во всяком случае с его вдовой и детьми она до самой смерти поддерживала родственные отношения. Судя по всему, Анну Федоровну, как и Малютина, отец не признал законной дочерью. Она считалась лишь воспитанницей четы Рылеевых и не имела прав на родительское наследство.

Участник событий на Сенатской площади Николай Цебриков, знавший Анну Федоровну еще в молодости и возобновивший знакомство незадолго до ее кончины, писал, что «после казни брата она должна была переменить свою фамилию Рылеевой на фамилию Крыловой»^{170}. Однако Цебриков не прав: родственники повешенного заговорщика вовсе не подвергались преследованию в Николаевскую эпоху, более того, вызывали в образованном обществе интерес и сочувствие — это следует, между прочим, и из истории жизни Натальи Рылеевой. Вернее другое: Анна Федоровна, не будучи признана отцом, его фамилию не носила. По-видимому, ее фамилия изначально была Крылова.

О детстве ее сохранились несколько отрывочных сведений: она училась в частном пансионе, в котором изучала французский и немецкий языки. Скорее всего, там же она научилась играть на фортепьяно. В детстве она много хворала; у нее была тяжелая болезнь глаз, грозившая слепотой^{171}.

Судя по семейным документам, судьба дочери волновала Федора Андреевича намного больше, чем судьбы сыновей. Уехав в начале 1800-х годов от семьи, он постоянно интересовался здоровьем Анны, ее успехами в учении. «Я за нее несказанно тебе обязан! и ежели по благодати Божией

суждено ей при жизни нашей быть пристроенной; то я теряюсь даже, воображая, какие небесные награды от создателя уготованы будут тебе!.. Друг мой! не пожалей призвать глазного доктора и вылечить глаза у Аннушки. Что в ней будет в слепой! Да благословит и просветит ее Господь!» — писал Федор Рылеев жене в июне 1813 года^{172}. Он добился для нее статуса воспитанницы — и, скорее всего, принадлежности к дворянству.

Рылеев-старший боялся, что жена в отместку за его отъезд из семьи перестанет заботиться о воспитаннице. Отчасти он был прав; для Анастасии Матвеевны родной сын всегда был на первом месте. Сведений о том, что ее вообще каким бы то ни было образом интересовала судьба «Аннушки» после ее совершеннолетия, нет; доходы, которые Рылеева получала с Батова, шли исключительно на содержание сына.

В 1814 году, когда отец умер, Анна Крылова осталась круглой сиротой, бесправной и никому не нужной — эти обстоятельства предопределили ее судьбу.

Точно неизвестно, когда Анна Федоровна окончила пансион, где жила потом. После окончания учебы она сама зарабатывала себе на жизнь. С юных лет она давала уроки в частных домах, обучая детей богатых дворян иностранным языкам и игре на фортепьяно.

Подобный образ жизни был не характерен для столичной дворянки Александровской эпохи. Роль учителей и гувернеров «благородного юношества» в ту пору в основном исполняли иностранцы — французы и немцы. Русских учителей из дворян было немного. Выбор такого пути диктовался либо финансовыми обстоятельствами, либо просветительскими идеями. Рылеев, например, учительствовал в семье помещика Тевяшова, однако, по словам мемуариста, хотел лишь «вывести из тьмы»^{173}, просветить дочерей помещика; он не делал учительство своей профессией, источником заработка.

По мнению историка отечественного образования В. М. Боковой, «против русских наставников довольно долгое время в “хороших домах” существовало предубеждение. Большинство из них принадлежали к разночинной или духовной среде, которая не могла похвастаться изящными манерами и светскостью. Их сторонились, так же как сторонились дворовых: чтобы не испортили ребенку свежий и старательно наведенный лоск»^{174}. Русских учителей держали в дворянских домах прежде всего потому, что платить им можно было в несколько раз меньше, чем иностранцам.

Еще хуже приходилось русской дворянке-учительнице. Зарабатывая на жизнь преподаванием, она социально уравнивала себя с иностранцами и разночинцами. Она не могла рассчитывать на уважение окружающих; жизнь ее полностью зависела от родителей ее воспитанников — их благорасположения и готовности платить за обучение.

Документы позволяют выяснить некоторые факты из «учительской» жизни Анны Федоровны. До 1826 года она служила в «почтенном семействе генерала Перрена», которым была в целом довольна^{175}. Судя по документам, семья генерала благоволила учительнице. Правда, его теще Ирине Логиновне Богаевской «не нравилось в Анне Федоровне то, что она после всякого свидания с Малютиными делалась более суетною, перенимая их моды, заводилась сама оными и тратила на них деньги, которые советовали ей беречь лучше на черный день»^{176}. Семейство Перрен, таким образом, внимательно следило за учительницей; с кем она дружит, как тратит заработанное. Всё это, по мнению родственников генерала, делалось для ее же пользы.

В середине 1826 года Перрены отказались от услуг Крыловой — их выросшим детям домашнее обучение уже не требовалось. Новыми ее хозяевами стали некие супруги Постниковы, у которых, правда, она задержалась недолго: семья была бедной, платили мало. В июне 1827 года Постниковы «наняли дешевенькую учительницу и гувернантку для детей своих и, не имея возможности по теперешнему расстроенному своему состоянию, платить за уроки на фортепьяно, принуждены были отказать Анне Федоровне». Несколько месяцев после этого она «была действительно в крайнем и самом бедственном положении», но потом, «по приобретении по милости Божьей трех учениц», состояние ее несколько поправилось^{177}.

Подобный образ жизни не мог не сказаться на отношении Анны Федоровны к людям и в первую очередь к мужчинам. Видимо, она, обеспечивавшая себя сама, полагала, что имеет право пренебрегать светскими условностями. Кропотов писал о ней как о «девушке не молодой, но ветреной», принесшей много хлопот своему брату. Еще более резко отзывался о Крыловой злоязычный современник, журналист и баснописец Александр Измайлов: он считал Крылову «зрелой девой и наскучившей своим девством»^{178}.

К 1825 году относится фрагмент из переписки Пушкина с Рылеевым и его другом Александром Бестужевым. В письме Бестужеву от конца мая — начала июня Пушкин отмечал, что он «шестисотлетний дворянин» и потому имеет право требовать уважения от своего одесского начальника графа Михаила Воронцова. На это пушкинское замечание Рылеев отвечал довольно пространно: «Ты сделался аристократом; это меня рассмешило»; в другом письме: «Ты мастерски оправдываешь свое чванство шестисотлетним дворянством; но несправедливо. Справедливость должна быть основанием и действий, и самых желаний наших. Преимуществ гражданских не должно существовать... Чванство дворянством непростительно, особенно тебе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе подражают. Будь Поэт и гражданин»^{179}.

Эти строки многократно комментировались исследователями, отмечавшими «неприязнь» Рылеева к аристократии. Однако вне сферы их внимания осталось весьма важное обстоятельство: сугубая литературность антидворянских высказываний Рылеева. В повседневной жизни он следовал иным поведенческим моделям.

Известно, что в конце февраля 1824 года из-за сестры поэт дрался на дуэли с девятнадцатилетним прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка Константином Шаховским. История этого поединка достаточно хорошо документирована; сохранились не только мемуарные свидетельства о событиях, но и современные им письма. Анна Федоровна жила тогда в квартире брата на Васильевском острове, в угловой комнате, выходившей «окнами на улицу».

Согласно мнению большинства современников, поводом для дуэли послужили любовные *послания* Шаховского, перехваченные Рылеевым. Соответственно, поединок интерпретировался как реакция брата на события, задевавшие честь сестры. Однако Александр Бестужев, секундант и ближайший друг Рылеева, утверждал, что поэта больше всего возмутил не сам факт любовной связи прапорщика с сестрой, а то, что Шаховской «осмелился надписывать к ней письма на имя Рылеевой». Получается, что поэт оскорбился не опорочением репутации сестры, а обращением к ней как к представительнице рода Рылеевых. Александр Измайлов, вероятно, увидевший этот подтекст, о дуэли повествовал иронически: «Кн. Шаховской не хотел было выходить на поединок, но Рылеев, с позволения сказать, плюнул ему в рыло, по правой, по другой, пинками... Дружья-свидетели розняли и убедили того и другого драться по форме». Это свидетельство подтверждено Бестужевым: «Сначала он (Шаховской. — А. Г., О. К) было отказался, но когда Рылеев плюнул ему в лицо — он

решился».

Известно, что условия были весьма жесткими: противники стрелялись «без барьера», на трех шагах. Каждый из дуэлянтов сделал по три выстрела, первым выстрелом Шаховского Рылеев был ранен в ногу, затем «пули встречали пистолет противника». Несмотря на ранение, Рылеев хотел «драться до повалу», и Бестужеву с трудом удалось предотвратить смертельный исход поединка^{180}.

Согласно сообщению анонимного мемуариста, дуэль так сильно поразила мать поэта, что «она схватила горячку» и спустя несколько месяцев умерла. Автор утверждал, что «Кондратий Федорович весьма упрекал себя за дуэль, которая была причиной ее смерти», причем именно эта потеря «отчасти» спровоцировала вступление Рылеева в заговор^{181}.

После дуэли отношения Рылеева с сестрой фактически прервались. Можно предположить, что ей не понравилось *столь* грубое вмешательство брата в ее частную жизнь. Рылеев же имел все основания винить в смерти матери не только себя, но — и прежде всего — сестру. Переехав в 1824 году с Васильевского острова на Мойку, в дом Российско-американской компании, он не взял Анну Федоровну с собой — хотя, согласно Кропотову, она и «получала от него средства для безбедного существования»^{182}. Впрочем, средства эти были невелики, и она по-прежнему зарабатывала на жизнь частными уроками.

*

В 1826 году отношения Анны Крыловой с попавшим в тюрьму братом едва не дошли до полного разрыва по финансовым причинам: находясь в Петропавловской крепости, Рылеев пытался привести в порядок свои запутанные дела. До самого конца следствия он не подозревал о смертном приговоре — иначе бы просто написал завещание, где объяснил бы, какая часть его наследства достанется жене, а какая — сестре.

В апреле 1826 года он предложил Крыловой принять в собственность дом в Киеве, доставшийся ему от отца. Сестре также предлагалось стать владелицей векселя «на иностранца Книппе»^{183}. Это предложение, по сути, было издевательским: документы на отцовский дом были потеряны, а тяжба с князьями Голицыными далека от окончания. Анне Федоровне предлагалось нанять поверенного, завершить с его помощью тяжбу, восстановить документы и продать дом. Купец же Книппе, которого Федор

Рылеев снабдил деньгами, оказался несостоятельным должником — в счет его долга был описан его собственный киевский дом^{184}, и, чтобы получить с него деньги по векселю, требовалось вступить в новую многолетнюю судебную тяжбу.

Отдавая сестре киевское наследство отца, Рылеев попросту снимал с плеч жены лишние хлопоты. «Чтоб однажды и навсегда кончить с А[нной] Ф[едоровной], ты покажи ей это письмо и ей ли самой или кому она доверит выдай доверенность как на ходатайство по делу с князем Голицыным, так и на продажу дома, если она рассудит его продать, и пусть она делает сама, как хочет, тебе же не следует в это мешаться», — советовал он жене^{185}.

Естественно, Наталья Михайловна последовала этим рекомендациям и показала письмо сестре поэта. О ее реакции Рылеева написала мужу: «...недовольна и говорит, что она не привыкла хлопотать о таких вещах, которые неверны; говорит, что я должна хлопотать, а не она, и написала мне предерзкое письмо. Я после этого с нею не виделась». «Ради Бога, наставь меня, что делать с нею», — просила она и называла Крылову в числе тех, кто «радуется ее гибели, готовы всё отнять»^{186}.

Рылеев отвечал: «От Анны Федоровны не ожидал я таких поступков, как дурно ни думал о ней», — и просил напомнить сестре, что «ничем не обязан устраивать участь ее, что она не имеет никакого права делать какие-либо требования» и что если он и отдает ей «дом и прочее из имения покойного батюшки», то делает это «по собственной воле»; «из имения же матушки я не вправе ей дать и копейки, потому что у меня дочь»^{187}.

Эта переписка свидетельствует, что и Рылеев, и его жена были уверены: Крылова, не принимая на себя хлопоты по отцовскому наследству, хочет предъявить свои права на Батово, помешать его продаже.

Тогда же Рылеев написал сестре. Письмо не сохранилось, но, судя по ее ответу, наполненному извинениями, было оно строгим и гневным: брат еще раз подчеркивал, что у нее нет никаких прав на Батово.

Непонятно, почему Рылеевы стали подозревать Крылову в корыстолюбии. Из ее письма следует, что она действительно не имела возможности хлопотать о киевском доме. Она писала брату: «Мне ли, девице бедной, не имеющей ничего на расходы, не знающей ни нравственности века, ни порядков судопроизводства, живя в столице, тягаться в Киеве за 3 тысячи рублей и о таком доме, на которой и план и крепость потеряны, одна поездка туда дороже будет стоить».

Но даже если бы она захотела получить всё Батово или хотя бы часть

денег от его продажи, для этого не имелось никаких законных оснований — и она это прекрасно понимала: «Сознаюсь, имела намерение пасть к ногам супруги Вашей и убеждать, чтобы она осталась жить в Батове и по милосердию своему хотя простую хижину и несколько шагов земли отделила для меня, и я бы утешилась, что имею уголок на земле моих благодетелей и могу кончить остаток дней моих». Очевидно, именно эта просьба была сочтена «дерзостью».

Крылова не пыталась спорить: «Ныне уже оставила намерение просить о чем-либо Наталью Михайловну; [ибо] я положила во всем на Бога и молю его, да сохранит спокойствие Ваше и устроит благополучие Вашей супруги и милой моему сердцу Настиньки». В письме брату она довольно точно характеризует свое положение после его ареста: «Остаюсь сирота бесприютная в мире, не имеющая даже права называть своими тех, которые истинно родные по природе... вы знаете, любезнейший Кондратий Федорович, кто я в мире и чего ожидать могу? всё мое погибло, в Вас всё мое благополучие»^{188}.

Крылова была права. Брат хоть как-то заботился о ней — по долгу ли родства, во избежание ли скандала. После его ареста и смерти о ней вообще некому стало печься. Из наследства она в итоге не получила ничего. Вдова поэта всю жизнь ненавидела ее. После 1826 года Малютины остались единственными близкими ей людьми.

*

О том, как живет ее золовка, Рылеевой сообщал ее поверенный Федор Миллер. К сожалению, эти письма охватывают лишь период с 1827 по 1828 год; о дальнейшей жизни сестры поэта до ее смерти в 1858 году сведений нет.

Но и по письмам Миллера можно сделать вывод, что Крылова обреталась в крайней нужде и много болела. Поверенный писал: «Какою же болезнью была одержима, того сказать Вам не умею и, может быть, согрешу, ежели по догадкам бывшие недуги ее назову подозрительными». Зимой 1828 года она «не заметила на мостках сгнившую и покрытую снегом доску, ступила на нее, доска обрушилась, — А[нна] Ф[едоровна] упала, больно ушиблась и разбила себе поясницу, лечилась и не могла целый месяц выходить со двора»^{189}.

Судьба Анны Федоровны — одна из главных тем переписки Миллера

и Натальи Михайловны. Миллер, исполненный сострадания к всеми покинутой, больной и беспомощной женщине, пытался смягчить сердце своей поручительницы, помирить ее с родственницей. Он долго и терпеливо объяснял вдове поэта, что в поведении Крыловой виновата не она, а некие «худые люди», призывал посочувствовать родственнице, убеждал, что та давно раскаялась: «Вчера я был у нее; она сделалась скромна, тиха и очень благодарит за посещения мои и участие, которое принимаю в жалком ее положении, и мне думается, что она без лицемерия тоскует о причиненных ею Вам огорчениях, приносит покаяние и просит у Вас прощения»^{190}.

Письма Рылеевой Миллеру не сохранились, но по содержанию ответных посланий видно, что ее раздражали постоянные напоминания о судьбе родственницы. Наталья Михайловна запрещала своему поверенному давать золовке деньги и принимать какое бы то ни было участие в ее судьбе. Она последовала совету мужа — выдала Крыловой доверенность на ведение киевских дел и больше не хотела слышать о ее существовании.

Миллер, как явствует из писем, постоянно нарушал запрещение Рылеевой и в итоге не дал Анне Федоровне умереть от голода: постоянно снабжал ее деньгами, вещами и продуктами, помогал советами, искал для нее новых учеников. Именно Миллер настоял, чтобы в июне 1831 года ей были отданы 300 рублей — часть пушкинского долга Рылееву^{191}.

Момент передачи этих денег он описал в письме Рылеевой: «Когда Орест Михайлович (Сомов, друг Рылеева, столичный литератор. — А Г., О. К.) при довольно продолжительной речи вручил Анне Федоровне деньги и просил от нее в них за свидетельством моим расписки, то она, жалкая, так смешалась, что не знала, как и приняться за нее. — Я ей пересказал, как оную написать, и она писала дрожащею рукою, потом в угодность О[ресту] Михайловичу] приложил и я мое свидетельство. — Не истину ли я Вам доносил, что О[рест] Михайлович] чересчур осторожен. — По принятии им расписки и при прощании говорил он, что пошлет сию расписку к Вам и будет просить о присылке вместо оной расписки Вашей руки в получении присланных г. Пушкиным чрез барона Дельвига денег — хотя и хлопотливо, но слава Богу, О[рест] Михайлович] сдержал, наконец, слово и кончил денежное дело. — Я около получаса пробыл еще у А[нны] Ф[едоровны] и любовался над ее к Вам благодарностию. — Она, бедная, не ожидала сей нечаянной помощи и, по крайнему недостатку, не имея еще должности, крепко горевала о небольшом долге, состоящем в 20 рублях хозяйке за квартиру»^{192}.

Эти и подобные описания вызывали у вдовы поэта гнев. Миллер, однако, настаивал на своем. И, поскольку он хлопотал о различных хозяйственных делах Рылеевой, продавал Батово и был официальным опекуном ее дочери, Наталье Михайловне приходилось делиться с сестрой мужа. Правда, делала она это очень неохотно. Так, долг Пушкина Рылееву на самом деле составлял 600 рублей, а Анна Федоровна получила только половину.

Словесная перепалка Рылеевой со своим поверенным по поводу Крыловой несколько раз едва не переросла в открытую ссору. В июле 1827 года Миллер писал: «Я слишком много уважаю Вас, чтобы променять бесценной дружбы Вашей на Анну Федоровну, в которой я принимаю участие по одним токмо сделанным Вами мне прежде сего поручениям. — За всем тем признательно скажу, что мне будет ее очень жаль, ежели она останется по делам киевским без подпоры. — Она никого не имеет, кто бы ей в делах сих подал добрый совет и руку помощи»^[193]. По-видимому, к концу 1828 года их отношения испортились окончательно, и причиной тому была именно судьба Крыловой.

Документы не позволяют судить о том, как после 1828 года складывались отношения между сестрой и вдовой поэта. Но, видимо, примирения между ними так и не произошло.

*

В середине 1850-х годов после тридцатилетних скитаний и амнистии в столицу вернулся Николай Цебриков. Он не был ни идеологом, ни активным участником тайных обществ, а напротив, как и многие другие, оказался ненароком втянутым в водоворот событий, стал, как говорят исследователи, «случайным декабристом»^[194].

Вина Цебрикова состояла лишь в том, что, согласно приговору, он «в день мятежа 14 декабря произносил возмутительные слова морскому экипажу, когда он шел на Петровскую площадь, сам подходил к толпе мятежников и в вечеру дал пристанище одному из первейших бунтовщиков князю Оболенскому». Изначально приговор подразумевал разжалование в солдаты с выслугой и без лишения дворянства. Однако «по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков в виду его полка», Цебриков в итоге лишился дворянства и был разжалован без выслуги^[195]; последующие 15 лет он провел, воюя с горцами на

Кавказе. В Петербург он вернулся убежденным либералом, российским сотрудником заграничных изданий Александра Герцена.

В столице Цебриков навестил Крылову. Об этой встрече он сообщил в письме одному из руководителей заговора Евгению Оболенскому, амнистированному в 1856 году и жившему в Калуге, а также написал воспоминания и передал их для публикации Герцену.

Цебриков пишет об Анне Федоровне как о своей хорошей знакомой, которую он знал «еще в молодости». Теперь же, когда он ей «напомнил о себе», она «хорошо вспомнила» его. О знакомстве же Цебрикова с самим Рылеевым ничего не известно. Более того, Рылеев для него был человеком-легендой, одним из «наших пяти Мучеников», «имя которого всеми благородно мыслящими людьми всегда произносилось с большим чувством благоговения»^[196]. Следовательно, Цебрикова и Крылову познакомил не Рылеев. Скорее всего, их знакомство состоялось благодаря князю Константину Шаховскому, сослуживцу Цебрикова по Финляндскому полку.

Цебриков застал Анну Федоровну смертельно больной, умирающей старухой: «Хроническая болезнь рака и водяная развились до того, что она не могла уже вставать с постели». Старого знакомого сестры поэта поразила нищета, в которой она оканчивала свои дни. Она жила «на Петербургской стороне на Большой Никольской улице, в доме священника Одоевского, в квартире дворника»; «комната у нее была у дворника в избе, отделявшаяся перегородкой без двери. Забухшая сырая дверь избы стуком своим причиняла ей особенное невыносимое страдание, после которого она стонала».

Вспоминая прошлое, Цебриков заговорил с ней о казненном брате — и удивился тому, что «на краю могилы ее восторженные чувства к брату сохранились, она цитировала стихи его из “Наливайки”; когда она вспомнила, что по милости гнилой веревки брат ее должен был два раза умирать, — она зарыдала!!». Восторженный почитатель Рылеева «был до того расстроен, что чуть было с ней сам не зарыдал» и «больше оставаться был не в состоянии».

Мемуарист отметил, что при их разговоре в комнате появилась «какая-то родственница, Федосья Ивановна Малютина», пришедшая кормить Крылову. С. Я. Гессен, комментировавший воспоминания Цебрикова, справедливо утверждал, что, скорее всего, тот «ошибся именем» и рядом с сестрой Рылеева до последних минут оставалась Екатерина Малютина. Если так, то 75-летняя вдова рылеевского «благодетеля» не отказала в помощи больной родственнице, хотя «из Никольской до Большого

проспекта, до квартиры Малютиной, целая верста»^[197].

Впрочем, Цебриков пришел к Крыловой не только для того, чтобы вспомнить молодость и поговорить о брате. Он принес ей деньги — как он пишет, «пособие». Но это «пособие» на следующий день «было возвращено г-жою Малютиной по приказанию Александра Михайловича Рылеева». 28-летний полковник Рылеев, сын дрезденского «дядюшки» поэта, был тогда адъютантом и доверенным лицом молодого императора Александра II. Перед ним открывалась перспектива блестящей военной карьеры, а паломничество к сестре заговорщика могло этой карьере повредить. Надо полагать, он просто запретил ей общаться с Цебриковым — на следующий день, согласно мемуарам последнего, она уже «боялась» говорить со старым знакомым.

Крылова умерла «1858 года, 3 декабря, в среду в 8 часов вечера», через три дня после описанной встречи. «На похоронах ее я не был, хотя и оставлен был мною адрес у г-жи Малютиной, отозвавшейся мне, что флиг[ель]-адъютант Александр] Михайлович] Рылеев не хотел давать знать знакомым, чтобы на похоронах было меньше народа и меньше огласки, что хоронят сестру повешенного Рылеева», — резюмировал Цебриков в мемуарах. В письме Оболенскому он добавил, что, не сообщив ему о смерти Анны Федоровны, «полковник Рылеев верен был своим эполетам и аксельбанту»^[198].

*

Семейная история Кондратия Рылеева хранит еще много загадок. Не удалось, например, достоверно определить степень родства поэта со знаменитым заговорщиком-дуэлянтом Константином Черновым. 10 сентября 1825 года тот стрелялся с флигель-адъютантом Владимиром Новосильцевым, в итоге оба получили смертельные ранения. Похороны Чернова вылились чуть ли не в антиправительственную политическую демонстрацию. Общеизвестно, что Новосильцев был женихом сестры Чернова, Чернов заподозрил его в сознательном оттягивании времени свадьбы — и это стало поводом к дуэли. Общеизвестно также, что секундантом Чернова был Рылеев.

Современники сообщают: Чернов и Рылеев были кузенами. Об этом писал в письме поэт и заговорщик Вильгельм Кюхельбекер, вспоминал другой заговорщик, друг Рылеева Евгений Оболенский^[199]. «В известной и

наделавшей в свое время много шуму дуэли Чернова с Новосильцевым Рылеев принимал участие в качестве секунданта Чернова, которому он приходился двоюродным братом, ибо матери их были родными сестрами», — утверждал Дмитрий Кропотков^{200}.

Однако известные на сегодняшний день документы не дают возможности подтвердить версию современников. Матери Рылеева и Чернова, Анастасия Матвеевна Эссен и Аграфена Григорьевна Радыгина, родными сестрами быть не могли. Вряд ли были родными братьями и их отцы, Федор Рылеев и Пахом Чернов. А без понимания степени родства двух семей трудно делать выводы об обстоятельствах этой столь важной для русского общества начала XIX века дуэли.

Глава вторая.

**«УМОЛЯЮ ВАС, ПОЙМИТЕ
РЫЛЕЕВА!»**

«Время террора»

1-й кадетский корпус, куда еще ребенком был отдан Рылеев, был одним из самых старых в России военно-учебных заведений. Под названием Сухопутный шляхетный корпус он был основан — «дабы военное дело», «славное и государству зело потребное, наивяще в искусстве производилось» — в 1731 году указом императрицы Анны Иоанновны: «Того ради указали мы учредить корпус кадетов... которых обучать арифметике, геометрии, рисованию, фортификации, артиллерии, шпажному действию, на лошадях ездить и прочим к воинскому искусству потребным наукам. А понеже не каждого человека природа к одному воинскому склонна, також и в государстве не меньше нужно политическое и гражданское обучение, того ради иметь при том учителей чужестранных языков, истории, географии, юриспруденции, танцованию, музыки и прочих полезных наук, дабы, видя природную склонность, по тому б и к учению определять»^[201]. В феврале 1732 года в корпусе начались занятия, а в июне 1734-го состоялся первый выпуск. Располагался корпус в бывшем дворце светлейшего князя Александра Меншикова, знаменитого фаворита Петра I.

В 1766 году Екатерина II подписала устав корпуса, подготовленный знаменитым педагогом Иваном Бецким и предписывавший в продолжение прежних узаконений «учредить сей корпус так, чтоб научению в нем военной и гражданской науке... всегда сопутствовало воспитание, пристойное его званию и добродетельное». Устав этот был весьма либеральным: в корпусе были запрещены телесные наказания, начальству предписывалось иметь «веселый вид» и обращаться с кадетами ласково, награждать их и всячески поощрять в учебе. Кадеты могли сами выбирать род последующей службы — военную или гражданскую; в соответствии с этим выбором варьировался перечень преподаваемых им предметов. Согласно уставу воспитанники корпуса подразделялись на пять возрастов: с пяти до девяти лет, с девяти до двенадцати, с двенадцати до пятнадцати, с пятнадцати до восемнадцати и с восемнадцати до двадцати одного года. Для каждого возраста предусматривалось собственное «расписание наук»^[202].

Историк-мемуарист Дмитрий Кропотков, чей дядя был однокашником Рылеева по корпусу, утверждал в 1869 году: «В конце минувшего века это заведение в образовательном отношении всегда занимало у нас второе

место после Московского университета. В смысле же воспитательного заведения и по военной специальности равных оно не имело. В те времена еще не существовало в Петербурге университета, и потому все лучшие преподаватели избирали для своего педагогического служения... корпус, всегда находившийся под особым покровительством наших государей... Кроме военных заслуг, принадлежащих истории, воспитанники этого корпуса оказали не меньшие услуги и отечественному просвещению. В стенах этого корпуса положено начало образованию русских юристов. Питомцы корпуса занимали с честью высшие места и в службе гражданской, и даже во флоте»^{203}.

Павел I фактически отменил Устав 1766 года: ввел разделение кадет на четыре роты вне зависимости от возраста, для самых младших воспитанников создал малолетнее отделение, переименовал корпус из Сухопутного шляхетского в 1-й кадетский, его воспитанников стали готовить только к военной службе.

«Главнона начальствующим» над корпусом Павел назначил собственного сына, цесаревича Константина Павловича. Ему подчинялся директор корпуса — в момент поступления туда Рылеева, в апреле 1800 года, это был генерал-лейтенант граф Матвей Ламздорф, впоследствии воспитатель великих князей Николая и Михаила, младших сыновей Павла. В том же году Ламздорфа сменил фаворит Екатерины II и будущий участник убийства Павла I Платон Зубов, а в следующем году директором стал Фридрих Максимилиан (Федор Иванович) Клиnger, прослуживший в этой должности 20 лет. Известный немецкий писатель, автор знаменитой пьесы «Буря и натиск», с конца XVIII века он состоял на русской службе, к описываемому времени был уже генерал-майором, а впоследствии дослужился до чина генерал-лейтенанта.

Мало кто из воспитанников вспоминал Клингера добром. К примеру, Фаддей Булгарин, соученик Рылеева, утверждал: директор был гениальным немецким писателем, но не любил Россию, «почитал русских какой-то отдельной породой, выродившихся из азиатского варварства и поверхностности европейской образованности» и «сам предложил, чтоб сочинения его были запрещены в России, желая тем самым лишить своих недоброжелателей средств вредить ему»^{204}.

С именем Клингера связано введение в корпусе новой педагогической системы, суть которой хорошо выразил Николай Титов, обучавшийся в корпусе в начале века и впоследствии ставший известным композитором: «Клиnger говаривал: “Русских надо менее учить, а более бить”». Кропотков,

учившийся и преподававший в корпусе уже в Николаевскую эпоху, обобщая воспоминания бывших кадет, утверждал, что эпоху управления Клингера «можно без преувеличений назвать временем террора»: «Утром, почти ежедневно, в каждой роте раздавались раздирающие вопли и крик детей. Удивительно ли, что при такой системе воспитания ожесточались юные сердца?» Собственно, методу Клингера, целиком основанную на телесных наказаниях воспитанников, пришлось испытать на себе почти всем кадетам. Булгарин вспоминал впоследствии, что когда спустя четыре года после выпуска из корпуса он встретил человека, похожего лицом на его ротного командира, верного сторонника клингеровской системы воспитания, то «вдруг почувствовал кружение головы и спазматический припадок»^[205].

Знаменитый в начале XIX века журналист Николай Греч писал в мемуарах, что «большая часть» деятелей 14 декабря вышла из стен 1-го кадетского корпуса^[206]. Конечно, утверждение это ошибочно: среди участников тайных обществ были выпускники знаменитого Московского училища колонновожатых, Пажеского *корпуса*, 2-го кадетского и Морского корпусов, Царскосельского лицея и Московского университета. Однако бывших воспитанников 1-го кадетского корпуса среди членов тайных обществ действительно было немало. Из числа наиболее известных заговорщиков его окончили Павел Аврамов, Александр Булатов, Федор Глинка, Михаил Пущин и Андрей Розен.

По-видимому, принятая в корпусе система воспитания сыграла не последнюю роль в том, что выпускники корпуса стали революционерами: постоянное унижение человеческого достоинства не могло не породить протест против несправедливой власти. В корпусных стенах эту власть представлял Клингер, вне их — самодержавное государство.

Вполне возможно, что первые размышления о свободе — не о политической, конечно, а о личной, человеческой — у Рылеева возникли еще в корпусе как реакция на жестокие и часто несправедливые телесные наказания. Кропотков утверждал: Рылеев «был пылкий, славлюбивый и в высшей степени предприимчивый сорванец». «Беспрестанно повторяемые наказания так освоили его с ними, что он переносил их с необыкновенным хладнокровием и стоицизмом. Часто случалось, что вину товарищей он принимал на себя и сознавался в проступках, сделанных другими. Подобное самоотвержение приобрело ему множество друзей и почитателей, вырученных им из беды и потому питавших к Рылееву безграничное доверие. Он был зачинщиком всех заговоров против учителей

и офицеров. Года за три до выпуска он был жестоко наказан, и начальство, выведенное наконец из терпения, уже собиралось исключить его из заведения, как вдруг обнаружилось, что Рылеев был наказан безвинно»^{207}.

Рылееву катастрофически не повезло с образованием. И дело было не только во введении в корпусе телесных наказаний. И Павел, и вступивший на престол после его убийства Александр I не забывали о кадетях: неоднократно издавали указы о «потребных корпусу» суммах, о частных преобразованиях в нем, о переменах в мундирах воспитанников и т. п. Не коснулись павловские и александровские узаконения только методов преподавания учебных дисциплин в корпусе, соотнесенности этого преподавания с возрастом и наклонностями кадет. Иными словами, старая, екатерининская система преподавания рухнула, а новая так и не возникла. Четкого представления о том, чему и как следует учить кадет, ни у начальства, ни у корпусных учителей и воспитателей не существовало.

Если в XVIII веке корпус формировал военную и государственную элиту России, то к началу следующего столетия он стал ординарным военно-учебным заведением. В отличие, например, от Пажеского корпуса, в который принимались только сыновья и внуки генералов и выпускники которого становились гвардейскими офицерами, в 1-м кадетском корпусе учились в основном дети дворян средней руки, готовил же он по преимуществу обычных армейских офицеров.

*

Согласно изданному в 1820 году Федором Шредером «Новейшему путеводителю по Санкт-Петербургу, с историческими указаниями», суть деятельности малолетнего отделения 1-го кадетского корпуса состояла в следующем: «В сем заведении воспитываются и обучаются еще 200 дворянских детей, кои или по нежному своему возрасту не могут еще сносить военных упражнений, или потому, что не имеют еще надлежащих предварительных познаний для слушания более трудных ученых знаний, состоят под женским надзором, от ротных кадет совершенно отделены, называются малолетними, и с истинно нежным попечением к будущему их назначению приготавливаются»^{208}.

Очень многие впоследствии знаменитые деятели русской истории, культуры, литературы были питомцами малолетнего отделения корпуса.

Прошел через него и Рылеев.

Относительно даты поступления Рылеева в корпус мнения мемуаристов расходятся. Кропотков, ссылаясь на документы корпуса, указывает, что Рылеев поступил в него 23 января 1801 года. Исследователь В. И. Маслов на основании «случайно уцелевшего» в архиве корпуса «списка кадетов» утверждает, что Рылеев «определен был туда 12 января 1801 г.». Анонимный же автор хранящейся в РГАЛИ биографической записки о Рылееве называет другую дату — 1805 год, — не указывая, впрочем, источник сведений^[209].

Вряд ли возможно установить, на чем основывался анонимный мемуарист и какими материалами располагали Кропотков и Маслов. Однако в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) хранятся корпусные документы, согласно которым Рылеев стал кадетом 18 апреля 1800 года, в возрасте четырех с половиной лет. На военной службе он, таким образом, находился 18 лет — до отставки, последовавшей в декабре 1818-го^[210].

Естественно, поначалу он числился в малолетнем отделении корпуса. Согласно корпусным узаконениям Павловской эпохи, туда принимали детей, достигших шестилетнего возраста. Очевидно, что с Рылеевым произошла история, подобная той, которую рассказывает в своих мемуарах дипломат и сенатор Петр Полетика. Он поступил в корпус в 1782 году и впоследствии писал об этом: «...я не достиг еще тогда полных 4-х лет; но, стараниями моих благодетелей и некоторых чиновников, я был принят в число воспитанников как имеющий 6-ть лет»^[211]. В случае с Рылеевым имена «благодетелей» установить несложно. Согласно документам, будущий поэт был принят туда по личному распоряжению корпусного «главноначальствующего», цесаревича Константина Павловича^[212]. Цесаревич же, как уже говорилось выше, был сослуживцем по гатчинским войскам генерала Петра Малютина.

Фаддей Булгарин вспоминал: «Это был пансион, управляемый женщинами. Малолетнее отделение разделено было на камеры (*chambre*), и в каждой камере была особая надзирательница, а над всем отделением главная инспекторша (*inspectrice*), мадам Бартольде». Имена надзирательниц перечисляет в мемуарах другой соученик Рылеева Николай Титов, поступивший в малолетнее отделение в 1808 году. «Начальницы камер, — вспоминал он, — были: первой — госпожа Бартольде, она же и инспектриса, второй — Алабова, третьей девица Эйлер, уже пожилая и седая, четвертой — г-жа Воронцова, пятой — г-жа Альбедиль и шестой —

г-жа Бониот; эта последняя была всех добрее». Титову не повезло: мадам Альбедиль, к которой попал он, была «женщина пожилых лет, высокого роста, худая, черноволосая, косая и к довершению пресердитая». Булгарину посчастливилось попасть в камеру к «госпоже Бониот»; он тоже запомнил ее как «нежную», «ласковую» и «добродушную» женщину. Каждая камера делилась на два отделения, которыми заведовали няньки; в камере Титова это были «Акулина» и «Ивановна», которая «секла больно»^{213}. Впрочем, и Булгарин страдал от няnek — те, согласно мемуарам, «обходились» с ним «довольно круто».

Мы не знаем, на чьем попечении находился Рылеев. Без преувеличения можно сказать только, что даже на фоне шестилетних, самых младших воспитанников четырехлетний кадет выглядел младенцем. По-видимому, его первые ощущения от пребывания в корпусе были сродни тем, которые испытывал Петр Полетика: «Я был так мал и так слаб, что едва мог одевать и раздевать себя и беспрестанно терял то ремешки на башмаках, то тряпочку, которая давалась нам вместо носового платка, за что и был я весьма часто и строго наказываем розгами... Нравственное мое образование не могло не иметь худых последствий от частых и неумеренных наказаний, мною понесенных, и сурового физического воспитания»^{214}.

Чему учили воспитанников малолетнего отделения корпуса, сказать сложно — корпусные ведомости о их «успехах» до нас не дошли, а документа, регламентировавшего это обучение, как уже говорилось, не существовало. Очевидно, набор предметов в малолетнем отделении был похож на тот, которому следовало обучать кадет «первого возраста» в соответствии с уставом 1766 года. В царствование Екатерины II младшим кадетам преподавали Закон Божий, русский и французский языки, рисование, танцы и арифметику. Было в уставе и указание, что малолетних следует учить тому, «что еще сходствует с их летами»^{215}.

Кормили самых младших воспитанников скудно; по воспоминаниям Титова, «по утрам вместо чая давали овсяный суп и полубелую булку», за обедом — «тарелку супу, кусок жесткой говядины и пирог с кашей, или со пшеном, или говядиной. По праздникам давали пирожное — хворосты», «вместо вечернего чая давали по полубелой булке и по стакану воды; ужин состоял из тарелки супа и гречневой каши с маслом», «иной раз за ужином давали нам пряженцы. Это просто был ломоть белого хлеба, обжаренного в масле»^{216}.

Жизнь маленьких кадет была однообразной: «Каждый год на

страстной неделе малолетнее отделение говело, и, бывало, в среду придет отец Стахий и исповедует нас всех зараз; оказывалось, что мы были грешны по всем заповедям»; «...тычки, пинки, оплеухи, дранье за волосы и за уши, битье линейкою по пальцам — всё это было дело обыкновенное»; «...летом выводили нас гулять в сад, а по воскресеньям и другим праздникам нас пускали, конечно, под присмотром дежурной дамы и нянек, в большой сад, где мы сходились с ротными кадетами и таким образом с ними знакомились»; «...мы носили на голове шапки-венгерки с кисточкою из разноцветных сукон. Сколько раз бывало за ужином, когда давали кашу, спрячешь ее в венгерку и унесешь с собою в камеру, спрячешь под подушку и поутру лакомишься этою кашею, вынимая ее пригоршней»^{217}.

Вряд ли кому-то из малолетних кадет «женский надзор» мог заменить родительскую ласку. Всем бывшим воспитанникам малолетнего отделения запомнилось, как они скучали по родителям и постоянно подвергались телесным наказаниям. «Вскоре по вступлении моем в корпус, я едва не умер от воспалительной горячки, причиненной тоскою по матери», — вспоминал Полетика. «Ужасная идея, что родители не любят меня, овладела мной и мучила меня!.. Наконец я не мог выдержать этой внутренней борьбы и заболел», — вторил ему Булгарин^{218}.

Развлечений у малолетних кадет практически не было — за исключением укрытой в шапке каши, гуляний в саду и редких *приездов* высочайших особ. «Император Павел Петрович, — вспоминал Булгарин, — несколько раз посещал корпус и был чрезвычайно ласков с кадетами, особенно с малолетними, позволяя им многие вольности в своем присутствии. “Чем ты хочешь быть?” — спросил государь одного кадеты в малолетнем отделении. “Гусаром!” — ответил кадет. “Хорошо, будешь! А ты чем хочешь быть?” — промолвил государь, обращаясь к другому малолетнему кадету. “Государем!” — отвечал кадет, смотря смело ему в глаза. “Не советую, брат, — сказал государь, смеясь, — тяжелое ремесло! Ступай лучше в гусары!” “Нет, я хочу быть государем”, — повторил кадет. “Зачем?” — спросил государь. “Чтоб привезти в Петербург папеньку и маменьку”. “А где же твой папенька?” “Он служит майором (не помню в каком) в гарнизоне!” “Это мы и без того сделаем”, — сказал государь ласково, потрепав по щеке кадеты, и велел бывшему с ним генерал-адъютанту записать фамилию и место служения отца кадеты. Через месяц отец кадеты явился в корпус к сыну и от него узнал о причине милости государя, который перевел его в сенатский полк и велел выдать несколько тысяч рублей на подъем и обмундировку»^{219}.

Описывает Булгарин и еще одну корпусную церемонию, на которой неминуемо должен был присутствовать и Рылеев: «12 марта 1801 года, едва пробили утреннюю зорю, вдруг начали бить сбор (в 6 часов утра). Дежурный офицер вбежал опрометью в роту и закричал: “вставать и одеваться! Не надобно пудриться, бери амуницию и ружья, и стройся!” Пошла суматоха. Мы никак не могли догадаться, что бы это значило, потому что этого никогда не бывало. При полной амуниции мы всегда пудрились; на ученье нас не выводили так рано... Едва успели мы выстроиться, нас повели прямо в Собраничную залу, и в то же время принесли знамена (а тогда каждая рота имела знамя). Наконец явился священник, в полном облачении, и мы присягнули новому императору Александру Павловичу»^{220}.

Булгарину в момент присяги было уже 11 лет, он только что перешел из малолетнего отделения корпуса во взрослое. Рылеев же, которому не исполнилось еще и шести, по-прежнему воспитывался среди малышей; однако и он должен был присягать новому императору, поскольку с момента поступления в корпус считался находящимся на действительной военной службе.

Из малолетнего во взрослое отделение кадет переводили в возрасте 11—12 лет, предварительно проэкзаменовав их. Согласно введенному Павлом I правилу взрослые кадеты в повседневной жизни и на фрунтовых занятиях распределялись по пяти ротам: гренадерской, трем мушкетерским и резервной — и назывались, в отличие от малолетних, «ротными» кадетами. Собранные вместе, «ротные» кадеты представляли собою подобие батальона в пехотном полку. Каждая рота, как и камеры у малолетних, делилась на два отделения. Ротами командовали штаб-офицеры (майоры, подполковники и полковники), отделениями — обер-офицеры (от подпоручика до капитана). Время учебы во взрослом отделении составляло в среднем шесть лет; «среднестатистический» кадет оканчивал корпус в 16—18 лет. Правда, если воспитанник корпуса показывал исключительные успехи в учебе, он мог быть выпущен и раньше, как, например, тот же Фаддей Булгарин^{221}.

*

Точно неизвестно, в каком году Рылеев был переведен из малолетнего во взрослое отделение корпуса; скорее всего, это произошло не ранее 1807

—1808 годов. Одно можно сказать твердо: ему не повезло в том смысле, что его подростковый и юношеский возраст, когда у человека могут сформироваться первые убеждения и проснуться любовь к наукам, пришелся на тяжелое для корпуса время. Самые лучшие преподаватели, которым воспитанники при отсутствии четкой системы обучения были обязаны хоть какими-то знаниями, вскоре покинули учебное заведение. Очевидно, причиной массового ухода учителей было не устраивавшее их маленькое жалованье.

Так, например, в 1810 году из корпуса ушел знаменитый академик Карл Герман, преподававший статистику в выпускном классе. Он служил еще в Пажеском корпусе, а затем в Санкт-Петербургском университете и практиковал частные лекции, весьма популярные в образованном обществе. Многие молодые люди 1820-х годов были его учениками, среди них — и будущие участники и руководители тайных обществ Павел Пестель, Иван Бурцов, Никита Муравьев и многие другие. В 1821 году Герману было запрещено публичное преподавание. В его лекциях обнаружились «зловредные правила» — «в отношении к нравственности, образу мыслей и духу учащихся и благосостоянию всеобщему»^[222].

Многие из учеников академика впоследствии вспоминали его добром. Так, Пестель, выпускник Пажеского корпуса, утверждал, что именно преподаватель статистики привил ему любовь к политическим наукам. Очевидно, что с ним мог согласиться, например, Булгарин, в полном объеме прослушавший курс Германа в кадетском корпусе и называвший его «ученым и добрым» человеком^[223]. Однако Рылеев, переведенный во взрослое отделение корпуса примерно за год до ухода знаменитого преподавателя, просто не успел побывать его учеником.

Размышляя впоследствии о трагической судьбе Рылеева, Николай Греч утверждал: либерального «вздора» Рылеев «набрался» «из книги “Сокращенная библиотека”, составленной для чтения кадет учителем корпуса, даровитым, но пьяным Железниковым, который помешал в ней целиком разные республиканские рассказы, описания, речи, из тогдашних журналов». С Гречем яростно спорил Кропотков: «Напечатанная в корпусной типографии безобразным шрифтом и на серой бумаге, она со дня своего появления в свет находилась в каком-то у всех пренебрежении, никто и не брал ее в руки, а если иногда и приводили из нее цитаты, то разве для потехи... Имея у себя в течение многих лет эту книгу, мы никогда и не подозревали в ней свойства орсиниевской гранаты^[1]»^[224].

Об авторе, майоре Петре Железникове, преподававшем в корпусе

русский язык и словесность, оставил воспоминания и Фаддей Булгарин. В оценках Железникова он был не согласен ни с Гречем, ни с Кропотковым, поскольку, в отличие от них, был его учеником: «Русский язык, а в первых трех классах и литературу преподавал Петр Семенович Железников... П. С. Железников знал русский язык основательно, и притом был весьма силен в языках французском, немецком и итальянском. Еще будучи кадетом, он перевел Фенелонова “Телемака”. Перевод поднесен был императрице Екатерине II, которая щедро наградила переводчика, приказала напечатать книгу на казенный счет, в пользу автора, и ввести как классную книгу во все учебные заведения». Согласно Булгарину, во многом благодаря Железникову в корпусе «преобладал дух литературный над всеми науками». Этот дух возник в учебном заведении еще в середине XVIII века и был связан с именем его выпускника Александра Сумарокова, знаменитого поэта и драматурга, одного из основателей профессионального русского театра.

«Внимание двора к русской литературе, слава Сумарокова и русский театр в корпусе утвердили в кадетах любовь к русской словесности и отечественному языку, и эта любовь, поддерживаемая искусными преподавателями, каковы были Яков Борисович Княжнин и ученик его, Петр Семенович Железников, сделалась как бы принадлежностью корпуса и переходила от одного кадетского поколения к другому, даже до моего времени», — утверждал Булгарин. О «Сокращенной библиотеке» — хрестоматии, собранной Железниковым специально для кадет, мемуарист пишет, что она составила «нравственный переворот в корпусе»: «Железников извлек, так сказать, эссенцию из древней и новой философии, с применением к обязанностям гражданина и воина, выбрал самые плодотворные зерна для посева их в уме и сердце юношества. Различные отрывки в этой книге заставляли нас размышлять, изоощрять собственный разум и искать в полных сочинениях продолжения и окончания предложений, понравившихся нам в отрывках»^[225].

Впрочем, все рассуждения о том, был ли Железников «пьяным» республиканцем, составителем никому не нужной книжки или лучшим корпусным преподавателем, чья хрестоматия способна была разбудить умы воспитанников, имеют к Рылееву весьма опосредованное отношение. Железников прекратил преподавательскую деятельность в 1807 году, когда Рылеев либо еще учился в малолетнем отделении, либо только что перешел во взрослое. Единственное, чему мог учить его Железников, — чистописание. Очевидно, что никакого влияния на формирование либеральных взглядов будущего лидера заговора учитель иметь не мог.

Кроме того, по справедливому замечанию Булгарина (подтвержденному, кстати, Кропотовым), в корпусе была прекрасная библиотека, собранная еще в XVIII веке и постоянно пополнявшаяся. «Библиотека корпуса открывается четыре раза в неделю, и каждый кадет, который предъявит подписанную начальником своей роты записку, получает для чтения книгу», — гласил путеводитель Шредера 1820 года^[226]. Тому, кто хотел читать книги, не было никакой нужды ограничивать себя хрестоматией.

Еще одной достопримечательной фигурой в корпусе в годы учения там Булгарина являлся известный писатель Гаврила Гераков. «Он, — вспоминает Булгарин, — был отличным учителем истории, умел возбуждать к ней любовь в своих учениках и воспламенять страсть к славе, величию и подражанию древним героям... Мы многим обязаны Г. В. Геракову за развитие наших способностей и возбуждение любви к науке, которая, по справедливости, называется царской!»^[227]

Гераков, писатель-дилетант, тем не менее вхожий в литературные круги Петербурга, был известен прежде всего своей трехтомной историко-патриотической книгой «Твердость духа русского» (первый раз она вышла в 1804 году, второй — в 1813—1814 годах). В ней были собраны рассказы, посвященные знаменитым деятелям русской истории (Дмитрию Донскому, Минину и Пожарскому, Александру Меншикову и др.), на примере которых, по мнению автора, следовало учиться любви к отечеству. Велик соблазн включить эту книгу в список источников позднейших рылеевских «Дум»; однако Гераков окончил педагогическую деятельность в 1809 году и сделать вывод о том, насколько он повлиял на Рылеева, невозможно.

Согласно «Адрес-календарям» на 1810—1814 годы, регулярно публиковавшим списки учителей 1-го кадетского корпуса, после ухода Германа, Железникова и Геракова в нем вообще не осталось сколько-нибудь заметных преподавателей. Более того, очевидно, что после того как корпус покинул Герман, единственный тогда в России специалист по статистике, эта дисциплина кадетам вообще больше не преподавалась.

«Вновь поступившие в учителя лица были выпускниками Первого же кадетского корпуса и не обладали надлежащей педагогической подготовкой и практическим опытом преподавания... Падение образовательного уровня учителей сопровождалось ухудшением их материального положения... Бедность учителей, их низкий социальный статус не позволяли им завоевать авторитет в глазах воспитанников. Часто наставники будущих офицеров являлись на занятия в рваной одежде и худых сапогах», —

резюмирует современный исследователь^{228}. Ситуация с учителями в 1 -м кадетском корпусе стала понемногу исправляться лишь в 1830-х годах, когда правительство обратило, наконец, внимание на образование кадет.

Из тех наставников, которые оказали или могли оказать влияние на формирование Рылеева, следует назвать прежде всего Карла Мердера — в то время поручика, командира отделения в гренадерской роте корпуса, куда Рылеев был переведен в 1810 году (в письме отцу от 7 декабря 1812 года он указывает, что находится в гренадерской роте уже два года^{229}). Про Мердера известно, что он поступил на службу в корпус в 1809 году, из-за ранения оставив удачно складывавшуюся военную карьеру. Судя по сохранившимся сведениям, в отношении кадет Мердер придерживался иной, нежели Клингер, системы воспитания. Человек мягкий и гуманный, ставший впоследствии воспитателем великого князя Александра Николаевича, он оставил о себе добрую память. Василий Жуковский, разделивший с Мердером нелегкий труд наставника наследника престола, писал впоследствии: «...в данном им воспитании не было ничего искусственного; вся тайна состояла в благодетельном, тихом, но беспрестанном действии прекрасной души его... Его питомец... слышал один голос правды, видел одно бескорыстие... могла ли душа его не полюбить добра, могла ли в то же время не приобрести и уважения к человечеству, столь необходимого во всякой жизни, особливо в жизни близ трона и на троне...» А Пушкин в своем дневнике так характеризовал Мердера: «Человек добрый и честный, незаменимый»^{230}.

О том, какие отношения связывали будущего поэта и будущего воспитателя цесаревича, прямых свидетельств не сохранилось. Однако Кропотков отзывался о Мердере как о «личности почтенной и высоконравственной». Николай Титов в мемуарах из всех офицеров корпуса упомянул лишь Мердера. Андрей Розен, будущий участник событий на Сенатской площади, поступивший в корпус через год после того, как Рылеев его окончил, вспоминал Мердера «с искреннейшею признательностью» как «всегда бойкого, бодрого, на славу учившего свою роту ружейным приемам и маршировке». «Отменно здравый ум, редкое добродушие и живая чувствительность, соединяясь с холодною твердостью воли и неизменным спокойствием души, таковы были отличительные черты его характера. С сими свойствами, дарованным природою, соединял он ясные правила, извлеченные им из опытов жизни, правила, от коих ничто никогда не могло отклонить его в поступках», — читаем в некрологе Мердера, опубликованном в «Северной пчеле» в 1834 году^{231}.

Еще одна заметная личность в корпусе — инспектор классов полковник Михаил Перский, впоследствии сменивший Клингера на посту директора. Согласно Розену, Перский «соединял в себе все условия образованного и способного человека по всем отраслям государственной службы». «Быв сам воспитан в 1-м Кадетском корпусе, он знал все недостатки этого заведения, и если он после, *быв* директором, не довел его до совершенства, то причиною тому были слабые денежные средства, отпускаемые тогда на старинные военно-учебные заведения... Дознано, что везде, даже в самом посредственном учебном заведении, можно многому научиться; то же самое можно сказать положительно о 1 -м Кадетском корпусе, хотя в мою бытность там бывали учителя, получавшие не более 150 рублей ассигнациями жалованья в год. К лучшему устройству корпуса недоставало хороших учителей, надзирателей, наставников. Перский мог выбирать и назначать из офицеров артиллерии и армии, из числа лучших прежних питомцев корпуса, но откуда было взять хороших учителей?» — рассуждал Розен.

Он был прав: хороших учителей для корпуса в середине 1810-х годов действительно взять было негде. И конечно же Перский и Мердер не могли противостоять целому штату случайных в педагогике людей, получающих нищенское жалованье. «Недостатки образования, полученного Рылеевым в юности, не составляли для него тайны. Он понимал их очень хорошо и старался пополнить чтением и беседами с людьми, стоявшими тогда во главе нашего просвещения», — утверждал Кропотов^{[1232](#)}.

*

Конечно, именно в корпусе у Рылеева появились первые друзья. Общение с ними было, по-видимому, очень важным для кадета: покинув стены учебного заведения, он неоднократно упоминал их в стихах, вспоминал совместно проведенные годы:

Боярский! сядь со мной в карету!
Фролов! на козлы поскорей!
И докажи, пожалуй, свету,
Что ты мастак кричать: «Правей!»

«Путешествие на Парнас», 1814 г.

Ах! где Боярский милый,
Мечтатель наш драгой?
Увы! в стране чужой
И с лирою унылой!
Ах! там же и Фролов,
Наш друг замысловатый,
Сатирик тороватый
И острый баснослов!

«К Лачинову», 1816 г.

Печали врач, забав любитель,
Остряк, поэт и баснослов,
Поборник правды и ревнитель,
Товарищ юности, Фролов!
Прошу, прерви свое молчанье
И хоть одной своей строкой
Утишь душевное страданье
И сердце друга успокой.
Пойдем, Фролов, мы сей стезею —
Вожатый дружба наш, — пойдем!
Но вместе чур! рука с рукою!
Авось до счастья добредем!
Авось, авось все съединимся —
Боярский, Норов, я и ты,
Авось отрадой наладимся,
Забыв все мира суеты.

«К Фролову», между 1816 и 1818 гг. [\[233\]](#)

Из этих стихов видно, в частности, что у Рылеева в корпусе был достаточно тесный круг друзей, самым же близким из них был кадет Фролов, «остряк, поэт и баснослов». Однако ни он, ни названные в стихах Боярский, Норов и Лачинов не оставили следа ни в истории, ни в литературе. По-видимому, Рылеев, занятый службой, поэзией и тайным обществом, скоро забыл друзей по корпусу. По крайней мере, ни в его поздних стихах, ни в письмах эти фамилии не встречаются.

По-видимому, после учебы у Рылеева осталось не так много друзей. Прежде всего это Федор Миллер — однофамилец и тезка будущего опекуна дочери поэта. Миллер и Рылеев были знакомы еще до корпуса: «Служащий у нас Федор Петрович Миллер, сын бывшего нашего исправника, кланяется Вам»^{234}, — писал Рылеев матери в 1817 году. После выпуска из корпуса друзья несколько лет прослужили вместе в конноартиллерийской роте.

Из писем Рылеева известно также, что и после отставки он поддерживал отношения с бывшим однокашником и сослуживцем, что в 1825 году тот пережил любовную драму и тоже вышел в отставку, что Рылеев поручил ему вести дело о киевском наследстве отца, однако Миллер с этой задачей не справился, потеряв документы. Наконец, из последних писем Рылеева, написанных в крепости, можно выяснить, что Миллер в 1826 году оставался должен однополчанину 100 рублей^{235}.

Еще с корпусных времен был близок с Рылеевым некто Асосков, про которого до недавнего времени ничего не было известно. Один из сослуживцев будущего поэта по конноартиллерийской роте вспоминал: Рылеев «завел обширную переписку с некоторыми из товарищей своих по корпусу, из коих один служил штабс-капитаном в гренадерском полку, кажется Асосков, коему *еженедельно* посылал исписанных несколько листов почтовой бумаги»^{236}.

Документы, найденные в фондах РГВИА, позволяют пролить некоторый свет на личность и биографию Василия Ивановича Асоскова, выпущенного из 1-го кадетского корпуса в самом конце 1811 года. Он родился в 1792 году, следовательно, был тремя годами старше Рылеева. После выпуска из корпуса он стал прапорщиком Кексгольмского пехотного (с 1813-го — гренадерского) полка, успел повоевать в Отечественную войну, участвовал в Заграничных походах, в 1818 году был уже штабс-капитаном. Асосков окончил службу в 1842-м полковником и командиром Минского пехотного полка, при отставке получив чин генерал-майора^{237}.

Мы не знаем, что было в тех «нескольких листах почтовой бумаги», которые Рылеев, находясь на службе, еженедельно посылал Асоскову. Однако, приехав в 1819 году в столицу, Рылеев неминуемо должен был восстановить личное общение с кадетским другом. С 1816 по 1822 год Асосков служил санкт-петербургским плац-адъютантом — помощником столичного коменданта, отвечал, в частности, за регистрацию приезжающих в город и, конечно, просто не мог не узнать о приезде отставного подпоручика Рылеева.

«В случае неудачи предприятия 14-го числа положено было ретироваться на [военные] поселения», — показывал Рылеев на следствии через несколько дней после ареста^{238}. Сущность этого плана историки до конца не могут понять: никто из офицеров поселенных войск в число заговорщиков не входил (служивший «по поселениям» подполковник Гавриил Батеньков, доверенное лицо Аракчеева, незадолго до 14 декабря поссорился со своим покровителем и покинул поселенную службу). Однако при знакомстве с послужным списком Асоскова выясняется: в 1822 году тот, получив чин майора, перевелся с плац-адъютантской должности в Перновский гренадерский наследного принца Прусского полк, а в 1823-м стал командовать его вторым батальоном. Этот батальон входил в состав новгородских военных поселений, возглавлявшихся лично графом Аракчеевым. Свои обязанности Асосков исполнял хорошо — граф неоднократно представлял его к императорским благодарностям^{239}.

Конечно, серьезных оснований предполагать, что Асосков был политическим единомышленником Рылеева, у нас нет. Однако их близкая дружба, отмеченная мемуаристами, позволяет сделать другое предположение: руководитель заговора вполне мог рассчитывать на помощь Асоскова лично ему и его ближайшим сотрудникам.

Еще один друг, с которым Рылеев не перестал общаться, покинув корпус, — Николай Антропов, его ровесник, в 1825 году — ротмистр Астраханского кирасирского полка. Очевидно, именно ему посвящено стихотворение Рылеева «К Н. А-ву (В ответ на письмо)», которое часто неправильно связывают с именем Асоскова. Влюбившись в Наталью Тевяшову и долго не писавший другу, Рылеев в стихотворении отвечает на упрек в забывчивости:

И из чего, скажи, ты взял,
Что твой сорпутник с колыбели
Любить друзей уж перестал?
Иль в нем все чувства онемели
И он, как лед, холоден стал?
Мой друг! так думаешь напрасно;
Всё тот же я, как прежде был,
И ничему не изменил;
Люблю невольню, что прекрасно;
И если раз уж заключил
С кем дружества союз я вечный,
Кого люблю чистосердечно,

К тому, к тому уж сохраню
Любовь и дружество, конечно,
И никогда не изменю^{240}...

О характере взаимоотношений Рылеева и Антропова ничего неизвестно, однако имя его фигурирует в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ и лицам, прикосновенным к делу», составленном по итогам следствия над заговорщиками. В «Алфавит» Антропов попал из-за своего письма Рылееву, отправленного по почте 3 января 1826 года. Служивший в провинции Антропов получил сведения о выступлении в столице и сообщал Рылееву, что «удивляется худой обдуманности петербургских происшествий, что не смеет писать о том, о чем бы хотел, и что совокупившиеся обстоятельства нынешних времен столько опечалили его, что он наложил на себя траур, который будет носить до радостного дня».

Антропов был арестован. «Спрошенный по сему случаю Рылеев отвечал, что Антропов членом не был, но, во время бытности его в Петербурге, он намекнул ему, что, может быть, обстоятельства скоро переменятся и что, судя по общему неудовольствию, скоро должно вспыхнуть возмущение, спросил у него, на чьей стороне он будет? Антропов отвечал: “Разумеется, на стороне народа”», — фиксирует «Алфавит». Впрочем, факт участия Антропова в заговоре доказать не удалось. Сам он на допросе утверждал, что ничего не знал о готовившихся событиях, резонно заметив: «...если бы он знал о каких-либо замыслах, то мог ли бы осмелиться писать уже после происшествия 14 декабря их главному заговорщику?» Другие же участники событий на Сенатской площади с Антроповым не были знакомы — и, очевидно, именно это его спасло.

В итоге ротмистр отделался административным взысканием: «...государь император... высочайше повелеть соизволил освободить Антропова из-под ареста, отправить на службу с переводом в Нежинский конно-егерский полк, иметь за ним строжайший присмотр и ежемесячно доносить о поведении»^{241}.

Однокашником Рылеева и, по-видимому, его корпусным приятелем был Александр Булатов, впоследствии полковник и известный участник подготовки восстания на Сенатской площади, покончивший с собой в Петропавловской крепости. За несколько дней до самоубийства он объяснял следователям, что приехал в сентябре 1825 года в Петербург, «не

имея совершенно никаких мыслей не токмо о возмущениях, но привыкши к занятиям», возложенным на него «по обязанности службы». «В одно время быв в театре», он встретил там «приятеля детских лет Рылеева, с которым воспитывался вместе в 1-м кадетском корпусе; свидание после четырнадцати лет было очень приятное». Следствием этого «приятного свидания» стало присоединение полковника к заговорщикам^{242}. Но из документов следует, что до этой встречи Рылеев и Булатов знакомство не поддерживали.

И конечно же самым близким другом Рылеева, связь с которым поэт пронес от корпусной скамьи до Сенатской площади, оказался Фаддей Булгарин. Исследователей, изучающих историю отечественной словесности первой четверти XIX века, неизменно удивлял факт их дружбы. Булгарин — отставной капитан французской армии, участник Отечественной войны 1812 года на стороне Наполеона, коммерсант от литературы и журналистики, стремившийся после войны во что бы то ни стало стать «своим» для власть имущих, а после восстания на Сенатской площади ставший агентом тайной полиции, — никак не подходит на роль друга «поэта-гражданина». Эта дружба кажется тем более странной, что репутация Булгарина как «литературного недоноска», «гада на поприще литературы», «зайца», который «бежит между двух неприятельских станов», стала складываться задолго до восстания 14 декабря^{243}.

Историки литературы делали и до сих пор делают попытки объяснить причины этой странной дружбы будущего висельника с будущим информатором Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Правда, спектр мнений на эту тему небогат. Исследователи прошлых лет рассуждали по преимуществу о том, что Булгарин умело обманывал Рылеева, скрывая под маской дружбы «ренегатство» — желание открыто «перейти в стан реакции». В современных же работах доминирует концепция, согласно которой «хороший» Рылеев пытался нравственно перевоспитать «плохого» Булгарина, «апеллируя к понятиям “чести” и “порядочности”»^{244}. Однако подобные подходы неспособны объяснить феномен этой дружбы.

Познакомились Булгарин и Рылеев, как уже говорилось выше, еще в стенах малолетнего отделения 1-го кадетского корпуса, однако потом долго не виделись: Булгарин, окончив корпус в 1806 году, пять лет служил в русской армии, затем еще три — во французской. Когда Рылеев покинул стены корпуса, Булгарин уже был в русском плену, затем долго жил в Польше и Прибалтике, где завоевывал репутацию польского писателя, — и

только в 1819 году окончательно перебрался в столицу. Рылеев же после войны служил в Воронежской губернии и в Петербурге оказался в том же 1819 году. Очевидно, встретившись, они восстановили прежнее знакомство, которое быстро переросло в дружбу

Известно, что их взаимоотношения не были ровными: друзья-литераторы часто ссорились. Так, резкая размолвка между ними возникла в сентябре 1823 года. Булгарин пытался перекупить право издания официальной военной газеты «Русский инвалид» у петербургского журналиста Александра Воейкова, Рылеев же публично встал на сторону Воейкова и написал Булгарину письмо: «После всего этого, ты сам видишь, что нам должно расстаться... Я прошу тебя забыть о моем существовании, как я забываю о твоём: по разному образу чувствования и мыслей нам скорее можно быть врагами, нежели друзьями»^{245}. Однако дружба вскоре была восстановлена — во многом благодаря тому, что Воейков вовсе не был образцом журналистской честности: он пиратским образом перепечатывал в «Русском инвалиде» материалы «Полярной звезды».

Но в июне 1824 года отношения однокашников вновь стали достаточно напряженными, и Рылеев даже принял предложение поэта Антона Дельвига стать его секундантом на дуэли с Булгариным. Причина дуэли точно неизвестна, зато известно, что Булгарин отказался от поединка и велел передать противнику, что «на своем веку видел более крови, нежели он чернил». Очевидно, узнав об отказе Булгарина, Рылеев написал ему: «Любезный Фаддей Венедиктович! Дельвиг соглашается всё забыть с условием, чтобы ты забыл его имя, а то это дело не кончено. Всякое твое громкое воспоминание о нем произведет или дуэль, или убийство. *Dixit*^[2]. Твой Рылеев». Впрочем, вскоре и эта история была забыта: на одном из литературных обедов, по словам Александра Бестужева, «Булгарин пьяный мирился и лобызался с Дельвигом» — «точно был тогда чистый понедельник»^{246}.

Тем не менее, несмотря на ссоры, Рылеев сотрудничал в изданиях Булгарина, переводил его произведения с польского языка на русский (в 1821 году за перевод булгаринской сатиры «Путь к счастью» он был избран членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности), посвятил ему думы «Мстислав Удалый» и «Михаил Тверской». Булгарин же печатался в альманахе Рылеева «Полярная звезда», с неизменной теплотой отзывался о его литературной деятельности. Свои отношения с Булгариным Рылеев характеризовал как «горячность нежной дружбы»^{247}.

Очевидно, что дружба эта была взаимовыгодной; ей немало способствовала работа на общего покровителя — министра духовных дел и народного просвещения князя Голицына. Но очевидно и то, что в основе взаимоотношений двух литераторов лежала не только прагматика: Голицын потерял свое влияние в мае 1824 года, однако его падение не повлекло за собой разрыва между Рылеевым и Булгариным. Более того, после разгрома восстания на Сенатской площади Рылеев отдал другу часть своих бумаг, в том числе и таких, за хранение которых однокашник заговорщика вполне мог попасть в тюрьму. Однако Булгарин, после восстания ставший полицейским агентом, сохранил рукописи поэта. Впоследствии материалы из «портфеля Булгарина» попали в руки исследователей и были опубликованы^[248].

Думается, не последнюю роль в этой истории сыграли представления обоих друзей об «обязанностях дружбы» — тем более что речь шла об отношениях, возникших в кадетском корпусе.

*

Конечно же кадетская жизнь Рылеева не исчерпывалась постоянными муштрой, учебой у плохих преподавателей, телесными наказаниями и даже дружбой с однокашниками. «Дух литературный», о котором писал в мемуарах Булгарин, очевидно, не выветрился и к середине 1810-х годов.

Впоследствии, когда Рылеев уже будет казнен — и тем приобретет всероссийскую известность, — его юношеские стихи станут легендой 1-го кадетского корпуса. Николай Лесков, художественно переосмыслив воспоминания одного из воспитанников корпуса середины 1820-х годов, писал в очерке «Кадетский малолеток в старости»: «Преимущественно мы дорожили стихами своего однокашника, К. Ф. Рылеева, с музой которого ничья муза в корпусе состязаться не смела. Мы списывали все рылеевские стихотворения и хранили их как сокровище. Начальство это преследовало и если у кого находило стихи Рылеева, то такого преступника драли с усиленной жестокостью»^[249].

Некоторые произведения Рылеева, созданные в корпусе, дошли до нас, но большая их часть утеряна. При знакомстве с сохранившимися ранними рылеевскими текстами выясняется, что на самом деле ничего необычного в этих стихах не было:

Шуми, греми, незвучна лира

Еще неопытна певца,
Да возглашу в пределах мира
Кончину пирогов творца^[3]...

«Кулакиада»

Да ведает о том вселенна,
Как Бог преступников казнит
И как он Росса, сына верна,
От бед ужаснейших хранит...

«На погибель врагов»

Дрожит, немеет Галлов вождь
И думы спасться напрягает;
Но сей герой как снег, как дождь,
Как вихрь, как молния паляща
Врагов отечества казнит!
И вот ужасно цепь звенящая
С Москвы раздробленна летит!..

«Героев тени, низлетите!..»^[250]

Прощай, любезная пастушка,
Прощай, единственна любовь!..^[251]

Патриотический подъем времени Отечественной войны и Заграничных походов, «любезная пастушка» и корпусные служители — темы первых рылеевских стихов не дают возможности увидеть в нем будущего профессионального литератора и журналиста. Они были вполне традиционной формой проведения кадетского досуга. Это подтверждается, кстати, надписями на дошедших до нас ранних рылеевских автографах, сделанными кем-то из его приятелей-кадетов — уже после выпуска самого Рылеева в армию:

Когда стихи сии Рылеева читаю,
То точно как его... я будто лобызаю
И даже внемлю.
Сии стихи писал Рылеев, мой приятель,
Теперь да защитит его в войне создатель.
Хвала тебе, о мой любезный друг Рылеев,
Поэт и сын ты истинно Ареев...[{252}](#)

Очевидно, что и сам Рылеев ни в годы учебы в корпусе, ни после его окончания серьезно к этим стихам не относился — и никогда их не издавал. Сам автор «Кулакиады» таким видит итог своего кадетского творчества:

Сколько, сколько я бумаги
На веку перемарал
И в ниитственной отваге
Сколько вздору написал![{253}](#)

Конечно, начало XIX века, предвоенные годы — не лучшее время в истории 1-го кадетского корпуса. Очевидно, что Рылеев как поэт и вольнолюбец сформировался уже после окончания этого учебного заведения. Но нельзя не признать и того очевидного факта, что начало этому формированию было положено именно в корпусе. Из раздумий юного поэта о собственном месте в мире, патриотизме, героизме, из попыток противостоять жестоким корпусным нравам впоследствии выросло его представление о себе как действующем лице российской истории.

«Он заменил мне умершего родителя»

Рылеев был выпущен из корпуса 10 февраля 1814 года, через 12 лет после поступления в это учебное заведение. Естественно, событие это для него было радостным. Случайно уцелевшая корпусная тетрадка хранит следы этой радости: «Генварь 1814. Наконец настала та минута, приближения коей я ждал с таким нетерпением. Минута выпуска моего из корпуса». На второй половине листа юный выпускник пробует подписываться по-взрослому: несколько раз повторена запись «артиллерии прапорщик Рылеев»^[254].

Согласно «Высочайшим приказам о чинах военных», артиллерийский прапорщик Рылеев был определен в 1-ю конноартиллерийскую роту 1-й резервной артиллерийской бригады. Рота в тот момент воевала во Франции в составе отдельного отряда под командованием генерала Александра Чернышева. В феврале—марте 1814 года, в самом конце войны, она принимала участие в боях за французские города Лаон (правильно — Лан), Суассон, Реймс и Сен-Дизье.

Первая же страница боевой биографии Рылеева настораживает исследователя. Принято считать, что сразу из корпуса он попал на войну. Один из его сослуживцев утверждал в мемуарах, что после выпуска юный прапорщик отправился «прямо за границу, к батарее, которая в то время находилась в авангарде графа Чернышева, противу французских войск»: «Рылеев был несколько раз в сражениях, но особых отличий в делах не имел случая оказать». Исследователи дополнили и расцветили этот фрагмент мемуаров: «В эти трудные февральские дни и принял Рылеев боевое крещение: вместе со своей батареей он то преследовал французов, то отступал по грязным зимним дорогам. Случалось, на быстром марше при каком-нибудь маневре или при отступлении русские, австрийские и прусские части перемешивались, сминали друг друга, начинались толкотня и ругань, фуры и орудия опрокидывались, дело доходило чуть ли не до драки»^[255].

Между тем в воевавшую во Франции роту прапорщик так и не попал — и, соответственно, в боевых действиях не участвовал. Сразу после выпуска из корпуса он отправился в Дрезден, столицу оккупированной союзными войсками Саксонии. Уже 28 февраля он сообщил матери о приезде в этот город. Однако и в Саксонии прапорщик надолго не задержался: согласно послужному списку, из Дрездена он проследовал в

Швейцарию, куда прибыл 4 марта 1814 года^{256}. 25 марта он выехал из Швейцарии в «свое Отечество», то есть обратно в Россию, о чем написал в очерке «Рейнский водопад»: «Утро было прекрасное; солнце светило во всём своем величестве. Силу падения воды невозможно ни с чем сравнить! Пенящиеся волны с порывом рвутся между скал и, низвергаясь с крутизны утеса, — дробятся, образуя над поверхностью воды густое и блестящее облако пыли, съединяются, делятся вновь, вновь совокупляются и воспринимают дальнейшее свое течение»^{257}. Однако летом 1814 года Рылеев опять оказался в Саксонии.

Скорее всего, прапорщик исполнял роль курьера между военными властями Петербурга, Саксонии и Швейцарии. Саксония еще с осени 1813 года была оккупирована союзными войсками и управлялась русской администрацией. Король Фридрих Август, сторонник Наполеона, потеряв доверие союзных монархов, был отправлен в Берлин в качестве военнопленного — и государство возглавил генерал-майор князь Николай Репнин, генерал-губернатор или, как еще называли эту должность, вице-король Саксонии. После Битвы народов под Лейпцигом из союза с Францией вышла и Швейцария, заявившая о своем нейтралитете.

В связи с разъездами Рылееву пришлось отказаться от желания отличиться на войне. 19 марта 1814 года русские и прусские войска торжественно вошли в Париж.

Правда, начало его военной карьеры сложилось удачно: уже в первый приезд в Дрезден он обнаружил там «дядюшку Михаила Николаевича», о чем и сообщил матери^{258}. Генерал-майор Михаил Рылеев (1771—1831)^{259} принял его под свое покровительство.

В начале Отечественной войны Михаил Николаевич, тогда полковник и командир Смоленского пехотного полка, был тяжело ранен в бою под Салтановкой, затем полтора года лечился. Вернувшись в строй, получил назначение в Саксонию.

В военном отношении Саксония была разделена на несколько округов (областей); Репнин назначил генерал-майора Рылеева начальником третьего округа с центром в Дрездене и комендантом города. «Дядюшка находится теперь в Дрездене комендантом, — писал вчерашний кадет матери, — место прекрасное! По 300 р[ублей] серебром жалованья в месяц! — Почтеннейшая супруга его, Марья Ивановна, с ним — и он в полном удовольствии! Слава Богу и благодарение! Такого дяди, каков он, — больше другим не найти! Добр, обходителен, помогает, когда в силах; ну, словом, он заменил мне умершего родителя!»^{260} Прапорщик Рылеев, как

явствует из его переписки, находился в Саксонии по крайней мере до конца сентября 1814 года.

В историографии закрепилось мнение, что Рылеев попал на военную службу случайно, по стечению обстоятельств, и служить никогда не хотел. Мнение это базируется прежде всего на мемуарах одного из сослуживцев будущего поэта, утверждавшего, что Рылеев «не полюбил службы, даже возненавидел ее и только по необходимости подчинялся иногда своему начальству»^[261]. Однако архивные документы эту точку зрения опровергают. Можно отметить, что Рылеев в начале своей карьеры был дельным офицером, никоим образом не «уклонявшимся» от службы.

Из документов видно, что сначала он исполнял при «дядюшке» роль секретаря — его почерком написаны многие служебные бумаги дрезденского коменданта. По просьбе родственника прапорщик распечатывал казенные пакеты, читал корреспонденцию и докладывал о ее содержании. При этом Рылеев выполнял не только поручения «дядюшки». В июне 1814 года он был прикомандирован к генерал-майору Евстафию фон Штадену, одному из организаторов артиллерийского дела в России (в период Заграничных походов Штаден занимался устройством артиллерийских парков на территории Германии, а позже стал командиром тульских оружейных заводов)^[262].

Но самое главное и самое ответственное задание, которое «дядюшка» поручил родственнику, заключалось в сопровождении шедших через территорию Саксонии русских войск до границ округа.

Согласно «Расписанию армии, из Франции возвращающейся», войска, возвращавшиеся домой из Заграничных походов, были разделены на пять корпусов во главе с генералом от кавалерии графом Петром Витгенштейном, генералом от кавалерии бароном Фердинандом Винцингероде, генералами от инфантерии бароном Фабианом Остен-Сакеном и графом Александром Ланжероном и цесаревичем Константином Павловичем^[263]. При проходе через Германию каждому из этих корпусов надлежало двигаться своим, особым маршрутом. Через Саксонию должен был идти корпус Витгенштейна.

Между тем в Саксонии было беспокойно. Русские чиновники враждовали с саксонскими, в конфликты втягивались войска и местные жители. Несмотря на все усилия Репнина, направленные на налаживание быта саксонцев, представители русской армии и администрации воспринимались ими как чужаки, оккупанты. Генерал-губернатор опасался провокаций со стороны местных чиновников — и, как показало время,

опасения эти были не лишены оснований.

Ожидая передвижений войск Витгенштейна по подведомственной ему территории, генерал-майор Рылеев отдал «племяннику» распоряжение сопровождать корпус при проходе через Саксонию, «от Мерзебурга до Делитча». Рылеев-младший должен был наблюдать, «чтобы войска сии... получали везде должное продовольствие по тарифу и соблюдали во всех случаях тишину и спокойствие, дабы жители сих мест сколько можно менее были отягощены»^{264}.

Предусмотрительный Рылеев-старший заблаговременно послал молодого родственника сопровождать войска и контролировать их снабжение продовольствием. 21 июня прапорщик Рылеев приехал в город Герцберг, куда должна была вскоре прибыть и главная квартира Витгенштейна. Согласно его рапорту, комендант Герцберга оказался «русский и бойкий; жителей обидеть не даст»; а потому посланец генерала «не находил надобности» оставаться в городе дольше одного дня^{265}. Однако ему всё же пришлось задержаться — причиной тому была внезапно вспыхнувшая ссора между чиновниками.

Этапный комендант подпоручик Казин, отвечавший за маршрут проходивших войск и его полицейское обеспечение, не поладил с этапным комиссаром Фляксом, в чьи обязанности входили расквартирование частей и снабжение их продовольствием. 23 июня Казин сообщил генералу Рылееву, что Фляке «несколько раз обижал» его «разными несносно грубыми словами», а также «имел дерзость нагрубить господину генерал-майору и кавалеру Ешину». Рылеев-младший подтвердил его слова: «Этапный комиссар города Герцберга ежедневные делает грубости как г-ну коменданту, так и проезжающим чиновникам. Сегоднешнего числа весьма нагрубил он генерал-майору Ешину, который рапортовал о том князю Репнину»^{266}.

Попутно выяснилось, что «проходящие полки вообще недовольны водкою, отпускаемою им из магази́на здешним этапным комиссаром Фляксом». Казин с Рылеевым-младшим приняли решение немедленно уличить зарвавшегося саксонца. Согласно рапорту Казина от 25 июня, они с Рылеевым «в присутствии сего города бургомистра и этапного комиссара осматривали магазейн и открыли, что в оном большая часть бочек вина размешанного с водою». В тот же день Рылеев рапортовал «дядюшке»: «Открыто господином здешним комендантом и мною, что этапный комиссар Фляке отпускает проходящим войскам вино, смешанное с водою; почему комендант совокупно со мною и бургомистром сего города при

упомянутом этапном комиссаре осматривали здешний городской магазин и нашли несколько бочек вина, в коем половинная часть воды; коего пробы при сем к вашему превосходительству с посланным нарочно для сего от меня казаком г-н комендант представить честь имеет». Получив оба рапорта, генерал-майор сообщал, что «не упустит» «донести вышнему начальству» о злоупотреблениях и грубостях Флякса^{267}. Чем закончилась для этапного комиссара эта история, неизвестно — документов о дальнейшем разбирательстве в архиве нет. Однако ясно, что к моменту появления в городе штаба Витгенштейна скандал прекратился.

Как видно из сохранившихся документов, со своей задачей — сопровождением корпуса Витгенштейна через Саксонию — прапорщик справился хорошо. В делах Архива внешней политики Российской империи (АВП РИ) сохранились две квитанции, выданные Рылееву от должностных лиц корпуса:

«Дана сия квитанция посланному для провода 1-го Отдельного корпуса чрез третью округу Саксонию 1 -и резервной артиллерийской бригады прапорщику Рылееву в том, что при проходе 1-го Кавалерийского корпуса (входившего в состав 1-го Отдельного корпуса. — А. Г., О. К.) чрез упомянутую третью округу Саксонию всем должным от обывателей были довольствованы; также обид и притеснений со стороны жителей никаких не было.

За дежурного [штаб-офицера]

майор Бородкин.

Дамме. 30-го июня 1814 г.».

«Квитанция.

Дана сия квитанция от коменданта главной квартиры корпуса графа Витгенштейна майора и кавалера Данненберга 1-й резервной артиллерийской бригады прапорщику Рылееву, посланному для провода 1-го Отдельного корпуса от Мерзс-бурга, через Делитч, Дибен (Дюбен. — А. Г., О. К.), Торгау, Герцберг до Дамме, в том, что при проходе оной главной квартиры чрез упомянутые города везде она была от обывателей довольствована всем должным, также обид и притеснений никаких не было.

Дамме.

26-го июня 1814 года. Комендант главной квартиры корпуса графа Витгенштейна, майор и кавалер Данненберг»^{268}.

Однако деловые качества молодого офицера в первый период его службы пришли в противоречие с его поэтической натурой. О том, как закончилась служба прапорщика при «дядюшке», повествует зять Михаила Рылеева Александр Фелкнер:

«Одаренный необычайною живостию характера и саркастическим складом ума, Кондратий Федорович не оставлял никого в покое; писал на всех сатиры и пасквили, быстро расходившиеся по рукам, и вооружил тем против себя все русское общество Дрездена, которое, выведенное наконец из терпения, жаловалось на него князю Репнину, прося избавить от злого насмешника... Князь передал жалобу общества Михаилу Николаевичу и предложил, во избежание ссор и неприятных столкновений, удалить от себя беспокойного родственника.

Под впечатлением замечания, сделанного князем, Михаил Николаевич, возвратясь домой и увидав Кондратия, стал строго выговаривать ему его легкомыслие и, объявив, что увольняет от занятий по комендантскому управлению, приказал ему в двадцать четыре часа уехать из Дрездена; при этом с сердцем сказал: “Если же ты осмелишься ослушаться, то предам военному суду и расстреляю!”

“Кому быть повешенным, того не расстреляют!” — ответил пылкий молодой человек, выходя от рассерженного родственника, и тотчас же, ни с кем не простясь, уехал из Дрездена...»^{269}

Фраза о «повешении», скорее всего, является вымыслом: мемуарист, конечно, знал о трагической судьбе поэта. Но в остальном не доверять этому свидетельству нет оснований: служба у «дядюшки» не принесла прапорщику Рылееву ни наград, ни чинов. Стоит только заметить, что история эта могла случиться не ранее конца сентября 1814 года. В письме матери от 21 сентября прапорщик еще рассыпается в любезностях в адрес «дядюшки» и сообщает, что тот «недавно» выхлопотал ему «место в Дрездене, при артиллерийском магазейне», а на день рождения подарил «на мундир лучшего сукна»^{270}.

«Гений ведет меня к славной цели»

О службе Рылеева в послевоенные годы известно крайне мало. Он продолжал числиться в той же самой конноартиллерийской роте 1-й резервной артиллерийской бригады, в которую был выпущен из корпуса. Правда, рота несколько раз меняла номер: в 1816 году из 1-й стала 11-й, два года спустя — 12-й. Квартировала она по преимуществу в местечке Белогорье Острогожского уезда Воронежской губернии.

Ротой, а с 1818 года и бригадой командовал подполковник Петр Онуфриевич Сухозанет (1788—1830), представитель известного в военной истории России рода белорусских дворян-артиллеристов. Его старший брат Иван с 1820 года занимал пост начальника артиллерии Отдельного гвардейского корпуса, стал одним из «усмирителей» восстания 14 декабря, дослужился до чина генерал-лейтенанта и на старости лет стал директором Императорской военной академии, Пажеского и всех сухопутных корпусов. Их младший брат Николай сделал головокружительную карьеру: в 1856 году, после Крымской войны, стал военным министром и членом Государственного совета. Все три брата отличились на полях сражений первой половины XIX века. Согласно послужному списку, Петр Сухозанет — «кавалер орденов российских: Св. Анны 2 и 4 классов, Св. Равноапостольного князя Владимира 4 ст. с бантом, золотой шпаги с надписью “За храбрость”, королевско-прусского [ордена] “За заслуги” и в память 1812 года серебряной медали». У военных властей и Сухозанет, и его подразделение были на хорошем счету. Например, в июле 1816 года роту осматривал лично главнокомандующий 1-й армией Михаил Барклай де Толли, который нашел ее «в самом лучшем состоянии по всем частям, и особенно отличною в учении». Барклай просил императора поощрить ротного командира — и 20 июля Сухозанету была объявлена высочайшая благодарность^{271}.

Однако Петр Сухозанет, в отличие от братьев, заметной карьеры не сделал: в 1820 году ушел с командных должностей, продолжая «числиться по артиллерии», а в 1830-м скоропостижно скончался. Смерть его приблизили тяжелые ранения «в левую руку и под левый глаз пулями», полученные летом 1810 года в ходе войны с Турцией при штурме крепости Руцук^{272}.

В роте Сухозанета вместе с Рылеевым служил еще десяток офицеров. Имена большинства из них историки давно уже выяснили: это прапорщик

Федор Миллер, поручик Александр Косовский, братья Густав и Федор Унгерн-Штернберги, поручик и прапорщик, а также капитан Костомаров, прапорщик Буксгевден и некие В. В. Сливиций и Гардовский. С некоторыми из них Рылеев продолжал přátельствовать и после выхода в отставку. Он дружил с однокашником, прапорщиком Миллером, общался с братьями Унгерн-Штернбергами. Густав Унгерн, переведясь в 1819 году в гвардейскую конную артиллерию, стал адъютантом начальника артиллерии Отдельного гвардейского корпуса генерал-майора Петра Козена. В 1819 году Козена, определенного состоять по артиллерии, сменил в должности Иван Сухозанет, а Унгерн-Штернберг продолжил строевую службу 15 февраля 1822 года, согласно «Приказам о чинах военных», «лейб-гвардии конной артиллерии 2-й легкой батареи Унгерн-Штернберг исключен из списков умершим»^{273}. По-видимому, до самой смерти Густава Унгерна живший в столице Рылеев поддерживал с ним отношения.

Прияте́лем Рылеева был и Александр Андреевич Косовский, 1793 года рождения, происходивший «из дворян Слободско-Украинской губернии». Он начал службу в 1813 году с нижних чинов. Фейерверкером 3-го, а затем 2-го и 1-го классов в составе 1-й конноартиллерийской роты Косовский участвовал в Заграничных походах, за храбрость был награжден солдатским «Георгием» и в октябре 1815 года получил первый офицерский чин прапорщика. В декабре 1819-го, через год после отставки Рылеева, он стал подпоручиком, а еще четыре месяца спустя — адъютантом начальника артиллерии 2-го резервного корпуса. Начальством Косовский аттестовался как «отличный по службе офицер». Впоследствии он усердно служил, воевал, получал чины и ордена, к началу 1850-х годов был полковником артиллерии «в должности начальника первых 4-х кавалерийских округов Новороссийского военного поселения» и считался «лучшим батарейным командиром» в армии, В середине 1850-х он, по-видимому, стал генерал-майором^{274} — и на этом следы его теряются.

Косовский и Рылеев общались весьма близко. Через четыре года после отставки, в декабре 1822-го, поэт писал жене из Харькова: «Косовского не застал, его теперь нет в городе»^{275}. Из этого фрагмента следует, между прочим, что и Наталья Рылеева была знакома с этим сослуживцем мужа. Считается, что именно Косовскому Рылеев посвятил стихотворение «К К-му (В ответ на стихи, в которых он советовал мне навсегда остаться на Украине)»:

Чтоб я молодые годы

Ленивым сном убил!
Чтоб я не поспешил
Под знамена свободы!
Нет, нет! тому вовек
Со мною не случиться;
Тот жалкий человек,
Кто славой не пленится!^{276}

И Косовский, и Рылеев, и другие офицеры роты служили в артиллерии, а это означало, что они — на фоне в общем малограмотного российского офицерства — были хорошо образованны, знали математику и военные науки. Однако сразу после войны выяснилось, что их способности и знания в мирное время никому не нужны. После войны особую ценность приобрели любовь к фрунту и умение составить о себе выгодное впечатление у начальства.

Современники и историки давно уже вынесли приговор послевоенной русской армии — победительнице Наполеона. Так, цесаревич Константин Павлович, сам воспитанный отцом в «гатчинской» муштре, с нескрываемой иронией писал начальнику штаба Гвардейского корпуса генералу Николаю Сипягину: «Я более двадцати лет служу и, могу правду сказать, даже во время покойного государя был из первых офицеров во фронте, а ныне так перемудрили, что и не найдешься... Я таких теперь мыслей о гвардии, что ее столько учат и даже за десять дней готовят приказами, как проходить колоннами, что вели гвардии стать на руки ногами вверх, а головами вниз и маршировать, так промаршируют; и не мудрено: как не научиться всему — есть у нас в числе главнокомандующих танцмейстеры, фехтмейстеры»^{277}.

Командир 6-го пехотного корпуса 2-й армии генерал-лейтенант Иван Сабанеев, известный своими либеральными взглядами, писал начальнику армейского штаба Павлу Киселеву: «Учебный шаг, хорошая стойка, быстрый взор, скобка против рта, параллельность шеренг, неподвижность плеч и всё тому подобное, ничтожные для истинной цели предметы, столько всех заняли и озаботили, что нет минуты заняться полезнейшим. Один учебный шаг и переправка амуниции задушили всех от начальника до нижнего чина». А в другом письме добавлял: «Каких достоинств ищут ныне в полковом командире? Достоинство фронтового механика, будь он хоть настоящее дерево... Нигде не слышно другого звука, кроме ружейных приемов и командных слов, нигде другого разговора, кроме краг, ремней и

вообще солдатского туалета и учебного шага»^{278}. Сабанееву вторил генерал Иван Паскевич, в будущем знаменитый покоритель восставшей Польши: «Что сказать нам, генералам дивизий, когда фельдмаршал (Барклай де Толли. — А. Г., О. К.) свою высокую фигуру нагибает до земли, чтобы равнять носки гренадеров? И какую потому глупость нельзя ожидать от армейского майора?.. В год времени войну забыли, как будто ее никогда не было, и военные качества заменились экзерцицмейстерской ловкостью»^{279}.

Конечно, русская армия последнего десятилетия Александровской эпохи не была однородной, далеко не все офицеры были, говоря словами Паскевича, «экзерцицмейстерами». Рядом с беспрецедентной муштрой и шагистикой существовали вольнодумные идеи, усвоенные в Заграничных походах. Гвардейские офицеры, к примеру, «забывши драки», брали уроки у известных профессоров, собирались в артели и обсуждали политические события в России и Европе. Увлеченные желанием принести пользу отечеству, воодушевленные высокими представлениями о чести и благородстве, они организовывали тайные общества: в 1816 году возник Союз спасения, два года спустя — Союз благоденствия.

У офицеров армейских, к которым принадлежал Рылеев, не было возможности нанимать столичных профессоров, вступать в тайные общества и следить за большой политикой. В провинции далеко не всегда можно было достать свежие газеты, купить новые книги. Соответственно, жизнь провинциальных офицеров была серой и скучной, а время, свободное от фрунтовых учений, они проводили за игрой в карты, в попойках и ухаживаниях за дочерьми соседей-помещиков. Исследователи многократно описывали «беспросветную атмосферу скуки и однообразия жизни провинциальных гарнизонов и далекие от уставных требований и столичных образцов методы несения воинской службы»^{280}. Трудно сказать, какие политические взгляды были у сослуживцев Рылеева. Неизвестно, знали ли те из них, кто впоследствии поддерживал отношения с бывшим однополчанином, о его литературной и конспиративной деятельности, и насколько далеко простиралась их осведомленность. По крайней мере, следствие по делу о тайных обществах не обнаружило ни одного факта, свидетельствующего о включенности кого-нибудь из однополчан в разрабатывавшиеся Рылеевым планы переворота.

О Рылееве в годы его артиллерийской службы рассуждать непросто: документов, характеризующих этот период его жизни, немного. Те из них, которые доступны исследователям, свидетельствуют: на службе Рылеев

был не совсем таким, как его ротные товарищи.

Сохранилось уникальное свидетельство о Рылееве-артиллеристе — мемуары его однополчанина. В 1954 году А. Г. Цейтлин опубликовал в 59-м, «декабристском» томе «Литературного наследства» «Воспоминания о Рылееве его сослуживца по полку А. И. Косовского (1814—1818)»^[281]. С тех пор их текст был несколько раз републикован. Исследователи биографии и поэзии Рылеева пользуются этими изданиями, доверяя им и не перепроверяя по хранящемуся в РГАЛИ автографу.

Между тем публикация Цейтлина выглядит более чем странно. Прежде всего, обращает на себя внимание ее заголовок: как известно, Рылеев никогда не служил в «полку». После выпуска из корпуса он до самой отставки числился в конноартиллерийской роте.

Бросаются в глаза и купюры в тексте. По поводу их публикатор во вступительной статье замечает: «Косовский явно недоброжелателен к Рылееву и легко взваливает на молодого офицера различные обвинения. В печатаемом ниже тексте воспоминаний эти обвинения в основном не воспроизводятся, так как являются клеветой реакционно настроенного николаевского генерала на одного из вождей декабристского движения»^[282]. В опубликованном тексте имеется 12 купюр — именно столько раз, по мнению Цейтлина, реакционный николаевский генерал оклеветал вождя тайного общества. Настораживает и приведенное в публикации имя автора мемуаров — А. И. Косовский.

На первой странице хранящегося в РГАЛИ автографа сделана запись: «Воспоминания генерал-лейтенанта Косовского Александра Ивановича о К. Ф. Рылееве». Однако запись эта явно позднейшая, выполненная по современной орфографии, и ее вряд ли стоит принимать во внимание. Как следует из послужного списка Косовского, звали его не Александр Иванович, а Александр Андреевич.

Кроме того, из несомненного факта знакомства и совместной службы Рылеева и Косовского еще не следует, что именно этот сослуживец поэта был автором мемуаров. Документы свидетельствуют о дружеских отношениях между ними, переписке, обмене стихотворными посланиями. Мемуары же, как следует из указания их автора, писались спустя 28 лет после выхода поэта в отставку, то есть в середине 1840-х годов; непонятно, почему Косовский (в то время полковник, а вовсе не «реакционный генерал») вдруг вздумал негативно отзываться о своем давно погибшем друге в тексте, явно не предназначенном для печати.

Учитывая всё вышеизложенное, можно констатировать: авторство

Косовского представляется недоказанным. Для того чтобы установить автора воспоминаний (которым может быть и Косовский, и любой другой из офицеров конноартиллерийской роты), следует провести дополнительный научный поиск. Бесспорно одно: написал мемуары о Рылееве сослуживец, близко общавшийся с ним, но не питавший к нему особых дружеских чувств.

Мемуары эти весьма информативны: в них мы находим яркие эпизоды послевоенной жизни Рылеева. Автор рассказывает, например, как «однажды, гуляя с товарищем по улице местечка Белогорье (где была расположена батарея), они подошли к небольшому домику почтовой станции, чтобы в растворенное окно сказать хозяину, содержателю почты, прислать наутро тройку лошадей ехать по порученности батареинного командира в г. Острогжск». В окне Рылеев и его товарищ увидели старое ружье, стоявшее в углу, и решили осмотреть его. «Товарищ, осмотревши замок, который также был особой конструкции, и видя, что на полке нет пороха, взвел курок, прося Рылеева посторониться, на что сей отвечал: “Да стреляйте из пустого ружья; я стоял уже два раза противу пистолетных пуль, так не приходится прятаться от заржавленного ружья!” Комната эта была весьма маленькая, едва помещалась одна только кровать, а ружье было слишком длинное, дуло которого лежало почти над правым плечом Рылеева; когда же, по настоянию Рылеева, товарищ спустил курок и последовал нечаянный выстрел (весь заряд волчьей дробы врезался в стену), то Рылеев, сделавши невольно шаг влево, сказал, смеючись: “И убить-то не умел”».

Есть рассказ и о том, как «Рылеев, сидевший на борту лодки, увидел, что по воде несет убитую утку», «без всякой предосторожности хотел схватить ее, но, потерявши равновесие, упал за борт» и начал тонуть — его с трудом спасли. «Много стоило труда избавить их от очевидной гибели!.. Рылеев долго не мог прийти в себя и потом выдержал горячку», — пишет мемуарист.

Однако мемуары — отнюдь не просто перечисление фактов из жизни Рылеева в Острогжском уезде. Из этих воспоминаний следует, что образ жизни Рылеева-артиллерииста мало чем отличался от образа жизни его однополчан и экстремальные ситуации, подобные случайному выстрелу из ружья или падению с лодки, были крайне редки. С виду прапорщик был таким же, как все: «при случае любил и покутить на чужой счет, и выпить лишнее». Он был азартным, но неудачливым картежником, проигрывал деньги, присылаемые матерью. Сослуживец утверждает: «Страсть к игре в карты и преимущественно в банк ставила его много раз в безвыходное

положение пред командиром батареи и товарищами. И в батарее никто с ним не играл, как неумеющего владеть собою (так в тексте. — А. Г., О. К); при проигрыше он выходил из себя и забывался; весьма редко случалось ему выигрывать небольшую сумму, которую недолго удерживал при себе, при первой возможности спускал с рук, постоянно жил без денег и был в долгах; будучи беспечен к самому себе, он не хотел знать, чего у него нет и что есть, жил кое-как, более на чужой счет и — не стыдился».

Согласно воспоминаниям, Рылеев был вспыльчив и далеко не всегда умел держать себя в руках: «два раза дуэлировал на саблях и на пистолетах, причем получил хорошие уроки за свою заносчивость и интриги»; «в одном месте, по приказанию его, солдаты-квартирьеры наказали фухтелями^[4] мужика литовца за грубость, но так жестоко, что стоило больших усилий привести его в чувство и в самосознание. Жалоба дошла до генерал-губернатора, и дело едва кончилось мировою; Рылеев заплатил обиженному сто руб[лей] за увечья; в противном случае он был бы под судом и, конечно, разжалован».

Служил прапорщик из рук вон плохо: «Он с большим отвращением выезжал на одно только конно-артиллерийское ученье, но и то весьма редко, а в пеший фронт никогда не выходил; остальное же время всей службы своей он состоял как бы на пенсии, уклоняясь от обязанностей своих под разными предлогами. Часто издевался над нами, зачем служим с таким усердием; называя это унижительным для человека, понимающего самого себя, т. е. подчиняться подобному себе и быть постоянно в прямой зависимости начальника; говорил — вы представляете из себя кукол, что доказывают все фрунты, в особенности пеший фрунт; он много раз осыпал нас едкими эпитафиями и не хотел слушать дельных возражений со стороны всех товарищей его».

Далеко не все сослуживцы любили и уважали Рылеева, и виной тому были лень, «заносчивость и интриги» — отличительные черты артиллерийского прапорщика; «характер его был скрытным и мстительным, за что никем не был любим». Впрочем, и Рылеев не был откровенен с сослуживцами, «избегая сотрудничества товарищей своих, которые только по необходимости держали его в обществе своем».

Вполне возможно, что, описывая Рылеева подобным образом, его сослуживец несколько сгущает краски. Однако он не ставил себе цель очернить будущего заговорщика. Смысл воспоминаний другой, по-человечески вполне понятный: автор, считавший себя умным человеком, дельным офицером, весьма полезным для службы, искренне удивлялся тому, что он и большинство его сослуживцев оказались лишь рядовыми

участниками исторического процесса, а тот, кого все вокруг «привыкли разуметь за человека обыкновенного, с недобрым сердцем, дурным товарищем и бесполезным для службы офицером», сумел прославить свое имя. «Думал ли он или кто из товарищей, бывших из его сослуживцев в течение шести лет, что Р[ылеев] выйдет, к удивлению всех, человеком замечательным и потребует от каждого из нас передать потомству малейшие подробности жизни его?!»; «могли ли мы когда думать, чтобы прапорщик конной артиллерии, без средств к жизни, с такими наклонностями, непостоянным характером, мог затевать что-либо, похожее на дело серьезное?» — риторически вопрошает мемуарист.

Сослуживцы Рылеева не могли понять, чем вызваны скрытность и заносчивость младшего офицера, игравшего, как все, в карты, выпивавшего и в порыве гнева способного отдать приказ наказать «мужика литовца за грубость». Автор мемуаров, пытаясь объяснить странное поведение прапорщика, задним числом приписывает «замечательному человеку» мысли явно более позднего времени. Оказывается, уже в годы службы Рылеев написал многие стихотворные произведения, в том числе поэму «Войнаровский» (на самом деле замысел поэмы возник у него через четыре с половиной года после отставки), стремился попасть на службу в Российско-американскую компанию (в которой он реально начал службу с апреля 1824 года), мечтал удалить от управления империей Алексея Аракчеева (который тогда вовсе не был «временщиком» с неограниченной властью) и поставить на его место адмирала Николая Мордвинова (отголосок позднейших планов заговорщиков ввести адмирала в состав временного правительства) и т. п.

«Для меня решительно все равно, какую бы смертью ни умереть, хотя бы быть повешенным; но знаю и твердо убежден, что имя мое займет в истории несколько страниц!» — так, по мнению мемуариста, Рылеев оценивал свое будущее^[283].

Естественно, в последнем случае автор воспоминаний воспроизводит опубликованное в открытой печати «Донесение следственной комиссии». Именно там воспроизведены слова друга Рылеева Александра Бестужева, сказанные товарищам по заговору: «По крайней мере об нас будет страничка в истории»^[284]. В годы службы Рылеев никак не мог знать о своем будущем повешении.

Однако и в этих мемуарах, и в других документах присутствует одна существенная психологическая подробность, о которой уже говорилось выше: с юных лет Рылеева одушевляла страсть к славе. Сослуживец

передает его разговор с одним из офицеров роты: «Скажите, пожалуйста, Кондратий Федорович, довольны ли вы своею судьбою, которая, как кажется, лелеет и хранит вас на каждом шагу? Мы завидуем вам! — Что же тут мудреного, когда она так милостива ко мне! Я убежден, что она никогда не перестанет покровительствовать гению, который ведет меня к славной цели!»^[285] Очевидно, в годы послевоенной службы он сумел осознать свой особый путь, который мог привести его к славе.

Впоследствии, в 1823 году, Рылеев напишет, обращаясь к великому князю Александру Николаевичу:

Военных подвигов година
Грозою шумной протекла;
Твой век иная ждет судьбина,
Иные ждут тебя дела.
Затмится свод небес лазурных
Непроницаемою мглой;
Настанет век борений бурных
Неправды с правдою святой^[286].

Отрывок этот отражал собственный опыт поэта: после войны стало ясно, что на военной службе прославиться или даже сделать сколько-нибудь заметную карьеру сложно. Мирное время требовало новых героев, тех, кто будет сражаться за социальную справедливость, во имя «святой правды». Эту истину первыми осознали столичные гвардейцы, бравшие уроки политических наук и создававшие тайные общества. Рылеев же дошел до осознания этой истины своим, особым путем.

Острогожский знакомый Рылеева Александр Никитенко, будущий цензор, литератор и академик, а в конце 1810-х годов «образованный» крепостной графа Шереметева, описывает случайную встречу с ним на книжной ярмарке: «Я с одним из приятелей не преминул заглянуть в лавочку, торговавшую соблазнительным для меня товаром. Там, у прилавка, нас уже опередил молодой офицер. Я взглянул на него и пленился тихим сиянием его темных и в то же время ясных глаз и кротким, задумчивым выражением всего лица. Он потребовал “Дух законов” Монтескье, заплатил деньги и велел принести себе книги на дом. “Я с моим эскадроном не в городе квартирую, — заметил он купцу, — мы стоим довольно далеко. Я приехал сюда на короткое время, всего на несколько часов; прошу вас, не замедлите присылкою книг. Я остановился (следовал адрес). Пусть ваш

посланный спросит поручика (мемуарист ошибся — Рылеев имел чин прапорщика. — А. Г., О, К.) Рылеева”»^[287].

Сослуживцы прапорщика не видели — да и, в силу очень ограниченного круга своих интересов, не могли видеть — происходившей в нем серьезной нравственной работы. Очевидно, именно поэтому они ощущали в нем дерзкого и заносчивого чужака, не понимали его, а зачастую просто смеялись над ним. И, как следует из мемуаров рылеевского сослуживца, прапорщик эту свою отчужденность чувствовал достаточно остро: «А как часто он говаривал нам: “Г[оспода], вы или не в состоянии, или не хотите понять, куда стремятся мои помышления! Умоляю вас, поймите Рылеева! Отечество ожидает от нас общих усилий для блага страны!! Души с благороднейшими чувствами постоянно должны стремиться ко всему новому, лучшему, а не пресмыкаться во тьме. Вы видите, сколько у нас зла на каждом шагу; так будем же стараться уничтожать и переменить на лучшее!”»^[288].

*

За полгода до выхода Рылеева в отставку в роте произошло событие, всколыхнувшее в целом однообразную жизнь артиллеристов. У офицеров произошел резкий конфликт с командиром, подполковником Сухозанетом. Конфликт этот опять-таки был типичным, подобные «истории» происходили после войны едва ли не в каждом подразделении. Заподозрив подполковника в личной корысти, оскорбительной невнимательности, желании обойти по службе кого-нибудь из них или просто желая отомстить, офицеры вполне могли солидарно подать в отставку или прибегнуть к каким-нибудь другим коллективным действиям, вызвать командира на дуэль или просто избить его.

Один из инцидентов, произошедший в Одесском пехотном полку, приводит в мемуарах член тайного общества Николай Басаргин. Офицеры, недовольные жестокостью полкового командира, открыто выступили против него, причем сделали это очень незамысловатым способом: избранный по жребию избил его на дивизионном смотре перед строем. Подобное же происшествие было и в Нарвском драгунском полку^[289].

В Пензенском пехотном полку поручик Игнатий Ракуза «не отвел на квартиры роту, когда ему было препоручено, а остался самовольно в полковом штабу, и когда майор (батальонный командир. — А. Г., О. К.)

Говоров нашел его... то Ракуза, быв пьян, делал грубости и не хотел идти на гауптвахту, и Говоров вынужден был приказать солдатам его вести, которых Ракуза в показаниях своих осмелился назвать шайкою, и, чтобы замарать честь батальонного своего командира, показал, якобы он его в сенях канцелярии и потом на улице бил рукою по лицу, чего свидетелями не доказано». В Полтавском пехотном полку штабс-капитан Дмитрий Грохольский отпускал «дерзкие грубости» в адрес батальонного командира майора Дурново; «история» закончилась банальной дракой между майором и двумя офицерами того же полка, вставшими на сторону штабс-капитана^{290}.

В Новороссийском драгунском полку (кстати, квартировавшем после войны там же, где и артиллерийская рота Сухозанета, — в Воронежской губернии) произошли сразу две подобные истории. Офицеры были недовольны строгостью полкового командира, полковника Евстафия Кавера, и это недовольство чуть не выплеснулось весной 1816 года в вооруженное столкновение между Кавером и одним из младших офицеров. Пять лет спустя офицеры начали травить нового полкового командира, полковника Сергея Зыбина, обвиняя его в излишней строгости с солдатами и неуважении к ним самим. Один за другим офицеры стали подавать рапорты о болезнях и невозможности вследствие их находиться в строю^{291}.

Такова же и знаменитая «норовская история» 1821 года. Капитан лейб-гвардии Егерского полка, член тайного общества Василий Норов, вызвал на дуэль своего бригадного командира великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая I. «Я вас в бараний рог согну!» — будто бы крикнул Николай Норову. Это было воспринято не только как личное оскорбление, но и как оскорбление всех офицеров полка. Норов был переведен из гвардии в армию и посажен под арест.

Самой продолжительной была «варшавская история» — она длилась около года. Ее активным участником был член Союза благоденствия Павел Граббе. Офицеры лейб-гвардии Литовского полка, квартировавшего в Варшаве, выступили против произвола, царившего в русских полках в Польше, телесных наказаний и карточной игры, которую «уважали» некоторые ротные командиры. В конфликт был втянут цесаревич Константин Павлович^{292}.

Собственно, в ряду подобных «историй» следует рассматривать и инцидент, случившийся в роте Сухозанета. Изложение обстоятельств инцидента находим в письме Рылеева матери от 10 июня 1818 года:

«Должен я еще уведомить Вас, что у нас было случилась в роте весьма неприятная история: Сухозанет, дабы перессорить между собой офицеров, представил младших к повышению чинов. Эти догадались, и все пошли к нему. Те, которых он представил, сказали ему, что они не чувствуют, дабы они сделали для службы что-либо отличное противу своих товарищей, а те, которых он хотел было обойти, сначала довольно учтиво, а наконец, видя, что он не унимается, с неудовольствием доказывали ему, как он несправедлив. Видя же, что и это его не трогает, все офицеры, и представленные, и обойденные, подали к переводу в кирасиры... Федор же Петрович Миллер, находясь в числе обиженных, будучи им весьма дерзко оскорблен, вынужден был поступить с ним как с подлецом. Но, слава Богу, — всё обошлось хорошо. Корпусной начальник артиллерии приезжал нарочно в Белогорье, дабы успокоить господ офицеров и уверить Сухозанета, что он кругом виноват. После сего, хотя *он* и примирил офицеров с ним, но этот мир не продолжится долго. Ибо все решились разными дорогами выбраться из роты. Федор Петрович выходит в отставку. Кажется, что и Сухозанет после полученного от него подарка должен оставить службу»^[293]. Рылеев объяснял матери, что сам он к этой истории не имеет ровно никакого отношения, поскольку в момент ее начала отсутствовал в ротной квартире.

Этот же эпизод, но несколько по-иному излагает сослуживец Рылеева по роте — автор воспоминаний. Акценты в его рассказе смещены: виноватым оказывается именно Рылеев, «жестокотблагодаривший» ротного командира за хорошее отношение к себе: «...прежде старался клеветать его повсюду и довел до того, что той же батарее прапорщик Миллер единственно по наущению Рылеева как однокашника по корпусу должен был принять дуэль на пистолетах, причем Рылеев у Миллера был секундантом. Сухозанет остался невредим, а Миллер был ранен в руку»^[294].

Никаких иных свидетельств об этой «истории» не сохранилось, а потому сделать однозначные выводы о ее причинах, развитии и участниках нельзя — можно утверждать лишь, что происшествие было замято. Обычно следствиями такого рода инцидентов, особенно окончившихся дуэлью, были арест выступивших против командира офицеров, долгое разбирательство в военном суде, в лучшем случае отставка, а в худшем — разжалование «бунтарей» в солдаты (по итогам одной только «зыбинской истории» в Новороссийском полку 19 офицеров подверглись взысканию, в том числе восемь были разжалованы в рядовые). В отставку неминуемо

должен был быть отправлен и командир, не сумевший внушить к себе уважение со стороны собственных подчиненных.

Однако надежды Рылеева на то, что «после полученного подарка» подполковник Сухозанет уйдет в отставку, не оправдались. Более того, через две недели после происшествия начальник артиллерии 1-й армии князь Лев Яшвиля представил ротного командира к производству в следующий чин полковника. Поддержав представление Яшвиля, военный министр и по совместительству инспектор артиллерии барон Петр Меллер-Закомельский рапортовал царю, что Сухозанет в числе нескольких других особо отличившихся в службе офицеров-артиллеристов достоин стать полковником^{295}. В сентябре того же года был подписан соответствующий высочайший приказ. Ни Яшвиля, ни Меллера-Закомельского, ни императора не смутил тот факт, что Сухозанет по правилам не должен был получать новый чин, поскольку производство осуществлялось «по старшинству», а в артиллерии на тот момент служили 25 подполковников, чья выслуга была больше.

Не ушел в отставку и прапорщик Миллер, который, согласно свидетельствам и Рылеева, и его сослуживца, спровоцировал дуэль с командиром. В августе того же года его перевели в Учебный карабинерный полк, занимавшийся обучением рекрутов для армейских подразделений^{296}, — с чином подпоручика, то есть без понижения (в тот период чины артиллерийского прапорщика и пехотного подпоручика относились к XIII классу Табели о рангах).

Следует добавить, что, по-видимому, роль самого Рылеева в этой истории вряд ли была значительной. Очевидно, что его отставка, последовавшая в декабре 1818 года, с событиями в роте связана не была. По крайней мере, в цитированном выше письме матери он утверждает, что вообще не являлся свидетелем событий: «...меня же тогда при штабе не случилось». «Я подаю в сентябре в отставку, Сухозанет не может причесть к последствиям случившихся в роте неудовольствий, ибо намерение мое ему давно было известно», — констатировал он^{297}.

Впоследствии, живя в столице, и сам Рылеев, и его жена живо интересовались судьбой Сухозанета. «Еще, милая сестрица, уведомляю вас: Сухазанет Петр Онуфирович произведен в полковники», — сообщала в 1819 году Наталья Михайловна оставшейся в деревне сестре Анастасии. А в опубликованной в 1820 году в «Отечественных записках» статье «Еще о храбре М. Г. Бедраре» Рылеев отзывался о своем бывшем начальнике как об офицере, «известном в артиллерии своею ревностью и усердием к

службе»[\[298\]](#).

В конце 1818 года, выходя в отставку, Рылеев, очевидно, хорошо представлял себе, как он будет строить собственную жизнь, к чему будет стремиться. Через два года о нем как о поэте и борце с несправедливостью уже говорила вся образованная Россия.

Глава третья.

«Я НЕ ПОЭТ, А ГРАЖДАНИН»

«Твоим вниманием не дорожу, подлец»

В начале декабря 1820 года с опозданием на месяц вышел октябрьский номер либерального петербургского журнала «Невский зритель», в котором было помещено знаменитое стихотворение Рылеева «К временщику Подражание Персиейей^[5] сатире “К Рубеллию”»:

Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Внесенный в важный сан пронырствами злодей!
Ты на меня взирать с презрением дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, подлец;
Из уст твоих хула — достойных хвал венец!
Смеюсь мне сделанным тобой уничиженьем!
Могу ль унизиться твоим пренебреженьем,
Коль сам с презрением я на тебя гляжу
И горд, что чувств твоих в себе не нахожу?
Что сей кимвальный звук твоей мгновенной славы?
Что власть ужасная и сан твой величавый?
Ах! лучше скрыть себя в безвестности простой,
Чем с низкими страстями и подлою душой
Себя, для строгого своих сограждан взора,
На суд их выставлять, как будто для позора!
Когда во мне, когда нет доблестей прямых,
Что пользы в сани мне и в почестях моих?
Не сан, не род — одни достоинства почтенны;
Сеян^[6]! и самые цари без них — презренны;
И в Цицероне мной не консул — сам он чтим
За то, что им спасен от Катилины Рим^[7]...
О муж, достойный муж! почто не можешь, снова
Родившись, сограждан спасти от рока злого?
Тиран, вострепещи! родиться может он,
Иль Кассий, или Брут, иль враг царей Катон^[8]!
О, как на лире я потщусь того прославить,
Отечество мое кто от тебя избавит!

Под лицемерием ты мыслишь, может быть
От взора общего причины зла укрыть...
Не зная о своем ужасном положении,
Ты заблуждаешься в несчастном ослеплении,
Как ни притворствуешь и как ты ни хитришь,
Но свойства злобные души не утаишь:
Твои дела тебя изобличат народу;
Познает он — что ты стеснил его свободу,
Налогом тягостным довел до нищеты,
Селения лишил их прежней красоты...
Тогда вострепещи, о временщик надменный!
Народ тиранствами ужасен разъяренный!
Но если злобный рок, злодея любя,
От справедливой мзды и сохранит тебя,
Всё трепещи, тиран! За зло и вероломство
Тебе свой приговор произнесет потомство!^{299}

И современники, и исследователи знали, что сатира Рылеева восходит к опубликованному в 1810 году в журнале «Цветник» стихотворению Михаила Милонова «К Рубеллию. Сатира Персиева»:

Царя коварный льстец, вельможа напыщенный,
В сердечной глубине таящий злобы яд,
Не доблестями души — пронырством вознесенный,
Ты мещешь на меня презрительный свой взгляд!
...
Мне ль ползать пред тобой в кругу твоих льстецов?
Пусть Альбий, Арзелей — но Персий не таков!
Ты думаешь сокрыть дела свои от мира
В мрак гроба? Но и там потомство нас найдет;
Пусть целый мир рабом к стопам твоим падет,
Рубеллий! трепещи: есть Персии и сатира!

Впоследствии сатира «К Рубеллию» публиковалась несколько раз. К строчкам об Альбин и Арзелае, составляющих круг льстецов Рубеллия, Милонов давал примечание: «Альбин — мздоимец, кровосмеситель и убийца. Арзелей — страшный невежда»^{300}, но в последней

прижизненной публикации, в 1819 году, оно было опущено.

В момент первой публикации сатиры Милонову было всего 18 лет, годом ранее он с отличием окончил Московский университет. Но печататься он начал еще студентом и к 1820 году был уже известным поэтом. В истории русской литературы Милонов — фигура трагическая: он подавал большие надежды, сотрудничал со всеми ведущими литературными группировками начала XIX века, но к концу 1810-х годов спился и в 1821-м умер, не дожив до тридцатилетия. Современники сравнивали его «огромный талант» с «прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня» и замечали, что «фактура стиха его была всегда правильна и художественна, язык всегда изящный». В творчестве Милонова сочетаются сатира и элегия, дружеское послание и бытовая зарисовка. Он был не только поэтом, но и переводчиком, по выражению современника, «подражал Горацию и, за неимением фалернского вина его, переводил и римское вино на русские нравы или русский хмель»^[301]. Объектами его переводов и подражаний были прежде всего произведения римского поэта-сатирика Ювенала и теоретика классицизма Никола Буало-Депрео.

В советской историко-литературной традиции сатиры Милонова часто оценивались как гражданские, почти «декабристские». «При всей своей отвлеченности и подражательности политическая сатира Милонова была своеобразным и значительным явлением в русской поэзии начала XIX века и сыграла определенную роль в деле формирования гражданской лирики декабристской эпохи», — утверждал В. Н. Орлов. Ю. М. Лотман и М. Г. Альтшуллер писали о том, что Милонов был пропагандистом «высокой гражданской сатиры, подготавливавшей поэтическую практику декабристской поэзии эпохи Союза благоденствия»^[302]. Подобный подход не изжит и в настоящее время.

По-видимому, Милонов был действительно не чужд идей гражданственности, однако увидеть в нем прямого идеологического предшественника членов тайных обществ достаточно сложно. Рассуждения о «долге гражданина» были общим местом в литературе конца XVIII — начала XIX века, и уникальность Милонова как поэта состояла в своеобразном обыгрывании этих рассуждений. «Визитной карточкой» автора сатиры «К Рубеллию» была его склонность к иронии и мистификации.

Так, у поэта Персия такой сатиры не было, а сюжет с критикой Рубеллия Милонов заимствовал из восьмой сатиры Ювенала. Смысл этой

сатиры сводился к тому, что вельможе следует гордиться не происхождением, а гражданскими добродетелями. И для русской литературы подобные рассуждения давно уже стали общим местом. Однако Милонов включил в текст сатиры некоторые необычные элементы, которые давали возможность и социально заострить изъезженную тему, и мистифицировать читателя.

Показательно было само имя римского поэта Персия. Его творчество, трудное для понимания и перевода, в России знали плохо, но, несмотря на это, считали его, наряду с Ювеналом, творцом политической сатиры. Персии жил во времена императора Нерона и, по мнению Буало, критиковал литературные опыты тирана: «Он не только смеется над сочинениями поэтов своего времени, но и нападает на стихи самого Нерона»^[303]. На самом деле Персии императора не задевал, до политики ему не было никакого дела; но его устоявшаяся в русской традиции репутация сама по себе настраивала читателя на тираноборческий лад.

В сатире Милонова Персии противостоит вельможе Рубеллию. Имя это, как уже указывалось, заимствовано у Ювенала. Однако высмеянный Ювеналом вельможа практически не оставил следа в истории. Иное дело — современник Персия Рубеллий Плавт, хорошо известный и античным авторам, и читателям (его подробное жизнеописание находим в «Анналах» Тацита), Именно он вспоминался всякому, читавшему текст Милонова.

Рубеллий Плавт, сын консула, «по материнской линии состоявший в той же степени родства с божественным Августом, что и Нерон», был обвинен в сожительстве с матерью императора Агриппиной (согласно наветам врагов, она собиралась вступить с ним в супружество и «возвратить себе верховную власть над Римским государством»). По приказу Нерона Рубеллий был убит.

Рубеллий, согласно Тациту, был известен правильным поведением: «читил установления предков, облик имел суровый, жил безупречно и замкнуто»^[304]; таким образом, он явился невинной жертвой необузданной жестокости и подозрительности Нерона. Называть Рубеллия «уродливым бойцом», «посмешищем природы», известным «низкой дерзостью» и «убожеством души» мог либо не читавший Тацита (а подозревать в этом Милонова вряд ли уместно), либо сознательно приглашавший читателей найти здравствующий аналог «любовника» вдовствующей матери государя, императрицы Марии Федоровны. Показательны и строки об Альбин и Арзелае, рождавшие у образованного читателя желание поискать среди современных ему государственных деятелей «мздоимца, кровосмесителя и

убийцу», а также «страшного невежду».

Поиски эти подогревались репутацией самого Милонова как человека в быту и на службе неуживчивого, любившего при случае высмеять в сатире того или иного вельможу. Сам он писал в 1820 году, что долго боролся по службе с разными «мерзавцами», «из коих... не пощадил, по крайней мере, в стихах моих, ни одного, начиная с первого, Ру[мянце]ва, и до последнего, Тур[гене]ва...»^{305} (имелись в виду министр коммерции и иностранных дел, председатель Государственного совета и Комитета министров Николай Румянцев и директор департамента в Министерстве духовных дел и народного просвещения Александр Тургенев; под началом обоих Милонов в разное время служил и с обоими сохранял хорошие отношения). Петр Вяземский утверждал, что «Милонов не любил... Козодавлева, министра внутренних дел, и задевал его в переводах своих из классических поэтов, в лице Рубеллия». Исследователи же склонны видеть в Рубеллии графа Аракчеева^{306}.

Аракчеева из списка возможных адресатов милоновской сатиры следует, по-видимому, исключить, поскольку знатностью рода он не отличался и его никак нельзя было отождествить с вельможей, гордящимся своим происхождением. Однако и попытки найти точное биографическое сходство персонажей сатиры с Румянцевым, Тургеневым, Козодавлевым или другими государственными деятелями обречены на провал. Сатира исполнена высокого пафоса, однако никаких сведений о том, что Милонов с «гражданской» точки зрения был недоволен кем-нибудь из этих сановников, обнаружить не удалось.

По-видимому, прав мемуарист Михаил Дмитриев, утверждавший, что «сатирическая сила» Милонова «была более плодом мысли, чем убеждения и негодования». «Надобно признаться, — писал Дмитриев, — что и тогда (в момент написания. — А. Г., О. К) его портреты были очень далеки от подлинников: их находило близкими только желание видеть в сатире известные лица; одно оно видело в Рубеллии какого-нибудь современника»^{307}. Сатира «К Рубеллию» — не просто мистификация, а интеллектуальная провокация: она заставляла читателей искать конкретику там, где ее вовсе не было.

*

Сравнив текст сатир Милонова и Рылеева, исследователи давно

выявили все случаи прямого рылеевского заимствования: «пронырством вознесенный» (Милонов) — «вознесенный в важный сан пронырствами злодей» (Рылеев); «ты мещешь на меня с презрением твой взгляд» (Милонов) — «ты на меня взирать с презрением дерзаешь» (Рылеев); «унижуся ли тем, что унижен тобою» (Милонов) — «могу ль унизиться твоим пренебреженьем» (Рылеев) и т. п. Собственно, Рылеев и не скрывал, что его сатира вторична. Ее подзаголовок «Подражание Персией сатире “К Рубеллию”» указывал, что автор подражает не столько Персию, сколько Милонову. Рылеев был прекрасно знаком с творчеством Милонова: книга милоновских стихотворений была в его доме настольной. Так, осенью 1819 года жена Рылеева в письме сестре, оставшейся в деревне, переписала стихотворение Милонова «К сестре моей». Сам Рылеев называл предшественника «бичом пороков»^[308]. По-видимому, он сознательно акцентировал зависимость своего произведения от милоновского текста.

Однако интересно выявить не только сходство, но и различия в текстах двух стихотворений. Прежде всего, Рылеев гораздо чаще своего предшественника использует экспрессивно окрашенную лексику. Шесть раз употребляются слово *зло* и его производные: «вознесенный в важный сан пронырствами злодей», «сограждан спасти от рока злого», «от взора общего причины *зла* укрыть», «но свойства *злые* души не утаишь», «но если *злой* рок, *злодея* люблю», «За *зло* и вероломство / Тебе твой приговор произнесет потомство!» (здесь и далее в цитатах курсив наш. — Л. Г., О. К.). Четырежды употреблены слова *тиран* и *тиранство*: «Неистовый *тиран* родной страны своей», «*Тиран*, вострепещи!», «народ *тиранствами* ужасен *разъяренный*», «Всё трепещи, *тиран*». Сюда же следует добавить слова *подлец*: «Твоим вниманием не дорожу, *подлец*», — и *ужасный*: «власть *ужасная*», «не зная о своем *ужасном* положении». Большинство этих слов Рылеев применяет для характеристики личности и образа действий *временщика* — согласно «Словарю Академии Российской», «особы, которая особливо государевою или чьею милостию и доверенностию пользуется»^[309]. Рылеев характеризует *временщика* как государственного преступника, употребляющего высочайшее доверие во зло.

Столь же показательны имена собственные, встречающиеся в рылеевской сатире. Рубеллий и Персии здесь остаются только в названии, нет ни Альбия, ни Арзеля; о мздоимцах, кровосмесителях, убийцах и невеждах Рылеев тоже ничего не пишет. Зато появляются имена античных героев, бывшие в сознании современников символами тираноборчества и

гражданских добродетелей: Цицерон, Кассий, Брут, Катон, В том, что эти имена-символы не требовали для образованных людей той эпохи дополнительных пояснений, сомневаться не приходится. Знание античной истории было обязательным элементом образования молодых дворян 1820-х годов. Например, Иван Якушкин вспоминал в мемуарах: «...в это время мы страстно любили древних: Плутарх, Тит Ливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами»^{310}.

Не требовали пояснений и антигерои рылеевской сатиры Каталина и Сеян. И если Каталина, адресат знаменитых «разоблачений» Цицерона, упомянут лишь для того, чтобы конкретизировать гражданский подвиг последнего, то имя Сеяна весьма важно с точки зрения прагматики сатиры в целом. Сеян, происходивший из незнатного сословия всадников, префект преторианцев и временщик при императоре Тиберии, — одна из самых одиозных фигур римской истории. Он как раз и был символом лживого царедворца, вкравшегося в доверие к императору, получившего безграничную власть и пытавшегося обмануть своего патрона. Так, Пушкин сравнивал с Сеяном графа Михаила Воронцова, а с Тиберием — Александра I. Он писал Вяземскому из Одессы: «Я поссорился с Воронцовым и завел с ним полемическую переписку, которая кончилась с моей стороны просьбою в отставку — но чем кончат власти, еще неизвестно. Тиберий рад будет придрататься; а европейская молва о европейском образе мыслей графа Сеяна обратит всю ответственность на меня»^{311}.

Таким образом, игровой, мистификационный момент в сатире Рылеева отсутствует, зато присутствует стандартный набор римских тиранов, тираноборцев, добродетельных граждан. И если Милонов, обращаясь к Рубеллию, предлагал ему стыдиться мнения поэта Персия и «мудрых» сограждан, то Рылеев ожидал появления Кассия, Брута и Катона, которых призывал «избавить отечество» от тирана. В том же случае, если они не преуспеют в тираноборчестве, Рылеев допускал, что взбунтовавшийся народ сам покарает временщика.

В вопросе о том, кого имел в виду Рылеев, создавая свою сатиру, современники единодушны — он метил в графа Аракчеева, знаменитого деятеля Александровской эпохи.

Во-первых, в тексте сатиры есть прямые намеки на Аракчеева. В частности, в строке «селения лишил их прежней красоты» вполне можно разглядеть негодование автора по поводу руководимых Аракчеевым военных поселений. А в словах о том, что временщик «налогом тягостным»

довел народ «до нищеты», видится явный намек на работу созданного императором летом 1820 года Особого комитета под руководством Аракчеева. В задачу комитета входило «изыскать новые источники доходов для казны»; изыскания эти предстояло производить на пути увеличения «гербового и крепостного сборов». История с образованием этого комитета была достаточно громкой, ее активно обсуждали в свете. В связи с ней был вынужден покинуть свой пост в Министерстве финансов известный либерал, ученый-экономист и член тайного общества Николай Тургенев^{312}. Согласно донесениям полицейских агентов, в конце 1820 года налоговой политикой правительства были недовольны весьма широкие слои населения. Полицейские агенты сообщали, что «громкий ропот» доносился «с Биржи и Гостиного двора»: «Все, кто занимается торговлей, исключая некоторых барышников, находящихся под покровительством, негодуют на таможенные законы и, еще более, на способ проведения их»^{313}.

Во-вторых, сам Рылеев рассказал в 1824 году петербургскому знакомому, профессору Виленского университета Ивану Лобойко, о полицейской слежке за собой, поскольку Аракчеев принял сатиру «на свой счет»^{314}.

В-третьих, существует множество эпистолярных и мемуарных свидетельств об «антиаракчеевской» направленности стихотворения. В доносе на Рылеева, поданном министру внутренних дел Виктору Кочубею сразу же после публикации сатиры, указывалось: «Цензурою пропущено и напечатано в “Невском зрителе”. Кажется, лично на гр. А. А. Аракчеева»^{315}. Весьма авторитетно мемуарное свидетельство Григория Кругликова, издателя «Невского зрителя», о том, что в «Персиевой сатире» «осуждался граф Аракчеев». Хорошо знавший Рылеева журналист Николай Греч также признавал в воспоминаниях: в сатире, опубликованной в «Невском зрителе», Рылеев «говорил очень явно об Аракчееве»^{316}.

Служивший в 1820 году в гвардии будущий заговорщик Николай Лорер, не знавший об авторстве Рылеева, приписал сатиру самому Гречу и вспоминал впоследствии: «Я помню время, когда Н. И. Греч перевел с латинского “Временщика” времен Рима. Мы с жадностью читали эти стихи и узнавали нашего русского временщика. Дошли они и до Аракчеева, и он себя узнал». Еще один заговорщик, Дмитрий Завалишин, в старости рассказывал, что «молодые люди» 1820-х годов «выражали свое негодование относительно Аракчеева косвенными намеками, например, переводом оды о Сеяне». Владимир Штенгейль отметил, что сатира

Рылеева «намекала на графа Аракчеева, а потому выходка оказалась очень смелой». А Николай Бестужев, также назвав Аракчеева адресатом сатиры, сообщил в мемуарах, что «Рылеев громко и всенародно вызвал временщика на суд истины»^{317}.

Обобщая все эти отзывы, следует признать: не существует ни одного источника, который бы свидетельствовал против того, что объектом сатиры был именно граф Аракчеев.

Однако напрямую имя Аракчеева в сатире не названо. И вполне возможно, что публикация в «Невском зрителе» так и прошла бы незамеченной, если бы не время, когда она появилась. Конец 1820 года в России был ознаменован «семеновской историей». Вечером 16 октября солдаты 1-й гренадерской — «государевой» — роты лейб-гвардии Семеновского полка, недовольные жестоким полковым командиром полковником Федором Шварцем, самовольно собрались вместе и потребовали его смены. Их примеру последовали и другие роты. Начальство Гвардейского корпуса пыталось уговорить солдат отказаться от их требований, но тщетно. 18 октября весь полк оказался под арестом.

Неделю спустя в казармах лейб-гвардии Преображенского полка нашли анонимные прокламации, призывавшие преображенцев последовать примеру семеновцев, восстать, взять «под крепкую стражу» царя и дворян, после чего «между собою выбрать по регулу надлежащий комплект начальников из своего брата солдата и поклясться умереть за спасение оных»^{318}. Впрочем, прокламации были вовремя обнаружены властями.

Выступление семеновцев вызвало в обществе всевозможные толки и слухи (вплоть до «явления в Киеве святых в образе Семеновской гвардии солдат с ружьями, которые-де в руках держат письмо государю, держат крепко и никому-де, кроме него, не отдают»^{319}), а в государственных структурах — смятение и ужас. Дежурный генерал Главного штаба Арсений Закревский в январе 1821 года утверждал: «Множество есть таких неблагонамеренных и вредных людей, которые стараются увеличивать дурные вести. В нынешнее время расположены к сему в высшей степени все умы и все сословия, и потому судите сами, чего ожидать можно при малейшем со стороны правительства послаблении»^{320}.

Адъютант генерал-губернатора Петербурга графа Милорадовича Федор Глинка вспоминал пять лет спустя: «Мы тогда жили точно на бивуаках: все меры для охранности города были взяты. Через каждые $\frac{1}{2}$ часа (сквозь всю ночь) являлись квартальные, чрез каждый час частные пристава привозили донесения изустные и письменные. Раза два в ночь

приезжал Горголи (петербургский полицмейстер. — А. Г., О. К.), отправляли курьеров; беспрестанно рассылали жандармов, и тревога была страшная»^{321}. Подобные настроения объяснялись прежде всего отсутствием царя в столице и неясностью его реакции на произошедшие события.

Тайная полиция начала слежку за всеми: купцами, мещанами, крестьянами «на заработках», строителями Исаакиевского собора, солдатами, офицерами, литераторами, даже за испанским послом. Петербургский и московский почтамты вели тотальную перлюстрацию писем. Многие письма той поры дошли до нас именно благодаря перлюстрации^{322}.

Естественно, столичная цензура также не была свободна от панических настроений: несколько месяцев после «истории» она свирепствовала как никогда. Можно привести весьма показательный пример, хорошо известный в истории литературы. В ноябре—декабре 1820 года князь Петр Вяземский пытался напечатать в журнале «Сын отечества» свое стихотворное «Послание к Каченовскому»^{323}. Князь служил тогда в Варшаве, и «проталкиванием» стихотворения через цензуру занимался его близкий друг Александр Тургенев.

Критические высказывания Вяземского в адрес издателя «Вестника Европы» Михаила Каченовского были вызваны прежде всего литературными причинами — тот в своем журнале нападал на старшего друга Вяземского и Тургенева, Николая Карамзина. Однако, по справедливому замечанию Л. Я. Гинзбург, «в это послание проникли политические, вольнолюбивые мотивы»^{324}.

Тургенев, либеральный, но крайне осмотрительный чиновник, эти «мотивы» вполне уловил и первое цензурирование текста своего друга провел сам, затем в двадцатых числах декабря передал «Послание к Каченовскому» в петербургскую цензуру. Его рассматривал знаменитый цензор Иван Тимковский, «статский советник и кавалер».

Работа цензоров в России была неблагодарной и хлопотной, ими были недовольны и литераторы, и власти предрежающие. Литераторы высмеивали их в стихах и эпиграммах, власти же были готовы за любую оплошность подвергнуть их наказанию вплоть до уголовного преследования.

Тимковский, многодетный отец, в юности служивший врачом, вполне испытал на себе все сложности цензорской карьеры. С одной стороны, для литераторов он был личностью одиозной. Так, Пушкин в 1824 году писал о своих взаимоотношениях с грозным цензором:

Об чем цензуру ни прошу,
Ото всего Т[имковский] ахнет.
Теперь едва, едва дышу!
От воздержанья муза чахнет,
И редко, редко с ней грешу.

Несколько лет спустя поэт заметил, что в годы «царствования» Тимковского

...все твердили вслух,
Что в свете не найдешь ослов подобных двух^{325}.

С другой стороны, цензоры работали под жестким контролем власти. Как раз в описываемое время, осенью 1820 года, министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Голицын приказал «сделать замечание г. цензору статскому советнику Тимковскому что в книжке “Дух журналов” сего года № 17 и 18, одобренной им к напечатанию, на стран[ицах] 187 и 188 находятся места, вовсе неприличные и противные Уставу о цензуре, которых ему никак не следовало пропускать. Посему впредь он должен того всемерно остерегаться, как уже и неоднократно сие подтверждено было»^{326}.

После «семеновской истории» и выговора от министра цензор был крайне осторожен. О результатах рассмотрения рукописи «Послания к Каченовскому» Тургенев сообщал Вяземскому: «...неумолимый Тимковский, кроме двух, мною выкинутых... стихов, выкинул еще восемь...» Не разрешены к публикации были, в частности, строки, где Вяземский клеймил неких «пугливых невежд», для которых

...свобода — своеволие!
Глас откровенности — бесстыдное крамольство!
Свет знаний — пламенный кровавый мятеж!
Паренью мыслей есть извечная межа,
И, к ней невежество пристава стражей хищной,
Хотят сковать и то, что разрешил всевышний^{327}.

В данном случае Тургенев не был согласен с цензором, надеялся

уговорить его вернуть вычеркнутые строки и в помощники себе избрал Сергея Уварова, тогдашнего попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, прямого начальника Тимковского. Из того же письма Тургенева видно, что борьба шла за каждую строчку, за каждое слово: «Вчера отдал я пропущенный, но искаженный экземпляр Уварову. Авось он еще спасет стиха два... Тимковский выпустил и имя Каченовского, оставив заглавные буквы; но мне хочется оставить его и, вероятно, оставлю. Одно вымаранное слово и замененное другим я уже спас. Вместо *чернь* и *царь* цензор поставил *все* и *царь*. Какая противоположность! Во второй книжке “Сына отечества” послание явится, но к первой не поспеет».

Впрочем, Тургенев не желал подводить цензора, поскольку понимал особенности цензорской службы. «Я и сам боюсь за Тимковского, — сообщал он Вяземскому и предлагал: — ...лучше пустим их (стихи. — А. Г., О. К.) вполне в списках». В итоге выброшенные цензором строки всё же не были восстановлены. Вяземский был возмущен. «Сделай милость, — писал он Тургеневу, — когда буду в Петербурге, скажи мне, где показывают Тимковского? У него должно быть рыло этих собак, которые за трюфелями ходят. Что за дьявольское чутье! Ни одна мысль не уживается при нем: как раз носом отыщет и ценсорскою лапою выроет»^[328].

И этот-то Тимковский, в сентябре 1820 года получивший выговор от Голицына и в декабре искаживший смысл стихотворения Вяземского, между двумя этими событиями, в ноябре, подписал в печать номер «Невского зрителя» с сатирой «К временщику». По-видимому, у Рылеева были все основания для бравады, когда 23 ноября он сообщал своему воронежскому приятелю Михаилу Бедре: «Моя сатира к временщику уже печатается в 10 книге “Невского зрителя”. Многие удивляются, как пропустили ее»^[329]. Заметим, что удивление «многих» в данном случае было вполне оправданно.

*

Поведение Тимковского было странным, но не менее странным оказался и выбор места для публикации сатиры. Журнал «Невский зритель» выходил всего полтора года, с января 1820-го по июнь 1821-го, и резко отличался от многих других периодических изданий той эпохи. Главные журналы — «Сын отечества», «Вестник Европы», «Благонамеренный» и другие — стояли на определенной эстетической, а

иногда и политической платформе, участвовали в литературной полемике, имели свой, устоявшийся круг авторов и читателей.

«Невский зритель» был журналом крайне неровным. В истории журналистики он известен прежде всего тем, что в нем публиковался молодой Пушкин, а также его друзья-поэты Антон Дельвиг, Вильгельм Кюхельбекер и Евгений Баратынский. Однако их произведениями заполнены лишь первые четыре номера журнала, а с мая по сентябрь 1820 года в нем не появилось ничего более или менее значимого для истории литературы. Затем в нескольких номерах (с октября 1820 года по март 1821-го) печатаются стихи Рылеева, появляются также произведения близкого к нему литератора Ореста Сомова. Рылеев даже планировал стать соиздателем «Невского зрителя», однако по невыясненным обстоятельствам этот план не осуществился. В апреле Рылеев и Сомов ушли из журнала, и последние книжки его опять наводняют произведения второстепенных литераторов^{330}. Постоянным автором «Невского зрителя» был только знаменитый графومان граф Дмитрий Хвостов.

Причины, обусловившие столь разное наполнение книжек журнала, нам неизвестны. В истории журналистики и литературы практически не оставили следов официальный издатель «Невского зрителя», 28-летний сотрудник департамента горных и соляных дел, «магистр этико-политических наук» Иван Сниткин^{331} и его главный помощник, служащий столичного почтамта Григорий Крутиков. Одно можно сказать твердо: до осени 1820 года власти смотрели на «Невский зритель» с большим недоверием.

В июльском номере журнала Сниткин опубликовал первую часть собственной статьи под названием «Должен ли быть позволен привоз всех иностранных товаров, или только некоторых, и каких более?». Горячий поклонник экономической теории Адама Смита, Сниткин был сторонником «разрешительной» системы и утверждал: «...не должно слишком опасаться, чтобы какое-либо общество с дозволением привоза иностранных товаров пришло в бедность. С тем вместе будет более денежных оборотов, более вещей в торговле и, следственно, богатство общества может возрастать».

Публикация эта была по тем временам крамольной. Она нарушала многочисленные циркуляры министра Голицына о том, что статьи, в которых обсуждаются действия правительства, «могут быть токмо печатаемы, когда правительство, по усмотрению своему, само находит то нужным и дает свое приказание, без которого ни под каким видом не

должно быть печатаемо ничего ни в защищение, ни в опровержение распоряжений правительства».

Статья Сниткина вызвала гнев министра. В августе последовал еще один циркуляр Голицына на имя Уварова:

«...в книжке журнала “Невский зритель”, часть первая, март, помещена опять целая статья, под названием “О влиянии правительства на промышленность”, в коей делаются замечания правительству в постановлениях и распоряжениях его, и даются оному наставления, весьма неприличные ни в каком отношении. Таковое смелое присвоение частными людьми себе права критиковать и наставлять правительство ни в каком случае не может быть позволено.

Посему покорнейше прошу Вас, милостивый государь мой, предписать единожды навсегда цензуре ни под каким видом не пропускать никогда подобных сочинений и переводов, под ответственностию в противном случае Цензурного комитета или того цензора, который сие нарушил»^{332}.

Казалось бы, после такого гневного окрика дни «Невского зрителя» должны быть сочтены. Видимо, последствием недовольства министра стал распространившийся среди столичных литераторов слух, что журнал скоро прекратит свое существование. «“Невский зритель” издыхает и... к новому году закроет глаза», — утверждал журналист Александр Измайлов в августе 1820 года^{333}.

Но эти мрачные прогнозы не оправдались. Правда, следующий, августовский номер журнала получил цензурное разрешение только 2 октября, однако открывался он продолжением статьи Сниткина. И если первая часть статьи уместилась на восемнадцати журнальных страницах, то продолжение ее заняло целых 30 страниц.

Сентябрьская книжка (вышедшая несколькими днями позже «семеновской истории») содержала и вовсе неожиданные для читателей заявления. Под рубрикой «Разные известия» были опубликованы две небольшие анонимные заметки без названия: «“Монитор”^[9] говорит: “Умный человек есть столп, на котором всякое Правительство охотно прибывает свои объявления”»; «Одна французская газета, которая издавалась под руководством министерской партии, сказала про оппозиционный журнал: “Вы худо чините свои перья”. — “Конечно, вы не имеете этого недостатка, — отвечали издатели журнала, — потому что перья свои получаете уже совсем очинёнными”». В том же номере было опубликовано и «Уведомление» об издании «Невского зрителя» в 1821 году,

в котором сообщалось, что журнал продолжит обсуждение «важных переворотов, которыми решалась судьба царств», а также «современной политики, т. е. обозрения настоящего положения Европы».

Таким образом, негодование министра сошло на нет, а журнал во всеуслышание заявил о своей оппозиционности и неизменности курса на обсуждение политических событий. Обычно же за нарушение предписаний Голицына издания подлежали безусловному закрытию^{334}.

*

В истории публикации сатиры «К временщику» странным выглядит и поведение ее автора. В конце 1820 года он еще не был знаменитым поэтом, не состоял в тайном обществе. Первые робкие шаги в литературе делал 25-летний отставной подпоручик, не выслуживший в армии ни денег, ни чинов. После выхода в отставку Рылеев с женой и новорожденной дочерью вынужден был снимать в столице дешевую квартиру и в письме от 15 октября 1821 года просил маменьку прислать ему «на первый случай посуды какой-нибудь, хлеба и что Вы сами придумаете нужное для дома, дабы не за всё платить деньги»^{335}.

В вопросе о том, каким образом Рылееву удалось войти в литературные круги Петербурга, много неясного. Не лишено оснований предположение филолога-краеоведа Б. Т. Удодова, что, служа после окончания Заграничных походов в Острогожском уезде под Воронежем, Рылеев мог познакомиться с Милоновым, жившим с 1815 года в поместье отца Придонский Ключ Задонского уезда той же губернии^{336}. Летом 1818 года Милонов вернулся в Петербург, поступил на службу, восстановил литературные знакомства и стал много печататься в журналах. В 1819 году вышел сборник его стихотворений.

Главной трибуной Милонова после возвращения в столицу стал журнал Александра Измайлова «Благонамеренный». Измайлов был старым и близким другом Милонова, в 1810-х годах являлся одним из издателей журнала «Цветник», впервые опубликовавшего сатиру «К Рубеллию». Про Измайлова говорили, что он печатает «и своих родственников, и своих приятелей, и родственников своих приятелей»; журнал являлся, по сути, «домашним предприятием». «Благонамеренный (изд. г. Измайлов, в С.-Петербурге) забавен для своего круга», — впоследствии характеризовал это издание Александр Бестужев^{337},

Не исключено, что именно Милонов ввел Рылеева в «домашний круг» Измайлова; по крайней мере, именно в «Благонамеренном» впервые увидели свет две эпиграммы никому не известного поэта. Эпиграммы эти — весьма, впрочем, посредственные — появились в мартовском, пятом номере журнала за 1820 год и были подписаны криптонимом *К. Р-въ*. В следующей книжке «Благонамеренного» появляется еще одно подписанное таким же образом стихотворение — на сей раз любовного содержания, под названием «Романс»:

...Как счастлив я, когда вдруг осторожно,
Украдкой ото всех целуешь ты меня.
Ах, смертному едва ль так счастливым быть можно,
Как счастлив я!^{338}

В тринадцатой, июльской, книжке «Благонамеренного» уже за полной подписью Рылеева была напечатана элегия «К Делии (Подражание Тибуллу)» — на самом деле стихотворение было подражанием Батюшкову и тому же Милонову. В том же номере была опубликована и еще одна его эпиграмма, опять-таки за подписью *К. Р-въ*^{339}. Этим номером завершилось участие Рылеева в «Благонамеренном» — и до ноября его произведения в печати не появлялись. Таким образом, к моменту написания сатиры «К временщику» он был автором пяти опубликованных произведений: трех эпиграмм и двух любовных стихотворений. Что заставило его уйти из «Благонамеренного» в «Невский зритель», неизвестно.

Сам Рылеев квалифицировал свою сатиру «К временщику» как «неслыханную дерзость»^{340}. Александр Тургенев в феврале 1821 года писал Вяземскому: «Читал ли дурной перевод Рубеллия в “Невском зрителе”? Публика, особливо бабья, начала приписывать переводчику такое намерение, которое было согласно с ее мнением». «Нельзя представить изумления, ужаса, даже, можно сказать, оцепенения, каким поражены были жители столицы при сих неслыханных звуках правды и укоризны, при сей борьбе младенца с великаном. Все думали, что кары грянут, истребят и дерзновенного поэта, и тех, которые внимали ему», — вспоминал Николай Бестужев^{341}. Произведение это произвело в петербургском обществе эффект разорвавшейся бомбы.

И, конечно, современники не могли не удивиться не только дерзости, с

которой никому не ведомый отставной подпоручик бросал вызов Аракчееву. Удивительнее всего был тот факт, что за публикацию сатиры «ничего не было» не только Рылееву, но и Тимковскому со Сниткиным и Кругликовым.

*

О том, почему «кары» со стороны Аракчеева так и не «грянули», существует рассказ самого Рылеева (в передаче Лобойко): «Аракчеев... отнесся к министру народного просвещения князю Голицыну, требуя предать цензора, пропустившего эту сатиру, суду. Но Александр Иванович Тургенев, тайно радуясь этому поражению и желая защитить цензора, придумал от имени министра дать Аракчееву такой ответ: “Так как, ваше сиятельство, по случаю пропуска цензурою Проперция (по-видимому, Лобойко в данном случае подвела память, Рылеев в своей сатире ссылаясь не на Проперция, а на Персия. — А. Г., О. К.) сатиры, переведенной стихами, требуете, чтобы я отдал под суд цензора и цензурный комитет за оскорбительные для вас выражения, то, прежде чем я назначу следствие, мне необходимо нужно знать, какие именно выражения принимаете вы на свой счет?” Тургенев очень верно рассчитал, что граф Аракчеев после этого замолчать должен, ибо если бы он поставил министру на вид эти выражения, они не только бы раздались в столице, но и во всей России, ненавидевшей графа Аракчеева»^[342].

В рассказе этом много неточностей — либо Лобойко со временем забыл подробности, либо Рылеев сознательно мистифицировал приятеля. Вызывает сильное сомнение участие в этой истории Тургенева, возглавлявшего в министерстве Голицына департамент духовных дел. Как видно из истории с «проталкиванием» в печать «Послания к Каченовскому», Тургенев частным образом пытался влиять на цензурные дела, но, как справедливо отмечает В. М. Бокова, «ни к какой цензуре» он «отношения по службе не имел и отписок по ее ведомству составлять не мог»^[343]. Естественно, влияния Аракчеева вполне хватило бы, чтобы потребовать суда над цензором. Но в этом случае Голицын должен был бы дать поручение «назначить следствие» не Тургеневу, а Уварову. Более того, в конце ноября 1820 года служебное положение Тургенева оказалось весьма шатким: на одном из заседаний Государственного совета он публично повздорил с министром юстиции и едва не вызвал его на дуэль. В итоге

Тургенева обвинили в нарушении общественного порядка. «Называют сей поступок хуже и опаснее семеновского», — жаловался он Вяземскому^{344}. Будучи сам в критической ситуации, Тургенев вряд ли стал бы вступаться за Тимковского и Рылеева по собственной инициативе.

Есть и другой рассказ об этой истории, гораздо более лаконичный, но и более правдоподобный: «Несдобровать бы издателям “Невского зрителя” и не избавиться бы им мщения графа (Аракчеева. — А Г., О. К.), если бы за них не заступился князь Голицын, который был тогда министром народного просвещения». Этот рассказ тем более ценен, что принадлежит непосредственному участнику событий, соиздателю «Невского зрителя» Григорию Кругликову. Его подтверждает автор анонимных воспоминаний о Рылееве: «Когда Кондратам Федорович] написал “Временщик”, полагали написанным его на Аракчеева, хотели его посадить в крепость, но князь Голицын защитил»^{345}.

Обобщая эти свидетельства, можно констатировать: спасение действительно пришло из Министерства духовных дел и народного просвещения. Но исходило оно вовсе не от Тургенева, а непосредственно от министра. Ответ на вопрос, зачем ему было покрывать Тимковского, Рылеева и издателей журнала, может быть только один: все они в истории с сатирой действовали не сами по себе, а исполняли политический заказ, исходивший непосредственно от Голицына. Нетрудно предположить, что журнал «Невский зритель» мог позволить себе публикацию такой сатиры именно потому, что его оппозиционность была санкционирована высшей властью в лице министра. Не исключено, что просьбу Голицына передал Рылееву Кругликов, соиздатель «Невского зрителя» и одновременно сотрудник подчинявшегося Голицыну столичного почтамта.

«1815—1825 гг. вошли в российскую историю как время сплошной *аракчеевщины*», — утверждает историк Н. А. Троицкий^{346}. Собственно, эта оценка является общим местом в исследованиях, посвященных александровскому царствованию. Но к началу 1820-х годов можно говорить не об одном, а по меньшей мере о трех российских временщиках, наделенных «особливым доверием» Александра I. Кроме Аракчеева это были тот же князь Голицын и князь Петр Волконский. Сравнивая эти три фигуры, Филипп Вигель отмечал, что «в беспредельной преданности царю у Аракчеева более всего был расчет, у Волконского — привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына — чувство»^{347}.

Все трое, разумеется, были искушены в придворных интригах. И невозможно дать однозначный ответ на вопрос, кто из них был более

влиятельным в политике и кто больше принес России добра или зла.

О Волконском вспоминали как о «благоразумном и опытном» военачальнике, не наделенном, впрочем, особой государственной мудростью. Вигель сообщал, что всецело погруженный в служебные дела, молчаливый и замкнутый Волконский «никого не хотел знать: ни друзей, ни родных; не только наград, прощения, помилования в случае вины никому из них не хотел он выпрашивать». Мемуарист отмечал: «На одном Волконском истощалось иногда всё дурное расположение духа государя, к нему чрезвычайно милостивого: он всё переносил со смирением и, вероятно, полагал, что, в свою очередь, имеет он право показывать себя грубым, брюзгливым с подчиненными, даже с теми, к которым особенно благоволил»^[348]. Начальник Главного штаба очень много сделал для армии, в особенности для правильной организации ее квартирмейстерской части. Он основал Московское училище колонновожатых, приохотил многих офицеров к изучению военных наук и математики. Но в то же время в годы его управления в армии процветали коррупция и кумовство, шагистика и фрунтomanия, зачастую заменявшие уважение подчиненных к начальникам и элементарную дисциплину.

Аракчеев тоже много сделал для армии, особенно для артиллерии. Он писал книги по артиллерии, был инициатором создания Артиллерийского ученого комитета и издания специального «Артиллерийского журнала»; в руководимых им военных поселениях открывались школы и госпитали^[349]. Аракчеевым, по просьбе императора, был подготовлен один из проектов освобождения крестьян от крепостной зависимости. Но военными поселениями он управлял жестко, подчас жестоко. В них жилось плохо и крестьянам, и солдатам. В 1819 году Аракчеев жестоко подавил бунт военных поселян в Слободско-Украинской губернии. Он возглавлял Собственную Его Императорского Величества канцелярию, а также Канцелярию Кабинета министров. С 1815 года министры были лишены права личного доклада императору и общались с ним только через Аракчеева. Ни одно серьезное кадровое решение Александр I не принимал, не посоветовавшись с временщиком. Министры и генерал-губернаторы искали его покровительства. Чиновники всех рангов боялись гнева временщика гораздо больше, чем гнева императора.

Многие мемуаристы отзывались об Аракчееве очень резко. Современники отмечали прежде всего его «неумолимую, часто доходившую до жестокости строгость», «бесконечно самолюбие, самонадеянность и уверенность в себе», «злопамятность и

мстительность»^{350}.

Но были и те, кто считал Аракчеева благодетелем. Так, участник тайного общества подполковник Гавриил Батеньков, служивший под началом Аракчеева, отзывался о нем как о руководителе, который «всё исполнит, что обещает», причем «с первого взгляда умеет расставить людей сообразно их способностям: ни на что постороннее не смотрит». Уважал Аракчеева и Николай Карамзин, которого вряд ли можно заподозрить в «искательстве». А князь Вяземский, в молодости крайне не любивший Аракчеева, впоследствии в мемуарах замечал, что начальник *военных поселений* «не страшился» суда истории, «признавал и уважал достоинство и авторитет истории». «В грубой и тусклой натуре Аракчеева, — писал Вяземский, — которой вполне отрицать нельзя, просвечивались иногда отблески теплого и даже нежного чувства»^{351}.

*

Столь же неоднозначно оценивали современники и князя Голицына, сыгравшего в судьбе Рылеева ключевую роль.

Александр Николаевич Голицын, совмещавший пост министра с должностью президента Библейского общества, — ключевая фигура в литературном процессе конца 1810-х — первой половины 1820-х годов. Представитель обедневшей ветви богатого и знатного рода, он в малолетстве был отдан в Пажеский корпус. «Он, — писал в мемуарах Вигель, — был мальчик крошечный, веселенький, миленький, остренький, одаренный чудесною мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста. Весьма близкая к императрице Екатерине старая доверенная ее камер-юнгфера Марья Саввишна Перекусихина как-то узнала его, полюбила, тешилась забавным мальчиком и, наконец, представила его государыне, которая, как известно, чрезвычайно любила детей, что обыкновенно служит лучшим признаком добросердечия. Это составляло счастье маленького князя Александра Николаевича... Он рожден был для двора». Согласно Вигелю, когда Екатерина II «женила шестнадцатилетнего любимого внука своего Александра и составила ему маленький двор, то поместила в него Голицына, из камер-пажей пожаловав его прямо в камер-юнкеры и доставив ему средства прилично себя содержать». «С нежностью его чувств как было не прилепиться ему ко внуку своей благодетельницы и с

забавным его умом как не полюбить молоденькому царевичу! Павел произвел его сначала камергером; а потом, за год до своей кончины, по какому-то неудовольствию на сына, отставил от службы, выслал и из особой милости дозволил жить в Москве»^{352}.

До 1803 года религиозные вопросы мало интересовали князя. Впоследствии он признавался, что в юности вел себя, «как конь необузданный», и не мог простить себе, что «грех богохуления, именно на лицо Спасителя... произнес и на св. Богослова Иоанна»^{353}. В 1803 году Александр I, с детских лет друживший с князем, назначил его обер-прокурором Синода. По свидетельству самого Голицына, он долго отказывался от этой должности: «Рассеянная жизнь, дворские привычки... веселый сгиб моего характера, вовсе неуместительный с теми мрачными понятиями, какие я имел тогда об этом звании, словом, всё приводило меня в смущение. Притом и совершенное незнание дела не очень располагало меня принять эту готическую должность синодального обер-прокурора»^{354}. Однако император настоял — и Голицын приступил к исполнению «готической» должности. В 1808 году он получил чин тайного советника, в 1810-м был назначен членом Государственного совета и главноуправляющим духовными делами иностранных вероисповеданий, в 1812-м стал сенатором.

Незадолго до войны князь, наконец, «стал постигать, что в многообразии мира наружного, феноменального скрывается еще более многообразный мир внутренний, мир неуловимый человеческими чувствами; и эта жизнь наглядных, так сказать, ощущений человеческих есть только скудная покрывка, есть как бы накипь, облекающая по наружности и скрывающая великие, богатые и дивные тайны неведомого шествия существа внутреннего, мирового, вечного»^{355}. В годы войны это новое религиозное чувство окрепло — Голицын стал последователем достаточной стройной системы взглядов, которая уже в начале века трактовалась как религиозный мистицизм.

Мистицизм лег в основу деятельности Петербургского библейского общества, организованного Голицыным в конце 1812 года в качестве отделения одноименной английской организации. Князь являлся президентом Библейского общества с момента его основания до середины 1824 года. В 1813 году в него вступил сам император, а год спустя Библейское общество стало независимым и получило статус общероссийского. Официально декларируемой целью этой организации был перевод Библии на языки народов, населяющих Россию. Но, как видно

по результатам многих исследований, деятельность Библейского общества оказалась гораздо шире.

Время голицынского управления Библейским обществом ознаменовано ожесточенными спорами о роли церкви в Российском государстве и русском обществе. Князь был сторонником «универсального христианства», стирающего конфессиональные различия; пропагандируемая им «внутренняя церковь» допускала единение с Христом, минуя церковь официальную. Исследователи спорят, была ли эта политика «протестантским проектом, глобальной попыткой Реформации сверху», «мессианско-эсхатологическим синтезом», «католической конверсией», «утопией общехристианского государства» или «христианским экуменизмом». Существует также мнение, что деятельность Библейского общества следует характеризовать «с помощью эпитета “реформаторский”, а не термина “Реформация”»: «Предполагалось не воспроизвести опыт европейской Реформации в России, а с помощью разнообразных мер в области просвещения и реорганизации религиозной жизни мирно, избегая социальных потрясений, совершить модернизацию духовной жизни подданных. Модернизация подразумевала в этот момент создание единого правового, политического и культурного европейского пространства, а значит, культивирование межконфессиональной терпимости»^{356}.

Однако религиозной деятельностью Библейское общество не ограничивалось. Его начинания, безусловно, влияли и на развитие науки, в первую очередь языкознания. Согласно мнению академика А. Н. Пыпина, «непосредственный результат библейской деятельности — новые издания Библии, и в особенности издания на русском языке и переводы на различные инородческие наречия, во всяком случае, были явлением высокой важности в истории русского образования»^{357}.

Идеи взаимодействия религии и просвещения как раз и лежали в основе концепции образованного в 1817 году Министерства духовных дел и народного просвещения. Это, по выражению современников, «сугубое» министерство подмяло под себя не только собственно ведомство просвещения, но и иностранные вероисповедания, и православный Синод, и периодические издания (за исключением нескольких ведомственных газет и журналов), и Академию наук, и вольные общества, и цензуру (а через ее посредство и литературу). «По совместительству» Голицын возглавлял еще и почтовый департамент. На посту министра князь, как мог, развивал просвещение, учреждал школы и университеты; в частности, при

нем был основан Санкт-Петербургский университет (1819). С его санкции открывались новые периодические издания, выходили книги.

Пыпин отмечал также, что Библейское общество (по крайней мере на первых порах) было общественной организацией, хотя и утвержденной свыше, но, несомненно, будившей общественную инициативу: «...действия общества проникли в слои жизни, до которых редко касались какие-нибудь подобные влияния; и для людей, не задававших себе никаких вопросов, проводивших жизнь по принятому обычаю и переставших что-нибудь думать о ней, такое возбуждение религиозно-нравственных вопросов все-таки могло быть шагом вперед как пробуждение из нравственной спячки»^{358}.

*

Роль Голицына в общественной жизни Александровской эпохи тоже является предметом дискуссий среди исследователей. Ученые прошлых лет видят в нем то главу партии «обскурантов», то слабого и безвольного царедворца, который «незаметно для самого себя, направляемый проницательной кликой реакционеров», «становится во главе самого мрачного обскурантизма». «Близкий к государю, стоявший во главе Святейшего синода, а потом Министерства народного просвещения, он оказался очень удобным орудием в руках реакции. Через него реакция направила свои удары на народное просвещение и печать, прикрываясь религией», «реакционеры свили себе прочное гнездо в Библейском обществе», — утверждал, например, М. В. Довнар-Запольский^{359}.

Эту точку зрения вполне можно подтвердить фактами. Именно в годы «библейской» и министерской деятельности Голицына происходили, в частности, разгромы Казанского и Петербургского университетов, гонения на неугодных профессоров. При нем в ранг государственных деятелей выдвинулись «библеисты» Дмитрий Рунич и Михаил Магницкий, известные в истории как мрачные «гасильники просвещения».

Источники свидетельствуют: князь не был либералом в отношении литературы и журналистики; цензура после войны 1812 года и Заграничных походов русской армии стала крайне жесткой.

Вообще о цензуре Александровской эпохи существует немало критических высказываний современников. Так, например, Булгарин, имея в виду цензурную ситуацию 1820-х годов, вопрошал: «Что же делала

цензура под влиянием мистиков и их противников?» — и сам отвечал: «Распространяя вредные для чистой веры книги, она истребляла из словесности только одни слова и выражения, освященные временем и употреблением. Вот для образчика несколько выражений, не позволенных нашею цензурою как оскорбительных для веры: отечественное *небо*; *небесный* взгляд; *ангельская улыбка*, *божественный* Платон; ради *Бога*, *ей-Богу*, *Бог* одарил его; он *вечно* занят был охотою и т. п. Все подчеркнутые здесь слова запрещены нашею цензурою, и словесность, а особенно поэзия, совершенно стеснена... Вместо того, чтобы запрещать писать *противу* правительства, цензура запрещает писать *о правительстве* и *в пользу* оногo. Всякая статья, где стоит слово правительство, министр, губернатор, директор, запрещена вперед, что бы она в себе ни заключала. Повторяю, всё зло происходит от того, что у нас смотрят не на дух сочинения, но на одни слова и фразы, и тот, кто искусными перифразами может избежать в сочинении запрещенных цензурою слов, часто заставляет ее пропускать непозволительные вещи»^{360}. Именно Голицыну российская цензура обязана появлением Ивана Тимковского и Александра Бирукова, вымарывавших из пушкинских стихов вполне невинные строки.

«Человек доверчивого и впечатлительного сердца, Голицын умел и хотел быть диктатором. Он и был действительно диктатором немало лет. И эта своего рода “диктатура сердца” была очень навязчивой и нетерпимой, — фанатизм сердца бывает в особенности пристрастен и легко сочетается с презрительной жалостью», — утверждал Г. В. Флоровский^{361}. К 1820-м годам Библейское общество фактически превратилось в официальную организацию, куда вошли большинство должностных лиц Российской империи. Под эгидой проповеди слова Божьего и перевода Библии на языки населявших Россию народов в среде членов общества зачастую процветало безудержное ханжество.

Однако деятельность Голицына явно несводима к «обскурантизму» — сегодня это понятно уже многим исследователям. Так, Е. А. Вишленкова утверждает: «В системе традиционных для России институтов Библейское общество выглядело чужеродным телом. По замыслу создателей, оно должно было стать организацией единомышленников, объединением политической элиты, на которую мог опереться император в проведении политического курса. В начале царствования Александр I жаловался “молодым друзьям” на недостаток кадров, способных разделить и провести в жизнь его замыслы. Создание Библейского общества должно было расширить круг вовлеченных в политику людей, стать своего рода

проверкой и одновременно школой кадров для правительства... Здесь работал новый принцип вербовки кадров — принцип идейного единства. Он должен был обеспечить реализацию идеологии “общехристианского государства” в политическую практику». М. Л. Майофис идет еще дальше: по ее мнению, «Библейское общество и насаждавшаяся посредством его модель христианства стали в этот период орудиями либерализации режима и модернизации»^{362}.

Эту точку зрения также можно подтвердить фактами: одним из ближайших сподвижников князя, секретарем Библейского общества и начальником департамента в «сугубом» министерстве был известный либерал и противник крепостного права Александр Тургенев, брат экономиста и заговорщика Николая Тургенева. Тот же Довнар-Запольский, сурово критиковавший «обскурантизм» Голицына, вынужден был признать: «Окруженный святошами, Голицын выдвигает и А. И. Тургенева, который составлял проекты конституции, занимая квартиру в казенном доме, над кабинетом реакционного министра»^{363}.

В годы деятельности Голицына в России выходили многочисленные журналы — и почти у каждого из них было свое лицо. И в журналах, и отдельными книгами печатались произведения Пушкина, Жуковского, Вяземского, Баратынского, того же Рылеева. Министр искренне любил многих из своих беспокойных подчиненных, поддерживал при дворе Жуковского^{364}, помогал выкупу из крепостной неволи талантливого юноши Александра Никитенко, живо интересовался судьбой служившего рядовым в Финляндии Баратынского.

Более того, президент Библейского общества одним из первых русских высокопоставленных чиновников понял силу общественного мнения и, в отличие от Аракчеева и Волконского, предпочитавших действовать почти исключительно в тиши кабинетов, старался опираться на это мнение. Более того, он зачастую сам инициировал ту или иную общественную инициативу. В то же время гонения на университеты и жесткая цензурная политика во многом явились следствием как раз общественного мнения: далеко не все в 1820-х годах разделяли «свободный образ мыслей» и реформаторские религиозные установки. Скандальные истории, связанные с деятельностью возглавлявшихся Голицыным организаций, часто были результатом борьбы «партий» внутри этих организаций.

В основе же большинства инициатив Голицына лежали именно либерально-государственнические устремления, вообще характерные для Александровской эпохи. Безусловно либеральной формой деятельности

министра были, в частности, попытки внедрить в отечественное образование ланкастерский метод взаимного обучения.

О министре вспоминали как о человеке «незловивом», «благородных, честных правил», «добрейшем из смертных». Тот же Вяземский отмечал, что министр «был умный и образованный человек; был вместе с тем мягкосердечен и услужлив, более был склонен иногда легкомысленно и неосторожно одолжать, нежели сухо отказывать в добром участии»^{365}.

Однако есть и прямо противоположные свидетельства. К примеру, Пушкин ненавидел Голицына. Пытаясь дискредитировать министра, поэт приписывал ему гомосексуальные наклонности, называл его «губителем просвещения» и «холопской душой». Период голицынского управления отечественным просвещением он характеризовал как «мрачную годину». В выборе негативных характеристик Пушкин не стеснялся:

И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!^{366}

Понятно, что Волконский, Голицын и Аракчеев соперничали, пытаясь добиться исключительного влияния на императора. Волконский, например, в частных письмах удивлялся «непонятному ослеплению» государя относительно Аракчеева и вообще «являлся противовесом влиянию Аракчеева, которого презирал и называл “змеем”». Естественно, в среде близких к Волконскому армейских генералов (Иван Сабанеев, Павел Киселев, Михаил Воронцов, Арсений Закревский) об Аракчеве отзывались не многим лучше, именовали его «проклятым змеем», «уродом», «чудовищем», «чумой», «выродком ехидны», «извергом», «государственным злодеем», «вреднейшим человеком в России» и пр.^{367} Оценки подобного рода распространялись и в военных, и в придворных кругах.

Неприятные отзывы о «Грузинском» (от имени Аракчеева Грузино) можно обнаружить, например, в переписке Александра Тургенева. Мнение Тургенева, в свою очередь, не могло обойти стороной его многочисленных друзей — петербургских литераторов. Для Вяземского, например, Аракчеев в 1820-е годы — почти мифический злодей, не просто «змей», а эпический Змей Горыныч^{368}.

Аракчеев, в отличие от своих оппонентов и их сторонников, был

немногословен. В 1823 году ему удалось добиться смещения Волконского с поста начальника Главного штаба, а в 1824-м — удаления с министерской должности Голицына. Именно тогда в стране установился режим, который принято называть *аракчеевщиной*. Царь фактически перестал заниматься государственными делами, доверив их начальнику своей канцелярии.

Однако в 1820 году когда Рылеев дебютировал в литературе и журналистике, Голицын был еще в полной силе. Более того, многие современники считали, что именно он являлся главным — после царя — правителем России. Недаром прекрасно знавший эпоху, собиравший о ней устные рассказы и документы Л. Н. Толстой устами Пьера Безухова скажет в эпилоге «Войны и мира»: «Библейское общество — это теперь всё правительство»^{369}.

В конце 1820 года, в связи с «семеновской историей», борьба временщиков обострилась.

*

Волнения в Семеновском полку породили смятение в русском обществе. Судя по документам, современники и прежде всего люди, обличенные властью, пытались ответить на вопрос «Кто виноват?». Естественно, власти осуждали солдат, послушавшихся командира. Но большинство тех, от кого зависело принятие решений, искали виновников бунта вне солдатской среды и обвиняли прежде всего полкового командира Шварца и офицеров-семеновцев.

Самым весомым в данном случае оказалось мнение императора, а было оно весьма своеобразным. «Я сомневаюсь, — писал Александр 10 ноября 1820 года, — чтобы одни были виновнее других, и уверен, что найду настоящих виновных в таких людях, как Греч и Каразин»^{370}.

Василий Каразин, известный прожектер и доносчик Александровской эпохи, был личным врагом Голицына, писал на него доносы Кочубею; соответственно, защищать его министр духовных дел и народного просвещения не собирался. В итоге Каразин был арестован, несправедливо обвинен в составлении антиправительственных прокламаций, просидел полгода без суда и следствия в Шлиссельбурге, а затем был сослан в собственное имение под надзор полиции. Иное дело — знаменитый журналист и педагог Николай Греч. К концу 1820 года он был не только издателем журнала «Сын отечества», но и не менее известным филологом-

лингвистом, автором учебников по русской грамматике, много преподававшим в частных пансионах. Имя Греча неразрывно связано с введением в России системы взаимного обучения. Метод этот, изобретенный англичанами А. Беллем и И. Ланкастером, состоял в том, что наиболее одаренные ученики под руководством учителя передавали полученные знания своим менее способным товарищам. Он имел, конечно, большие недостатки, но был весьма актуален для России, так как позволял научить грамоте сразу большое количество крестьян и солдат.

В советской историографии сложилось мнение, что введение в России ланкастерской системы было связано с деятельностью Союза благоденствия. Между тем еще в конце XIX века литературовед А. Н. Пыпин выявил, что распространялась она по прямому приказу Александра I, главным же исполнителем царских указаний выступал князь Голицын. «В числе приверженцев и распространителей ланкастерской методы у нас члены Библейского общества играли немалую, если не главную роль», — считал Пыпин^[371].

В 1816 году император поручил Голицыну отправить «в Англию для изучения методы Ланкастера» четверых студентов столичного Педагогического института, и с этого момента Голицын стал яростным пропагандистом новой системы. Он лично наблюдал за обучением посланцев и докладывал о их успехах императору, в октябре 1817 года организовал в Педагогическом институте специальное отделение «для образования учителей приходских и уездных». При Главном правлении училищ был создан особый комитет для учреждения училищ народного просвещения^[372].

В деле внедрения ланкастерской системы Греч оказался ближайшим сподвижником Голицына. В 1818 году он был назначен директором ланкастерской школы в Гвардейском корпусе. В январе 1819-го под его руководством возникло Общество для заведения училищ по методу взаимного обучения, в состав которого на разных этапах входили деятели тайных антиправительственных организаций. Общество это, долженствовавшее обозначать инициативу «снизу», на самом деле считалось структурным подразделением Министерства духовных дел и народного просвещения^[373].

Когда разыгралась «семеновская история», император решил, что именно Греч с помощью новой системы «распропагандировал» солдат в школе, внушил им неповиновение начальству — несмотря на то, что семеновские солдаты в этой школе не обучались. «Наблюдайте бдительно

за Гречем и за всеми бывшими в его школе солдатами... — предписывал Александр I. — Признаюсь, я смотрю на них с большим недоверием». Император требовал обратить «особенное внимание на счет тех людей, кои обучались в общей школе, бывшей в казармах Павловского полка, как со стороны нравственности и поведения их, так и дисциплины и военного повиновения». «Не сохранили ли [ученики школы] каких сношений с г. Гречем?» — вопрошал он^{374}.

Сейчас уже невозможно установить, кто первым подал императору мысль о виновности в «семеновской истории» Греча и ланкастерских школ. Объективно она была выгодна и Волконскому, потому что снимала обвинения в «подстрекательстве» солдат с его ведомства, и Аракчееву, поскольку позволяла ослабить влияние Голицына при дворе. В любом случае императорский гнев означал конец педагогической карьеры Греча.

В обществе стали распространяться слухи, что Греча то ли высекли, то ли собираются высечь в полиции. Слухи эти воспроизведены, в частности, в мемуарах Николая Лорера; правда, автор считал, что вина Греча заключалась в написании сатиры «К временщику» и высечь его собирались по приказу Аракчеева. «Вообразите себе, — писал Лорер, — как перепугался этот писатель, когда его схватили и мчали на Литейную, где жил страшный человек. Но Греч дорогой утешал еще себя тем, что, может быть, Алексей Андреевич, очарованный его слогом, поручит ему написать что-нибудь о Грузине или о военных поселениях. Но представьте себе его положение, когда, представ пред очи Аракчеева, он услышал гнусливый вопрос:

— Ты надворный советник Греч?
— Я, ваше сиятельство.
— Знаешь ли ты наши русские законы?
— Знаю, в[аше] с[иятельство].
— У нас один закон для таких вольнодумцев, как ты: кнут, батюшка, кнут!..»^{375}

А в середине 1820-х годов в одной из шуточных песен Рылеев и Александр Бестужев описывали сказочные «...острова, / Где растет трын-трава» и

...Где не думает Греч,
Что его будут сечь
Больно...^{376}

Слухи о телесном наказании незадачливого педагога были, конечно, вымышленными. Но после императорских инвектив за Гречем была установлена полицейская слежка: за ним следили «в клубах, ресторанах, где он бывал, на улицах, поджидали его на папертях церквей, перед театрами». Правительственные шпионы следовали буквально по пятам «за семьей его, прислугой, служащими его типографии, конторы и редакции журнала “Сын отечества”». Составляли даже списки о «выбывших и прибывших» в дом, где жил Греч^{377}.

Интересно отметить, однако, что среди кипы перлюстрированных писем конца 1820-го — начала 1821 года, хранящихся в фонде Рукописного отдела Российской национальной библиотеки, писем Греча обнаружить не удалось^{378}. Почтовая служба входила в состав Министерства духовных дел и народного просвещения, и министр лично отвечал за перлюстрацию писем. Голицын не мог допустить ареста Греча — это означало бы торжество его врагов при дворе, признание князем собственной вины в распространении ставшей в одночасье «вредной» ланкастерской системы.

Голицын вынужден был защищать Греча. Очевидно, сатира «К временщику» как раз и была частью «защитительной» кампании, призывавшей отыскивать «причины зла» в другом месте.

Вероятно, Греч понимал, кому обязан спасением. С 1821 года произведения Рыльева станут постоянно появляться на страницах «Сына отечества»; альманах «Полярная звезда», который Рылеев начнет редактировать с 1823 года, будет пользоваться неизменной информационной поддержкой журнала Греча. Двух литераторов свяжет тесная личная дружба.

*

Можно строить разного рода догадки, почему выбор Голицына пал именно на Рыльева. Очевидно, министру необходим был человек неизвестный, не вполне включенный в литературный процесс — для того чтобы подстроенность всей этой истории не сразу бросалась в глаза. Выпад против Аракчеева в этом случае можно было представить как «глас народа».

История с публикацией сатиры имела и вполне конкретные последствия. Очевидно, ближайшим из них было появление у современников мысли, что в «семеновской истории» виноват именно

Аракчеев, который, зная Шварца как жестокого офицера, специально рекомендовал его на должность командира Семеновского полка. Впоследствии мысль эта закрепились и в мемуарах, и в историографии. Именно Аракчеев и великий князь Михаил Павлович добились замены прежнего командира полка Потемкина на Шварца, утверждал в мемуарах бывший семеновский офицер Матвей Муравьев-Апостол. О Шварце как «креатуре» Аракчеева писала М. В. Нечкина. А В. А. Лапин, автор вышедшей не так давно монографии, специально посвященной неповиновению семеновцев, даже отвел несколько страниц изложению биографии Аракчеева^[379].

Между тем никакого отношения к получению Шварцем должности командира семеновцев Аракчеев не имел и, по-видимому, даже не знал его лично. Согласно документам, назначение полковника состоялось по рекомендации гвардейского генерала Петра Желтухина^[380]. Но и в этой рекомендации ничего необычного не было: 1819 и 1820 годы вошли в историю гвардии как время постоянной смены полковых командиров. Аракчеев же никоим образом не поддерживал и не оправдывал Шварца.

Но после «семеновской истории» и сатиры «К временщику» имя Аракчеева становится едва ли не нарицательным, обозначающим государственного злодея, консерватора и противника любого инакомыслия. На «временщика» сочиняются многочисленные эпиграммы, которые распространяются в списках и даже пересылаются по почте. Ни писать, ни читать эти эпиграммы уже не было страшно — произведение Рылеева публиковалось в открытой печати.

Семеновский полк был раскассирован: и солдат, и офицеров перевели в армейские полки, квартировавшие в провинции, без права отпуска и отставки. Некоторые особо активные солдаты были переведены на Кавказ. Шварц, приговоренный военным судом к смертной казни, был в итоге отправлен в отставку.

В отставку с должности директора полковых школ был вынужден уйти и Греч — власти не могли не выполнить прямого царского указания. Однако наказание это можно считать весьма условным: он остался в литературе и журналистике, вскоре с него был снят и тайный полицейский надзор.

По-видимому, именно в связи с публикацией в «Невском зрителе» вынужден был тихо покинуть пост цензор Тимковский, но цензурная политика правительства от этого не стала мягче. Пушкин констатировал:

Явился Бируков, за ним вослед Красовский;

Ну право, их умней покойный был Тимковский!^{381}

Положение же самого Голицына укрепилось: под его непосредственный контроль были отданы полковые училища, раньше подчинявшиеся Волконскому^{382}. Его влияние стало практически безграничным.

Рылеев же, исполненный мечтаний о славе, в том числе литературной, после публикации сатиры в одночасье стал известным поэтом. Вскоре он вступил в Вольное общество любителей российской словесности, состоявшее, как и Общество учреждения училищ, в ведении Министерства духовных дел и народного просвещения. С 1823 года он начал совместно с Александром Бестужевым редактировать, а потом и издавать «Полярную звезду», быстро заслужившую славу лучшего российского альманаха. У Рылеева появилось многое из того, о чем он мечтал: деньги, литературная известность, широкое общественное поприще. Сатира «К временщику» стала определяющей для дальнейшего творчества поэта: после 1820 года гражданские темы в его поэзии стали главными.

«Тверда, как медь, Россиян грудь»

В октябрьском номере «Невского зрителя» за 1820 год, непосредственно вслед за сатирой «К временщику», было опубликовано еще одно большое стихотворение:

Сыны России! чада славы!
Которым равных в мире нет!
О, род героев величавый!
Красуйся средь своих побед,

Хор:

А ты, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
Бессмертья славой дух питая,
Пойдем во сретенье врагам;
Любовь к отечеству святая
К бессмертью путь укажет нам.

Хор:

Вели, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
По трупам и костям противных
Проложим к славе новый путь;
Кто смеет стать противу сильных?
Тверда, как медь, Россиян грудь.

Хор:

Вели, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
Для нас и Альпы не высоки,
В ущельях тесных путь широк,
Стремнины Рейна не глубоки,
Предел вселенной не далек.

Хор:

Вели, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят
На море, сушу громы кинем,
Попрем ногою самый ад;
Десною мы Париж низринем,
А шуйцей потрясем Царьград.

Хор:

Вели, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.
Цвети, Российская Держава!
Под сению твоих побед;
Твоя тогда умолкнет слава,
Когда померкнет солнца свет!

Хор:

Вели, премудрый Царь — кем Россы
Дела великие творят,
Вели — полнощные колоссы
Вселенну в прах преобратят.

Стихотворение называлось «Польской», под ним значилось имя автора — Петр Ракитин. К названию имелось примечание: «Написанный еще в начале 1814 года и доставленный издателем от друга автора К. Ф. Р<ылее>ва»^{[1383](#)},

Видимо, «Польской» действительно был написан в 1814 году: форма и пафос восходят к опубликованной тогда в журнале «Сын отечества» подборке стихов, посвященной победе над французами. Стихотворение Ракитина непосредственно связано, во-первых, с «Польским» Вяземского:

Упал на дерзкие главы
Гром мести сильной и правдивой.
Знамена, мстители Москвы,
Шумят над Сейной горделивой.
Восстань, о древний град Царей!

И отряси с чела туманы;
Да славою твоих детей
Твои целятся ныне раны!
Хор:
Мы празднуем твою здесь месть!
Москва! хвала Тебе и честь!
Твои развалины свящενны:
Оне гробницей бед вселенны...

Второе стихотворение, на которое ориентируется Ракитин, — опубликованный рядом с «Польским» Вяземского «Хор» Василия Пушкина:

Хвала Тебе, о Царь-Отец!
Десницей сильной Ты Своею
Свершил всем подвигам конец,
Конец всемирному злодею!
Красуйся, пышная Москва!
Се Александр тебя спасает!
Парижа гордая глава
Пред Ним смиренно упадает.
В восторге все сердца текут
К Тебе, Монарх, Податель мира!
Спаситель света! вопиют;
Цвети, цвети Твоя порфира!
Цвети, Москва! средь стен твоих,
Коварством, злобой сокрушенных,
России славу видим в них,
И дней начало вожделенных!
Хвала Тебе, о Царь-Отец!
Десницей сильной Ты Своею
Свершил всем подвигам конец,
Конец всемирному злодею![\[384\]](#)

Александр Тургенев писал Вяземскому: «...восхищался и восхищал других прекрасным твоим “Польским”», — а также отмечал: «Я надеюсь, что, восхищенный подвигами рыцаря-победителя и одобренный успехами в

сем новом роде, оставишь старые грехи свои. Ни в Париже, откуда я получаю от брата Николая все оды и брошюры, там выходящие, ни здесь, ни даже у вас в Москве не было еще написано на сей случай ничего приличнее твоих стрóf»^{385}.

Желание воспеть «рыцаря-победителя» «в новом роде» стихотворения (предполагавшем наличие «хора», инструментальной аранжировки и возможность исполнять под нее танец наподобие полонеза), очевидно, обусловило и создание второго «Польского» Ракитиным. Разница между стихотворениями в том, что Вяземский и Пушкин видят победителем Наполеона только царя, Ракитин же — и верно служащих государю русских солдат. В целом все три стихотворения проникнуты вполне закономерной радостью по поводу победы над врагом и возвращения мира в Россию и Европу.

Однако в 1820 году, в момент опубликования, «Польской» Ракитина приобрел иной смысл. Из его текста следует, что русские солдаты, «полнощные колоссы», готовы по приказу императора и «низринуть» Париж, и «потрясти» Царьград. Получилось, что сатира Рылеева и стихотворение Ракитина составляют единое целое: верным императору солдатам противопоставлен «монарха хитрый льстец и друг неблагодарный». В свете «семеновской истории» это означало, что солдаты ни в чем не виноваты и по-прежнему покорны царю, а лживому временщику не удастся скрыть «причины зла» «от взора общего», его дела всё равно «изобличат» его. Прагматика акции Рылеева—Ракитина — показать, что лишь злая воля Аракчеева обусловила стеснения, претерпеваемые народом и солдатами, он — единственный виновник «семеновской истории».

«Польской» уже давно попал в поле зрения историков литературы. Первым на это стихотворение обратил внимание П. А. Ефремов во время подготовки вместе с дочерью поэта Анастасией Пущиной издания «Сочинений и писем К. Ф. Рылеева» (вышло в 1872 году). Изданию этому предшествовали публикации стихотворных текстов Рылеева в журнале «Русская старина». Републикуя сатиру «К временщику», Ефремов снабдил ее комментарием: «Достаточно замечания, что вслед за сатирою помещен (стр. 29—31), очевидно, в цензурных целях, “Польской”, стихотворение слабое, но звонкое...» Таким образом, Ефремов указал на связь двух текстов. Библиограф отметил также примечание о «друге автора», процитировал несколько строк «Польского» — и на этом остановился^{386}.

Дореволюционные исследователи вслед за Ефремовым упоминали о

«Польском». В. И. Маслов просто называл имя Ракитина и его стихотворение, а Н. А. Котляревский комментировал это произведение в том смысле, что Рылеев, рекомендовавший его к печати, был «большим патриотом и оставался всегда равнодушным к славе русского оружия»^[387]. Советские же ученые о «Польском» прочно забыли.

*

Между тем стихотворения за подписью *Петр Ракитин*, *П. Ракитин*, *Р-нъ*, *П. Р-нъ* постоянно появлялись на страницах «Невского зрителя», пока там публиковался Рылеев. Характерно, что стихотворения Рылеева и Ракитина печатались попеременно. Но когда Рылеев прекратил сотрудничество с этим журналом, Ракитин тоже перестал там печататься; более того — он вообще нигде больше не печатался, исчез из литературы навсегда. Круг друзей и знакомых Рылеева достаточно тщательно изучен — Ракитина среди них нет.

В «Словаре псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей» И. Ф. Масанова прямо указывается, что Ракитин — псевдоним Рылеева^[388]. Впрочем, этот вывод никак не мотивирован и, можно сказать, не признан в науке: стихотворения Ракитина не вошли ни в одно из собраний стихотворений Рылеева.

Между тем при сопоставлении произведений Ракитина с опубликованными в тех же номерах «Невского зрителя» стихотворениями Рылеева выясняется, что единое целое составляют не только сатира «К временщику» и «Польской». Несколько других больших стихотворений Рылеева и Ракитина, опубликованных рядом, на соседних страницах, тоже вполне корреспондируются друг с другом.

Интересно в этом аспекте «соседство» стихотворений «Романс» и «К другу», опубликованных в одиннадцатом номере «Невского зрителя» за 1820 год соответственно на страницах 139-140 и 141-142.

К ДРУГУ

Не нам, мой друг, с тобой чуждаться
Утех и радостей земных,
Красою милых не прельщаться

И сердцем дорожить для них.
Пусть мудрецы все за химеру
Считают блага жизни сей, —
Не нам их следовать примеру
В цветущей юности своей.
Теперь еще в нас свежи силы
И сердце бьется для любви;
Придут дни старости унылы —
Угаснет прежний огонь в крови,
К утехам чувства онемеют,
Кровь медленней польется в нас,
Все нервы наши ослабеют...
И всё напомним смерти час!
Тогда, тогда уже не время
О милых будет вспоминать
И сей угрюмой жизни бремя
В объятьях *нежных облегчать*...
Итак, доколе не промчалась
Быстротекущих дней весна,
Доколь еще не показалась
На наших кудрях седина,
Доколь любовью полны очи
Прелестниц юных нас манят
И под покровом мрачной ночи
Восторг и радости сулят —
Мой друг, в свой домик безопасный
Когда сну предан Петроград,
Спеши с Доридою прекрасной
На лоно пламенных отрад.

К. Р<ылее>в

РОМАНС

(Подражание Quand tu m 'aimois je cherissois la vie^{[\[10\]](#)})

Меня любила ты — я жизнью наслаждался,
Мой жребий был тогда завиден Небесам,
Обителью блаженств мне здешний мир казался,
Я в счастии тогда подобен был богам.
Меня забыла ты — и я в ужасной доле
Отныне осужден в печалях жизнь влачить,
Покорствовать судеб неумолимых воле
И с скорбью в душе всечасно слезы лить!
Меня любила ты — я в сладком упоеньи
Превыше мнил себя и смертных, и богов.
День каждый провождал в восторгах, наслажденьи...
Верх счастья моего была твоя любовь.
Меня забыла ты — оставленный тобою,
Я должен лютый час рожденья проклинять,
Блаженство на земли считать одной мечтою
И радостей себе за гробом ожидать!

П. Ракитин

В данном случае Ракитин предается традиционному романтическому унынию в связи с разрывом с возлюбленной. Рылеев же, напротив, проповедует «утехи и радости земные». Расположенные по соседству стихотворения дополняют друг друга. Стоит отметить, что Ракитин здесь подражает не французскому образцу, но опубликованному в журнале «Благонамеренный» стихотворению О. М. Сомова:

Любить тебя — вот жизни утешенье!
Иного я не смею и желать...
Люблю тебя! — в восторге, в исступленье,
Как сладко мне всечасно повторять!.. [\[389\]](#)

Прием соседства двух стихотворений как указания на то, что они дополняют друг друга, применялся не раз. Так, в первом номере «Невского зрителя» за 1821 год опубликованы «Заблуждение» — на 37-й странице за подписью «К. Рылеев» и «Романс» на следующей странице за подписью «П. Ракитин». Тема общая, но в рылеевском стихотворении лирическое повествование ведется от лица мужчины, а в «ракитинском» лирический

герой — женщина.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Завеса наконец с очей моих упала,
И я коварную Дориду разгадал!
Ах! если б прежде я изменницу узнал,
Тогда бы менее душа моя страдала,
Тогда б я слез не проливал!
Но мог ли я иметь сомненье!
Ее пленительный и непорочный вид,
Стыдливости с любовью боренье,
И взгляды нежные, и жар ее ланит,
И страстный поцелуй, и персей трепетанье,
И пламень молодой крови,
И робкое в часы отрад признание —
Всё, всё казалось в ней свидетельством любви
И нежной страсти пылким чувством!
Но было всё коварств плодом,
И записных гетер искусством,
Корысти низкия трудом!
А я, безумец, в ослепленье,
Дориду хитрую в душе боготворил,
И, страсти пламенной в отрадном упоенье,
Богов лишь равными себе в блаженстве мнил!..

К. Рылеев

РОМАНС

(Las! Plus de jour, plus de nuit sans souffrance^[11])
Увы! И день и ночь веду я в огорченьи!
Пустыней для меня соделался весь свет;
Я потеряла всё... со мной одне мученья...
Я потеряла всё — со мною друга нет!
Весна не веселит и роща не пленяет,

Увял зеленый луг, поблек и розы цвет;
Тоска снедает грудь и слезы исторгает:
Я потеряла всё — со мною друга нет!
Но скоро, скоро я паду от огорченья...
Несчастные сердца! Свершите мой завет,
Свершите вы его, хотя из сожаленья:
Я потеряла всё — со мною друга нет!
Прошу вас над моей могилою простою,
Как скоро вечной сон глаза мои сомкнет,
Несчастную почтить надгробною такою:
«Зачем ей было жить, когда с ней друга нет!»

П. Ракитин

Тот же прием использован и в следующем номере «Невского зрителя». На страницах 147—148 помещено стихотворение «Жестокой», а на страницах 151 — 152 — стихотворение «Вино и Любовь».

ЖЕСТОКОЙ

Смотри, о Делия, как вянет сей цветочек,
С какой свирепостью со стебелька
Вслед за листочком рвет листочек
Суровой осени рука!
Ах! скоро, скоро он красы своей лишится,
Не станет более благоухать;
Последний скоро лист свалится,
Зефир не будет с ним играть.
Угрюмый Аквилон нагонит тучи мрачны,
В уныние природу приведет,
Оденет снегом доли злачны, —
Твой взор и стебля не найдет...
Так точно, Делия, дни жизни скоротечной
Умчит Сатурн завистливый и злой
И блага юности беспечной
Ссечет губительной косой...
Всё изменяется под дланью Крона хладной;

Остынет младости кипящей кровь;
Но скука жизни безотрадной
Под старость к злу родит любовь!
Тогда, жестокая, познаешь, как ужасно
Любовью тщетною в душе пылать
И на очах не пламень страстный,
Но хлад презрения встречать.

К. Рылеев

ВИНО И ЛЮБОВЬ

Вино волнует кровь
И сердце веселит,
Жестокая ж любовь
Нам душу тяготит.
Пускай дадут из них
На выбор мне одно:
Я до красоток лих,
А выберу вино.
При старости седой
Подпора мне нужна:
Я Селадон плохой,
Не выпивши вина.
Любовь век золотой
Нам только что сулит;
А кубок налитой
Тотчас восторг родит.
Но так как нам нельзя
По воле выбирать,
То станем мы, друзья,
Любить и попивать.

П. Ракитин

На этот раз поэты меняются местами: лирический герой

стихотворения Рылеева убеждает возлюбленную ответить на его чувства, тогда как лирический герой стихотворения Ракитина настаивает, что такие переживания воспринимать всерьез не следует, и проповедует «вино и любовь». Вполне очевидно, что стихотворения опять и контрастируют, и дополняют друг друга, благодаря чему создается эффект своего рода поэтического диалога.

Конечно, темы стихотворений вполне традиционны для лирики начала XIX века. Однако перед нами любопытный поэтический эксперимент: диалог двух поэтов, то спорящих, то дополняющих друг друга.

*

Предположение, что произведения, подписанные Ракитиным, принадлежат перу Рылеева, подтверждается архивными материалами. В фонде Рылеева рукописного отдела Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) хранится автограф одного из таких стихотворений — «Романс» («Меня любила ты...») — с некоторыми отступлениями от опубликованного в «Невском зрителе» текста^[390].

На обороте листа с этим стихотворением — черновик письма Рылеева: «Письмо от матушки от 17 декабря прошлого года с почтеннейшим приписанием в оном рукою Вашего превосходительства и с препровождением 800 р. ассиг<нация>ми> я имел честь получить февраля 20 дня в г. Воронеже, куда оное письмо было обращено из г. Павловска по причине моего здесь пребывания.

За оказанное Вашим превосходительством матери и мне чувствительнейшего благодеяния (так в оригинале! — А. Г., О. К.) я не нахожу слов благодарить Вас; оно останется навсегда в памяти моей»^[391].

Впервые опубликовавший это письмо С. А. Фомичев определил его адресата — им являлся Петр Малютин, а также время написания — февраль—март 1819 года^[392]. Если учесть, что стихотворение Сомова напечатано журналом «Благонамеренный» именно в марте, то и написанный в подражание ему «Романс», очевидно, также следует датировать мартом 1819 года, как и рылеевское письмо Малютину.

Примечательно, что автограф этот был знаком и П. А. Ефремову: на нем сохранились его карандашные пометы. Из них следует, в частности, что издатель обратил внимание на «перекличку» опубликованных в «Невском зрителе» стихотворений Рылеева и Ракитина. Более того, в

декабре 1870 года, готовя публикацию стихов Рылеева, Ефремов переслал автограф редактору журнала «Русская старина» М. И. Семевскому с предложением «списать» «Романс» «с прилагаемого оригинала» и опубликовать как стихотворение Рылеева^{393}.

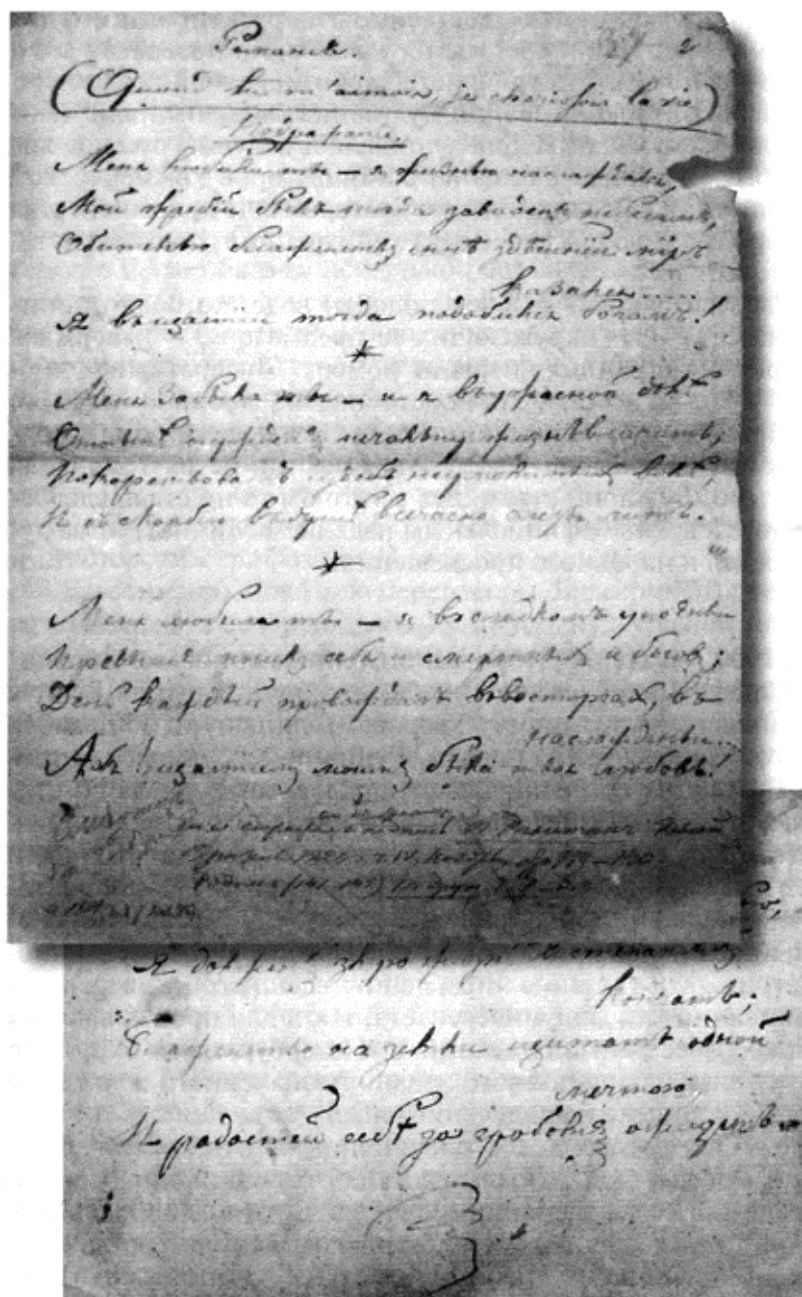
Что ответил Семевский, неизвестно. Однако ни «Романс», ни другие стихотворения Ракитина так и не были опубликованы в «Русской старине». Не вошли они ни в издание «Сочинений и писем К. Ф. Рылеева», ни в последующие собрания его сочинений.

О причинах, по которым ни Ефремов, ни Семевский, ни позднейшие публикаторы и исследователи творчества Рылеева так и не решились публично отождествить его и Ракитина, можно только догадываться. Возможно, Семевский убедил Ефремова, что лирические «ракитинские» стихотворения ничего не добавят к репутации «поэта-декабриста», а «Польской», воспринимаемый вне контекста, может даже повредить ей. Акцентированный монархизм, «ура-патриотизм» стихотворения никак не соотносился с образом поэта, отдавшего жизнь борьбе против самодержавия.

Всего же в журнале «Невский зритель» опубликовано девять стихотворных текстов Рылеева под псевдонимами «*Петр Ракитин*», «*П. Ракитин*», «*П. Р<акити>н*», «*Р<акити>н*», не вошедших в собрания его сочинений.

«Корона тебе назначена творцом»

Одним из самых заметных событий в истории отечественной журналистики 1820-х годов стал выход в свет в 1822-м первого журнала Фаддея Булгарина «Северный архив, журнал истории, статистики и путешествий» и бесплатного приложения к нему «Литературные листки» (с июля 1823-го). Сегодня никто из исследователей не берется отрицать тот факт, что издания Булгарина существенно повлияли на развитие отечественной журналистики. По мнению Н. Н. Акимовой, история «Северного архива» «свидетельствует о незаурядных способностях создателя журнала, его довольно широкой образованности, предприимчивости, умении выстраивать отношения с читательской аудиторией». Благодаря же «Литературным листкам», полагает исследовательница, «к Булгарину пришла настоящая популярность, существенно откорректировав его литературную репутацию: из ученого архивиста превратив его в остроумного смелого журналиста, любимца публики»^{394}.



Автограф стихотворения «Романс», опубликованного в мартовском номере журнала «Невский зритель» за 1821 год под псевдонимом П. Ракитин

У периодических изданий Булгарина были читатели и почитатели, к его мнению прислушивались ведущие русские литераторы, он явился одним из организаторов коммерческой журналистики в России. Однако

Булгарин еще при жизни стал своего рода символом нечестной конкуренции, подхалимства, предательства.

«Рассудительный человек подобен воде, которая принимает на себя цвет окружающих ее предметов», — утверждал Булгарин на страницах первого номера «Литературных листков»^[395]. По-видимому, эта «восточная пословица» была его своеобразным журналистским кредо. Его издания были полностью ангажированы властью в лице министра Голицына. Более того, Булгарин стремился во что бы то ни стало сделать «Северный архив» официальным изданием Министерства духовных дел и народного просвещения.

*

В 1900 году Н.Ф. Дубровин опубликовал письмо попечителя Санкт-Петербургского учебного округа Дмитрия Рунича (сменившего на этом посту Уварова) Голицыну от 15 декабря 1822-го. Как следует из письма, Рунич присоединялся к просьбе Булгарина об официальной поддержке журнала со стороны Министерства духовных дел и народного просвещения. Попечитель рекомендовал своему шефу: «...не благоугодно ли будет Вашему сиятельству предложить и прочим г.г. попечителям обратить внимание на сей журнал». Он считал, что «Северный архив» вполне достоин поддержки, а потому министру стоит дать указание «правлению здешнего университета о выписании как для университета, так и для прочих высших учебных заведений и гимназий С.-Петербургского округа по одному экземпляру полного издания означенного журнала и впредь о подписке на получение оногo».

Голицын согласился с подчиненным, и во все учебные округа России был разослан соответствующий циркуляр. В феврале 1823 года Булгарин заявлял в частном письме: «Мой “Архив” будет официальным журналом Министерства просвещения». Он не лгал: с января того же года в недрах голицынского министерства рассматривался проект превращения «Северного архива» в официальное издание. Журнал Булгарина должен был поглотить уже существовавший министерский орган — «Журнал департамента народного просвещения». В феврале официальное согласие на это дал сам Голицын^[396].

Булгарин планировал выпустить первый номер обновленного «Архива» 1 марта 1823 года и хотел даже добиться остановки печатания

очередного номера прежнего министерского издания. Однако изменение статуса журнала потребовало многочисленных согласований. С одной стороны, Булгарин требовал, чтобы «все хозяйственные рассмотрения, т. е. получение дохода и распределение расходов», остались в полном его распоряжении. С другой стороны, согласно проекту, министерство было обязано не только рассылать журнал по подведомственным ему заведениям, но еще и оказывать содействие в его распространении «по военным, по разным присутственным местам, посредством г.г. министров, губернаторов и дворянских предводителей», а также оплачивать «пересылку» журнала подписчикам. Булгарин желал также, чтобы ему доставлялись выписанные за казенный счет иностранные журналы. Расчеты, без которых министерские функционеры не могли дать окончательного согласия на выпуск «Архива» под министерским грифом, отняли много времени.

Естественно, пока шли переговоры, Булгарин был не просто лояльным, а суперлояльным к Голицыну журналистом. Направление и «Северного архива», и «Литературных листков» строго соответствовало интересам князя и возглавлявшегося им министерства. Большинство опубликованных в «Северном архиве» материалов носило научный и научно-популярный характер. Недаром сам Голицын отмечал, что журнал «может быть весьма полезным по части преподавания географии, статистики и отечественной истории и служить как для преподающих верным и хорошим руководством в отношении к новейшим сведениям и открытиям, так и для учащихся любопытным и наставительным чтением»^{397}.

«Северный архив» резко критиковал исторические труды Карамзина — оппонента Голицына при дворе. В письмах Булгарин утверждал, что эта критика полностью согласуется с мнением Министерства просвещения и ее желают «все значительные лица в государстве». Издателю «Северного архива» вторят исследователи: «В качестве основных адресатов предпринятой Булгариным публикации критики Карамзина мы рассматриваем высших лиц Министерства народного просвещения: в этом случае речь шла о своеобразном “заказе”»^{398}.

Однако «Северный архив» не был ни литературным, ни общественно-политическим журналом, и его возможности по части пропаганды идей Голицына были минимальными. Очевидно, эту проблему Булгарин намеревался решить изданием «Литературных листков», созданных, как представляется, для прямой поддержки министра; по крайней мере, большая часть опубликованных там материалов преследовала именно эту

цель. Журнал этот был призван ускорить признание «Северного архива» официальным министерским изданием.

Мистическим настроениям министра и самого императора вполне отвечали, например, публиковавшиеся в «Листках» религиозные стихотворения Федора Глинки^{399}.

Российское библейское общество, как уже говорилось выше, было тесно связано с соответствующим британским обществом; в 1820-х годах в России были весьма популярны английские квакеры. В печатавшийся с продолжением собственный очерк «Письма о Петербурге» Булгарин как бы невзначай вставляет фразу о некоем англичанине, случайном попутчике в прогулке по городу, который внушил ему «мысль издавать сии листки». В другой статье — «Прогулка по тротуару Невского проспекта» — так же невзначай воспевается присущая Голицыну конфессиональная толерантность: «Знаете ли вы, как иностранцы называют Невский проспект? Улица *Veroterpimosti (Toleranz-Strasse)*. И в самом деле, я не знаю ни одного города в Европе, в котором бы на одной улице находилось столько церквей различных вероисповеданий». Не оставлял сомнений в политической ориентации автора и опубликованный уже в первом номере «Листков» «восточный анекдот» с характерным названием «Дай бог такого министра!». При этом среди героев «анекдота» «министра» нет, а действуют лишь «султан» и «визирь»^{400}.

*

В третьем, августовском, номере «Литературных листков» было опубликовано очередное произведение Рылеева — ода «Видение», написанная, как следовало из названия, «на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года». Цензурное разрешение на издание «Литературных листков» было дано 29 августа; следовательно, читатели получили возможность ознакомиться с одой в самый день именин пятилетнего великого князя. По словам Рылеева, он не ограничился публикацией произведения и «решился пустить» его «в публику» в списках^{401}.

Сюжет оды хорошо известен: лирический герой узрел «над пробужденным Петроградом» тень Екатерины II, наблюдающую за детскими играми правнука, «златокудрого отрока» великого князя Александра Николаевича. «Минерве светлоокой» импонирует желание

мальчика прославиться на военном поприще, однако она считает, что время
бранных подвигов прошло:

...Твой век иная ждет судьбина,
Иные ждут тебя дела.
Затмится свод небес лазурных
Непроницаемою мглой.
Настанет век борений бурных
Неправды с правдою святой...

«Минерва» советует правнуку:

Быть может, отрок мой, корона
Тебе назначена творцом;
Люби народ, чти власть закона;
Учись заране быть царем.
Твой долг благотворить народу,
Его любви в делах искать;
Не блеск пустой и не породу,
А дарованья возвышать.
Дай просвещенные уставы,
Свободу в мыслях и словах,
Науками очисти нравы
И веру утверди в сердцах.
Люби глас истины свободной,
Для пользы собственной любви,
И рабства дух неблагородной —
Неправосудье истреби.
Будь блага подданных ревнитель:
Оно есть первый долг царей;
Будь просвещенья покровитель:
Оно надежный друг властей.
Старайся дух постигнуть века,
Узнать потребность русских стран;
Будь человек для человека,
Будь гражданин для сограждан;
Будь Антонином на престоле,
В чертогах мудрость водвори —

И ты себя прославишь боле,
Чем все герои и цари^{402}.

Первые комментаторы стихотворения отмечали его «пророческий» характер, «нетерпеливый либерализм», которым оно проникнуто, связь с просветительскими идеями и одической традицией XVIII века. Ю. Г. Оксман обратил внимание на близость этой оды со стихотворным посланием Василия Жуковского «Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в[еликого] кн[язя] Александра Николаевича» (1818)^{403}. Жуковский приветствовал новорожденного в следующих выражениях:

Он полетит в путь опыта и славы...
Да встретит он обильный честью век!
Да славного участник славный будет!
Да на чреде высокой не забудет
Святейшего из званий: человек.
Жить для веков в величии народном,
Для блага всех — свое позабывать,
Лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать:
Вот правила царей великих внуку...^{404}

Однако здесь следует заметить, что от пожелания великому князю не забывать о «святейшем» звании человека до напутственных советов будущему императору весьма далеко.

По традиции, идущей от того же Оксмана, в рылеевской оде советские исследователи усматривали «иллюзии, характерные для всего правого крыла дворянской оппозиционной общественности начала 20-х годов»: «В эту пору Рылеев еще не отказался от надежд на просвещенного монарха, полностью реализующего под давлением идеологов Северного общества ту программу социально-политических реформ, которая отвечала классовым интересам умеренно-либеральных слоев поместного дворянства и городской буржуазии. Не случайно связывается “Видение” с именем пятилетнего царевича Александра, возможность возведения которого на престол очень занимала членов декабристских тайных организаций и совершенно конкретно обсуждалась даже в дни междуцарствия»^{405}.

Подобные утверждения содержатся едва ли не во всех комментариях к этому произведению^[406].

Собственно, исследователи были правы — ода оказалась пророческой: в 1855 году Александр Николаевич стал императором Александром II; автору оды действительно были близки идеалы просвещенной монархии, а в тайных обществах на самом деле активно обсуждалась возможность возведения на престол юного великого князя при избрании регента^[407].

Однако вопросов, возникающих в связи с этой одой, гораздо больше, чем ответов. Один из таких вопросов сформулировал еще в 1855 году знаменитый либеральный публицист и эмигрант Александр Герцен, обратившись к Александру II с открытым письмом: «Почему именно Ваша колыбель внушила ему (Рылееву. — А. Г., О. К.) стих кроткий и мирный? Какой пророческий голос сказал ему, что на Вашу детскую голову падет со временем корона?»^[408] Ничего подобного, действительно, не встретишь ни в процитированном выше послании Жуковского, ни в других стихотворениях конца 1810-х — начала 1820-х годов. Никто из российских литераторов не отважился печатно обсуждать, кому из августейшей семьи «корона» «назначена творцом».

У Александра I, как известно, было трое братьев; старший из них, цесаревич Константин Павлович, считался официальным наследником. У великих князей Николая и Михаила шансы занять престол были невелики, и еще меньше — с точки зрения подданных русской короны — у «златокудрого отрока», сына Николая Павловича.

С другой стороны, малолетний царевич в глазах участников тайных обществ был не единственным кандидатом в цари. Еще с начала 1820-х годов заговорщики обсуждали планы передачи власти императрице Елизавете Алексеевне, жене Александра I. Среди активных участников восстания на Сенатской площади было много вполне искренних сторонников цесаревича Константина Павловича. Накануне восстания выражалось и желание «видеть на престоле» великого князя Михаила Павловича^[409].

Кроме того, инициатива обсуждения шансов на престол разных членов правящей династии никогда не исходила от Рылеева — по крайней мере, свидетельств об этом нет. Готовя восстание, он предполагал «арестовать и вывести за границу» всю императорскую фамилию^[410]. Оснований считать, что в оде «Видение» отразились политические планы Рылеева-заговорщика, обнаружить не удалось.

Вопрос о «пророческом даре» Рылеева в данном случае вряд ли целесообразно обсуждать. Можно предположить другое: создавая оду, поэт ориентировался на современную ему политическую реальность.

Летом 1823 года в жизни царской семьи произошли важные события. 16 августа в Царском Селе Александр I подписал манифест, согласно которому престол наследовал не старший брат Константин, а следующий — Николай: «Во-первых, свободному отречению первого Брата Нашего Цесаревича и Великого князя Константина Павловича от права на Всероссийский Престол быть твердым и неизменным... во-вторых, вследствие того на точном основании акта о наследовании Престола Наследником Нашим быть второму брату Нашему Великому Князю Николаю Павловичу»^[411]. Таким образом, завершился многолетний процесс переговоров между Александром и Константином о возможности развода последнего с законной женой, урожденной принцессой Саксен-Кобургской, женитьбе на женщине, не принадлежавшей к европейскому царствующему дому, и, в связи с этим, потере цесаревичем права на корону. В соответствии с императорским манифестом великий князь Александр Николаевич действительно получал шанс стать царем — после отца.

Как известно, о манифесте знали трое из приближенных Александра I: архиепископ Московский и Коломенский Филарет (собственно, его автор), министр Голицын (сделавший с документов копии) и Аракчеев. Спорным до сих пор остается вопрос о том, было ли известно содержание манифеста цесаревичу Константину и великому князю Николаю. В Петербурге манифест и официальное письмо Константина об отречении от престола, запечатанные личной печатью императора, тайно хранились в Государственном совете, Сенате и Синоде, в Москве — в Успенском соборе Кремля. Согласно распоряжению императора в случае его смерти пакеты с документами следовало вскрыть «прежде всякого другого действия». Однако до смерти императора всем посвященным в тайну престолонаследия предписывалось строжайше хранить ее. Согласно воспоминаниям Филарета, «государю императору» была неужодна «ни малейшая гласность»^[412].

Мнения исследователей о том, почему Александру I «гласность» была «неужодна», разошлись. Некоторые считали, что император просто был склонен «играть в прятки» с подданными. Другие усматривали в этом «вполне обдуманное действие» и, в частности, желание монарха «еще раз

вернуться к вопросу о престолонаследии». Согласно С. В. Мироненко, «Александр I исключал возможность оглашения манифеста», поскольку это обнародование означало бы для царя признание «самому себе, что с мечтами о конституции покончено навсегда»^{413}.

Бесспорно одно: вопрос о престолонаследии обсуждался в обществе. В отличие от великого князя Николая, у Александра I и цесаревича Константина не было детей, имевших право наследовать престол. Николай же, в отличие от Константина, был женат «правильно», на дочери прусского короля Фридриха Вильгельма III, и семья у него была крепкая. Один из осужденных по делу о тайных обществах, Дмитрий Завалишин, утверждал в мемуарах: «Я не говорю уже об общих слухах, носившихся еще при самой свадьбе Николая и особенно усилившихся при рождении у него сына. Положительно еще тогда уже утверждали, что прусский король не иначе выдал свою дочь, как при формальном обязательстве императора, что муж ее будет его (Александра I. — А. Г., О. К.) наследником. Когда же дело шло о разводе Константина, то общие неопределенные слухи перешли в точную положительную известность о самой даже форме назначения Николая наследником. Было ли прямо узнано или только отгадано содержание завещания, сказать не можем, но знали, что завещание существует, и даже место его хранения было определено известно»^{414}.

Однако от светских слухов до прямого разглашения официальной информации в полуофициальном журнале еще очень далеко. Ода «Видение» появилась в подцензурной печати и, что выглядело особенно странным, всего через две недели после подписания манифеста. Но опять же никаких санкций в отношении автора, редактора журнала, где она появилась, и цензора не последовало.

Уместно предположить, что публикация эта опять-таки предусматривалась политическими планами Голицына. Он, полагая нецелесообразным воцарение Константина, был сторонником великого князя Николая. Согласно изданной «по высочайшему повелению» книге М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая 1-го», министр убеждал Александра в «неудобности» сохранения в тайне актов о престолонаследии, поскольку от этого может «родиться» «опасность в случае внезапного несчастья»^{415}. Впоследствии, в дни междуцарствия 1825 года, Голицын, ни минуты не колеблясь, поддержал младшего великого князя в его праве на престол.

Таким образом, можно предположить, что ода «Видение», намекавшая на вполне конкретное решение императором династической проблемы,

была произведением заказным. Если попытаться реконструировать логику Голицына, то она могла быть примерно следующей. Секретный манифест обнародованию не подлежал, однако процесс приучения подданных русской короны к мысли о передаче престола Николаю, минуя Константина, безусловно, следовало начать. Публикация оды не могла в будущем препятствовать ни высочайшим намерениям, ни планам министра: ее автор был частным лицом, простым заседателем Петербургской уголовной палаты, к составлению «секретных бумаг» отношения не имевшим. Ода в любом случае могла быть объявлена лишь личной инициативой Рылеева.

Рылеев же не случайно был выбран на роль проводника важнейшей правительственной идеи: к августу 1823 года он — известный петербургский литератор, выпустивший первый номер популярного альманаха «Полярная звезда». Петербургские журналы были наполнены восторженными отзывами об альманахе, по поводу отдельных опубликованных там произведений шла ожесточенная полемика. Имя Рылеева было у всех на слуху, его читали и любили.

Свидетельство тому, что акция Голицына удалась, можно найти в мемуарах Филарета: вскоре после составления манифеста, отмечал он, «приходили из Петербурга нескромные слухи, что в Государственный Совет и Святейший Синод поступили от государя императора запечатанные конверты»^[416].

«Пребудем тверды»

Официальным министерским изданием «Северный архив» Булгарина так и не стал. 15 мая 1824 года Голицын был отстранен от должности. Падение всесильного министра многократно прокомментировано исследователями^{417}. Проанализировано и ставшее поводом к отставке Голицына «дело» Иоганна Госнера, католического проповедника-сектанта, чья книга «Дух жизни и учения Иисуса Христа в Новом Завете. Евангелие от Матфея» была переведена на русский язык и с одобрения светской цензуры печаталась в типографии Греча. Согласно анонимной мемуарной «Записке о крамолах врагов России», вышедшей из круга политических противников Голицына и опубликованной в 1868 году, Госнер и его переводчики (в частности, начальник департамента народного просвещения в министерстве Голицына Василий Попов) как раз и были «врагами России». Книга Госнера, по мнению автора записки, была «сильным орудием тайных обществ, умысливших истребить на земле религию и правительство, уничтожить иерархию и монархию и ниспровергнуть престолы храмов и троны дворцов»^{418}.

Книга Госнера так и не вышла в свет, и рукопись ее не сохранилась — от нее осталось лишь несколько фрагментов. Судя по ним, в основе религиозных воззрений пастора лежала вполне традиционная для мистиков «идея о том, что человек при жизни может соединиться с Иисусом Христом». Исследователь Ю. Е. Кондаков комментирует: «Ясных рецептов к спасению души Госнер не предлагал, но указывал, что этому не помогут механическое хождение в церковь, телесное исполнение церковных обрядов, наружное богопочитание, длинные устные молитвы... он прямо заявлял, что христианин, не сделавшийся “чадом Божьм”, стал слугой Сатаны». Книга, ставшая поводом к падению Голицына, представляла собой строфы «Евангелия от Матфея» с развернутыми комментариями к каждой. По мнению того же исследователя, «если убрать из книги Госнера Евангельские строки, то получалось самостоятельное произведение “Евангелие от Госнера”... уже с первых страниц своего произведения автор превратил его в политический памфлет, направленный против гонителей библейских обществ»^{419}.

Госнер утверждал: «Истинно говорю вам, всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Точно так будет со всеми наружными церквами и великолепными храмами, со всяким

богослужением и со всеми пышными обрядами, отвергающими Христа живого и соделывающими его не нужным. <...> тогда откроется истинная православная кафолическая церковь, которая соберет всех народов, языков и стран небесных. Тогда видно будет, кто к ней принадлежит»^{420}.

Акция, направленная против Голицына и Библейского общества, началась с кражи корректуры из типографии Греча; санкт-петербургский митрополит Серафим предоставил ее — с соответствующими комментариями — императору Александру. При этом, подчеркивает историк, «главной составляющей жалоб царю стала не религия, а политика. Оппозиционеры (Голицыну. — А. Г., О. К.) заявляли о существовании обширного революционного заговора, составной частью которого и являлась книга Госнера»^{421}.

Общеизвестно, что Серафим действовал не самостоятельно: за спиной его стоял добивавшийся отставки Голицына Аракчеев. Согласно собранным исследователями сведениям, в интриге против министра участвовали и другие сановники и церковные деятели: известный «изувер», настоятель Юрьевского монастыря архимандрит Фотий, президент Российской академии публицист и лингвист Александр Шишков, командир Гвардейского корпуса Федор Уваров, видный чиновник голицынского министерства Михаил Магницкий. В итоге Голицын лишился поста как в министерстве, так и в Библейском обществе. Министерство было реорганизовано: из его состава выведена «духовная» часть. Уголовному преследованию подверглись пропустивший книгу цензор Бируков, весьма близкий к Голицыну, один из ее переводчиков Василий Попов и печатавший ее в своей типографии Греч. Министром просвещения стал Шишков.

*

Новая эпоха в отечественной журналистике, наступившая после отставки Голицына, заставила Булгарина пересмотреть журналистскую тактику. При Шишкове настаивать на слиянии изданий было бесполезно: новоиспеченный министр начал с того, что отверг все начинания предшественника, обвинив того в желании погубить не только отечественное просвещение, но и православную веру. Вместо «Журнала департамента...» Шишков распорядился печатать новое министерское издание «Записки, издаваемые от департамента народного просвещения».

Попытка издавать «Записки» окончилась полным провалом: за четыре года министерской деятельности Шишкова вышло всего две книги и еще одна после его отставки.

Естественно, падение Голицына (которое Греч называл «катастрофой»^{422}) было тяжелым ударом для многих литераторов и журналистов: к его политике в области словесности все уже привыкли, расклад в его игре был понятен, к подчинявшимся ему цензорам давно найдены подходы. Но отставка Голицына не только напугала. Падение некогда всесильного вельможи, не устоявшего в неравной борьбе со «злодеем из злодеев» и «неистовым тираном родной страны своей», вызвало искреннее сожаление и часто трактовалось как временная победа зла над добром, «самовластья» над «вольностью».

В этом смысле весьма характерно опубликованное в номере 9—10 «Литературных листков» за 1824 год стихотворение Федора Глинки «Правдивый муж» — переложение 1-го псалма о «муже», «иже не иде на совет нечестивых»:

...При светлом дне и в тайне ночи
Хранит он Вышнего закон,
И ходит в нем неколебимым;
Везде он чист, душою прям
И в очи смерти и бедам
Глядит с покоем нерушимым,
Хотя б в ладье, бичом судьбы
Гоним в шум бурных океанов...
Когда лукавые рабы
Блажат бездушных истуканов,
Он видит Бога над собой
И смело держит с роком бой...
Зажглась гроза, синеют тучи,
Летит как исполин могучий,
Как грозный князь воздушных стран,
Неудержимый ураган
И стелет жатвы и дубравы...
Но он в полях стоит один,
Сей дуб корнистый, величавый:
Таков небесный гражданин!..
И процветет он в долгой жизни,
Как древо при истоках вод;

Он будет памятен отчизне,
Благословит его народ...^{423}

Комментируя это стихотворение, Г. А. Гуковский утверждал: «Восточная библейская поэзия у него (Глинки. — А. Г., О. К.) символична в смысле наполнения ее образами гражданскими, декабристскими, несмотря даже на пессимизм, часто овладевающий поэтом. Слова библейской старины вызывают гневные и скорбные эмоции гражданина рабской России и перекликаются со словами революционной терминологии». Вряд ли можно согласиться с Гуковским в том, что герой стихотворения — «праведник декабрист», — до событий на Сенатской площади было еще очень далеко; однако в целом с его высказыванием сложно спорить^{424}.

Дата цензурного разрешения этого номера «Листков» — 29 мая 1824 года — не оставляет сомнений в том, кого Глинка считал «правдивым мужем». Поэт оплакивал участь министра, но был убежден, что победа его врагов мнимая. Показательно в стихотворении употребление словосочетания «небесный гражданин» — вкупе с уверенностью, что «гражданина» впоследствии «благословит народ». Религиозная деятельность министра приравнивается автором к высокому гражданскому подвигу.

Разумеется, Булгарин, публикуя это стихотворение в «Литературных листках», рисковал. Однако ничего подобного в его изданиях больше не появлялось: опытный журналист сумел быстро перестроиться.

Через две недели после произошедших в министерстве перемен, в конце мая 1824 года, Булгарин направляет Шишкову новый проект — об объединении собственного «Северного архива» с «Сыном отечества» Греча, с которым его связывали деловые и дружеские отношения. Этот проект, в отличие от плана превращения «Северного архива» в официальное министерское издание, был вскоре реализован. В августе того же года Булгарин поехал в Грузино — на поклон к временщику. Журналисту удалось даже выхлопотать у Аракчеева разрешение на издание совместно с Гречем газеты «Северная пчела»^{425}.

*

Конечно, Рылеев не мог остаться в стороне от произошедшего. Его

лирика второй половины 1824-го и 1825 года изобилует откликами на актуальные политические события. Без учета историко-политического контекста трудно объяснить разочарование и пессимистическое отношение к настоящему, которыми наполнены некоторые лирические произведения поэта этого периода: пессимизм вроде бы никак не мотивирован событиями его биографии. Таковы, например, «Стансы», адресованные Александру Бестужеву:

Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей:
Горький жребий одиночества
Мне сужден в кругу людей.
...
Страшно дней не видеть радостных,
Быть чужим среди своих...^{426}

По мнению А. Г. Цейтлина, «установить конкретные причины этой депрессии трудно — биография Рылеева, вообще чрезвычайно неясная, особенно туманна в части, относящейся к 1824 году»^{427}. В это время Рылеев был литературной знаменитостью, удачливым издателем и коммерсантом. Сетовать по поводу «горького жребия одиночества», а тем более называть себя «чужим среди своих» у него вроде бы не было никаких оснований. Однако с учетом политического контекста причины, обусловившие пессимизм лирического героя «Стансов», вполне объяснимы.

Но поздние произведения Рылеева — это не только отражение депрессивных настроений обманутого в своих ожиданиях либерала. Достаточно прозрачные намеки на политическую ситуацию, сложившуюся после отставки министра, находим в написанном в 1824 году и оставшемся неопубликованным варианте предисловия к «Думам»: «С некоторого времени встречаем мы людей, утверждающих, что народное просвещение есть гибель для благосостояния государственного. Здесь не место опровергать сие странное мнение; к тому же оно, к счастью, не может в наш век иметь многочисленных приверженцев, ибо источник его и подпора — деспотизм — даже в самой Турции не имеет прежней силы своей»^{428}.

Таким образом, ситуацию, сложившуюся в России «с недавнего времени», Рылеев оценивает как борьбу «просвещения» с «деспотизмом». Подобная аллюзия, безусловно, была бы «считана» современниками — они

без труда поняли бы, кто именно в середине 1820-х годов был персонификацией «просвещения», а кто — «деспотизма».

В тот же вариант предисловия вошли и более резкие суждения: «Просвещение — надежнейшая узда противу волнений народных, нежели предрассудки и невежество, которыми стараются в правлениях самовластных двигать или воздерживать страсти народа. Невежество народа — мать и дочь деспотизма — есть истинная и главная причина всех неистовств и злодеяний, которые когда-либо совершены в мире». «Деспотизм», воплощением которого для Рылеева был Аракчеев, становится, таким образом, ответственным за возможные народные «неистовства».

Сам Рылеев конечно же причислял себя к сторонникам «просвещения». «Деспотизм» для него — главный враг. Его сторонники торжествуют, но победа эта временная: «Пусть раздаются презренные вопли порицателей света, пусть изрыгают они хулы свои и изливают тлетворный яд на распространителей просвещения... пребудем тверды, питая себя тою сладостною надеждою, что рано ли, поздно ли лучи благодетельного светила проникнут в мрачные и дикие дебри и согреют окаменелые сердца самих порицателей просвещения»^[429].

Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век молодой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.
Пусть юноши, своей не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенье века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладною душой бросают хладный взор
На бедствия своей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги
И, в бурном мятеже ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги^{430}.

Стихотворение это — пожалуй, наиболее сильное по накалу гражданского пафоса среди рылеевских произведений. Оно отсылает читателя к опубликованному в 1820 году «Временщику». Их тексты роднит ожидание близкого народного мятежа во имя «свободных прав», бунта, который наверняка будет сопровождаться «тиранствами» и вина за который всецело лежит на «деспотизме». Очевидно также, что лирический герой обоих стихотворений противостоит деспоту-временщику, но в то же время и не солидаризуется с мятежным народом. В первом случае он ограничивается лишь гордым презрением, во втором — призывает всех честных «юношей» «разгадать» свою судьбу, стать «Брутами» и «Риегами» и обратить народное недовольство в нужное русло.

Исследователи долго спорили о времени написания этого стихотворения. С одной стороны, есть мемуарные указания на то, что оно создано в конце 1825 года и даже «должно считаться последним, написанным Рылеевым на свободе»^{431}. Это мнение длительное время не ставилось под сомнение, поскольку вполне соответствовало уже сложившейся литературной репутации поэта-декабриста. В начале XX века один из первых исследователей творчества Рылеева В. И. Маслов

утверждал: «Несомненно, в этих сильных, проникнутых гражданским пафосом стихах отразилось душевное настроение поэта накануне декабрьских событий 1825 г.»^{432}.

Эту точку зрения в советское время разделяли, например, А. Г. Цейтлин и К. В. Пигарев. Однако в 1934 году Ю. Г. Оксман обратил внимание на показания Рылеева Следственной комиссии, позволяющие уточнить датировку стихотворения. Рылеев сообщил, что отдал его члену южной тайной организации Матвею Муравьеву-Апостолу, уехавшему из столицы в августе 1824 года^{433}. Таким образом, сам поэт однозначно свидетельствовал: в августе этого года стихотворение было уже написано. Датировка его 1824 годом в настоящее время уже не подвергается сомнению^{434}.

Комментаторы, приняв датировку Оксмана, столкнулись с неизбежной трудностью: смысл стихотворения оказывался неясен. О каком «роковом времени» писал Рылеев, когда до восстания на Сенатской площади оставалось почти полтора года? Однако с учетом политического контекста противоречие это оказывается снятым: «роковое время» наступило для Рылеева после отставки его покровителя.

*

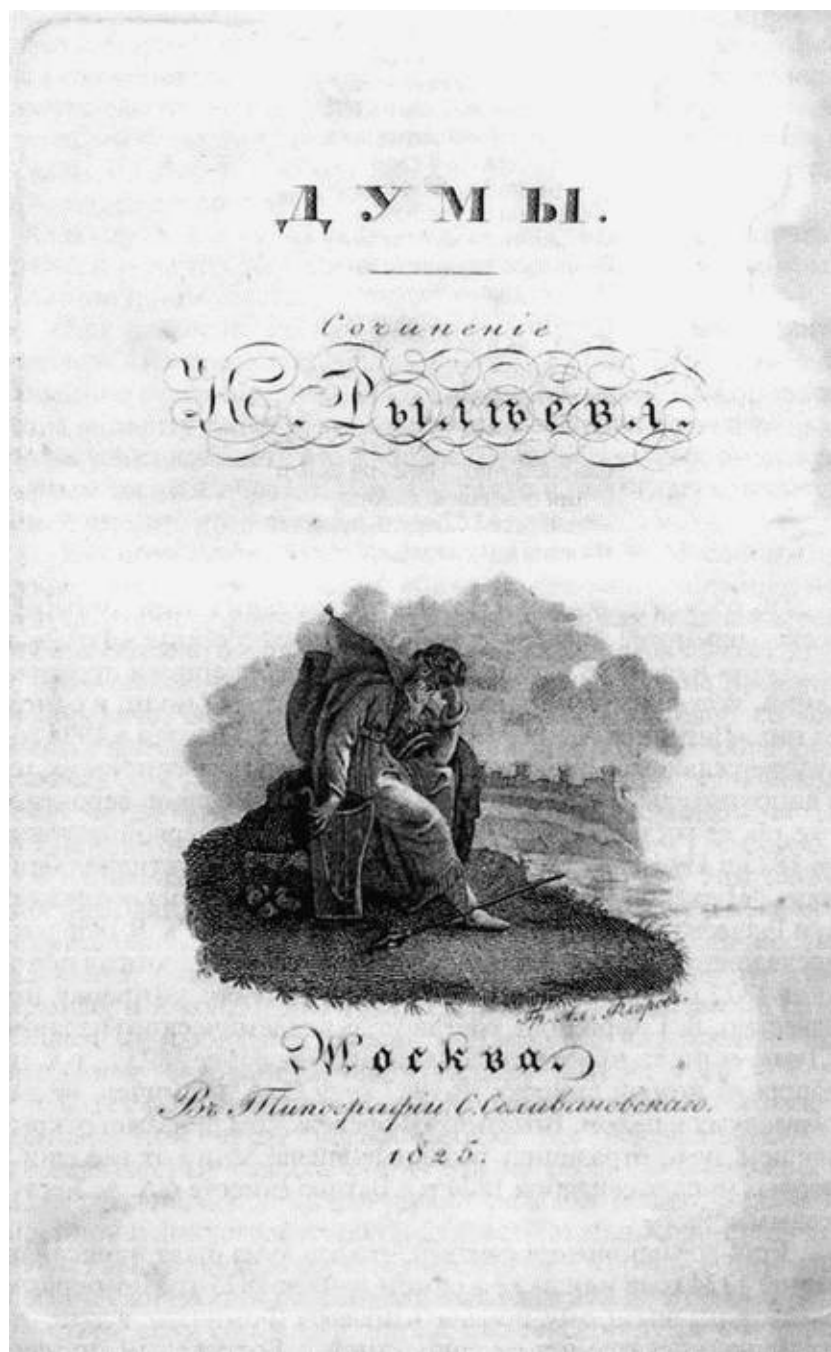
Сборник Рылеева «Думы», напечатанный в Москве в начале 1825 года, безусловно, достоин отдельного исследования. Здесь стоит сказать несколько слов лишь о жанре. Как известно, в основе сюжета практически каждой думы лежало событие отечественной истории, описанное под совершенно определенным углом зрения.

Произведения, вошедшие в этот сборник, Рылеев начал публиковать с 1821 года (первой в журнале «Сын отечества» увидела свет дума «Курбский») — и почти сразу же в печати разразилась полемика об истоках этого жанра. В нее включились ведущие русские периодические издания: «Полярная звезда», «Русский инвалид», «Сын отечества», «Северный архив», «Новости литературы» и т. п. Полемика эта — в контексте истории отечественной журналистики — еще ждет своего исследователя, ибо, по справедливому замечанию Л. Г. Фризмана, «тогдашние споры о жанрах имели, как правило, многообразный и значительный подтекст, вне которого не может быть уяснено их подлинное значение»^{435}.

Следует отметить только, что и сам Рылеев, и рецензенты так и не

пришли к единому определению этого жанра. Публикуя «Курбского», Рылеев назвал его элегией; некоторые другие произведения, вошедшие потом в сборник «Думы», он печатал вовсе без указания на жанр. Александр Бестужев то уподоблял жанр дум «гимнам историческим», то указывал, что «думу поместить должно в разряд чистой романтической поэзии» и что «она составляет середину между героидою и гимном». Петр Вяземский считал, что думы «по содержанию своему» «относятся к роду повествовательному, а по формам своим — к лирическому»^[436]. Авторы рецензий активно спорили и об истоках этого жанра: заимствовал ли его Рылеев из польской поэзии или из устного народного творчества, малороссийского или русского.

Однако ближе всех к пониманию жанра дум подошел Булгарин. Рецензируя вышедший в январе 1825 года сборник, он отмечал: «Это рассказ происшествия, блистательного подвига или несчастного случая в отечестве: весь пиитический вымысел заключался в уподоблениях»^[437]. И действительно, главный смысл каждой из дум вовсе не в описании того или иного исторического факта — они были всем известны и без Рылеева. Главным было *уподобление* героев и событий прошедших эпох героям и событиям 1820-х годов. Секрет столь мощного воздействия «Дум» на читателя — при том, что в литературном отношении они достаточно слабы, — именно в их злободневности. И с этой точки зрения жанр дум — не столько литературный, сколько публицистический: они во многом заменяли современникам злободневные газетные статьи.



Первое издание поэтического сборника «Думы». 1825 г.

Публицистичность этого жанра хорошо видна при анализе «Царевича Алексея Петровича в Рождествене». Дума эта — в связи с особой актуальностью — тоже не увидела печати:

Страшно воеет лес дремучий,
Ветр в ущелиях свистит.
И украдкой из-за тучи
Месяц в Оредеж глядит.
Там разбросаны жилища
Угнетенной нищеты,
Здесь стоят средь красоты
Деревенского кладбища
Деревянные кресты.
Между гор, как под навесом,
Волны светлые бегут
И вослед себе ведут
Берега, поросши лесом.
Кто ж сидит на черном пне
И, вокруг глядя со страхом,
В полуночной тишине
Тихо шепчется с монахом:
«Я готов, отец святой,
Но ведь царь — родитель мой...»
«Не лжеумствуй своенравно!
(Слышен голос старика.)
Гибель церкви православной
Вижу я издалека...
Видишь сам, — уж всё презренно:
Предков нравы и права,
И обычай их священный,
И родимая Москва!
Ждет спасенья наша вера
От тебя, младый герой;
Иль не зришь себе примера:
Мать твоя перед тобой.
Всё царица в жертву Богу
Равнодушно принесла
И блестящему чертогу
Мрачну келью предпочла.
В рай иль в ад тебе дорога...
Сын мой! Слушай чернеца:
Иль отца забудь для Бога,
Или Бога для отца!»

Смолк монах. Царевич юный
С пня поднялся, говоря:
«Так и быть! Сберу перуны
На отца и на царя!..»^{438}

Об обстоятельствах и времени написания этой думы известно немного. Рылеев, планируя издать сборник «Думы», в 1822-м — начале 1823 года дважды составлял списки произведений, которые планировал туда поместить, — но ни в одном из них «Царевича Алексея» не было^{439}. Ю. Г. Оксман в 1934 году утверждал, что «дума эта, не отмеченная ни в основном, ни в дополнительном перечне дум Рылеева, написана, вероятно, уже после составления обоих списков, т. е. в первой половине 1823 г. Подтверждает эту датировку и конструктивная близость “Царевича Алексея в Рождествене” к одной из последних дум Рылеева — “Петру Великому в Острогжске”». В 1956 году исследователь стал утверждать, что «дата думы — вторая половина 1822 г.». На чем он основывался, изменяя датировку, неизвестно. Л. Г. Фризман, составитель академического издания «Дум», считает, что эта дума написана «не ранее 1823 г., т. к. не вошла во второй список». В 1987 году С. А. Фомичев, не датируя думу в целом, отметил: «В оредежском пейзаже, открывавшем думу, отразились реальные впечатления от поездки в первых числах сентября 1824 г. в Батово (вместе с А. А. Бестужевым)»^{440}.

Есть все основания считать, что эта дума была написана в конце 1824 года или даже в самом начале 1825-го. Во-первых, следует, по-видимому, признать правоту Фомичева: в думе отразились впечатления от совместной с Бестужевым поездки Рылеева в соседнее с Рождественом Батово. В частности, строки, посвященные реке Оредеж («Между гор, как под навесом, *Волны светлые бегут* И вослед себе ведут / Берега, поросши лесом»), перекликаются с сентябрьским (1824) письмом Бестужева матери с описанием посещения Батова: «Местоположение там чудесное... Тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, где расширяется плесом, где подмывает скалы, с которых сбегает звонкие ручьи. Тишь и дичь кругом, а я пять дней провел на воздухе, в лесу, на речке»^{441}. Очевидно, «на воздухе, в лесу, на речке» друзья обсуждали окружающий пейзаж — и это обсуждение отразилось и в поэтическом, и в эпистолярном текстах.

Как известно, Рылеев представил эту думу в московскую цензуру уже после получения цензурного разрешения на публикацию всего сборника

(22 декабря 1824 года)^[442]. Скорее всего, к моменту сдачи рукописи сборника в цензуру автор просто не успел дописать это произведение. Более того, смысл его самым тесным образом перекликается с политической ситуацией именно второй половины 1824 года.

В основе думы лежит отмеченный еще В. И. Масловым автобиографический момент: «Село Рождествено, упоминаемое в думе, хорошо известно было Рылееву, так как родовая деревня его Ботова (Батово. — А. Г., О. К.) находилась по соседству с этим селом. Возможно, что какие-нибудь глухие предания о царевице, сохранившиеся среди местных жителей ко времени Рылеева, могли побудить поэта приняться за обработку сюжета об Алексее». К этому следует добавить: «глухие предания» могли быть связаны с тем, что село Рождествено в начале XVIII века было действительно подарено Петром I Алексею.

Комментируя думу, Маслов отмечал, что «на этот сюжет мог натолкнуть Рылеева и близко знакомый ему Александр Корнилович, который также интересовался личностью царевицы, разыскивал для этого материалы в петербургских архивах и в конце 1821 года (19 декабря) представил в СПб. Общество любителей российской словесности статью под заглавием “О жизни царевицы Алексея Петровича”»^[443].

С тех пор мнение о статье Корниловича как возможной основе этой думы воспроизводят все исследователи и комментаторы. Однако статья эта не была опубликована и даже рукопись ее не сохранилась^[444]; следовательно, о степени идейной и фактографической близости статьи Корниловича и думы Рылеева судить достаточно сложно. Скорее всего, эпизод беседы сына Петра I с монахом был выдуман поэтом.

Зато, если соотнести эпизод рылеевской думы с историческим контекстом, становятся вполне очевидны «уподобления», о которых писал Булгарин. Монах, уговаривающий Алексея Петровича восстать против «отца и царя», рассуждает о «гибели церкви православной» и о том, что «всё презренно»: «Предков нравы и права, / И обычай их священный, / И родимая Москва», — почти дословно воспроизводит обвинения, предъявленные Голицыну Серафимом, Фотием, Шишковым и их сторонниками. Подобно тому, как вымышленный монах, герой рылеевской думы, смущал царевицу Алексея, реальный монах — архимандрит Фотий — смущал Александра I. Так, архимандрит писал императору в апреле 1824 года, что «сатана», нашедший себе пристанище в голицынском министерстве и Библейском обществе, «умыслил смутить всю поднебесную», ввести «новое какое-то христианство, хуля же и осмеивая

чистейшее, святейшее, первых времен христианство, отвергая учение святых отцов, уничтожая святые Вселенские Соборы, поругая всякое благочестие Церкви Христовой». «Новая религия», насаждаемая Голицыным и мистиками, согласно Фотию, «хулит и порицает... вечные законы, предания Церкви нашей, богослужения наши». Естественно, что именно от императора Фотий ожидал «спасения» православной веры и предлагал даже конкретный план действий:

«1) Министерство духовных дел уничтожить, а другие два отнять от настоящей особы (князя Голицына. — А. Г., О. К.). 2) Библейское общество уничтожить» и т. п. ^[445]

Именно позиция ревнителя «Церкви Христовой» трактуется Рылеевым как причина заговора царевича Алексея. В ситуации второй половины 1824 года основная идея думы «Царевич Алексей Петрович в Рождествене» могла быть прочитана следующим образом: в заговоре против законной власти, в «карбонарстве» оказывались виновными вовсе не церковные реформаторы, а, напротив, их противники, борцы за чистоту веры и конкретно архимандрит Фотий. Таким образом, смысл думы оказывался схожим со смыслом оставшегося неопубликованным предисловия.

Очевидно, Рылеев надеялся, что московские цензоры, в меньшей степени затронутые падением министра, чем петербургские, пропустят думу к печати, тем более что попечителем Московского учебного округа, отвечавшим за работу цензоров, до лета 1825 года оставался князь Андрей Оболенский, друг Голицына и член его «партии». Однако столь откровенно «проголицынское» произведение цензор, профессор Московского университета Иван Давыдов, пропустить в печать всё же не решился.

По традиции, идущей от Ю. Г. Оксмана, последней по времени написания законченной думой считается «Наталья Долгорукова», написанная летом 1823 года ^[446]. Но очевидно, что более поздней следует признать именно думу «Царевич Алексей в Рождествене».

*

К такому же роду поздних рылеевских произведений — тех, в которых явственно отразился «постголицынский» политический контекст, — следует отнести и знаменитое посвящение к поэме «Войнаровский», адресованное Александру Бестужеву:

Прими ж плоды трудов моих,

Плоды беспечного досуга;
Я знаю, друг, ты примешь их
Со всей заботливостью друга.
Как Аполлонов строгий сын,
Ты не увидишь в них искусства,
Зато найдешь живые чувства, —
Я не Поэт, а Гражданин^{447}.

Поэма «Войнаровский» была, как и сборник «Думы», опубликована в 1825 году в Москве. Однако для того чтобы адекватно оценить смысл этой фразы, следует вернуться на несколько лет раньше, когда и Голицын, и Аракчеев казались современникам равно всесильными.

В конце сентября 1818 года журнал «Сын отечества» (номер 39—40) опубликовал очерк журналиста Павла Свинына с примечательным названием «Поездка в Грузино», воспевавший знаменитое имение Аракчеева. Очерк открывался стихотворением (некоторые исследователи считают, что оно принадлежит перу брата автора очерка, влиятельного столичного чиновника Петра Свинына)^{448}:

Я весь объехал белый свет:
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,
Дивился многому умом;
Но только в Грузине одном —
Был счастлив сердцем и душою,
И сожалел, что — не поэт!

Цель очерка, согласно признанию самого Свинына, состояла в том, чтобы «познакомить просвещенный мир с житьем истинного русского дворянина, с управлением помещика, коим должны гордиться соотечественники, уважать и пленяться иностранцы». Автор умиляется верноподданническими чувствами и богобоязненностью хозяина Грузина: «Верный слуга царский верность свою уносит во гроб — назначив себе место вечного покоя у подножия памятника его царя-благодетеля (Павла I, — А. Г., О. К.). То показывает гранитовая доска с прекрасною лаконическою надписью: “*да пребудет и прах мой у подножия твоего изображения...*” Далее изображено: “На сем месте погребен русский новгородский дворянин граф Алексей Андреевич Аракчеев, родился 1769

года, умер...” Вельможа, помышляющий о смерти, видя, так сказать, пред глазами своими отверстый гроб свой, — не страшится деяний своих ни перед Богом, ни перед потомством!»

На пятидесяти шести страницах текста подробно описывались хлопоты Аракчеева по устройству дорог и жилищ, возведению памятников и храма, постройке гостиниц для приезжих. «Вот разительный пример, вот торжество благоразумного распоряжения деньгами и строгого порядка», — констатировал Свињин^{449}.

Павел Петрович Свињин — в истории русской словесности фигура трагикомическая. Бывший дипломат и чиновник, по политическим взглядам славянофил и «народолюбец», в 1818 и 1819 годах он издал два сборника под названием «Отечественные записки», а впоследствии стал выпускать одноименный журнал. «Любить Отечество велит природа, Бог. А знать его — вот честь, достоинство и долг!» — такой эпиграф Свињин предпослал журналу.

«Визитной карточкой» Свињина был поиск всякого рода русских «самоучек». Названия статей в «Отечественных записках» говорят сами за себя: «Письмо первое в Москву о русском химике Власове», «Письмо второе в Москву о русском механике Калашникове», «Приключения Суханова, русского природного ваятеля», «Третье письмо в Москву о изобретателе Кукине», «Федор Алексеевич Семенов, мясник-астроном в Курске» и т. п. Считавший себя патриотом-эрудитом, много размышлявший на историко-географические и историко-этнографические темы, Свињин часто впадал в крайности, искажал реалии, оказывался сторонником «народной» этимологии — и это вызывало насмешки современников^{450}.

Подробный анализ причин, по которым Свињин решил воспеть Аракчеева, не входит в задачу нашей книги. Отметим только, что, скорее всего, Свињин просто искал (и приобрел) в лице графа покровителя — вполне традиционное для литераторов Пушкинской эпохи занятие. Покровительство было особенно нужно Свињину: его прежний патрон, князь Николай Салтыков, председатель Государственного совета и Комитета министров, умер за два года до того.

Труднее понять, зачем на публикацию очерка Свињина согласился Греч — известный всей образованной России журналист с устоявшейся либеральной репутацией. Не исключено, что Греч в данном случае решил еще раз уверить читателей в собственной беспристрастности, воспев того, кого, по условиям либеральной игры, воспевать не полагалось.

Правда, Гречу не удалось довести публикацию «Поездки в Грузино» до

конца: в сороковом номере «Сына отечества» анонсировалась заключительная часть очерка Свинына: «Окончание впредь». Однако в 41-м номере журнала читатели вместо этого нашли статью некоего И. Переславского «О Библейских обществах» — безудержный панегирик князю Голицыну: «Нет нужды распространяться здесь о славе покровителей сих Обществ, о том, что имена их сделаются известны и будут благославляемы во всех частях света и на всех языках. Слава есть нечто такое, что мы привыкли соединять с подвигами только изумляющими, иногда даже пагубными. И потому она промчится и скоро исчезнет, подобно ударам грома, теряющимся тотчас в пространстве воздуха. Венец же сих избранных сияет вечным светом там, у милосердного Отца, обитающего выше звезд!»^{451}

Очерк Свинына не прошел незамеченным. В частности, гневным письмом на него откликнулся князь Вяземский. 13 октября он сообщил Александру Тургеневу, что ему «так понравились» стихи Свинына, что он «решился их перевести». «Перевод» был приложен к тому же письму:

Что пользы, говорит расчетливый Свинын,
Мне кланяться развалинам бесплодным
Пальмиры, Трои и Афин?
Пусть дорожит Парнаса гражданин
Воспоминаньем благородным.
Я не поэт, а дворянин
И лучше в Грузино пойду путем доходным:
Там, кланяясь, могу я выкланяться в чин^{452}.

Тургеневу конечно же было понятно, что эпиграмма метит не только в Свинына, но и в Аракчеева. Именно с ним в очерке «Поездка в Грузино» были связаны размышления об идеальном вельможе-дворянине, «без лести преданном» помазанникам Божьим. Именно Аракчеев желал, чтобы на его могиле не указывались чины и звания, а указывалось только, что он — «русский новгородский дворянин». Получалось, что, активно кланяясь «дворянину», другой «дворянин» может «выкланяться в чин». Тот, кто был «без лести предан», сам оказывался падок на грубую лесть.

Однако проаракчеевские настроения Свинына, как и несообразности в его этнографических, географических и патриотических представлениях, в конце 1810-х годов обсуждались только в узком кругу либерально настроенных литераторов.

Лишь спустя пять лет после публикации «Поездки в Грузино» эти обсуждения выплеснулись на страницы периодики. В 1823 году болгаринские «Литературные листки» начинали систематическую травлю издателя «Отечественных записок».

Булгарин (под прозрачным псевдонимом Архип Фадеев) начал жестко высмеивать свиныйнскую страсть к «самоучкам». В статьях «Извозчик-метафизик», «Самоучка, или Журнальное воспитание», «Свидание Зерова с самоучкою» и т. п. он пародировал увлечение издателя «Отечественных записок» всякого рода «кулибиными», выискивал в его статьях ошибки и неточности, обвинял в прямом вранье. «В какое заблуждение входят простодушные читатели иногородные при чтении подобных статей, и что подумают об нас иностранцы, которые ныне переводят много из русских журналов, если на наших глазах, в Петербурге, нам сообщают подобные известия?» — вопрошал Архип Фадеев уже во втором номере «Листков»^[453].

Травля Свинына шла и на страницах «Северного архива» — правда, в более академичном тоне. «Г. издатель («Отечественных записок». — А. Г., О. К.) в описании природных русских дарований и отечественных благородных подвигов иногда добровольно изменяет своему намерению и приводит читателей в сомнение великолепными и пышными начертаниями трудов наших добрых ремесленников и смышленных мужичков, забавляя при том публику самыми странными названиями», — утверждал Булгарин^[454].

Вряд ли в данном случае он выполнял чей-то прямой заказ: всесильному министру Голицыну не было дела до Свинына, публично признавшегося в любви к Аракчееву и его имению. Однако публикации против Свинына косвенным образом задевали и Аракчеева — и это Голицыну не могло не понравиться. История со Свиныным показательна: добиваясь для «Северного архива» официального статуса, Булгарин не брезговал никакими методами.

Постепенно в полемику о Свиныне включились и многие другие петербургские и московские литераторы — в основном на стороне болгаринских изданий. В частности, в печати появились басни Александра Измайлова «Лгун» и «Кулик-астроном»:

Павлушка Медный лоб — приличное прозвание! —
Имел ко лжи большое дарованье;
Мне кажется, еще он в колыбели лгал!..

«Лгун»

Есть свиньи из людей,
Которые невежд хвалами превозносят,
Да за это у них чего-нибудь и просят...

«Кулик-астроном»

Вторая басня напрямую отсылала к «Поездке в Грузино», и обе они содержали личные оскорбления по адресу Свиньиного. И, несмотря на то, что подобные «личности» были строжайше запрещены цензурным уставом 1804 года, обе басни были напечатаны в 1824 году^[455].

И в литературе, и в жизни Свиньину удалось сделать многое. Он, по мнению исследователя Д. Д. Данилова, стремился «выдвигать принципы художественной самостоятельности и художественной самобытности России... был способен видеть недостатки своих соотечественников и говорить о них». Свиньин был ярким литератором даже на фоне талантливых современников. Ему были свойственны филантропия и благотворительность: благодаря его заступничеству и покровительству были выкуплены из крепостной зависимости поэт Иван Сибиряков и многие другие «самоучки», стал известным журналистом купец Николай Полевой. Но, несмотря на всё это, Свиньин остался в истории отечественной словесности «медным лбом» и малообразованным глупцом. «Литературные традиции рисуют его... как лгуна, главным образом, и вообще человека невысоких качеств», — констатируют исследователи^[456].

*

При чтении последней строчки посвящения к поэме «Войнаровский» («Я не Поэт, а Гражданин») невольно бросается в глаза ее сходство с эпиграммой Вяземского на Свиньиного: «Я не поэт, а дворянин». Первым эту близость заметил Пушкин, в письме от 10 августа 1825 года предлагавший Вяземскому опубликовать эту эпиграмму, которая стала «еще прелестнее после посвящения “Войнаровского”»^[457].

Исследователи, давно откомментировавшие письмо Пушкина, пришли к выводу, что это была лишь случайная параллель, «неожиданная»

«пародия на рылеевскую формулу»^[458]. Однако рискнем предположить: параллель в данном случае была вовсе не случайной.

Вяземский был хорошо знаком и с Рылеевым — заочно, и с адресатом посвящения Александром Бестужевым — лично. Он часто посылал им в письмах свои неопубликованные произведения, в том числе и эпиграммы. В частности, осенью 1823 года Бестужев получил от него два произведения такого рода. В ответном письме он благодарил: «Эпиграммы Ваши на наших ханжей весьма милы, признаюсь, что мы расхохотались, в первый раз прочитав их». С другой стороны, Рылеев и Бестужев тесно общались не только с Вяземским, но и с его корреспондентом Александром Тургеневым^[459].

Эпиграмма на Свинына была широко известна в дружеском кружке Вяземского, о ней был осведомлен Пушкин. К тому же сам Рылеев искренне не любил Свинына: в 1824 году в «Полярной звезде» была напечатана басня Измайлова «Лгун». И, скорее всего, автор посвящения к «Войнаровскому» прекрасно знал о содержании эпиграммы Вяземского.

Таким образом, Рылеев в посвящении специально отсылал искушенного читателя к опусу Свинына и полемике вокруг него. Свинын, «не поэт, а дворянин», солидаризовался с «новгородским дворянином» Аракчеевым. Автор «Войнаровского», «не поэт, а гражданин», подчеркивал верность «небесному гражданину» князю Голицыну. Пушкин же, не имевший понятия о «голицынском» подтексте посвящения, просто не смог увидеть этой отсылки.

Булгарин же после падения Голицына повел себя не так, как Рылеев. Александр Измайлов весной 1825 года сообщал в частном письме: «Булгарин и Греч помирились со Свиныным. Видели многие, как первый с последним прогуливались под ручку по тротуару. И как же не помириться? Свинын в милости теперь у мин<истра> просв<ещения> (Шишкова. — А. Г., О. К.)»^[460]. Булгаринские издания в 1825 году стали активно поддерживать и самого Свинына, и его «Отечественные записки».

«Временные заседатели Парнаса»

Альманах Кондратия Рылеева и Александра Бестужева «Полярная звезда» — одно из тех явлений русской литературы и журналистики, которые, казалось бы, давно и хорошо изучены. Этой изученности весьма способствуют биографии его составителей: оба они — в процессе издания альманаха — стали заговорщиками. По итогам следствия и суда Рылеев был казнен, а Бестужев приговорен к вечной каторге, замененной солдатчиной. Кроме того, Бестужев происходил из знаменитого семейства заговорщиков: по «делу 14 декабря» были осуждены и его братья Николай, Михаил и Петр. И мало кто из исследователей мог удержаться от соблазна увидеть в альманахе «литературный извод» деятельности антиправительственных организаций 1820-х годов.

В. И. Семеvский еще в начале XX века утверждал, что «Полярная звезда» безусловно способствовала «развитию у нас революционного течения». «“Полярная звезда”, насколько позволяла цензура, говорила в “Думах” Рылеева о восстании на “утеснителей народа”, о “свободе”, искупаемой жертвами», — вторил ему Н. П. Павлов-Сильванский. Советские исследователи довели эти тезисы до абсурда. Согласно такого рода рассуждениям, «Бестужев и Рылеев с 1820 г. (Бестужев даже несколько раньше, с 1818 г.) выступают как декабристы, находятся все время на левом фланге общественно-политического и литературного развития»; «“Полярная звезда” со второй книги фактически как бы стала печатным органом Северного общества, через нее декабристы осуществляют свою политику в литературе»; «Политическая программа декабристов требовала создания условий для широкого обсуждения литературных проблем» — именно в этом исследователи усматривали «революционное значение» литературного альманаха^[461].

Однако также еще в начале XX столетия В. И. Маслов утверждал: «Полярная звезда» «не являлась проводником исключительно либеральных идей» и, лишь впоследствии, «в силу трагической судьбы ее издателей», с именем их альманаха стало ассоциироваться «представление о гражданской борьбе с существующим государственным строем»^[462]. С ним можно согласиться: в момент составления первых двух книжек «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев не состояли в тайном обществе и даже не знали о его существовании, и ждaть, что их альманах будет выражать идеи Северного общества — учитывая, что вопрос о

существовании единой тайной антиправительственной организации в столице в 1822—1824 годах до сих пор однозначно не решен, — по меньшей мере странно. Для большинства участников «Полярной звезды» полной неожиданностью оказались и сам факт восстания на Сенатской площади, и то обстоятельство, что организатором его был объявлен Рылеев.

Правда, причины успеха альманаха не мог объяснить и Маслов.

*

И Рылеев, и Бестужев к концу 1822 года — времени выхода первой книжки альманаха — были уже достаточно известны в литературных кругах Петербурга. Рылеев снискал себе славу «поэта-гражданина», а Бестужев, тогда поручик лейб-гвардии Драгунского полка и адъютант главноуправляющего путями сообщения Августина Бетанкура, был известным критиком. Популярность ему принесли две разгромные рецензии, опубликованные в 1819 году в «Сыне отечества»: одна была посвящена переводу трагедии Расина «Эсфирь», сделанному Павлом Катениным, вторая — второму изданию комедии Александра Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды». Перевод Катенина, по мнению Бестужева, «есть почти непрерывное сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего против языка, не говоря о требованиях поэзии и гармонии». Шаховского же рецензент ругал за то, что в характерах его героев «не видно познания сердца человеческого», многие из них получились «ненужными» и «ненатуральными». Критику не нравился и «слог сей пьесы»: «...шероховат и прерывист, течение неплавно, стихосложение сходствует с самою беззвучною прозою. Автор простер вольность стихотворства до того, что некоторые стихи вовсе не имеют рифмы»^[463].

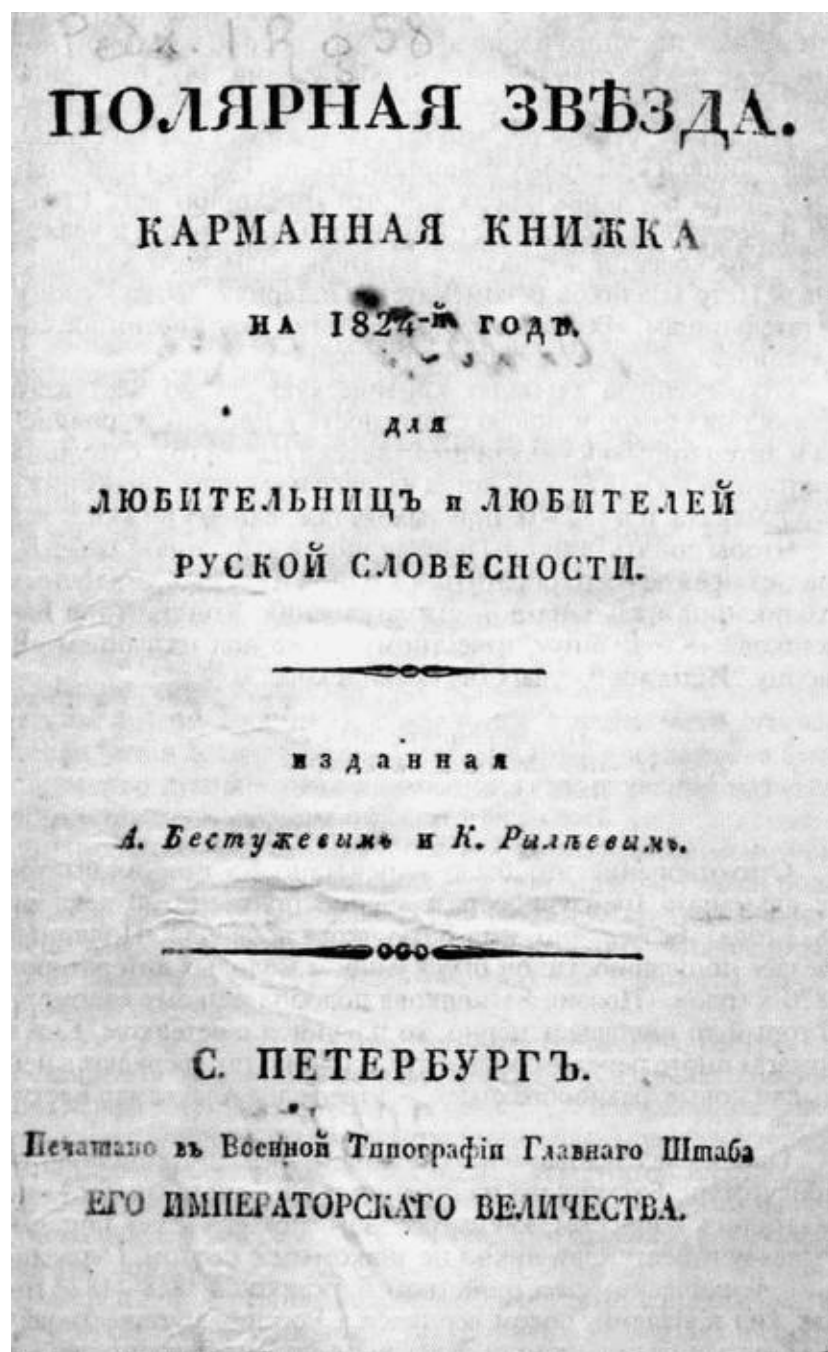
И Катенин, и Шаховской были к тому времени уже маститыми драматургами с устоявшимися литературными репутациями, и вряд ли Бестужев мог опубликовать свои рецензии без поддержки, на свой страх и риск. Очевидно, что за ним стояли опытные литераторы и журналисты, уже на протяжении нескольких лет ведущие острую журнальную полемику с обоими драматургами. «Красноречивые выступления» юного критика «дали перевес противникам Катенина», — отмечал литературовед Б. В. Томашевский^[464]. Положение Бестужева в литературе укрепились: его заметили, и осенью 1820 года он стал членом Вольного общества

любителей российской словесности (ВОЛРС). Общество объединяло большинство российских литераторов 1820-х годов, и прием в него был статусным событием в жизни сочинителя — его объявляли собратом по перу известные всей России писатели и поэты.

На заседаниях общества Бестужев, скорее всего, и познакомился с Рылеевым, вступившим в него в апреле 1821 года. Традиционно считается, что идея издавать «Полярную звезду» родилась у Рылеева и Бестужева в связи с участием в этой организации. «Все произведения, помещенные в первой книге “Полярной звезды”, были написаны членами Общества соребнователей (неофициальное название ВОЛРС. — А. Г., О. К.), исключая стихотворения Пушкина, формально не входившего в объединение», — утверждает автор единственного на сегодняшний день монографического исследования о ВОЛРС В. Г. Базанов^{[1465](#)}.

*

«Полярная звезда», как известно, вышла трижды: в конце 1822 года (на 1823-й), в начале 1824-го (на 1824-й) и весной 1825-го (на 1825 год), после чего Рылеев и Бестужев прекратили издание. В 1826 году они планировали издать небольшой по формату альманах «Звездочка», куда собирались поместить произведения, не вошедшие в выпуски «Полярной звезды». Однако события декабря 1825 года помешали выходу «Звездочки» — она осталась в корректурных листах.



Титульный лист альманаха «Полярная звезда» на 1824 год

Первый же выпуск «Полярной звезды» стал главным литературным событием года: пожалуй, не было ни одного более или менее известного периодического издания, в котором новый альманах не стал предметом обсуждения. Так, болгаринский «Северный архив» встречает альманах с

«особой благосклонностью», утверждая, что он «заслуживает сие по своему содержанию и красивому изданию». Газета «Русский инвалид» Александра Воейкова утверждает, что «предприятие гг. Рылеева и Бестужева заслуживает признательность нашу и уважение». Московский журналист, издатель «Дамского журнала» князь Петр Шаликов рекомендует «Полярную звезду» своим читательницам: «Ведомые светом ее, они увидят истинное сокровище нынешней словесности нашей»^[466].

Открывавшую альманах критическую статью Бестужева «Взгляд на старую и новую словесность в России» журналисты и литераторы обсуждали практически целый год. Ситуация повторилась и в 1824 году, когда из печати вышла вторая книжка альманаха, и в 1825-м, при выходе последней книжки.

Чтобы понять причины популярности «Полярной звезды», следует прежде всего обратиться к одной из самых загадочных публикаций в альманахе — стихотворению Константина Батюшкова «Карамзину», известному также под названием «К творцу “Истории государства Российского”»:

...Пускай талант не мой удел,
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел^[467].

Стихотворение это было напечатано во втором выпуске альманаха (цензурное разрешение получено 20 декабря 1823 года). Безусловно, имя Батюшкова добавило «Полярной звезде» популярности: он был кумиром молодых литераторов 1820-х годов. «Поэзия Батюшкова подобна резвому водомету, который то ниспадает мерно, то плещется с ветерком. Как в брызгах оно переломляются лучи солнца, так сверкают в ней мысли новые, разнообразные», — утверждал Александр Бестужев^[468].

Однако исследователи «Полярной звезды», констатируя присутствие Батюшкова на страницах альманаха, никогда не задавались вопросом, каким образом этот его текст попал к Рылееву и Бестужеву, лично не знакомым с поэтом. Страдавший психическим расстройством Батюшков в 1818—1822 годах жил в Италии, потом вернулся в Россию, путешествовал по Кавказу, безуспешно пытаясь вылечить. «Батюшкову хуже»^[469], — сообщал его друг Александр Тургенев князю Петру Вяземскому в ноябре

1823-го. Вскоре Батюшков оказался в клинике для душевнобольных в Германии. Естественно, сам он отдать стихотворение в «Полярную звезду» не мог.

Между тем послание Карамзину было написано в 1818 году — под впечатлением от чтения «Истории государства Российского». Батюшков послал его Тургеневу в частном письме, не предназначенном для распространения. Еще один экземпляр стихотворения поэт отправил жене Карамзина — от имени «навсегда неизвестного». О других автографах или списках этого послания ничего не известно — по-видимому, их просто не было^{470}.

Вопрос о том, от Карамзина или от Тургенева стихотворение попало к Рылееву и Бестужеву, решается просто. В данном случае гадать не приходится: Карамзин Рылеева очень не любил и вряд ли согласился бы помогать ему с подбором произведений в альманахах. Нелюбовь эта возникла, очевидно, еще с конца 1820 года, когда в «Невском зрителе» рядом с сатирой «К временщику» Рылеев опубликовал эпиграмму:

Не диво, что Вралев так много пишет вздору,
Когда он хочет быть Плутархом в нашу пору^{471}.

Кроме того, Карамзин был если не личным, то политическим врагом Голицына, сомневался в полезности его деятельности и делился своими сомнениями с государем, а Министерство духовных дел и народного просвещения называл «министерством затмения»^{472}.

Иное дело Александр Тургенев. Скорее всего, именно он отдал стихотворение в альманах — и при этом заручился поддержкой самого Батюшкова. В литературных кругах было хорошо известно, что у больного поэта несанкционированные публикации его стихов вызывают тяжелые приступы агрессивной депрессии.

Вообще роль, так сказать, «административного ресурса» в составлении «Полярной звезды» никогда не изучалась исследователями. Как-то априори считалось, что альманах выходил едва ли не вопреки правительственной воле, преследовавшей его либеральных составителей. Между тем Министерство духовных дел и народного просвещения — в лице одного из его руководителей Александра Тургенева — оказывало альманаху прямую поддержку.

Переписка Тургенева сохранила любопытные подробности его участия в судьбе издания. Так, 6 ноября 1823 года он сообщил Вяземскому «Я

хлопотал за “Полярную звезду” и говорил с цензором о твоих и Пушкина стихах. Кое-что выхлопотал и возвратил стихи Рылееву, поручив ему сказать, что почел нужным. Делать нечего! Многое и при прежней цензуре встретило бы затруднение». Три дня спустя он вновь возвращается к судьбе альманаха: «Еще не знаю, на что решился цензор и что переменили издатели. Прошу Рылеева тебя обо всем подробно уведомить»^[473].

Мы не знаем, уведомил ли Рылеев Вяземского «обо всем» и почему цензор Бируков действительно не пропустил немало стихотворений, предназначенных к помещению во вторую книжку альманаха. Однако из этих писем явствует: у «Полярной звезды» было явное преимущество перед многими другими изданиями. К Бирукову альманах носил лично ближайший сотрудник министра Голицына, действительный статский советник и камергер двора, помощник статс-секретаря департамента законов Государственной канцелярии.

Эти письма, кроме всего прочего, подтверждают факт личного знакомства и делового общения Тургенева и Рылеева, а также проливают некоторый свет на то, почему одним из самых активных деятелей «Полярной звезды», фактически ее третьим составителем оказался князь Петр Вяземский, до 1824 года лично не знавший ни Рылеева, ни Бестужева.

*

Тридцатилетний Вяземский ко времени собирания первого выпуска «Полярной звезды» уже являлся известным литератором. Князь был вхож в придворные круги и имел при этом репутацию отчаянного либерала, говорившего «и встречному, и поперечному о свободе, о деспотизме»^[474]. Прослуживший несколько лет в Варшаве, в марте 1818 года официально переводивший с французского языка на русский речь императора Александра I, произнесенную на открытии Польского сейма, в 1821 году Вяземский был уведомлен о нежелательности его пребывания в Польше, после чего подал прошение о сложении с себя придворного звания камер-юнкера и уехал на жительство в Москву. Вяземский был одним из самых близких друзей Александра Тургенева, — о чем свидетельствует огромная переписка между ними.

Вяземский конечно же заочно хорошо знал обоих составителей альманаха. Его внимание к Рылееву в 1820 году в связи с сатирой «К временщику» привлек тот же Тургенев^[475]. С Бестужевым Вяземский

оказался по одну сторону литературных баррикад: он был одним из самых яростных критиков Шаховского и его «Липецких вод». Неизвестно, кто именно предложил Вяземскому дать его произведения в «Полярную звезду», зато подсчитано, что он лидировал по количеству произведений, отданных в первый выпуск альманаха.

В дальнейшем, в феврале—марте 1823 года, Вяземский познакомился с Бестужевым в Москве — и между ними завязалась оживленная переписка. Бестужев благодарил князя за то, что он прислал свои произведения («несколько новых монет с новым штемпелем таланта») для второй книжки альманаха, и подробно отчитывался о процессе ее собирания: «Жуковский дал нам свои письма из Швейцарии — это барельеф оной. Пушкин прислал кой-какие безделки; между прочими в этот год увидите там кой-каких новичков, которые обещают многое — дай бог, чтоб сдержали обет»; «Гнедич ничего беглого не написал и потому ничего и не дал»; «Денис Васильевич (Давыдов. — А. Г., О. К.) не смиловался и ничем не прислал нам, а его слог-сабля загорелся лучом, вонзенный в “Звездочку”. Не теряю надежды *наперед*, потому что он любил быть всегда впереди»; «Безголового инвалида Хвостова никак не пустим к ставцу»^[476].

Бестужев благодарит Вяземского и за конкретную помощь в составлении издания — в частности, за привлечение к сотрудничеству поэта Ивана Дмитриева. Дмитриев, к тому времени уже пожилой человек (ему исполнилось 63 года), давно был живой легендой русской словесности, признанным «блюстителем», «верным стражем» «парнасского закона». Друг Державина и Фонвизина, Карамзина и Жуковского, он начал литературную деятельность во времена Екатерины II — и успешно совмещал ее с государственной службой в немалых чинах. Отставленный в 1814 году со всех должностей, он с тех пор жил в Москве в почете и уважении.

Ни у Бестужева, ни у Рылеева до 1823 года личных контактов с Дмитриевым не было — по крайней мере, о них ничего не известно. Однако участие маститого поэта придало альманаху большой вес; Бестужев просил Вяземского «поблагодарить почтеннейшего Ивана Ивановича» «за его басенки, они всем очень нравятся»^[477].

Зачем Рылееву и Бестужеву нужна была помощь Вяземского, в целом понятно: его имя, а особенно его контакты в литературных кругах были необходимы как воздух. Сложнее понять другое: зачем Вяземскому своим авторитетом и своими связями нужно было поддерживать двух

начинающих «альманашиков», которые к тому времени отнюдь не считались литераторами первого ряда. Ответ представляется достаточно простым: Вяземский в деле собирания альманаха выполнял не столько просьбы составителей, сколько желание Александра Тургенева. При этом, конечно, никакого министерского приказа касательно собственной литературной деятельности Вяземский, гордый и независимый поэт, не потерпел бы. Да и прямое руководство литературным процессом, как уже говорилось выше, было не в компетенции Тургенева.

Скорее другое: Тургенев, правая рука Голицына, выступал добровольным посредником между министром и литераторами. Сам же альманах был литературным проектом министерства в том смысле, что ему оказывалась информационная и цензурная поддержка. Причем, как следует из переписки Бестужева и Вяземского, оба корреспондента не питали никаких иллюзий относительно ангажированности «Полярной звезды». Бестужев радовался, рассказывая, как «князь Глагол» (в котором исследователи давно уже разглядели Голицына) остался доволен вышедшей в 1824 году книжкой. Вяземского же ангажированность альманаха и в особенности бестужевских критических обзоров раздражала. «Кому же не быть независимыми, как не нам, которые пишут из побуждений благородного честолюбия, бескорыстной потребности души?» — вопрошал он Бестужева в письме от 20 января 1824 года. Князь опасался, что если словесность пойдет по предложенному Бестужевым пути, то «сделается... отделением Министерства просвещения»^[478].

Содержание альманаха свидетельствует: в нем было крайне мало произведений, воспевавших непосредственно Голицына, его политику и его друзей, и вовсе ничего не говорилось о противостоящих Голицыну Аракчееву и «православной оппозиции»^[479]. Смысл этого проекта был в другом: объединить российское литературное пространство, до того расколотое всяческими политическими, эстетическими и лингвистическими спорами. Пространство это должно было стать по преимуществу либеральным и лояльным к министру. Этот-то проект, по видимому, и курировал Александр Тургенев. Очевидно, что идея пришлась по душе Вяземскому — и ради нее он готов был терпеть даже ангажированность «Полярной звезды».

Следует отметить, что в целом проект оказался удачным: второй выпуск альманаха разошелся в три недели тиражом 1500 экземпляров. По справедливому замечанию Фаддея Булгарина, «исключая Историю государства Российского Карамзина, ни одна книга и ни один журнал не

имел подобного успеха»^[480]. Однако в мае 1824 года последовали отставки Голицына и Тургенева. Собранная в этом году и вышедшая на следующий год книжка «Полярной звезды» стала последней.

*

О том, зачем создавался альманах, Бестужев поведал читателям в рекламном тексте, опубликованном в 1823 году в «Сыне отечества»: «При составлении нашего издания г. Рылеев и я имели в виду более, чем одну забаву публики. Мы надеялись, что по своей новосте, по разнообразию предметов и достоинству пьес, коими лучшие писатели украсили “Полярную звезду”, — она понравится многим, не пугая светских людей сухой ученостью, она проберется на камин, на столики, а может быть, и на дамские туалеты и под изголовья красавиц. Подобным случаем должно пользоваться, чтобы по возможности более ознакомить публику с русской стариной, с родной словесностью, со своими писателями». С одной стороны, это объяснение вполне типично: апеллировать к благосклонности светских «красавиц» было со времен Карамзина приемом традиционным. С другой стороны, Бестужев четко дает понять: перед читателем литературная «новость». «На русском языке не было донны подобных книжек», — соглашался с Бестужевым Николай Греч^[481].

И дело тут даже не в относительно новой для российского читателя «альманашной» форме — литературного сборника-ежегодника. «Новость» заключалась прежде всего в том, что никогда раньше журналы не собирали под одной обложкой столько литературных знаменитостей. Большинство из участников «Полярной звезды» — первые имена русской литературы, обусловившие ее золотой век в начале XIX столетия. Для того чтобы полностью проанализировать состав альманаха, следует написать отдельное большое исследование. Пока же заметим, что у многих из тех, кто публиковался в «Полярной звезде», было полно оснований этого не делать.

Весьма показательна история с Пушкиным, который во время собирания первой книжки альманаха был, как известно, в ссылке в Кишиневе, затем переехал в Одессу, а оттуда в Михайловское. Рылеев Пушкин не любил и считал бездарностью. Он сурово критиковал выходившие в журналах «Думы», отмечал в них несообразности и отступления от исторической достоверности и подытожил свои

размышления об этом жанре рылеевского творчества следующим образом: «“Думы” — дрянь, и название сие происходит от немецкого *dumm* (глупый. — А. Г., О. К.)». «Не написал ли ты чего нового? пришли, ради бога, а то Плетнев и Рылеев отучат меня от поэзии», — просил он Вяземского в марте 1823 года^[482]. Скорее всего, Пушкин был знаком с обоими составителями альманаха еще до ссылки, но знакомство это вряд ли можно назвать близким. Друзьями и литературными единомышленниками Пушкин их явно не считал. И нужны были, конечно, особые обстоятельства для того, чтобы он принял приглашение участвовать в альманахе и стал одним из его главных авторов.

В первую книжку «Полярной звезды» Пушкин посылает, по его собственному выражению, свои «бессарабские бредни» — и четыре его стихотворения появляются на ее страницах. В следующем письме Бестужеву, отправленном уже после получения экземпляра альманаха, Пушкин решает «перешагнуть через приличия» и решительно переходит с ним на «ты». В последующей переписке Пушкин и Бестужев будут горячо обсуждать литературные новости и прояснять эстетические позиции. В 1825 году к этому обсуждению присоединится и Рылеев. Сразу же, с первого письма, он перейдет с Пушкиным на «ты»: «Я пишу к тебе *ты*, потому что холодное *вы* не ложится под перо. Надеюсь, что имею на это право и по душе, и по мыслям»^[483].

Никаких оснований соглашаться на предложения Рылеева и Бестужева не было и у Василия Жуковского, и тем не менее он опубликовал в первой «Полярной звезде» семь своих произведений, а во второй — четыре. Поэт с устойчивой литературной и придворной репутацией, близкий к императрице Марии Федоровне, учивший русскому языку великую княгиню Александру Федоровну, жену Николая Павловича, в 1822 году возвратился из заграничного путешествия, проделанного в свите своей ученицы.

Жуковский, как следует из его письма Бестужеву от августа 1822 года, знал того лично — однако, по-видимому, отнюдь не коротко. Несмотря на это, поэт принимает в переписке с собирателем альманаха покаянный тон: «Прошу Вас... уведомить меня, к какому времени должен я непременно доставить Вам свою пиесу. Если бы я знал заранее о Вашем намерении издавать альманах муз, то был уже готов с моим приношением...»^[484]. Участие в альманахе Жуковского, скорее всего, предопределило и сотрудничество в нем Александра Воейкова — родственника и друга поэта, редактора газеты «Русский инвалид», литератора и журналиста с

сомнительной репутацией.

Странна и история с участием в «Полярной звезде» Дениса Давыдова — к тому времени уже знаменитого поэта-партизана. О том, что Давыдов до 1822 года имел представление о литературной деятельности Рылеева и Бестужева, как и о том, что он знал их лично, сведений не сохранилось. Однако на приглашение принять участие в альманахе он ответил согласием, объяснив Бестужеву, что «гусары готовы подавать руку драгунам на всякий род предприятия»^{485}.

Между тем и Пушкин, и Жуковский, и Давыдов были членами литературного общества «Арзамас», в котором состоял и Александр Тургенев, а Вяземский являлся одним из самых активных действующих лиц. «Арзамасцы» составляли тесный кружок близких друзей — даже несмотря на то, что к 1822 году общество уже распалось. Однако назвать Тургенева авторитетом в глазах литераторов можно лишь с большой натяжкой; министерский функционер не участвовал непосредственно в литературном процессе. Вяземский же, всецело погруженный в изящную словесность, был одним из главных связующих звеньев между бывшими членами «Арзамаса», вел обширную переписку с большинством из них. Скорее всего, именно он обратил внимание друзей-литераторов на новый сборник и предложил принять в нем участие.

Конечно, далеко не все участники «Полярной звезды» были креатурами Тургенева и Вяземского. Так, Бестужеву на ранних этапах его карьеры покровительствовали Николай Греч и издатель журнала «Благонамеренный», автор басен Александр Измайлов. Последний был многим обязан отцу Бестужева: первые произведения будущего баснописца появились в «Санкт-Петербургском журнале» Бестужева-старшего. «Я очень помню, что у нас весь чердак завален был бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодovitостью Александр Ефимович: я не один картон слепил из его сказок»^{486}, — вспоминал впоследствии Бестужев-младший. Очевидно, именно Измайлов, в конце 1810-х годов сотрудничавший с Гречем, представил ему будущего составителя «Полярной звезды». Первые его литературные опыты — стихотворные и прозаические переводы — были опубликованы в «Сыне отечества» в 1818 году.

Приятельские отношения связывали составителей альманаха с Евгением Баратынским. Рылеев дружил с Булгариным, Антоном Дельвигом и Николаем Гнедичем (которого поддерживал в полемике, развернувшейся в связи с переводом гомеровской «Илиады» «русским гекзаметром») и был

с детства знаком с Дмитрием Хвостовым и Иваном Крыловым (будущий баснописец в 1797 году получил должность секретаря генерала Сергея Голицына, а затем несколько лет жил в его украинских имениях, где отец поэта служил управляющим)^[487]. И Рылеева, и Бестужева хорошо знали президент Вольного общества любителей российской словесности Федор Глинка и редактор журнала общества «Соревнователь просвещения и благотворения» Петр Плетнев.

Однако без главных действующих лиц тогдашней литературной жизни — Пушкина и Жуковского, Дмитриева и Давыдова, Батюшкова и, конечно, Вяземского — «Полярной звезде» вряд ли удалось бы достичь такого громкого успеха.

*

Общую концепцию альманаха подтверждают критические обзоры Александра Бестужева, предварявшие каждый ее выпуск: в первом это был «Взгляд на старую и новую словесность в России», во втором — «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года», в третьем — «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов».

Исследователи давно отметили, что Бестужев был не первым, кто в России начал писать литературные обзоры. К примеру, Греч в 1815 году из номера в номер «Сына отечества» печатал «Обозрение русской литературы 1814 года». Правда, оно, в отличие от аналогичных обозрений Бестужева, событием в литературе так и не стало.

И Греч, и другие авторы печатали свои обзоры в журналах, где они зачастую терялись среди множества произведений разного качества. Статьи же Бестужева открывали альманах, состоявший из творений лучших литераторов и имевший целью объединение литературных сил. И конечно же они выглядели как программа всего издания. Бестужев довольно бесцеремонно поставил собственное имя во главу литературного процесса.

*

Впоследствии Николай Греч вспоминал об Александре Бестужеве: на попроще русской литературы тот «явился с блистательным успехом и с некоторыми особенностями в мыслях и оборотах, которые один приятель

назвал бестужевскими каплями»^[488]. Действительно, для автора публиковавшихся в «Полярной звезде» обзоров были характерны парадоксальные, даже провокативные суждения, которые зачастую облекались в форму красивых, неожиданных метафор. При этом «бестужевские капли», как правило, не задевали конкретных участников литературного процесса, не множили обидчиков — но рождали желание поспорить «теоретически». Соответственно, такие споры делали альманах еще более популярным.

Собственно, большая часть бестужевских обзоров как раз и состоит из подобных «капель».

С помощью парадоксов критик рассуждает, в частности, о человеческой природе: «Человек есть существо более тщеславное, чем славлюбивое»; «скорбь есть зародыш мыслей, уединение — их горнило», «наша жизнь — бестенная китайская живопись; наш свет — гроб повапленный!».

Однако больше всего «бестужевских капель» встречаем там, где критик размышляет об отечественной литературе. «Одним шагом» он «переступает» «расстояние пяти столетий», утверждает, что в русской словесности «множество стихотворцев» и «почти вовсе нет прозаиков», что «у нас есть критика и нет литературы», «нет гениев и мало талантов литературных». Говоря о современном ему литературном языке, он прибегает к яркой метафоре: «Обладая неразработанными сокровищами слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем золото оного на блестящие заморские безделки».

При этом Бестужев явно не был озабочен логичностью собственных парадоксальных построений. К примеру, с рассуждением о том, что в России «есть критика», соседствуют утверждения об обратном. Отечественная критика, сообщает Бестужев, «ударилась в сатиру, в частности и более в забаву, чем в пользу», и констатирует: «Критик, антикритик и перекритик мы видим много, а дельных критиков мало».

Во «Взгляде», открывавшем альманах на 1824 год, он утверждает, что литературное «дарованье» «заглушается» «без ободрений», как «гаснет лампада без течения воздуха». Через год, в следующем обзоре, он уверяет читателя в том, что гению «ободрение» вовсе не нужно: «Так, его нет, и слава богу! Ободрение может оперить только обыкновенные дарования: огонь очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, — но когда молния просила людской помощи, чтобы вспыхнуть и реять в небе!» Естественно, Бестужев предпочитает не объяснять, чем конкретно отличается «дарование» от «гения». Из обзоров непонятно, какое

отношение имеют все эти рассуждения к отечественной словесности, в которой, по мысли автора, «гениев» вообще нет^[489].

О том, что интеллектуальные провокации автора обзоров достигали цели, свидетельствует, в частности, его и Рылеева переписка с Пушкиным. Пушкин признавался, что Бестужев — один из немногих литераторов, кто может его «разгорячить».

Письма Пушкина Рылееву и Бестужеву наполнены обсуждением «бестужевских капель». «У нас есть критика и нет литературы. Где же ты это нашел? именно критики у нас и недостает... Мы не имеем ни единого комментария, ни единой критической книги... Что же ты называешь критикою? “Вестник Европы” и “Благонамеренный”? Библиографические известия Греча и Булгарина? Свои статьи? Но признайся, что это всё не может установить какого-нибудь мнения в публике, не может почестся уложением вкуса... Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кой-какая у нас есть, а критики нет»^[490].

Еще более серьезно воспринял Пушкин рассуждения Бестужева об «ободрении»: «Ободрения у нас нет — и слава богу! Отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами. Век Екатерины — век ободрений; от этого он еще не ниже другого. Карамзин, кажется, ободрен; Жуковский не может жаловаться, Крылов также... Из неободренных вижу только себя да Баратынского — и не говорю: слава богу!» Столь же яростно Пушкин опровергал фразу Бестужева о том, что «ободрение» нужно только «обыкновенным дарованиям». В спор включается Рылеев, прочитавший письмо Пушкина. Очевидно, с учетом собственного опыта он утверждает: покровительство и одобрение — не одно и то же. «И покровительство в состоянии оперить, но думаю, что оно скорее может действовать отрицательно. Сила душевная слабеет при дворах и гений чахнет; все дело добрых правительств в том, чтобы не стеснять гения», — пишет он Пушкину. «Мне досадно, что Рылеев меня не понимает», — констатирует в итоге Пушкин^[491].

Споры Пушкина с Рылеевым и Бестужевым многократно проанализированы исследователями. Большинство из них видели в этих спорах столкновение традиционно-романтической эстетики составителей «Полярной звезды» с пушкинской «народностью» и «истинным романтизмом»^[492]. Нужно признать, для Пушкина спор этот действительно имел большое теоретическое значение. Однако вряд ли Бестужев, составляя свои обзоры, не знал фактов, которыми оперировал его оппонент; вряд ли он не понимал смысла современной ему литературы, которая строилась

преимущественно по патерналистской модели. К покровительству властей прибегали его коллеги-литераторы: Греч, Булгарин, Свиньин, Рылеев. Сам Бестужев через тех же Греча и Рылеева в полной мере успел воспользоваться этими связями.

Очевидно, что смысл задевших Пушкина высказываний критика, как и большинства других его парадоксов, состоял вовсе не в доказывании истины. Бестужев старался привлечь внимание читателя оригинальностью своих суждений и тем самым зафиксировать собственную претензию на первенство в российской критике. В этом смысле его обзоры достигли цели: тот же Пушкин, страдавший в Михайловском от отсутствия интеллектуальной среды, с нетерпением ждал их. Поэт считал, что его оппонент безусловно «достоин» создать российскую критику^[493].

*

Три бестужевских обзора давно и хорошо изучены: все они представляют собой вариации на тему «упадка» отечественной словесности. В первом автор рассуждает о его причинах в историческом ключе, во втором и третьем утверждает, что причины эти — в том, что современная литература не связана с политикой, не интересуется общественными проблемами. При этом Бестужев, конечно, лукавит: тогдашняя литература не говорила практически ни о чем другом, кроме общественных проблем. Очевидно, эта мысль не была для критика главной; провозглашая необходимость политизации литературы, он намеренно придавал своим статьям больше веса, добивался большей популярности у читателей.

Вообще содержание бестужевских обзоров вызывало недоумение и у современников, и у позднейших исследователей. Так, Карамзин, прочтя первый из них, отметил: «Обозрение русской литературы написано как бы на смех, хотя автор и не без таланта, кажется»^[494]. А историк литературы Н. А. Котляревский констатировал: у Бестужева «нет никакого критического масштаба; он не разделяет ни школ, ни направлений в словесности, он лишь кое-где... верно схватывает основной мотив творчества поэта». Бестужевские характеристики деятелей отечественной словесности Котляревский назвал «сборником сентенций» и отметил, что «главное значение» в его статьях имела «публицистическая тенденция»^[495].

Котляревский прав: критические статьи в «Полярной звезде», при всей их литературной направленности, решали внелитературную задачу. К примеру, сторонники «партии Жуковского», мыслившие одним из своих главных противников автора «Липецких вод» Шаховского, искали в обзорах Бестужева продолжение критики пьесы — однако встречали нейтрально-положительный отзыв: «Князь Шаховской заслуживает благодарность публики, ибо один поддерживает клонящуюся к разрушению сцену». Сам Жуковский тоже заслужил положительный отзыв критика: «Есть время в жизни, в которое избыток неизъяснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет излиться и не находит вещественных знаков для выражения: в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим бывшее»^[496].

Столь же объективным оказался Бестужев и в оценке двух главных эстетических антагонистов эпохи — Николая Карамзина и Александра Шишкова. С Карамзиным ассоциировался «легкий» литературный слог, наполненный заимствованиями из иностранных языков; Шишков же с его книгой «О старом и новом слоге русского языка» противостоял Карамзину, стремясь очистить русский язык от иноземных влияний. Знаменитое «корнесловие» Шишкова базировалось на идее замены слов с иностранными корнями русскими аналогами. С его именем у современников ассоциировались литературное «староверство» и политический консерватизм в аракчеевском духе. Конечно же читатели были вправе предполагать, что, коль скоро Бестужев в ранних статьях критиковал эстетически близких к Шишкову Шаховского и Катенина, образ мыслей Шишкова тоже будет раскритикован. Однако и здесь их ждало разочарование.

Конечно, Бестужев отдавал должное Карамзину: «Он преобразовал книжный язык русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталантных писателей и невежд-переводчиков... долг правды и благодарности современников венчает сего красноречивого писателя, который своим прелестным, цветущим слогом сделал решительный переворот в русском языке на лучшее»; «там (в «Истории государства Российского». — А. Г., О. К.) видим мы свежесть и силу слога, заманчивость рассказа и разнообразие в складе и звучности оборотов языка, столь послушного под рукою истинного дарования»^[497].

Однако и Шишков удостоился безусловной бестужевской похвалы: «Когда слезливые полурусские Иеремиады наводнили нашу словесность, он сильно и справедливо восстал против сей новизны в полемической

книге “О старом и новом слоге”. Теперь он тщательно занимается родословною русских наречий и речений и доводами о превосходстве языка славянского над нынешним русским». Вообще языковые пристрастия Бестужева угадать из его статьи достаточно сложно. Он утверждал: «От времен Петра Великого с учеными терминами вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает язык наш обтрясать с себя пыль древности и гремушки чуждых ему наречий». Таким образом, и «чуждые наречия», и «пыль древности» оказываются для Бестужева равно неприемлемыми. Вообще в качестве одной из главных причин, замедливших ход словесности в России, Бестужев называет «небрежение русских о всем отечественном»^{498}.

При этом в повседневной литературной практике Бестужев был безусловным последователем Карамзина. Язык его повестей, в том числе и опубликованных в «Полярной звезде», вполне укладывается в карамзинскую традицию и никак не связан с «корнесловием»; апелляция к «благодарному взору красавицы» также говорит сама за себя. Однако лично к Карамзину критик относился более чем прохладно. Много лет спустя, в 1831 году, он заметил: «Никогда не любил я бабушку Карамзина, человека без всякой философии... Он был пустозвон красноречивый, трудолюбивый, мелочный, скрывавший под шумихой сентенций чужих свою собственную ничтожность»^{499}. Но и Шишков не пользовался у Бестужева уважением. «Шишков скотина старовер», — безапелляционно заявлял он в сентябре 1824 года в частном письме^{500}.

Однако в обзорах Бестужева четко выражены его политические пристрастия. Они — гимн просвещению, для читателей начала 1820-х годов неразрывно связанному с именем министра Голицына. Русская история представляется ему битвой просвещения с «нищетою и невежеством». Его статьи — борьба с теми, кто не понимает цены просвещения: «Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища, умноженные благотворным монархом и поддержанные щедротами короны, разливают свет наук, но составляют самую малую часть в отношении к многолюдству России. Недостаток хороших учителей, дороговизна выписанных и вдвое того отечественных книг и малое число журналов, сих призм литературы, не позволяют проникать просвещению в уезды, а в столицах содержать детей не каждый в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян усугубляет сии препоны»^{501}.

Таким образом, задача, которую поставил перед собой и блестяще

решил Бестужев, была сходна с задачей всего альманаха. Из разрозненных писательских группировок, разделенных и эстетическими, и политическими пристрастиями, а зачастую и личной враждой, предстояло создать единое литературное пространство и — шире — культурное поле, подконтрольное министру просвещения.

*

Сразу после выхода первой книжки «Полярной звезды» стало ясно: ситуация в российской словесности изменилась. По свидетельству участника заговора Николая Лорера, который не был литератором, но внимательно наблюдал за общими настроениями в Петербурге, альманах оказался «на всех столах кабинетов столицы»^[502]. Ее составители, еще вчера второстепенные молодые литераторы, в одночасье стали организаторами литературного процесса, а Бестужев, кроме того, еще и арбитром, с мнением которого уже нельзя было не считаться. И этот новый статус составителей альманаха был подтвержден авторитетом самых знаменитых писателей, поэтов и журналистов, от Пушкина и Жуковского до Греча и Булгарина. Естественно, подобная ситуация задевала честолюбие очень многих литераторов, в том числе и тех, кто печатался в «Полярной звезде», но до ее выхода не представлял себе общей концепции издания.

«Временными заседателями нашего Парнаса»^[503] назвал Рылеева и Бестужева Александр Измайлов. И это мнение разделяли многие: непонятно откуда взявшиеся репутации составителей альманаха стали раздражать современников. Они сами подогревали желание критиковать «Полярную звезду»: видимо, поверив в свое право руководить литературным процессом, они часто редактировали присланные в альманах авторские тексты. Переписка Рылеева и Бестужева с участниками «Полярной звезды» сохранила, в частности, возмущенные отповеди Вяземского и Пушкина^[504].

Против «Звезды» в печати выступали многие литераторы — и Петр Плетнев, и Александр Воейков, и Михаил Каченовский, и другие журналисты и литераторы. Тот же Измайлов, задетый отзывом Бестужева о собственном журнале «Благонамеренный», в начале 1824 года шокировал светское общество своим появлением на маскараде в костюме «Полярной звезды», со звездами на сюртуке и «барабаном критики» на шее. Об этой

истории упоминает Булгарин в одном из номеров «Литературных листков»: Измайлов «представляет себя вооруженного фонарем критики, рассматривающего произведения так называемых баловней поэтов и прозаиков, и даже не пощадил своих собственных произведений»^{505}.

*

В январе 1824 года, когда вторая книжка «Полярной звезды» еще только выходила из печати, Бестужев написал Вяземскому: «Дельви́г и Слѣнин грозятся тоже “Северными цветами” — быть банкротству, если Вы не дадите руки»^{506}. Перед нами — первое упоминание о расколе в литературе и журналистике, который, не случись 14 декабря 1825 года, имел бы далеко идущие последствия.

Собственно, время собирания последней книжки альманаха — весь 1824 год и начало 1825-го — было для Рылеева и Бестужева очень тяжелым. Голицын потерял министерский пост, отставленный со всех должностей Тургенев покинул столицу и не мог больше оказывать покровительство писателям и журналистам. Некоторые сторонники бывшего министра — тот же Греч и цензор Бируков — подверглись уголовному преследованию. Ситуация осложнялась тем, что Рылеев в момент собирания альманаха уже вступил в тайное общество и осознал себя его лидером; кроме того, пост правителя дел Российско-американской компании отнимал много времени. Альманах не вышел в срок, к началу года; читатели увидели его лишь весной 1825-го (цензурное разрешение было получено 20 марта). В объявлении о выходе третьей книжки альманаха Рылеев и Бестужев просили прощения у «почтенной публики» за это «невольное опоздание»: «Если она («Полярная звезда». — А. Г., О. К.) была благосклонно принята публикой как книга, а не как игрушка, то издатели надеются, что перемена срока выхода ее в свет не переменит о ней общего мнения»^{507}.

История возникновения альманаха-конкурента хорошо известна: в процессе подготовки второй книжки «Полярной звезды» Рылеев и Бестужев поссорились со своим издателем, книгопродавцем Иваном Слѣниным, и решили отказаться от его услуг. Слѣнин предложил Дельви́гу издавать «Северные цветы» и получил его согласие. За составление альманаха Слѣнин обещал заплатить Дельви́гу четыре тысячи рублей. Новый альманах опирался на тот же круг авторов, что и «Полярная звезда»,

— других литераторов, чьи имена способны были бы привлечь читателей, в ту пору в России просто не было.

Чтобы не потерять «звездный» состав своего издания, Рылеев и Бестужев решили поставить издание на коммерческую основу: начали платить авторам гонорары. Финансистом проекта стал Рылеев: с помощью разного рода финансовых операций ему удалось добыть сумму, необходимую и для публикации третьей книжки, и для выплаты денег авторам^[508]. «Во второй половине 1824 г. родилась у Кондратия Федоровича мысль издания альманаха на 1825 год с целью обратить предприятие литературное в коммерческое. Цель... состояла в том, чтобы дать вознаграждение труду литературному более существенное, нежели то, которое получали до того времени люди, посвятившие себя занятиям умственным. Часто их единственная награда состояла в том, что они видели свое имя, напечатанное в издаваемом журнале; сами же они, приобретая славу и известность, терпели голод и холод и существовали или от получаемого жалованья, или от собственных доходов с имений или капиталов», — вспоминал друг Рылеева Евгений Оболенский. «Вознаграждение за литературный труд точно было одною из основных целей издания альманаха», — подтверждает его слова Михаил Бестужев, брат издателя «Полярной звезды»^[509].

«Литературное “соперничество” перерастало, таким образом, в борьбу торговых фирм. Грань между “словесностью” и “коммерцией” становилась исчезающе тонкой», — утверждает В. Э. Вацуро в книге, посвященной «Северным цветам»^[510]. Издатели «Полярной звезды» считали, что за «предприятием» Дельвига стоит недовольный альманахом Воейков, желавший «подорвать» авторитет «Звезды» и для того составивший план «Северных цветов». Верный своей «разбойничьей» тактике, Воейков пиратским образом перепечатал отрывок поэмы Пушкина «Братья-разбойники», предназначенный для новой книжки «Полярной звезды», и напечатал его в «Новостях литературы» — приложении к издаваемой им газете «Русский инвалид»^[511].

Бестужев был убежден, что Дельвиг — лишь исполнитель коварных замыслов Воейкова, что люди из окружения издателя «Русского инвалида» делают всё, чтобы поссорить его с Жуковским, Пушкиным и Баратынским. «Мутят нас через Льва (Пушкина, брата поэта. — А. Г., О. К) с Пушкиным; перепечатывают стихи, назначенные в “Звезду” им и Козловым, научили Баратынского увезти тетрадь, проданную давно нам, будто нечаянно»; «[Жуковский] обещал горы, а дал мышь. Отдал “Иванов вечер” и взял

назад; а теперь... в то самое время отказал на мое письмо, уверяя, что ничего нет, когда отдавал Дельвигу новую элегию»; «...одним словом, делают из литературы какой-то толкучий рынок», — жаловался Бестужев Вяземскому^[512].

Благодаря финансовой политике составителей «Полярной звезды» на ее страницах оказалось много известных имен, в частности Пушкина и Жуковского.

Большинство главных сотрудников «Полярной звезды» участвовали в обоих альманахах. Однако в последнем ее выпуске не было произведений редактора «Северных цветов» Дельвига, не прислал своих стихов участвовавший во втором выпуске Кюхельбекер, не печатались Александр Измайлов и некоторые другие авторы. В третьей книжке было много «литературной продукции» сомнительного качества, вышедшей из-под пера малоизвестных начинающих литераторов. Стало ясно, что альманах в прежнем его виде — объединявший всех и дававший издателям право быть «заседателями на Парнасе» — больше существовать не будет.

*

«Полярная звезда» перестала выходить не из-за того, что случилось восстание на Сенатской площади. Трудно выявить и прямую связь между прекращением издания и отставкой Голицына. Проект исчерпал себя не потому, что Рылеев и Бестужев были плохими издателями, и не потому, что их альманах стал качественно уступать тем же «Северным цветам». Дело, очевидно, было в том, что идея создания единого культурного и литературного пространства в начале XIX века не была органичной для российских литераторов и не имела для своего существования других предпосылок, кроме административных.

После появления «Северных цветов» литераторы вновь разделились по «партиям»: «партия» Рылеева, включавшая Бестужева, Ореста Сомова, Греча, Булгарина и некоторых других авторов, вступила во вражду с «партией Дельвига», к которой примкнули Воейков, Жуковский и Баратынский и которую в целом поддерживал Пушкин.

Особняком в этой борьбе стоял, например, Свиньин, не приглашенный ни в один из альманахов, но конечно же не забывший травлю со стороны близких к «Полярной звезде» литераторов. Его учеником был молодой московский журналист Николай Полевой, с 1825 года начавший выпуск своего журнала. «В Москве явился двухнедельный журнал “Телеграф”, изд.

г. Полевым. Он заключает в себе всё, извещает и судит обо всём, начиная от бесконечно малых в математике до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить и частое пристрастие — вот знаки сего “Телеграфа”, а “смелым владеет Бог” — его девиз», — писал Бестужев в своем последнем обзоре^[513]. Этот отзыв стал причиной резкой критики в адрес альманаха, прозвучавшей со страниц «Московского телеграфа», за которую, в свою очередь, на Полевого ополчились Греч и Булгарин. «Страх журнальной конкуренции заставил журналистов-монополистов встретить новый печатный орган в штыки; Полевой не остался в долгу, и вскоре между “Московским телеграфом” и изданиями Греча— Булгарина началась настоящая литературная война» — таким видит итог полемики двух изданий О. А. Проскурин^[514].

В конце 1825 года в «Сыне отечества» Рылеев опубликовал статью «Несколько мыслей о поэзии» — одно из последних своих произведений, которые он увидел напечатанным. Статья эта нехарактерна для Рылеева: талантом критика и теоретика литературы он явно не обладал. Ее содержание достаточно тривиально: Рылеев сравнивает «подражательную» («классическую») литературу с «оригинальной» («романтической») — и отдает пальму первенства романтизму. Мысли эти были не новы; к примеру, тот же Бестужев в своих обзорах постоянно ратовал за оригинальность и самобытность поэзии, утверждал, что словесность в России «замедляет ход», в частности, оттого, что литераторов «одолела страсть к подражанию»^[515].

Очевидно, что статья писалась не для того, чтобы повторять и так всем понятное. Ее задача была другая: Рылеев в последний раз попытался, облекая свою мысль в теоретико-литературные рассуждения, призвать собратьев по перу к объединению: «Итак, будем почитать высоко поэзию, а не жрецов ее, и, оставив бесполезный спор о романтизме и классицизме... употребим все усилия осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин, всегда близких человеку и всегда не довольно ему известных»^[516].

Однако статья прошла незамеченной, призыв к единству так и не был услышан. Последствия же новой литературно-журнальной войны в полной мере сказались уже в другую эпоху, когда власть в России сменилась, а Рылеев и Бестужев были признаны государственными преступниками. Эта война серьезно отличалась от всех предыдущих, ибо в ее основе лежали не столько эстетические и политические пристрастия воюющих сторон,

сколько их представления о коммерческой выгоде и способах ее достижения. В историческом смысле Бестужев оказался прав: журналистика постепенно стала превращаться в «толкучий рынок».

Глава четвертая.
**«БОРЬБА СВОБОДЫ С
САМОВЛАСТЬЕМ»**

«Хотели зарезать Россию»

Шестнадцатого декабря 1825 года, по горячим следам произошедшего в столице восстания, Василий Жуковский написал Александру Тургеневу, находившемуся тогда за границей. Письмо его хорошо известно: преисполненный патриотического восторга, поэт рассказывает, как «Провидение сохранило Россию». Согласно Жуковскому, «государь отстоял свой трон; в минуту решительную увидели, что он имеет и ум, и твердость, и неустрашимость. Отечество вдруг познакомилось с ним, и надежда на него родилась посреди опасности, устраненной его духом. Такое начало обещает многое. Теперь он может утвердиться в любви народной».

Жуковский сообщает Тургеневу, как после событий он встретился «с к[нязем] Александром] Николаевичем] Голицыным», который описал ему «сцену величественную» — выступление молодого императора в Государственном совете после разгона мятежников. «Государь говорил твердо, сильно и решительно, — пересказывает автор слова Голицына, — с величайшею ясностью описал всё происшествие, изобразил, как он об нем думает и какие меры приняты для безопасности государства».

Согласно Голицыну (в передаче Жуковского), Николай I «говорил так красноречиво, как подобает государю». «Одним словом, во все эти решительные минуты он явился таким, каков он быть должен: спокойным, хладнокровным и неустрашимым», — резюмирует поэт.

Добродетельному государю, по Жуковскому, 14 декабря противостояли «малодушные подлецы» и «презренные злодеи, которые хотели с такою безумною свирепостью зарезать Россию».

«Какая сволочь! — восклицает Жуковский. — Чего хотела эта шайка разбойников? Вот имена этого сброда. Главные и умнейшие Якубович и Оболенский; все прочие мелкая дрянь: Бестужевы 4, Одуевский, Панов, два Кюхельбекера, Граве, Глебов, Горский, Рылеев, Корнилович, Сомов, Булатов и прочие».

«И в ту же ночь все заговорщики схвачены, — с удовлетворением констатирует поэт. — Но подумай, кто еще взят? Трубецкой... Во время дела он нигде не являлся; но план заговора и конституции, писанный его рукою, находится в руках императора. Сначала он от всего отрекся; но когда император показал ему бумагу, то он упал на колени, не имея возможности ни отвечать, ни защищаться. По сию пору не найден только один Кюхельбекер, и, признаться, это несколько меня беспокоит. Он не

опасен, как действительный открытый: он и смешон, и глуп; но он бешен — это род Занда^[12]! Он способен в своем фанатизме отважиться на что-нибудь отчаянное, чтобы приобрести какую-нибудь известность. Это зверь, для которого надобна клетка»^{517}.

Письмо это удивительно по тональности. Много знавший, тонко чувствовавший и глубоко религиозный поэт был в принципе чужд подобной риторике. Он не мог не понимать, что на его глазах произошла страшная и кровавая драма — одна из тех, которые неминуемо меняют ход истории. Удивляют и оценки Жуковским отдельных персонажей этой драмы. В частности, Рылеев и Александр Бестужев, в альманахе которых поэт считал за честь быть напечатанным, превратились под его пером в «сволочь». Таких же эпитетов удостоились и авторы «Полярной звезды» Александр Корнилович, Николай Бестужев и Орест Сомов (впоследствии, кстати, признанный непричастным к заговору). Вильгельм Кюхельбекер, лицейский друг Пушкина, всем известный сумасброд Кюхля, считавший Жуковского одним из своих учителей в поэзии, вдруг стал страшным и опасным для общества «зверем».

С этими людьми Жуковского связывала общая сфера деятельности — литература. Они могли расходиться во взглядах на будущее России, на императорскую фамилию, на поэзию вообще и на Байрона в частности — но всего этого, конечно, было явно недостаточно, чтобы назвать заговорщиков «мелкой дрянью».

Письмо странно и тем, что подобных резких суждений об участниках восстания у Жуковского больше не найти. Более того, впоследствии он будет многократно хлопотать за государственных преступников перед Николаем I, уговаривать императора объявить амнистию или хотя бы смягчить участь осужденных, в том числе и «зверя» Кюхельбекера. В 1830 году после одного из неудачных разговоров с императором на эту тему он запишет «на листочке бумаги»: «Если бы я имел возможность говорить, — вот что бы я отвечал... я защищаю тех, кто Вами осужден или обвинен перед Вами; но это служит только доказательством моей доверенности к Вашему характеру. Разве Вы не можете ошибаться? Разве правосудие (особливо у нас) безошибочно? Разве донесения Вам людей, которые основывают их на тайных презренных доносах, суть для Вас решительные приговоры Божий? Разве Вы можете осуждать, не выслушав оправдания?., и разве могу, не утратив собственного к себе уважения и Вашего, жертвовать связями целой моей жизни?»

По словам же императора, Жуковского называли «главою партии,

защитником всех тех, кто только худ с правительством»^[518].

Очевидно, что письмо к Александру Тургеневу никоим образом не отражало мнение Жуковского о произошедшем 14 декабря событии. Логично предположить, что рассказ про негодяев, собиравшихся «зарезать Россию», был адресован вовсе не Тургеневу. Письмо пересылалось за границу, а значит, вполне могло быть — и, скорее всего, было — перлюстрировано. Смысл же послания был вовсе не в том, чтобы заклеить тех, кто и так был заклеен в разного рода правительственных сообщениях. В письме содержались сведения, которые, как полагал Жуковский, могли представлять для его корреспондента жизненно важный интерес.

О чем же сообщал поэт Александру Тургеневу? Во-первых, о том, что «главными и умнейшими» среди мятежников считаются Александр Якубович и Евгений Оболенский, а автором «плана заговора и конституции» был Сергей Трубецкой — все трое офицеры, хорошо известные в столице. А значит, мятеж был следствием именно военного заговора и расследование пойдет именно по этому, военному, следу. В письме сообщалось и о том, что князь Голицын, бывший министр и начальник Тургенева, допущен к императору; он участвовал в историческом заседании Государственного совета — следовательно, вне всяких подозрений. Картину портило участие в восстании людей, в прошлом тесно связанных с Голицыным и самим Тургеневым, — Рылеева, Александра Бестужева, других литераторов. Однако они в данном деле оказались не главными, «мелкой дрянью», и их связи с бывшими министерскими функционерами расследоваться, скорее всего, не будут.

Жуковский показывал Тургеневу расклад сил, сложившийся в связи с воцарением Николая и мятежом в столице. Очевидно, он предоставлял своему корреспонденту самому делать вывод, следует ли ему возвращаться в Петербург.

Получив в Лондоне письмо Жуковского, Александр Тургенев ответил на него. Из этого ответа, в частности, следует, что он адекватно понял смысл послания, но не вполне поверил другу. «Здесь слухи и о других участниках (восстания 14 декабря. — А. Г., О. К.), — пишет Тургенев, — но, кажется, замешалась личность. Недаром вмешали и библейские общества. Грустно думать, как это удалит совершение надежд для будущего»^[519].

В следующем письме Жуковскому, написанному в марте 1826 года, Тургенев выразится еще более определенно: «Узнал я, что прошли слухи в

Париже, якобы и наше имя замешано в число обвиняемых... Мысль оправдания воротит мою душу»^{520}.

Александр Тургеневу было чего бояться: в глазах многих современников деятельность Голицына и созданных им структур не только противоречила «вере православной», но и оказывалась связанной с деятельностью тайных обществ.

Так, к примеру, Шишков, через десять дней после своего назначения министром просвещения, 25 мая 1824 года, просил у императора полномочий «употребить способы к тихому и скорому потушению того зла, которое хотя и не носит у нас названия карбонарства, но есть точно оно». Новый министр объяснял царю, что «Министерство просвещения... явно и очевидно попускало долгое время расти сему злу, и, мало сказать, попускало, но оказывало тому всякое покровительство и ободрение»^{521}.

Эти филиппики Шишкова в полной мере разделял архимандрит Фотий. Еще до падения Голицына он писал императору, что «общество, верующее во Антихриста, *общество карбонариев*, всячески старается к 1836 году сделать приуготовления, аки бы к учреждению единого Царства Христова. Ибо в 1836 году замысел есть, что уже все *царства, церкви, религии, законы гражданские* и всякое устройство должны быть уничтожены, и должна аки бы начаться какая-то единая в сем мире *новая религия* — *едино стадо, единое царство*, и должен быть аки бы единый какой-то *царь*, коего столица предназначается быть в *Иерусалиме* (курсив в тексте. — А. Г., О. К.)». Естественно, во главе «общества карбонариев» Фотий усматривал Голицына, первыми его приспешниками называл начальников министерских департаментов Тургенева и Попова, а также попечителей нескольких учебных округов. Пособниками заговорщиков объявлялись «Греч — первый злодей с сей стороны и Тимковский»^{522}.

До самой смерти императора Шишков и Фотий пугали его революционным заговором, во главе которого по-прежнему видели Голицына. Согласно Шишкову, деятельность Библейского общества сводилась к тому, чтобы «истребить правоверие, возмутить отечество и произвести в нем междоусобия и бунты». Печатавшиеся с дозволения Голицына мистические книги проповедовали «низвержение всякой христианской веры, отвращение от священных писаний и позыв на восстание против всех первосвященников, всех вельмож и царей». После смерти Александра I Шишков писал письма императору Николаю, в которых внушал новому царю те же идеи. «Всё сие (восстание 14 декабря. — А. Г., О. К.), как во Франции, так и у нас, породилось от

распространения и чтения мистических, безнравственных книг и журналов, без должного рассмотрения проходивших через слабую цензуру»^[523].

Те же мысли встречаем и в позднейших письмах Фотия^[524]. Он, в частности, писал императору по поводу одной из книг, изданных под покровительством Голицына: «Сего 1824 года, марта на 30-е число, на Вербное воскресенье, было мне видение от Бога послано: предстал мне Ангел Божий во время дремания моего, разогнул книгу, имея в руках передо мною, и был глас с неба: “Зри и разумей!” И в сей книге нигде, ни сверху, ни снизу, ничего не было написано, а посредине только по обеим страницам в одну черту были сии слова: “Сия книга составлена для революции: и теперь намерение ее революция”»^[525].

«Мнения» Шишкова вполне могли бы быть объяснимы его пожилым возрастом, усилившейся с годами мнительностью, завистью к предшественнику — царскому confidentу. Фотий же был известен всей России как человек неуравновешенный, способный на неадекватные слова и поступки. Их высказывания вообще можно было бы не принимать в расчет, если бы они были одиноки в поисках «карбонариев» в министерских кабинетах. Однако после падения министра мнение о нем и его сподвижниках как идеологах заговорщиков проникло в образованные слои дворянства. Так, например, из письма московского почт-директора Александра Булгакова брату Константину, почт-директору в Северной столице, следует, что московское общество, узнав об отставке того же Александра Тургенева, сошло во мнении: «Туда и дорога, мартинист^[13]!» «Общее мнение столь поражено карбонариями, что все секты относят к ним», — утверждал автор письма^[526].

После событий 14 декабря людей, верящих в то, что бывший министр — идеолог заговорщиков, стало намного больше. В анонимном доносе на высших должностных лиц империи, сочувствовавших заговорщикам, о князе Голицыне сказано, что он с «тайной целью» допускал «по домам ночные собрания, под наименованием религиозных и нравственных поучений». Князю ставили в вину даже распространение Библии: согласно донощику, от этого «слышны уже были толки крепостных людей о равенстве их с господами, родившиеся от всеобщего чтения». По мнению автору доноса, Голицын и такие, как он, «аристархи» «не были членами пагубных клубов, но знали их и были важными орудиями к направлению варварских замыслов... удерживали себя на черте неприкосновения, разительно всеми возможными средствами действуя, как-то: явными осуждениями всех без изъятия дел правительства, представлением будто бы

коротко известных им в монархе недостатков, а, наконец, восклицаниями, что ничего хорошего ожидать нельзя и что гибель с подобными распоряжениями неизбежна»^{527}.

О произвольном чтении и вольном истолковании Библии как основе российской революционности доносил в 1827 году в Третье отделение Булгарин: «Пусть говорят, что хотят, но Библия и Евангелие есть республиканский кодекс в устах искусного толкователя. Я помню, как наши революционеры толковали тексты: *Бог в наказание дал царя; Да не будет между вами ни первого, ни последнего*, и подобные правила разносились с восторгом»^{528}.

И даже в 1830-е годы, когда Николай I вполне утвердился у власти, а Голицын снова вошел в силу при дворе, обвинения эти не утихли. В отчете Третьего отделения императору за 1830 год сообщалось о реакции «мелкого дворянства и купцов» на революционные события во Франции: «Делали некоторое сопоставление Парижской революции с 14 декабря у нас и говорили: “И у нас Аракчеев да мистики взбесили народ и заставили молодых людей взбунтоваться”»^{529}. Голицын же получал письма следующего содержания: «Вы любите Христа! А Вы, бывши министром духовных дел и народного просвещения, покровительствовали Его противникам, подавали гвозди Его распинающим! Вы любите государя! А Вы наставляли 20 лет цареубивцев. <...> Вы любите Россию! Вы из столбовых дворян! должны ее любить; у Вас преподавалась революция, научалось, как приводить в исполнение правила Марата и Робеспьера. Вам всё было известно, но Вы молчали, Вы радовались преподаванию ложных теорий, которые 25 лет губят нас, которые связали Россию, как овцу на заклание»^{530}.

Естественно, Тургенев знал о подобных «мнениях» и «слухах». И хотя напрямую деятельность поздних тайных обществ, а тем более восстание на Сенатской площади не были связаны с Голицыным, однозначным сторонником воцарения Николая I, его бывший подчиненный имел все основания усомниться в правильности сделанного Жуковским прогноза.

*

Между тем сегодня уже не вызывает сомнений факт, что Союз благоденствия, самое многочисленное тайное общество в России в 1820-х годах, задумывался вовсе не как собрание революционеров, стремящихся

во что бы то ни стало убить царя и разрушить самодержавие. Между деятельностью этой организации и последующими событиями на Сенатской площади можно выявить лишь весьма условную связь. И это хорошо видно при анализе устава Союза^[531].

Устав декларировал: целью организации было «споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия, к коей она самим творцом предназначена». Ничего противоречащего «видам правительства» в Союзе, согласно уставу, быть не могло: он создавался для того, чтобы обратить «собственную волю» частных людей «к цели правительства, к *пользе общей*». Устав гласил: «Всякий член имеет право учреждать или быть членом всякого рода правительством одобренных обществ... Вступление же в такие общества, кои правительством не одобрены, членам Союза воспрещается; ибо он, действуя к благу России и, следовательно, к цели правительства, не желает подвергнуться его подозрению»^[532].

Однако никто из исследователей не задавался вопросом, какое именно «правительство» имелось в данном случае в виду. Вряд ли под «правительством» подразумевался Александр I с его либеральными начинаниями послевоенных лет. Странно было бы предполагать, что абсолютный монарх нуждается в поддержке общества, а тем более тайного, и будет оглядываться на него в своей деятельности. Понятно, что Союз благоденствия не мог был быть создан для поддержки Аракчеева, начальствовавшего над канцелярией Комитета министров и тем самым имевшего непосредственное отношение к «правительству». Почти ничего не говорится в уставе и о военной сфере деятельности «правительства» — несмотря на то, что многие члены Союза были офицерами, а послевоенное положение армии оставляло желать много лучшего.

Как известно, деятельность членов Союза благоденствия должна была охватывать «четыре главные отрасли»: «человеколюбие», «образование», «правосудие» и «общественное хозяйство». Две первые дублировали деятельность возглавлявшихся князем Голицыным государственных и общественных организаций.

Как следует из текста устава, Союз благоденствия «вменял» себе в «святую обязанность» распространение «истинных правил нравственности и просвещения». И эта благая цель полностью согласовывалась с целью Министерства духовных дел и народного просвещения. Согласно «Учреждению» этого министерства, оно как раз и должно было блюсти «истинное просвещение». Авторы «Учреждения» утверждали, что

основанием такого просвещения должно быть «христианское благочестие». Авторы устава тоже считали истинную веру необходимой принадлежностью «образования». Члены Союза были обязаны «распространять истину» о том, что «человек не иначе, как с помощью веры, может преодолеть свои страсти, противостоять неприязненным обстоятельствам и таким образом шествовать по пути добродетели»^{533}.

Устав признавал желательность вступления в ряды Союза священников. Вполне в духе «внутренней церкви» Голицына устав утверждал, что «вера наша состоит не в наружных только признаках, но в самых делах наших». Духовные особы, состоявшие в Союзе благоденствия, должны были «иметь надзор» за своими собратьями, «вне Союза состоящими», сообщать в него «замечания свои насчет их поведения, дабы он мог споспешествовать трудам добродетельных и уничтожать козни порочных»^{534}.

Устав Союза благоденствия утверждал: под надзором этой организации должны были «находиться все без исключения народные учебные заведения». Однако «заведение и устройство училищ» было предметом деятельности Министерства духовных дел и народного просвещения. Союз должен был заниматься сочинением и переводом «книг, как хороших учебных, так и тех, кои служат к изяществу полезных наук». Однако составление учебных пособий тоже было министерской прерогативой. Союз собирался «исправлять нравы» «изданием повременных сочинений, сообразных степени просвещения каждого сословия, сочинением и переводом книг, касающихся особенно до обязанностей человека» — но цензура, которую эти «сочинения» не могли миновать, опять-таки находилась в ведении Министерства просвещения^{535}.

Еще более показательны предполагавшиеся действия Союза благоденствия в сфере «человеколюбия». «Под надзором Союза» должны были состоять, согласно уставу, «все человеколюбивые заведения в государстве, как то: больницы, сиротские дома и т. п., также и места, где страждет человечество, как то: темницы, остроги и проч.». И это вполне согласовывалось с деятельностью возглавлявшегося тем же Голицыным Императорского человеколюбивого общества и основанного им Попечительного общества о тюрьмах. Вообще членам Союза предписывалось работать в тесном контакте с этими организациями, уговаривать «соотечественников к составлению человеколюбивых обществ и заведений» и вступать «во все, уже ныне существующие»^{536}.

Союз благоденствия собирался снабжать «праздношатающихся людей работами, стараясь помещать их сообразно их способностям и учреждая рабочие заведения, в которых бы упражняющиеся находили верное и безнуж[д]ное пропитание». Императорское человеколюбивое общество старалось «выводить из состояния нищеты тех, кои трудами своими и промышленностью себя пропитать могут»; оно и создавалось, в частности, «для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам не способных». Члены же Союза благоденствия собирались «устраивать пристанища» «для таких, которые уже не в силах кормиться трудами своими»^{537}.

Конечно же сфера деятельности Союза благоденствия, заявленная в уставе, была шире сферы деятельности Голицынских организаций. В частности, по его ведомству не проходили две из четырех «отраслей» Союза: «правосудие» и «общественное хозяйство». И если «общественное хозяйство» хоть в какой-то мере занимало Голицына (в докладе об образовании Библейского общества утверждалось, что «чтение Священного писания» благотворно влияет «на поощрение к промышленности»^{538}, а доверенным лицом Голицына был министр финансов Дмитрий Гурьев), то «правосудием» князь, по-видимому, не интересовался вовсе.

В реальности основная работа членов Союза благоденствия шла как раз в области литературы, просвещения, благотворительности и т. п. И можно, в принципе, представить себе, что авторы устава не понимали: коль скоро они собираются сотрудничать с правительством, вторгаясь в компетенцию Голицына, им придется иметь дело и с его министерством, и с ним самим. Однако, организовывая, к примеру, Общество для заведения училищ по методу взаимного обучения (1819), они не могли не знать, что оно стало структурным подразделением Министерства духовных дел и народного просвещения^{539}, а его члены по делам организации ланкастерского обучения общались с министром.

Таким же структурным подразделением министерства было и Вольное общество любителей российской словесности, которое многие исследователи считали и считают «легальным» филиалом Союза благоденствия. Как уже говорилось выше, либеральные журналы 1820-х годов были наполнены славословиями в адрес Голицына и Библейского общества.

Факты свидетельствуют о том, что роль Союза благоденствия в русском обществе 1820-х годов была, скорее всего, сходна с ролью Библейского общества. Последнее существовало для поддержки

религиозных инициатив министра, первый же — для поддержки его просветительских и гуманитарных инициатив.

В этом смысле интересен фрагмент из показаний отставного подполковника Владимира Штейнгейля — заговорщика, в 1820-х годах пользовавшегося покровительством министра духовных дел и народного просвещения. Штейнгейль передает свой разговор с титулярным советником Степаном Семеновым, секретарем Союза благоденствия, с февраля 1819 года служившим в департаменте духовных дел «сугубого» министерства. Разговор этот состоялся в Москве уже после разгрома восстания на Сенатской площади. Семенов сказал тогда Штейнгейлю: «Я сам того и смотрю, что меня схватят».

Свой последующий диалог с Семеновым Штейнгейль передает следующим образом: «“Почему же?” — спросил я. — “Да если правда, как говорят, что у некоторых взяты бумаги, то доберутся и до меня, потому что я, когда служил у князя (Александра Николаевича) Голицына, при Тургеневе был секретарем всех этих тайных обществ: *Союза благоденствия* — и мало ли их там у них было!”».

Штейнгейль утверждал в показаниях, что передал слова Семенова «единственно по внутреннему сердцу своего убеждению, что благоденствие Отечества моего и драгоценная безопасность государя того требуют, чтобы, наконец, верховное правительство не обманывалось, чтобы оно в полной мере обняло разлитие беспокойного духа и узнало те самые пружины, которые, может быть, уже давно скрываясь в недрах самого правительства, волновали, подготавливали умы». Отставной подполковник был убежден: «Истинный корень республиканских порывов сокрывается в самом воспитании и образовании, которые в течение 24 лет само правительство давало юношеству... Чтобы истребить корень свободномыслия, нет другого средства, как истребить целое поколение людей, кои родились и образовались в последнее царствование»^{540}.

Союз благоденствия распался в начале 1821 года, после «семеновской истории». На Московском съезде, деклариовавшем роспуск организации, председательствовал Николай Тургенев. Согласно воспоминаниям участника съезда Ивана Якушкина, «решено было объявить повсеместно, во всех управах, что, так как в теперешних обстоятельствах малейшей неосторожностью можно было возбудить подозрение правительства, то Союз благоденствия прекращает свои действия навсегда. Этой мерой ненадежных членов удаляли из общества». Он же сообщает, что «удалить» следовало не только «ненадежных», но и радикальных сторонников Павла

Пестеля — его самого просто не пригласили на съезд^{541}.

По-видимому, Пестеля не хотели звать во вновь образовывавшуюся организацию не только по причине чрезмерной радикальности. Его отец, генерал-губернатор Сибири, был ставленником Аракчеева, и в столице об этом прекрасно знали. В 1819 году Пестель-старший был позорно и громко отставлен со своего поста. В мемуарах он заметит, что князь Голицын был одним из инициаторов этой отставки. «Аракчеевское» прошлое «сибирского сатрапа» пятном ложилось и на репутацию его сына: в армии Пестеля-младшего считали «шпионом графа Аракчеева»^{542}.

Не согласившиеся с решением съезда Пестель и его сторонники постановили «общество продолжать» — и создали организацию, именуемую историками Южным обществом. Однако до самого декабря 1825 года южные заговорщики не могли договориться о совместных действиях с заговорщиками столичными.

Первого августа 1822 года император Александр I издал знаменитый указ о запрещении тайных обществ. Известный историк великий князь Николай Михайлович утверждал: «Эта мера на деле вряд ли была действенна и, может быть, только отчасти отразилась на масонских ложах; что же касается разных обществ, и именно тайных, то они продолжали существовать... Но самый факт опубликования такого рескрипта возбудил надежды всех тех, которые возмущались деятельностью князя А. Н. Голицына»^{543}.

«Разговаривали и разъехались»

Рылеева принял в заговор Иван Пуштин, друг Пушкина, бывший лицеист, служивший вместе с будущим руководителем столичной конспирации в петербургском суде. О том, когда именно это произошло, сам Рылеев давал на следствии противоречивые показания. Через сутки после ареста, 16 декабря 1825 года, он заявил, что «был принят в общество тому назад около двух лет», то есть в конце 1823-го. Однако четыре месяца спустя он назвал следствию другую дату: «В общество принят я в начале 1823 года»^{544}. Соответственно, исследователи разошлись во мнениях — и этот вопрос до сих пор однозначно не решен.

Между тем после роспуска в 1821 году Союза благоденствия петербургской тайной организации как таковой долго не существовало. Разрозненные кружки и группы бывших «помощников» правительства периодически совещались, решали, что делать дальше, пытались вырабатывать программные документы. Однако до самого конца 1823 года возродить общество не удавалось, а значит, в начале этого года Пуштину просто некуда было принимать Рылеева.

Ситуация изменилась лишь к концу осени, когда небольшой группе заговорщиков удалось воссоздать организацию^{545}.

Во многом этому способствовала внутривластная ситуация: успехи Аракчеева в деле нейтрализации собственных врагов при дворе были очевидны. Весь год Россию потрясали громкие отставки. В апреле поста лишился министр финансов Дмитрий Гурьев, про которого знали, что он близкий и давний друг Голицына. «У меня один только остался злодей — Гурьев, да и тот, слава богу, околевает» — так прокомментировал сам Аракчеев отставку министра финансов^{546}. Вместо него Аракчеев поставил верного человека — Егора Канкрин. В том же апреле был отправлен в отпуск — а фактически в отставку — начальник Главного штаба Петр Волконский и его место занял аракчеевский ставленник Иван Дибич. Два месяца спустя бессрочный отпуск получил и министр внутренних дел Виктор Кочубей — умный и опытный политический деятель, старавшийся сохранить самостоятельность при дворе. «Оказавшись под гнетом тотального контроля всемогущего Аракчеева и практически потеряв всякую самостоятельность в исполнении служебных обязанностей, знатный и независимый граф Кочубей под предлогом болезни ушел в отпуск», — утверждает его биограф П. Д. Николаенко^{547}.

Место Кочубея занял бесцветный, но всецело преданный Аракчееву Балтазар Кампенгаузен. Французский посол Лафероннэ доносил в октябре 1823 года своему правительству: «То, что здесь называют “русская партия”, во главе которой находится граф Аракчеев, старается в данный момент свалить графа Нессельроде»^[548]. Карл Нессельроде, министр иностранных дел, был женат на дочери Гурьева — и уже поэтому вызывал гнев временщика. Впрочем, с Нессельроде тот в итоге сумел договориться.

Над Голицыным, таким образом, начали сгущаться тучи; было ясно, что и его отставка — дело времени. Вскоре по Петербургу стали активно распространяться слухи о возможном падении «сугубого» министерства^[549].

Бывшие участники Союза благоденствия не могли не понять: наступающие времена не сулят им ничего хорошего. Всевластие Аракчеева неминуемо ставило крест на их собственных политических амбициях. Привыкшие видеть себя нужными «правительству», они должны были либо возродить общество на новых основах, либо смириться с незавидной ролью слепых исполнителей воли «надменного временщика». Недаром среди «восстановителей» общества оказались самые активные участники Союза благоденствия: Николай Тургенев, Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, Матвей Муравьев-Апостол.

Все они плохо представляли себе, чем конкретно предстоит заниматься — при том, что старые формы «помощи правительству» рухнули, а Голицыну явно было не до них. Сопения ограничивались лишь традиционными разговорами о бедственном положении России, о необходимости вести пропаганду либеральных идей и т. п. Именно в этот момент Рылеев вступил в общество.

Его друг Евгений Оболенский показал на следствии, что поэт «был поражен» «высокой нравственной идеей общества» «и потому с чрезвычайным рвением старался о распространении оногo»^[550]. Однако к концу 1823 года Рылеев — уже не восторженный мальчик, которого можно запросто увлечь разговорами о «высокой нравственности», а опытный журналист и издатель, к тому же выполнявший ответственные задания власти. В связи с этим возникает вполне естественное недоумение: зачем автору оды «Видение», либерально настроенному, но лояльному подданному русской короны, понадобилось участвовать в тайном обществе?

Однако для него, участника политической игры 1820-х годов, как и для тех, кто остался верен идеалам Союза благоденствия, просто не оставалось

иного выхода. Голицын сходил с политической арены, и поэт больше не был ему интересен. 1823 год неизбежно должен был принести Рылееву разочарование в возможности участвовать в большой политике легальным путем.

Соответственно затруднялась и его литературная деятельность: в конце 1823 года было запрещено печатать подготовленную к публикации в «Полярной звезде» на 1824 год оду «Гражданское мужество». Ода воспевала председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета адмирала Николая Мордвинова, известного экономиста и гуманного человека. Она не отличалась ни дерзостью, присущей «Временщику», ни провокационностью «Видения». В основе «Гражданского мужества» — традиционная для александровского царствования либеральная риторика:

Но нам ли унывать душой,
Когда еще в стране родной,
Один из дивных исполинов
Екатерины славных дней,
Средь сонма избранных мужей
В совете бодрствует Мордвинов?^{[1551](#)}

В самом факте цензурного запрета ничего необычного для литературной жизни тех лет не было. Рылеева не могло не насторожить другое: запрещение «Гражданского мужества» было первым за годы его поэтической деятельности. Вскоре та же участь постигнет и другие произведения поэта.

Таким образом, предложение Пущина вступить в тайное общество — в котором Аракчеева считали «таинственным врагом государя императора и нашего отечества», а свобода печати и отмена предварительной цензуры являлись программными требованиями^{[1552](#)}, — пришлось как нельзя кстати.

*

Впрочем, присоединение к тайному обществу еще не означало одномоментного превращения вчерашнего придворного поэта в бескомпромиссного борца с самодержавием и лидера военного заговора.

Заметная активность его началась с весны 1824 года, когда в Петербург приехал руководитель Южного общества полковник Павел Пестель и начались так называемые объединительные совещания столичной и южной организаций. Пестель приехал с идеей слить оба общества воедино и договориться о совместных действиях.

Для южного лидера объединение обществ было жизненно важной задачей. Пестель считал, что начинать восстание должны именно столичные заговорщики. «Приступая к революции, — показывал он, — надлежало произвести оную в Петербурге, яко средоточии всех властей и правлений, а наше дело в армии и губерниях было бы признание, поддержание и содействие Петербургу. В Петербурге же оное могло произойти восстанием гвардии, а также флота»^[553]. Однако своей «объединительной» цели Пестелю в Петербурге достичь не удалось. Северные заговорщики обвинили его в «личных видах» и отказались иметь с ним дело. Инициировал этот отказ князь Сергей Трубецкой — антагонист Пестеля на протяжении всех лет существования тайной организации.

Важнейшая же роль в том, что вся столичная организация признала правоту Трубецкого, принадлежала Рылееву — с ним Пестель встретился в ходе совещаний с глазу на глаз.

Скорее всего, они были знакомы и раньше, еще с Заграничных походов, когда вчерашний кадет, выполняя приказ «дядюшки», сопровождал по Саксонии корпус генерала Витгенштейна, у которого Пестель служил адъютантом^[554]. Однако новая встреча не принесла положительных эмоций ни Пестелю, ни Рылееву — они не поняли друг друга.

Пестель к 1824 году был вполне состоявшимся человеком. За плечами его были война, тяжелое ранение в Бородинской битве, многочисленные ордена и незаурядные успехи: в 28 лет он стал полковником и полковым командиром. Военной карьере соответствовала и карьера заговорщика: к моменту разговора с Рылеевым Пестель состоял в тайных обществах уже восемь лет — и все эти годы, за исключением самых первых месяцев пребывания в заговоре, являлся лидером конспирации. Кто-то из заговорщиков был беззаветно, до фанатизма предан ему, кто-то считал будущим диктатором и опасным человеком; но в любом случае его уважали и к его мнению прислушивались.

Рылеев же, к моменту разговора всего лишь отставной подпоручик, по тогдашним меркам был совершенный неудачник. Ни звонкая литературная слава, ни должность правителя дел Российско-американской компании не

могли считаться жизненной удачей — согласно представлениям той эпохи, достойной дворянина признавалась прежде всего военная карьера. В тайное общество Рылеев вступил буквально перед самыми совещаниями, его слово пока мало что значило для товарищей-заговорщиков. Скорее всего, эта социальная ущербность Рылеева, которую не мог не понять Пестель, и предопределила неудачу разговора.

В беседе с поэтом лидер Южного общества избрал неверный тон: не был откровенен в изложении своих взглядов и пытался «испытывать» собеседника. «Пестель, вероятно, желая выведать меня, в два упомянутые часа был и гражданином Северо-Американской республики, и наполеонистом, и террористом, то защитником английской конституции, то поборником испанской», — показывал на следствии Рылеев. Во время этого «испытания» Пестель неосторожно позволил себе похвалить Наполеона, назвав его «истинно великим человеком», и заявил: «...если уж иметь над собою деспота, то иметь Наполеона».

Конечно, политический опыт Наполеона Пестель учитывал, как учитывали его и многие другие деятели тайных обществ. Но судить о том, насколько в этом высказывании отражалась реальная точка зрения полковника на французского императора, достаточно сложно. Однако Рылеев, весьма чувствительный к проявлениям высокомерия и неискренности, увидел в словах собеседника намек на собственную несостоятельность и, обидевшись, заподозрил его в личной корысти. Пестелю пришлось оправдываться, объясняя, что сам он становится Наполеоном не собирается и рассуждает чисто «теоретически»: «Если кто и воспользовался нашим переворотом, то ему должно быть вторым Наполеоном, в таком случае мы не останемся в проигрыше!» Рылеев не поверил пояснениям Пестеля; в показаниях на следствии он утверждал, что сразу «понял», «куда всё это клонится»^[555]. Видимо, поэт был первым, кто уподобил Пестеля Наполеону — узурпатору, «похитившему» власть после победы революции во Франции.

Об итоге беседы столичные конспираторы узнали сразу же — Рылеев не захотел сохранить конфиденциальность. И Трубецкой, страстно желавший поражения Пестеля на совещаниях, в полной мере воспользовался мнением поэта.

Завершились совещания 1824 года собранием членов Северного общества на квартире Оболенского. На нем не было Рылеева — очевидно, по причине недостаточно большого заговорщического стажа. Зато на собрании присутствовал Пестель, которому было объявлено, что действует он в личных, «наполеоновских» видах. «Они много горячились, а я всё

время был хладнокровен до самого конца, как ударил рукою по столу и встал», — показывал Пестель на следствии. По показанию же Трубецкого, перед тем как хлопнуть дверью, Пестель заявил: «Стыдно будет тому, кто не доверяет другому и предполагает в другом личные какие виды, что последствие окажет, что таковых видов нет»^{556}.

Объединение двух обществ было отложено. «Разговаривали и разъехались» — таким, по мнению Пестеля, явился окончательный итог «объединительных совещаний»^{557}. В дальнейшей конспиративной деятельности он перестал оглядываться на Трубецкого и Рылеева. Пестель создал в столице петербургский филиал Южного общества, состоявший в основном из преданных лично ему офицеров Кавалергардского полка. Но и кроме них у Пестеля в Северной столице было много друзей и единомышленников: одним из трех эскадронов Кавалергардского полка командовал его родной брат ротмистр Владимир Пестель, близким другом и родственником южного лидера был генерал-майор Сергей Шипов, командир гвардейской бригады в составе Семеновского и Лейб-гренадерского полков и Гвардейского экипажа. Полковником Преображенского полка был брат Сергея Шипова Иван, тоже хороший знакомый Пестеля.

Впрочем, эти совещания имели и еще один результат: конспираторы стали прислушиваться к голосу Рылеева.

«Он приковал к себе сердца»

Истинным вождем заговора Рылеев стал во второй половине 1824 года, после отставки Голицына с министерского поста. За полтора последующих года Рылееву удалось собрать вокруг себя группу радикально настроенных молодых гвардейских офицеров, получившую название «рылеевской отрасли» общества. Эта «отрасль» перешла от либеральных разговоров к реальным делам: стала готовить государственный переворот. К 1825 году Рылеев был уже признанным лидером, членом Думы — руководящего органа тайного общества. Последний период в существовании петербургской конспирации историки называли «рылеевским»^[558].

Однако неясно, каким образом подготовку к военному перевороту мог возглавить человек сугубо штатский, журналист и издатель, как ему удавалось «управлять» тайным обществом, состоявшим почти сплошь из военных, почему офицеры-заговорщики столь быстро признали в штатском литераторе своего безусловного лидера.

Ответ можно найти в показаниях Александра Бестужева, принятого Рылеевым в члены тайного общества. Бестужев утверждал: Рылеев «воспламенял» заговорщиков «своим поэтическим воображением»^[559]. Именно поэзия Рылеева, которая в последние полтора года его жизни на свободе приняла совершенно иной характер, позволила участникам заговора сплотиться и организовать восстание. Другой фактор, цементирующий столичное тайное общество, обнаружить весьма проблематично.

Участникам тайных обществ 1820-х годов и в особенности поздних организаций были свойственны серьезные сомнения в правильности выбранного пути. «Я спрашивал самого себя — имеем ли мы право как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?» — вспоминал, например, друг Рылеева Евгений Оболенский. Приступы острой депрессии, вызванной сомнениями в правильности собственных действий, испытывали даже радикальный Пестель и его друзья^[560].

Рылеев, вступив в общество, стал решительным противником такого

рода рефлексии. Согласно Оболенскому, он «говорил, что идеи не подлежат законам большинства или меньшинства, что они свободно рождаются в каждом мыслящем существе; далее, что они общительны и если клонятся к пользе общей, если не порождения чувства себялюбивого и своекорыстного, то суть только выражения несколькими лицами того, что большинство чувствует, но не может выразить. Вот почему он полагал себя вправе говорить и действовать в смысле цели Союза как выражения идеи общей, еще не выраженной большинством, в полной уверенности, что едва эти идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением». Он прилагал максимум усилий, чтобы не допускать «охлаждения» собственных друзей к «общему делу»^{561}.

Собственно, произведения Рылеева последних месяцев его пребывания на свободе как раз и призваны были убеждать колеблющихся в правоте «общего дела». Наиболее характерны в этом смысле поэма «Войнаровский» и неоконченная поэма «Наливайко», фрагменты которой были опубликованы в периодике. Обе они посвящены борцам «за свободу Украины»: в «Войнаровском» речь идет о противостоянии гетмана Мазепы и Петра I, в «Наливайке» — о борьбе казаков с поляками в конце XVI века.

*

Поэма «Войнаровский», подобно «Думам», была опубликована в 1825 году (цензурное разрешение от 8 января 1825-го). Она также увидела свет в Москве, где «от времен Новикова все запрещенные книги и все вредные ныне находящиеся в обороте» были «напечатаны и одобрены» и где при принятии органами цензуры решений важнейшим оказывалось слово князя Вяземского, поскольку цензоры боялись его семейных и дружеских связей. Очевидно, что Вяземский провел и «Войнаровского», и «Думы» через московскую цензуру — именно его благодарил Рылеев «за участие» в судьбе своих произведений и за то, что «Войнаровский» мало пострадал в цензурном «чистилище»^{562}. По-видимому, немаловажную роль в истории публикации поэмы имел и тот факт, что до лета 1825 года московской цензурой заведовал попечитель Московского учебного округа князь Андрей Оболенский, дальний родственник Евгения Оболенского и убежденный «голицынец».

Источники, которыми пользовался Рылеев при создании поэмы, ее байроническая форма, связи с другими такого же рода романтическими

произведениями давно выявлены исследователями. Важнее другое — публицистический смысл, который в нее вложил Рылеев. Полное издание «Войнаровского» — в том виде, в каком ее получили читатели в начале 1825 года, — представляло собой сложный комплекс противоречивших друг другу текстов.

На титульном листе был помещен эпиграф из «Божественной комедии» Данте, на итальянском языке: *...Nessun maggior dolore Che ricordarsi del tempo felice Nella miseria...* (Нет большего горя, чем вспоминать о счастливом времени в несчастье.) Открывалась книга рылеевским посвящением Александру Бестужеву^[563].

Затем шло краткое предисловие, из которого можно было узнать о сложностях, ожидающих всякого, кто берется читать эту книгу. Главная сложность касалась образа знаменитого гетмана Ивана Мазепы, изменившего Петру I и перешедшего в ходе Северной войны на сторону шведов: «Может быть, читатели удивятся противоположности характера Мазепы, выведенного поэтом и изображенного историком. Считаем за нужное напомнить, что в поэме сам Мазепа описывает свое состояние и представляет оное, может быть, в лучших красках; но неумолимое потомство и справедливые историки являют его в настоящем виде: и могло ли быть иначе?»^{[564], [14]}

За предисловием следовали прозаические биографии героев поэмы: «Жизнеописание Мазепы», написанное историком Александром Корниловичем, и «Жизнеописание Войнаровского», принадлежащее перу Александра Бестужева. И про заглавного героя, племянника Мазепы, и про самого мятежного гетмана авторы «Жизнеописаний» сказали немало резких слов. «Низкое, мелочное честолюбие привело его (Мазепу. — А. Г., О. К.) к измене. Благо Козаков служило ему средством к умножению числа своих соумышленников и предлогом для скрyтия своего вероломства, и могли он, воспитанный в чужбине, уже два раза опятнaвший себя предательством, двигаться благородным чувством любви к родине?» — писал Корнилович. Вторя ему, Бестужев называет Мазепу «притворщиком», «обманщиком» и «славным изменником». О гетмане-изменнике повествовали и пять подстраничных примечаний к тексту поэмы: «Какая слава озарила бы Мазепу, если бы он содействовал Петру в незабвенную битву Полтавскую! Какое бесславление омрачает его за вероломное оставление победоносных рядов Петра!»^[565]

С этими текстами резко контрастировала сама поэма. Гетман в ней — не изменник, а сознательный борец с российским самодержавием.

Противостояние Мазепы и Петра осмысляется в терминах борьбы «свободы с самовластьем». Причем за счастье своей родины, «Малороссии святой», Мазепа готов не только отдать жизнь, но и «пожертвовать» «честью» и даже принять от неразумного народа обвинения в предательстве и сравнение с Иудой. Неравная борьба с царем оканчивается поражением мятежника. И, хороня своего лидера, сторонники гетмана «погребают» «свободу родины своей»:

Он приковал к себе сердца:
Мы в нем главу народа чтили,
Мы обожали в нем отца,
Мы в нем отечество любили^{566}.

Немногим отличается от образа Мазепы и образ его племянника Войнаровского, сосланного в Сибирь за участие в замышлах дяди:

Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны,
Тому сноснее укоризны,
Чем сожаление врага^{567}.

«предателей» «нет и не будет на русской земли» и что в России «каждый отчизну с младенчества любит / И душу изменой свою не погубит»^{568}.

Современникам казалось странным, что в «Войнаровском» Рылеев воспекает того, чье имя в сознании истинного патриота давно предано анафеме. Драматург Павел Катенин замечал в частном письме: «Всего чуднее для меня мысль представить подлеца и плута Мазепу каким-то Катеном»^{569}.

Образ Мазепы в поэме приводил в смятение и позднейших историков литературы; по мнению большинства из них, при изображении гетмана Рылеев был «антиисторичен», допустил «ошибку», отступил от исторической правды^{570}. Неменьший шок у комментаторов вызвала и националистическая окраска поэмы, в которой свободолюбивые малороссы противостоят «врагам страны своей родной» — «москалям». При чтении поэмы и у современников, и у позднейших исследователей возникал справедливый вопрос: откуда в произведении русского дворянина и бывшего офицера могли появиться националистические ноты? Почему одним из источников «Войнаровского» стала анонимная рукопись «История руссов», повествовавшая о том, что «московиты» («москали» у Рылеева) и «россы» — два разных славянских народа, причем истинно «русские» — именно малороссы? «Не только в простом народе, но и в образованном малороссийском обществе времен Рылеева редко встречались люди, способные назвать москаля “врагом страны своей родной”», — констатирует исследователь украинского сепаратизма Н. И. Ульянов^{571}.

*

Как известно, украинская тема была одной из главных в творчестве Рылеева в середине 1820-х годов. И «Войнаровский», и незавершенная поэма «Наливайко», и большинство других поздних произведений поэта, тоже оставшихся незаконченными, в той или иной степени посвящены борцам «за свободу» Украины. В их основе лежат темы и сюжеты, почерпнутые автором из «Истории Малой России со времен присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением состояния сего края» Д. Н. Бантыш-Каменского, впервые опубликованной в 1822 году. Еще одним источником рылеевских сюжетов и оценок была распространявшаяся в списках «История руссов».

Первое произведение Рылеева, в котором сделана попытка осмысления истории Украины, — дума «Богдан Хмельницкий», написанная в 1821 году. Сюжет ее вполне традиционен для рылеевских произведений такого рода: сидящий в тюрьме герой мечтает о свободе отчизны. Из заключения его освобождает, возвращая меч, некая «жена Чаплицкого», и обрадованный Хмельницкий восклицает:

Заря свободы воссияет
От блеска мстительных мечей!

Далее описывается борьба Хмельницкого с поляками:

...яростно вступили в бой
С тиранством бодрая свобода,
Кипя отвагою молодой.

В итоге свобода воцарилась в «украинских степях»

И стала с счастьем народа
Цвести радость в селах и градах.
И чтя послом небес желанным,
В замену всех наград и хвал,
Вождя-героя — Богом данным
Народа общий глас призвал^{572}.

«Богдан Хмельницкий» стал едва ли не самым популярным из рылеевских произведений. При жизни автора дума была напечатана четыре раза: в 1822 году ее публикуют «Соревнователь просвещения и благотворения», «Русский инвалид» и «Сын отечества», четвертая перепечатка состоялась в вышедшем в 1825 году в Москве сборнике «Думы». Интересным свидетельством популярности этого произведения была его «пиратская» — без ведома автора «и с неверного списка» — публикация в газете Воейкова «Русский инвалид»^{573}.

В основе сюжета думы лежала неоконченная повесть Федора Глинки «Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия». Рылеев заимствовал у Глинки саму идею произведения, а также некоторые образы,

сюжетные ходы, характеристики героев и трактовку деятельности Хмельницкого как борьбы «за свободу» Украины. В частности, в самом начале повести будущий «новый Моисей народа малороссийского» видит сон: «сыны Малороссии, лишенные воли, собственности и законов, изгибались под тяжким бременем даней и налогов»; но «вдруг блеснула молния, прогремел гром и раздался голос невидимого: “Восстаньте и бодрствуйте: час свободы настал!..”»^{574}.

Повесть эта при жизни Глинки издавалась дважды. Ее введение и первая глава вошли в опубликованную в 1817 году (цензурное разрешение от 10 октября 1816-го) третью часть трехтомного собрания сочинений под названием «Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторической повести “Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия”». Вторая публикация частей повести состоялась в 1819-м в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения»^{575}. В ней повесть была значительно дополнена, однако не приобрела законченного вида.

В истории написания и бытования этой повести до сих пор остается много неясного — в частности, неясны причины, по которым она так и осталась незавершенной. Исследовательница творчества Глинки Н. М. Жаркевич предполагала, что они были чисто внешними: «...в 1820 году неожиданно разразилось знаменитое восстание в Семеновском полку. Оно внесло дополнительные трудности в работу членов тайного политического общества»^{576}. Иными словами, Глинка стал активно заниматься делами тайной организации и дописать произведение просто не успел.

Однако это объяснение нельзя признать исчерпывающим: восстание в Семеновском полку «разразилось» почти через два года после начала публикации повести в «Соревнователе». Время на то, чтобы закончить повесть, у автора было. Кроме того, «семеновская история» 1820 года никак не могла помешать Глинке закончить повесть между двумя ее публикациями, 1817 и 1819 годов.

Проблема, думается, состояла главным образом в том, что завершение «богдановского» сюжета обязательно предполагало описание событий Переяславской рады 1654 года, когда гетман добился присоединения Украины к Московскому царству. Описание же этих событий могло вызвать у читателей ненужные вопросы о последствиях этого шага: о непростых отношениях и Богдана, и последующих гетманов с русскими царями, о потере присоединенными территориями автономных прав. В истории с

присоединением к России Хмельницкий уже не выглядел таким однозначным «борцом за свободу», как во взаимоотношениях с поляками. К нему вполне можно было применить эпитеты, которыми его награждала, например, хорошо известная Глинке «История руссов». Согласно этой работе, «козаки», не желавшие присоединения, «подняли открытый ропот и шум на Хмельницкого, называя его зрадцею (от польского *zdrajca* — изменник, предатель. — А. Г., О, К.) и предателем отечества, подкупленным, якобы, от послов». «Козакам», в частности, не нравилось, что в России «торгуют собственной братьею своею и, несмотря на одноверство и однокровство, продают один другого без стыда и угрызения совести»^[577].

Неясно также, что побудило автора дважды публиковать неоконченную повесть. Н. М. Жаркевич предположила, что при работе над этим текстом Глинка «руководствовался, прежде всего, уставом Союза благоденствия», поскольку этот документ «предусматривал печатать сочинения о “добродетелях великих мужей”»^[578]. Однако в 1817 году, когда фрагменты повести были изданы впервые, Союз благоденствия еще не существовал, а о «добродетелях великих мужей» писали в 1810— 1820-х годах отнюдь не только члены тайных обществ.

Представляется, что ответы на эти вопросы может подсказать анализ исторического контекста обеих публикаций «Зиновия Богдана Хмельницкого».

Надо отметить, что в этот период историей Украины интересовались не только Глинка с Рылеевым, это увлечение разделяли с ними большинство образованных людей. И на страницах периодических изданий, и отдельными книгами появляются описания Украины, разнообразные путевые очерки. Украина занимает одно из первых мест и в научных исследованиях. Печатается «Грамматика малороссийского наречия» Алексея Павловского (1818), Николай Церетелев пишет «Опыт собрания старинных малороссийских песней» (1819), появляется «История Малой России» Бантыш-Каменского, в 1818 году Российская академия предпринимает издание «Малороссийского словаря». Общероссийскую популярность обретает поэт Иван Котляревский, сочинивший на «малороссийском наречии» поэму «Энеида», в конце XVIII — начале XIX века несколько раз переизданную, а также пьесы «Наталка Полтавка» и «Москаль-чаровник» (1819)^[579].

Причины этого всеобщего увлечения Украиной были связаны прежде всего с назначением в июле 1816 года генерал-губернатором Малороссии

(Черниговской и Полтавской губерний) князя Николая Репнина.

Князь Репнин был в русском обществе знаменит: прославившись на полях сражений, он до своего назначения в Малороссию, как уже было сказано, успел побывать правителем государства — вице-королем Саксонии. Есть сведения, что Репнин не просто был назначен на эту должность, но имел место факт его коронации^[580].

Не имея отношения к императорской фамилии, Репнин фактически являлся монархом — и был интересен уже этим. К тому же он имел в обществе устойчивую репутацию либерала, и с его пребыванием в Малороссии были связаны большие общественные ожидания. Смысл этих ожиданий сформулирован в дневнике генерал-адъютанта графа Павла Сухтелена: с назначением Репнина в Малороссии будет введено «новое правительство в государстве», причем обе губернии окажутся «на старинном казацком положении», «войсковая канцелярия, войсковой суд, упраздненные Екатериною, теперь восстановлены, но гетмана не будет»^[581]. К этому следует добавить, что сам Репнин, русский князь, старший брат генерала-заговорщика Сергея Волконского, потомок Рюрика, к малороссийской знати отношения не имел. Однако он был женат на внучке последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского Варваре Алексеевне; этот факт, надо полагать, играл не последнюю роль в поистине гетманских амбициях генерал-губернатора.

Источники свидетельствуют: Репнин не обманул общественных ожиданий. Прибыв в Малороссию, он прежде всего приблизил к себе литераторов, от которых во многом зависело общественное мнение. В этом смысле новоиспеченный генерал-губернатор оказался весьма избирателен: его покровительства удостоивались лишь писатели, каким-либо образом связанные с украинофильской идеологией, в частности Котляревский. Личным другом Репнина был престарелый поэт Василий Капнист, автор комедии «Ябеда», в 1820—1823 годах избиравшийся губернским предводителем полтавского дворянства. Тот в молодости был отчаянным украинским националистом, даже посетил в 1791 году Пруссию, где провел переговоры с приближенными короля Фридриха Вильгельма II. Капнист заявил, что соотечественники послали его узнать, могут ли они при попытке скинуть имперское ярмо рассчитывать на поддержку Пруссии. Однако миссию Капниста постигла неудача: король отказался вести переговоры на эту тему^[582].

Чиновником канцелярии генерал-губернатора был Бантыш-Каменский. Свою «Историю Малой России» он написал по поручению шефа, что и

подчеркнул в предисловии: «Труд сей предпринял я по поручению господина Малороссийского военного губернатора, управляющего и гражданскою частию в губерниях Черниговской и Полтавской, князя Николая Григорьевича Репнина. Сему почтенному начальнику моему обязан я многими источниками и непосредственным участием в первой книге»^{583}.

Этот исторический труд отличался минимальным количеством пророссийских оценок. Правители Украины, за малым исключением, характеризуются в нем по крайней мере неоднозначно. Даже рассуждая о Мазепе, Бантыш нашел нужным подчеркнуть, что гетман-изменник был популярен в народе, о чем свидетельствовал тот факт, что его хоронили как национального героя. Автор исподволь подводил читателей к выводу: вина Мазепы не столько в желании добиться для Украины независимости от России, сколько в том, что он не смог добиться ее. Антигероем в книге выведен вовсе не Мазепа, а сохранивший верность русскому царю петровский выдвиженец Иван Скоропадский. Именно при нем украинцы потеряли многие права и свободы, которыми пользовались еще со времен Хмельницкого. В отличие от Мазепы, Скоропадский, по мнению автора, не был популярен в народе: когда он умер, о нем «мало жалели в Украине, хотя он, по доброте сердца, благодетельствовал многим». «Доброта сердца, — продолжает Бантыш-Каменский, — без других украшений не составляет истинного достоинства правителя народа: Скоропадский слабым и беспечным нравом не только ускорил свою кончину, но и лишил вверенных попечению его сограждан драгоценнейшего для них достояния». Зато акцентированно положительно характеризует Бантыш-Каменский последнего гетмана Украины Разумовского: «Добродетель не умирает: не умрут никогда дела сего незабвенного мужа. Очевидцы и предание свидетельствуют о редкой справедливости, великости души, природном уме, доброте сердца, беспримерной щедрости, правдолюбию и веселом нраве сего вельможи»^{584}. Конечно, Бантыш-Каменскому было далеко до украинофильского радикализма Капниста. Но главным и для него, и для стоявшего за ним Репнина был вопрос об автономных правах Малороссии, а украинские правители оценивались автором в зависимости от способности защитить эти права от посягательств русской власти.

Некоторые исследователи считают, что именно в окружении Репнина и была создана анонимная «История руссов»; существует даже мнение, что написал ее сам генерал-губернатор^{585}. Она интересна не столько оценками исторической роли отдельных гетманов, сколько концепцией

происхождения украинцев как народа. Согласно «Истории руссов», «москвиты» и «россы» — два разных славянских народа, причем истинно «русские» («россы») — это именно украинцы. По мнению анонимного автора, «россы» («роксоланы») произошли от «князя Руса», «потомка Афетова». Другой же «потомок» Иафета, одного из сыновей библейского Ноя, «князь Мосох», «кочевавший при реке Москве и давший ей сие название», стал родоначальником «москвитов», «от чего впоследствии и царство их получило название Московского и, наконец, Российского»^[586].

Автор «Истории руссов», используя множество сфальсифицированных документов, утверждает: история Киевской Руси есть история Малороссии. От первых русских князей и татарского владычества он переходит к владычеству польско-литовскому, настаивая, что «народ русский» соединялся «с Литвою и Польшею» «яко вольный и свободный, а отнюдь не завоеванный». Главными героями «Истории руссов» являются «козаки», произошедшие от «козар» — так изначально назывались те, «которые еживали верхом на конях и верблюдах и чинили набеги; а сие название получили, наконец, и все воины славянские, избранные из их же пород для войны и обороны отечества, коему служили в собственном вооружении, комплектуясь и переменяясь также своими семействами»^[587].

Описывая присоединение Украины к Московскому царству, автор особо подчеркивает, что лишь боязнь попасть под «иго магометанское» заставила Хмельницкого принять это решение; однако условием присоединения был уговор, «чтобы в дела их и судилища никто другой не входил и не мешался, а сами они судиться и управляться между собою должны по своим правам и своими, избранными от себя начальниками»^[588].

Проанализировав украинофильские и, можно сказать, «казакофильские» воззрения автора, исследователи пришли к выводу: текст «Истории руссов» следует считать «памятником политического сознания начала XIX века»^[589]. Таким образом, в кругу Репнина и при его непосредственном участии была сформулирована идеология, которой генерал-губернатор собирался пользоваться в дальнейшем: восстановление, насколько это возможно, автономного статуса Украины. Собственно, всё время пребывания в должности генерал-губернатора (до 1834 года) Репнин вполне официально боролся за привилегии казаков, за уравнивание в правах российского и украинского дворянства, за культурное процветание Малороссии и развитие «малороссийского наречия» — украинского языка.

Как показали новейшие исследования, Репнин вел также деятельность,

скрытую от глаз центрального правительства. Так, он старался собрать вокруг себя украинофильски настроенное дворянство, завязать «неформальные» отношения с местными уездными и губернскими предводителями дворянства. Он пытался создать некий постоянно действующий орган, «совещание», которое бы ратовало за возвращение Малороссии «древних малороссийских прав». Не получив согласия императора на организацию такого «совещания», он пытался реализовать свою идею через деятельность известной полтавской масонской ложи Любви к Истине.

Для осуществления своих идей генерал-губернатор готов был воспользоваться политическим заговором, не последнюю роль в котором играл его младший брат Сергей Волконский. По-видимому, генерал-губернатор, как и многие другие крупные сановники Александровской эпохи, занял выжидательную позицию. И если бы заговорщикам удалось победить, Репнин стал бы единоличным правителем Малороссии — иной кандидатуры на эту должность в ту пору просто не было. Приобрела бы при этом Малороссия независимость или просто возвратила автономные права и свободы, остается только гадать^{590}.

Причины, побудившие современников и исследователей причислять Репнина не только к сторонникам малороссийской автономии, но и к либералам, хорошо известны. В начале 1818 года генерал-губернатор произнес речь перед участниками дворянских выборов в Чернигове и Полтаве, в которой затрагивались, в частности, вопросы улучшения положения крепостных крестьян. Эта речь сначала была напечатана отдельной книжкой, запрещенной цензурой, затем появилась на страницах российского дайджеста «Дух журналов». Павел Пестель утверждал на следствии, что эта речь, всем хорошо известная, породила новую волну толков о крепостном праве. Реакция на нее «консерваторов» убедила Пестеля и его друзей, что уговорить помещиков «даровать свободу крепостным крестьянам» будет весьма трудно^{591}.

Если сопоставить обе публикации «Зиновия Богдана Хмельницкого» Глинки с основными этапами политической деятельности Репнина в Малороссии, следует признать: первое издание повести было, скорее всего, приурочено к назначению Репнина генерал-губернатором, второе же соответствовало времени произнесения им речи перед полтавским и черниговским дворянством. Очевидно, Глинка был полностью осведомлен о деятельности малороссийского генерал-губернатора: он был дружен с Михаилом Новиковым, племянником знаменитого екатерининского масона

и в 1817—1822 годах начальником канцелярии Репнина. Познакомились они в масонской ложе Избранного Михаила. Именно Новиков принял Глинку в Союз благоденствия. С Новиковым, членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности, был, видимо, заочно знаком и Рылеев.

Таким образом, дума Рылеева «Богдан Хмельницкий», восходящая к повести Глинки, была не столько следствием увлечения историей Украины, сколько отражением общественных ожиданий, связанных с генерал-губернаторством Репнина. Деятельность гетмана Хмельницкого, борца за освобождение от поляков, присоединившего Украину к России, но в то же время сохранившего автономные права казачества, для авторов и читателей 1820-х годов была вполне соотносима с деятельностью генерал-губернатора.

«Украинофильские» произведения Глинки и Рылеева могли, кроме того, преследовать и вполне прагматическую цель: обратить на их авторов внимание Репнина, побудить его начать оказывать литераторам покровительство. Тем более что Рылеев был знаком с самим Репниным: как уже говорилось выше, в 1814 году, сразу же после окончания Кадетского корпуса, он служил в Дрездене при «дядюшке», генерале Михаиле Рылееве, — одном из ближайших сотрудников будущего малороссийского генерал-губернатора.

*

После «Богдана Хмельницкого» идо «Войнаровского» Рылеев еще несколько раз обращался к украинским сюжетам. На этот раз объектом его размышлений становится гетман Мазепа, в ходе Северной войны изменивший Петру I и перешедший на сторону Карла XII. Возможно, эта тема заинтересовала Рылеева в связи с какими-то известными ему тайными планами Репнина. Однако к деятельности Мазепы как исторического персонажа Рылеев относился резко отрицательно — об этом свидетельствуют черновики трагедии «Мазепа», замысел которой, по мнению ряда исследователей, сложился к 1822 году «Мазепа. Гетман Малороссии. Угрюмый семидесятилетний старец. Человек властолюбивый и хитрый; великий лицемер, скрывающий свои злые намерения под желанием блага к родине» — так характеризует Рылеев будущего героя трагедии. Аналогична характеристика Мазепы в предисловии к написанной в 1823 году думе «Петр Великий в Острогжске»: «Уклончивый, хитрый

гетман умел вкратиться в милость Петра». В прозаическом наброске, относящемся к 1824 году, Рылеев выразил свое отношение к Мазепе еще резче: «...Для Мазепы, кажется, ничего не было священным, кроме цели, к которой стремился... Ни уважение, оказанное ему Петром, ни самые благодеяния, излитые на него сим великим монархом, ничто не могло отвратить его от измены. Хитрость в высочайшей степени, даже самое коварство почитал он средством, дозволенным на пути к оной»^[592].

Таким образом, даже на фоне произведений самого Рылеева поэма «Войнаровский» выглядела странно.

*

У исследователей давно закрепилось мнение, что сложное построение книги, включавшей поэму «Войнаровский», было вызвано прежде всего цензурными причинами^[593]. Для того чтобы поэма появилась в печати, идею «борьбы свободы с самовластьем» следовало несколько замаскировать. Сам Рылеев в письме Пушкину признавал, что из осторожности был вынужден «прибегать к хитростям и говорить за Войнаровского для Бирукова»^[594]. К цензурированию поэмы Бируков отношения не имел — ее пропустил в печать московский цензор, университетский профессор Николай Бекетов; в данном случае фамилию «Бируков» Рылеев употребил как нарицательную для обозначения цензуры вообще.

Однако, как уже говорилось выше, московская цензура была намного гуманнее петербургской. Кроме того, Рылеев вполне мог вообще не печатать свою поэму, а пустить ее в свет в рукописном виде — такая форма распространения произведений была вполне в традициях эпохи. Таким образом читатели познакомились с грибоедовской комедией «Горе от ума», с антиправительственными стихами Пушкина, с эпиграммами Вяземского, с той же «Историей руссов», с одой «Гражданское мужество» и стихотворением «Я ль буду в роковое время...» самого Рылеева и с множеством других произведений. Если бы Рылеев изначально не хотел «говорить для Бирукова», он вполне мог воздержаться от такого разговора.

Представляется, что, обрамляя «Войнаровского» официально-патриотическими текстами об измене Мазепы, автор не столько шел на поводу у «Бирукова», сколько заострял главные идеи, положенные в основу поэмы.

На страницах книги поэт ведет напряженный спор и с авторами жизнеописаний Мазепы и Войнаровского, и с самим собой, с собственными ранними произведениями. никоим образом не отказываясь от роли поэта-гражданина, подчеркивая эту роль в посвящении к поэме, он теперь понимает гражданственность по-другому, не так, как во «Временщике», «Видении» и «Думах». По-видимому, некоторой неловкостью за не вполне искренний патриотизм собственных прошлых произведений продиктованы в поэме слова Мазепы, обращенные к Войнаровскому:

Я не люблю сердец холодных:
Они враги родной стране.
Враги священной старине:
Ничто им бремя бед народных.
Им чувств высоких не дано,
В них нет огня душевной силы,
От колыбели до могилы
Им пресмыкаться суждено [{595}](#).

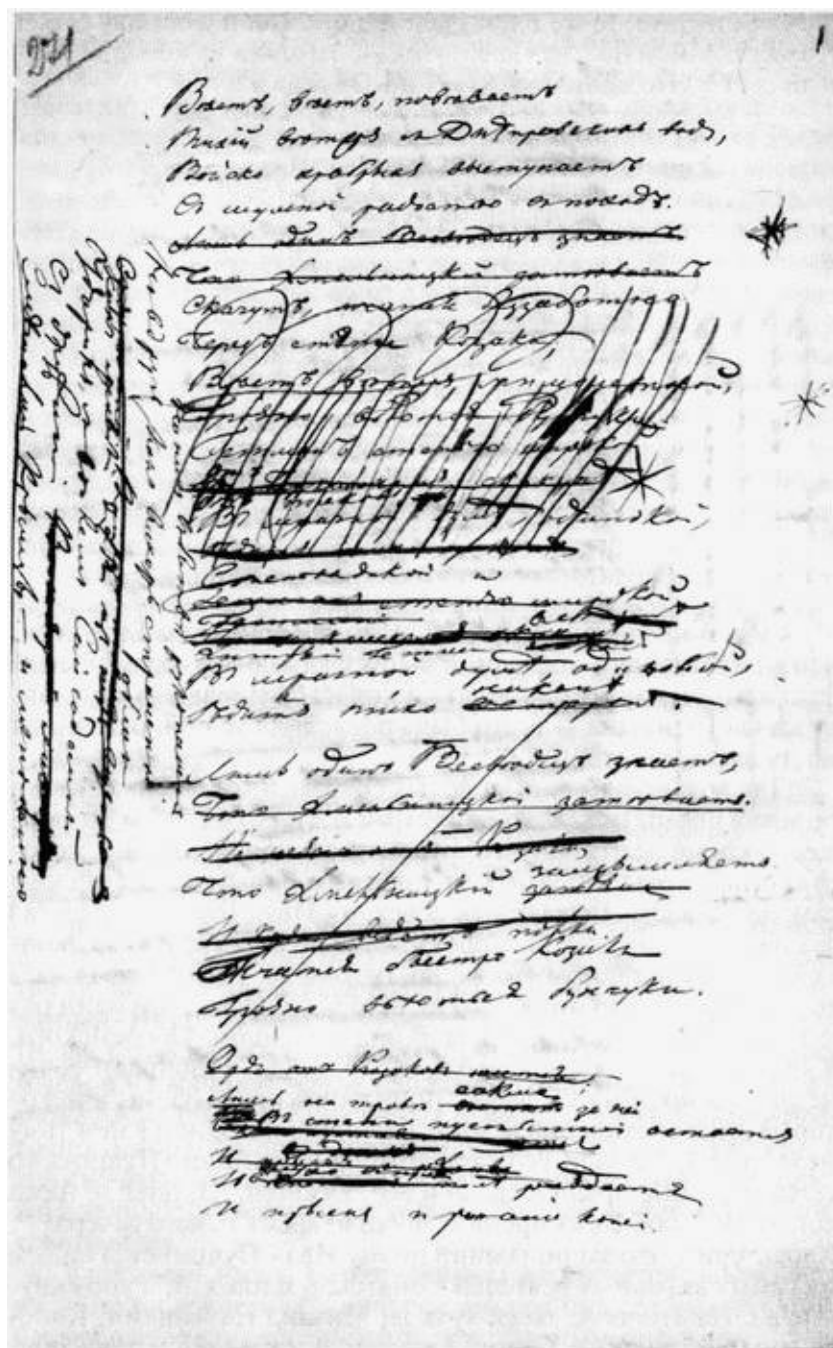
До выхода в свет «Войнаровского» Рылеев — участник политической борьбы и составитель «Полярной звезды» — обращался в стихах к читателям с призывами бороться с деспотизмом условного «Рубеллия», сохраняя при этом верность царю, родине и народу. Он прославлял Богдана Хмельницкого, имея при этом в виду другого вельможу, Николая Репнина. Большинство рылеевских произведений были прагматичными и холодными: при покровительстве Голицына их автору ничто не угрожало, а отсылки к Репнину в украинофильских текстах могли принести — и приносили — дополнительные дивиденды в виде литературной славы.

Трудно судить, каков был начальный замысел «Войнаровского»; первые его фрагменты, судя по всему, написаны до вступления поэта в тайное общество.

Но ситуация изменилась, и со страниц «Войнаровского» заговорил со своими сторонниками — настоящими и будущими — руководитель антиправительственного заговора, решившийся пойти до конца и сжигающий за собой мосты. Соратникам он объяснил, в частности, что борьба с «самовластьем», пусть даже обреченная на поражение, шельмование и клеймо «измены», — высокое и справедливое дело. «Идеи не подлежат законам большинства или меньшинства»; значит, участники

борьбы оказываются свободными от традиционных нравственно-патриотических запретов, с них снимается обязательство следовать обыкновенным гражданским нормам «любви к родине» и «верности монарху».

Автобиографичность, безусловно, присущая «Войнаровскому» как романтической поэме, выразилась в откровенном признании Рылеевым собственной измены по отношению к «самовластью». Иными словами, «Войнаровский» был едва ли не первым искренним и выношенным произведением Рылеева — в отличие от множества предшествующих стихотворений, написанных по политическому заказу. Именно поэтому эта поэма стала его безусловным творческим успехом — в этом едины и современники, и позднейшие исследователи.



Черновой автограф поэмы «Наливайко»

Собственно, те же идеи Рылеев положил и в основу своей незавершенной поэмы «Наливайко», отрывки из которой увидели свет в «Полярной звезде» на 1825 год:

Чтоб Малороссии родной,
Чтоб только русскому народу
Вновь возвратить его свободу —
Грехи татар, грехи жидов,
Отступничество униатов,
Все преступления сарматов
Я на душу принять готов.

...

Известно мне: гибель ждет
Того, кто первый восстает
На утеснителей народа, —
Судьба меня уж обрекла.
Но где, скажи, когда была
Без жертв искуплена свобода?
Погибну я за край родной —
Я это чувствую, я знаю...
И радостно, отец святой,
Свой жребий я благословляю!^{596}

Судя по позднейшим сбивчивым объяснениям Бирукова, цензурировавшего последний выпуск альманаха, крамольный фрагмент он допустил в печать по просьбе ушедшего в отставку князя Голицына — и это была последняя услуга, оказанная поэту эксминистром^{597}.

Для вольнолюбивых молодых современников Рылеева его поздние поэмы оказалась моментом истины: им было предложено, кроме всего прочего, ответить на вопрос о цене, которую они готовы заплатить за участие в борьбе с российским самодержавием. Титулярный советник Иван Горсткин рассказал на следствии, как шло обсуждение поэмы в кругах московских заговорщиков: «Что же до Тучкова, я у него бывал часто, но никогда никого у него не встречал; кроме, что один раз нашел у него Пущина, Нарышкина, меньшого Оболенского, Кашкина, двоих Семеновых и Колошина... Разбирали сочинение г[осподи]на Рылеева “Войнаровский”. Пущин и некоторые лица восхищались, мы с Тучковым находили в нем тьму нелепостей, терзали его строгими замечаниями. Пущина то сердило, а мне нравилось, да и все, кажется, наконец, с нами согласны были. В сих прениях прошло время целого вечера»^{598}. Характерно, что защищавший поэму Иван Пущин стал одним из самых активных деятелей Сенатской

площади, а упомянутые в показаниях Алексей Тучков, Михаил Нарышкин, Константин Оболенский, Сергей Кашкин, Алексей и Степан Семеновы, Павел Колошин, да и сам Горсткин оказались в стороне от происходивших в Северной столице событий.

О том, чем может закончиться участие в тайных антиправительственных организациях, впервые начал размышлять в связи с «Войнаровским» член южного заговора, близкий к Пестелю Николай Басаргин. «Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рылеева “Войнаровский” и при этом невольно задумался о своей будущности. “О чем ты думаешь?” — спросила она. “Может быть, и меня ожидает ссылка”, — сказал я. “Ну, что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?” — прибавила она с улыбкой»^[599].

Когда восстание не удалось, обе поэмы Рылеева зазвучали как пророчества о судьбе и его самого, и его товарищей по заговору. «Изображая борьбу Наливайко против польской шляхты, Рылеев явно имел в виду современную ему борьбу декабристов против русского самодержавия»; «У Рылеева и Войнаровский, и Наливайко — декабристы», — утверждали исследователи^[600].

И нельзя не отметить, что в подобных утверждениях — при всём «советском» их звучании — было рациональное зерно.

«Под Высочайшим Его императорского величества покровительством...»

Весной 1824 года Рылеев становится правителем дел в Российско-американской компании (РАК), являвшейся в то время крупнейшей торгово-промышленной организацией Российской империи.

В 1781 году купцы Григорий Шелехов и Иван Голиков основали торговую компанию, среди задач которой было открытие новых земель. В 1798 году она слилась с иркутской компанией Николая Мыльников. Согласно указу императора Павла I от 8 июля 1799 года компания учреждалась «для промыслов на матерой земле Северо-Восточной Америки на островах Алеутских и Курильских и во всей части Северо-Восточного моря, по праву открытия России принадлежащих», и должна была именоваться «под Высочайшим Его императорского величества покровительством, Российско-американскою компаниею»^{601}.

Компания имела разветвленную административную сеть в Сибири и владела обширными землями на северо-западном берегу Американского континента; главным ее портом и столицей русских владений в Северной Америке был Ново-Архангельск. Основной статьей дохода была добыча калана — морского бобра, широко распространенного в северной части Тихого океана, у берегов Америки, от Аляски до Калифорнии. Управлялась компания директорами, числом «не более четырех», избираемыми акционерами^{602}.

Поначалу компания успешно развивалась. В ее распоряжении был собственный флот (одно время имелась даже своя судостроительная верфь). При помощи государства организовывались дорогостоящие кругосветные экспедиции. Почти каждый год отправлялись из Кронштадта не только торговые суда, принадлежащие компании, но и военные корабли, приписанные к Балтийскому флоту, «для крейсерства у берегов Северо-Западной Америки, для ученых открытий по возможности и для доставления в Петропавловский порт... припасов по морской части»^{603}. Кроме того, флот был необходим для охраны русских владений как от местных жителей, так и от соперников в колонизации североамериканских территорий — испанцев, англичан и граждан недавно образованных Соединенных Штатов.

К началу 1820-х годов Российско-американская компания стала

полугосударственной структурой: ее Главное правление давно уже переехало из Иркутска в Санкт-Петербург, среди акционеров появились «высочайшие особы» — император Александр I, цесаревич Константин Павлович и обе императрицы: вдовствующая Мария Федоровна и Елизавета Алексеевна. Акционерами были такие известные лица, как граф Николай Румянцев и адмирал Николай Мордвинов. Паевая система оплаты труда сотрудников заменилась жалованьем. Чиновники, переходившие на службу в компанию, сохраняли свои чины, а также половинное жалованье от государства (остальную половину выплачивала компания). Активное сращивание компании с государственным аппаратом дало некоторым историкам повод видеть в ней «прямую агентуру короны»^[604].

Близость к власти позволила компании получить многочисленные торговые выгоды и привилегии, которые были недоступны другим российским коммерческим организациям. Однако именно эта близость обернулась в 1820-х годах тяжелым финансовым кризисом.

Вызван он был не в последнюю очередь объективными обстоятельствами. Это время во всей России было тяжелым: сельское хозяйство было разорено войной, внешний долг приближался к полутора миллиардам рублей. Быстрыми темпами шла девальвация бумажных денег: за рубль серебром в середине 1820-х годов давали четыре рубля ассигнациями. Рынок наводнили фальшивые денежные знаки, изготовленные еще в 1812 году по приказу Наполеона.

Но тяжелое финансовое положение Российско-американской компании было связано также с неумелыми действиями ее руководства. У берегов русских колоний в Америке шла активная контрабандная торговля. Директорам компании Михаилу Булдакову, Венедикту Крамеру и Андрею Северину, по-видимому, казалось: стоит ввести запрет на контрабанду указом свыше — и дела пойдут в гору, доходы вырастут. 4 сентября 1821 года последовало «постановление» императора относительно «пределов плавания и порядка приморских сношений вдоль берегов Восточной Сибири, Северо-Западной Америки и островов Алеутских, Курильских и проч.»^[605], запрещавшее торговлю с иностранцами в Русской Америке.

Однако незаконную торговлю полностью пресечь не удалось, ибо колониальное руководство было не в состоянии уследить за каждым местным жителем и каждым приезжим купцом. Население колоний оказалось на пороге голодной смерти, поскольку у иностранцев приобретались многие необходимые товары, в том числе продовольствие. Предполагалось, что колонии будут снабжаться из метрополии путем

снаряжения кругосветных экспедиций; но денег на их отправку в начале 1820-х годов не оказалось. «Не послано в Америку ни из Петербурга, ни из Охотска ничего» — таков был итог деятельности компании в колониях в 1822 году. Жителям колоний предлагалось опираться на собственные силы и не ждать поддержки из Петербурга^{606}.

Международный престиж компании упал, прибыли резко сократились. Директор Крамер долго отказывался подписывать баланс компании за 1822—1823 годы, ссылаясь на необходимость более тщательного изучения бухгалтерских книг, но, не найдя в них ошибок, всё же поставил свою подпись^{607}.

С финансовым кризисом Российско-американской компании был тесно связан административный кризис. «Первенствующий директор» Булдаков, возглавлявший компанию со времени ее создания, был болен и с 1819 года подолгу жил у себя на родине, в Великом Устюге. Все распоряжения отдавались Крамером. Третий же директор, Северин, целиком полагался на Крамера, которого поддерживал также правитель дел компании Иван Зеленский. Неудивительно, что акционеры были крайне недовольны деятельностью директоров^{608}.

Ситуация стала меняться лишь со второй половины 1822 года, когда четвертым директором был избран московский купец Иван Прокофьев. Вскоре в его ведение были переданы касса «от господина Крамера, у которого дела по бирже и собственные свои могут отвлекать его от дел компании», а также надзор за домом Главного правления и смотрение за товарами^{609}.

Прокофьев открыто заявил о вредности императорского запрета на торговлю с иностранцами, разорявшего компанию. Эта позиция явно расходилась с мнением Крамера и Северина, которые «всемерно старались защитить и поддержать запретительную систему». Однако Прокофьев, поддержанный Булдаковым, победил. Поддержал его и адмирал Мордвинов, видный государственный деятель, серьезный ученый-экономист, акционер компании и один из ее покровителей — в январе 1824 года направил министру иностранных дел Карлу Нессельроде просьбу об отмене запрета^{610}.

Тогда же в Российско-американской компании произошли серьезные административные изменения. Крамер был смещен, при этом было отмечено, что «доверенность акционеров употреблена им во зло». Вместо него директором был избран Николай Кусов — петербургский купец и городской голова^{611}. Был вынужден покинуть свой пост и Зеленский, а на

его место Мордвинов пригласил Рылеева. Согласно документам компании, 16 апреля 1824 года «бывший правитель канцелярии Главного правления Российско-американской компании г. надворный советник Иван Осипович Зеленский, по преклонности лет и по собственному своему желанию, от той должности уволен и на место его определен в правители канцелярии правления г. отставной артиллерии подпоручик Кондратий Федорович Рылеев»^[612].

Согласно учредительным документам компании, среди обязанностей правителя дел, которые он «по способностям своим» делил с директорами, были: «...хранить наличную денежную казну, векселя, товары и вообще все компанейское имущество и отвечать за целость всего оногo... всеми письменными делами, всякого рода отписками, ревизиею и поверкою счетов, и всем тем, что на бумагах производится заниматься... во всех судебных местах и у начальств, в силу данного им уполномочия, о пользах и интересах компании ходатайствовать, подавать и посылать в оные, какие случатся по делам бумаги, донесения, прошения и ответствия»^[613].

*

Свои должностные обязанности Рылеев выполнял хорошо. Он принес компании много пользы, в частности старательно заботился о ее имидже. Свидетельство тому — история публикаций в газете «Северная пчела» серии материалов, посвященных компании.

Двадцать восьмого февраля 1825 года в «Северной пчеле», в рубрике «Новые книги», появилась рецензия на только что вышедшую в Москве поэму Рылеева «Войнаровский». Рецензию написал Булгарин (под прозрачным псевдонимом Ф. Б.): «Вот истинно национальная Поэма! Чувствования, события, картины природы — всё в ней русское, списанное с натуры, так сказать, на месте. Публике было уже известно существование сей поэмы из отрывков, помещенных в “Полярной звезде” на 1824 г., и все любители отечественной словесности с нетерпением ожидали выхода ее в свет. Она долго ходила по рукам в рукописи; автор долго прислушивался к разногласным советам записных парнасских советников, прислушивался и к некоторым справедливым замечаниям истинных знатоков — и наконец решился напечатать свою поэму без всяких перемен и поправок, точно так, как она вылилась у него из ума и сердца в первые минуты вдохновения. Нам кажется, что он поступил хорошо; по крайней мере, теперь всё

принадлежит ему одному, а в этой поэме так много прекрасного, что автору, право, не должно раскаиваться в своем деле».

В поэме Рылеева, считал Булгарин, можно было при желании найти и недостатки: «некоторые повторения, некоторые неровности в стихах, может быть, излишнее пристрастие автора к описанию картин природы, которые, впрочем, живы и прелестны»; однако они столь незначительны, что на них вообще не стоит обращать внимания. «Эта поэма доставила нам удовольствие, даже при неоднократном чтении. Это чистая струя, в которой отсвечивается душа благородная, возвышенная, исполненная любви к родине и человечеству. Воображение никогда не заносило поэта за пределы рассудка, в мечты, в туманы, он смотрел на природу, наблюдал сердце человеческое, чувствовал, мыслил — и писал. Творение достойно хвалы, поэт — уважения и благодарности!» — восхищался журналист^[614].

Рецензия эта, занявшая четыре газетных подвала, редко становится объектом литературоведческого анализа. Даже советских исследователей, неадекватно высоко оценивавших поэтический талант автора «Войнаровского», настораживал безудержный восторг Булгарина. Ни раньше, ни позже никто не оценивал творения Рылеева в таких выражениях.

Эта рецензия выглядит тем более странно, что ровно за две недели до нее Рылеев, уже служивший к тому времени правителем дел Российско-американской компании, отправил в Санкт-Петербургский цензурный комитет следующее отношение:

«Февраля 14 дня 1825 года

№ 155-й

Главное правление Российско-американской компании поручило просить оный комитет не одобрять к напечатанию в издаваемых здесь журналах статей, касающихся до оной компании или колоний ее, без приложения компанейской печати и подписи кого-либо из чиновников канцелярии, ибо в противном случае могут быть открыты или тайны компании, или помещены ошибочные и превратные известия. Гласность первых и неосновательность вторых могут послужить ко вреду дел Российско-американской компании. Таким образом, одно из подобных известий напечатано в № 20 “Северной пчелы”, будто бы от медика, находящегося в службе компании, тогда как оного около двух лет на службе в колониях не имеется. Канцелярия Главного правления оной компании просит почтить ее по сему предмету ответным уведомлением.

Правитель канцелярии Рылеев»^[615].

Первый номер «Северной пчелы», вышедший 1 января 1825 года, открывался статьей о российско-американских колониях: «Ново-Архангельский порт (на острове Ситхе). 12 мая 1824. Могу уведомить вас, что в главной колонии, равно как и во всех прочих российско-американских колониях, всё состоит в добром порядке и благоустройстве. Русские, креолы, алеуты наслаждаются желаемым здоровьем; больных мало, а особенных болезней, благодаря Богу, нет и не было. С окружающими нас дикими народами настоит мир и тишина, а связи с Калифорниєю, откуда мы получаем разные нужные для нас товары, более и более укрепляются».

Далее сообщалось, что «главный правитель колоний, флота капитан М. И. Муравьев», успешно занимается среди местного населения пропагандой «прививания коровьей оспы» и его пропаганда оказывается успешной: «Г[осподин] штаб-лекарь Новицкий привил оную сперва детям некоторых простых людей, а впоследствии, когда оказалось хорошее ее действие, и самому монтерейскому губернатору господину] Марчано, его жене и детям»^{616}.

Следующая статья, посвященная компании, появляется в «Северной пчеле» спустя неделю: «Командир отправленного Российскою-Американскою компаниею в колонии ее шлюпа “Елена”, лейтенант Чистяков, встретился 5/17 ноября в полдень на Северном Атлантическом океане, в широте N 8°, долготе W от Гринвича 23°54', с английским купеческим судном и, воспользовавшись сим случаем, прислал донесение Главному правлению оной компании, что он оставил Портсмут 4/16 октября, и, пройдя не более 20 миль попутным ветром, имел постоянно крепкие и жестокие ветры между S и W; но, достигнув широты N 45° и долготы W 12°, от сего пункта получил ветер попутный; он идет в Рио-де-Жанейро, где надеется быть в первых числах декабря. Притом просил он известить родных его и прочих офицеров, конечно, желающих знать о судьбе их, что они находятся в совершенном здоровье»^{617}.

Тринадцатого января последовало еще одно известие из Новоархангельска — своеобразный панегирик компании:

«Ново-Архангельский порт (на острове Ситхе) в мае 1824. Удовлетворяя желанию вашему иметь некоторые сведения о нашем отдаленном крае, сообщаю вам известие о числе жителей колоний наших и о состоянии у них земледелия и скотоводства. По составленным в Америке в конце 1823 года спискам, состоит в ведомстве Российско-американской

компании, по всем занимаемым ею местам, кроме островов, к ведомству Атхинского отдела принадлежащим, следующее число жителей: а) креолов мужеского пола 291, женского 262, итого 553 человека; б) алеутов и других народов муж. пола 4150, женск. 4265 чел., итого 8415; всего 8968 чел. В Атхинском же отделе, по спискам 1821 года, было алеутов муж. пола 365, жен. 386, итого 751 чел., следовательно, всего в колониях будет около десяти тысяч человек. В сие число не включены природные русские. В селении Росс с некоторого времени производится хлебопашество, и хотя первоначальные опыты не оказывают такого плодородия, какого бы, судя по тамошнему климату, ожидать можно было, но если на сию часть обращено будет должное внимание, то без всякого сомнения земледелие в Россе можно довести до того, что со временем будет оно продовольствовать хлебом наши колонии или, по крайней мере, служить значительным к их продовольствию подкреплением.

В 1823 году было посеяно 185 пуд пшеницы и 34 пуда ячменю, а снято 1815 п. пшеницы и 137 п. ячменю. — Начальство колонии, сообразно с желанием компании, прилагает старание об улучшении и распространении хлебопашества, сколько обстоятельства позволяют. — Скотоводство в Россе значительно увеличилось. К 1-му числу октября 1823 года было там налицо разного скота: 213 быков, 842 овцы, 81 свинья, 46 лошадей. В других наших колониях, по суровости их климата, хлебопашества завести нельзя, но огородный овощ в Кадьяке и Ситхе рождается хорошо. Скота в Кадьяке довольно размножилось, и тамошнее скотоводство составляет немаловажную экономическую статью. В Ситхе содержат скота сколько потребно, дабы в случае нужды иметь свежее мясо. То же можно сказать и об Уналашке»^[618].

Первая и третья статьи написаны в форме писем частных лиц, якобы служивших в Русской Америке или побывавших там. Письма эти — плод журналистского вымысла. В их основе лежит закрытая информация: о начальном этапе привития коровьей оспы, о результатах своеобразной «переписи населения» 1824 года и т. п. Версию о литературном происхождении этих текстов подтверждает и вторая публикация: естественно, простой житель Русской Америки не мог знать содержания письма командира плившего в колонии шлюпа, да и не стал бы расхваливать быт тамошних обитателей, в то время как на самом деле они умирали с голоду.

Трудно заподозрить Греча или Булгарина в авторстве всех трех статей; их автором мог быть только тот, кто хорошо ориентировался в делах Российско-американской компании, был в курсе статистики и переписки, то

есть один из сотрудников Главного правления — и этот факт представляется бесспорным. Однако среди этих сотрудников было только два человека, владевших пером: Рылеев и его подчиненный, столоначальник в РАК Орест Сомов, известный литератор и сотрудник «Северной пчелы». Можно с большой долей уверенности утверждать, что кто-то из них и написал эти статьи.

Версия авторства Рылеева представляется более обоснованной. Он единственный из всех чиновников компании в полном объеме владел сведениями о ней. Более того, писать такие документы, «о пользах и интересах компании ходатайствовать» входило в его обязанности. Однако если автором статей являлся Сомов, то они всё равно не могли быть написаны, а тем более напечатаны без ведома и одобрения Рылеева. Публикации эти были призваны в практически безвыходной для Российско-американской компании ситуации укреплять ее репутацию в общественном мнении.

Читатели «Северной пчелы» должны были увериться: население русских колоний живет дружно, все обитатели Русской Америки здоровы, занимаются земледелием и овощеводством, разводят крупный рогатый скот — словом, колонии успешно развиваются и ни в чем не знают нужды; единственное, о чем приходится заботиться начальству колоний, — прививки оспы. Истинное же состояние дел — постигший компанию кризис, голод в Новоархангельске, вооруженные конфликты с местными жителями — составляло тайну и разглашению не подлежало.

Эти публикации тем более были важны для Рылеева, что серьезно поднимали не только внутренний, но и международный престиж компании. Сообщения о Русской Америке переводил и перепечатывал со ссылкой на «Abeille du Nord» («Северную пчелу») официальный орган российского МИДа — газета «Journal de St.-Petersburg», выходившая в Санкт-Петербурге на французском языке и предназначенная для распространения за границей^[619].

Судя по материалам о Российско-американской компании, опубликованным в «Северной пчеле», начало 1825 года Рылеев и Булгарин встретили в состоянии «нежной дружбы». В первой половине января, кроме трех статей о компании, «Северная пчела» опубликовала отрывок из неоконченной поэмы Рылеева «Палей»^[620].

Однако уже 19 января Булгарин писал их с Рылеевым общему приятелю Петру Муханову: «С Рылеевым мы вчера жестоко поссорились и, кажется, навсегда. Мне кажется, что он виноват противу меня и крепко. Но

это мне не помешает почитать его всегда добрым и честным человеком и любить заочно. Ни говорить, ни писать противу него не стану дурно, ибо во мне есть еще кроха совести. Я не почитаю всех тех дурными, с которыми поссорюсь, ибо я сам болван порядочный, горяч, часто бываю дерзок: это физика — много крови»^[621]. В чем была причина ссоры — неизвестно.

По-видимому, декларируемое в письме желание Булгарина не писать о Рылееве «дурно» продиктовано не только «крохой совести». Благодаря «Полярной звезде» Рылеев в начале 1825 года — всероссийская литературная знаменитость. У него как у правителя дел Российско-американской компании было много знакомых в высшем свете, ему покровительствовал адмирал Николай Мордвинов — не только известный политический деятель, но и обладатель устойчивой репутации экономиста-либерала, имевший неизменную популярность в среде читателей «Северной пчелы».

Булгарину и Гречу не было никакого смысла затягивать очередной конфликт с Рылеевым. И спустя две недели после частного булгаринского письма Муханову Греч публикует в «Северной пчеле» свое письмо тому же адресату под названием «Петербургские записки». Скрывшись под своим традиционным псевдонимом Д. Р. К.^[622], он сообщает Муханову: «Из небольшого отрывка, напечатанного в “Северной пчеле”, ты известился, что К.Ф. Рылеев пишет новую поэму “Палей”. Дарование сего поэта, избравшего благородное поприще отечественных событий, видимо усвершенствуется с каждою новою пиесою. Публика отменно любит его, и если он будет несколько более прилежать к отделке своих стихов, то, вероятно, займет отличное место между отличными поэтами. Во всех его произведениях видна какая-то теплота душевная, уважение к правам человечества и любовь к родине, которые приковывают читателя к сочинению и заставляют любить сочинителя»^[623].

Очевидно, Булгарин рассчитывал, что после этой публикации тщеславный поэт восстановит взаимоотношения с ним.

Однако, судя по дальнейшим событиям, этого не произошло. Вполне возможно, что Рылеев посчитал недостаточным хвалебный отзыв о себе, исходящий от Греча, а не непосредственно от Булгарина. Кроме того, слова «вероятно, займет отличное место между отличными поэтами» не могли удовлетворить авторское самолюбие правителя дел Российско-американской компании.

Еще десять дней спустя в «Северной пчеле» появляется новая статья о Русской Америке: «Мы несколько раз сообщали читателям нашим разные

сведения из Ново-Архангельского порта. Нелишним считаем поместить здесь краткое описание сего места, присланное оттуда одним медиком, находящимся на службе в РАК. “Ново-Архангельск, колонии и порт Российско-американской компании лежит на острове Ситх, неподалеку от северо-западного берега Америки, под 57° сев[ерной] широты. Климат там теплее, чем в Лифляндии; стужа редко достигает 15 градусов; но почти ежедневно идет дождь и носятся густые туманы, неприятные для иностранцев. Несмотря на то, болезней здесь мало. Весь остров утесист и неспособен к земледелию; с великим трудом разводят по морскому берегу картофель. Утесы покрыты не землею, а только мхом; и в этом мхе растут пребольшие ели и лиственницы в таком множестве, что весь остров кажется одним непроницаемым лесом. На приморском берегу обитают тамошние природные жители, питающиеся рыбою и немногими кореньями. Платье шьют они из дорогих бобровых, собольих и лисьих шкур; но большею частью ходят нагишом, даже при стуже в 6°, и купаются ежедневно в холодной воде. Они смелы и хитры, умеют владеть огнестрельным оружием и при случае воруют и грабят весьма искусно. Лице свое раскрашивают они красным, черным и зеленым цветами и набивают волосы мелкими птичьими перьями. Женщины прокалывают нижнюю губу деревянной палочкою, от чего губа отвисает до невероятной длины. Чем длиннее губа, тем прекраснее дама! — Жизненных припасов здесь мало, и они чрезвычайно дороги. Нет земледелия, следовательно, нет хлеба и овощей, кроме картофеля и репы. По недостатку пажитей нет ни рогатого скота, ни овец, ни лошадей. Десяток яиц стоит 5 р., пара кур 10 р., шеффель^[15] картофеля 30 р. Хлеб и масло привозят из-за моря. Ближайшая плодородная земля, Калифорния, лежит в 2000 верстах отсюда”»^[624].

Статья была подписана буквами О. Р. В., которые, как впоследствии объяснял Булгарин, означали ссылку на выходившую в Риге немецкоязычную газету «Ostsee-Provinzen Blatt» («Остзейские провинциальные ведомости»). Статью эту через три дня также перепечатала «Journal de St.-Petersburg»^[625].

Публикация эта описывала ситуацию в колониях гораздо точнее, чем три предыдущих. Земля, на которой невозможно заниматься земледелием; холод, дороговизна, воровство и грабежи; странные, непонятные европейцу нравы и привычки местных жителей — со всем этим ежедневно сталкивались служившие в Америке российские сотрудники компании. «Тайна компании», таким образом, была явлена миру.

О мотивах, побудивших Греча и Булгарина напечатать эту статью,

можно только догадываться. Возможно, Булгарина задело, что Рылеев не помирился с ним после публикации Греча. Возможно, сыграли роль особенности болгаринского характера, его «дерзость» и «горячность», а заодно и стремление наказать Рылеева, не пожелавшего мириться.

Для Рылеева это был сильный удар. Из его частной переписки следует, что все первые месяцы 1825 года он занимался подготовкой к важнейшему событию — общему собранию акционеров Российско-американской компании. На повестке дня стояли вопросы о балансе компании, ее экономических потерях, положении в колониях и т. п.^[626] На собрании вполне мог быть поставлен вопрос о правителе дел, так и не сумевшем создать в периодической печати положительный имидж компании.

О собрании, намеченном на 18 марта, Булгарин знал, ибо тоже был акционером Российско-американской компании с правом решающего голоса.

И, естественно, издатель «Пчелы» даже представить себе не мог, что Рылеев пожалуется на него в цензуру: именно в это время, в феврале 1825 года, цензурирование проходила третья книжка «Полярной звезды» (разрешение печатать ее было получено 20 марта), а работавший с ней пресловутый Бируков был давним болгаринским приятелем^[627].

Но Булгарин, по-видимому, недооценил Рылеева. Пост правителя дел оказался для него в тот момент важнее, чем судьба альманаха. В истории с «антикомпанейской» статьей Рылеев выступил вовсе не как поэт, издатель и участник политического заговора — он выступил как чиновник, наделенный официальной властью и немалыми связями: его жалоба поступила в цензурный комитет непосредственно в день выхода «Северной пчелы» с этой статьей. Донос явно писался Рылеевым наспех: строки о том, что «медика» «около двух лет на службе в колониях не имеется», дезавуировали первую публикацию об успехах в привитии коровьей оспы местным жителям.

Разбирательство в цензурном комитете было по тому времени необычно быстрым — оно заняло меньше двух недель. От Булгарина и Греча потребовали объяснений. Они утверждали, что не имели желаний нанести вред компании, а статья — всего лишь перепечатка из «Остзейских ведомостей». Однако цензурный комитет не стал разбираться в том, каким образом эта статья попала в рижскую газету и кто ее написал. Собственно, Рылеев этого и не требовал — он желал только наказать строптивых издателей «Северной пчелы».

Двадцать шестого февраля комитет официально ответил правителю

дел: «На отношение канцелярии главного правления Российско-американской компании от 14 сего февраля о неодобрении к напечатанию статей, касающихся до компании или ее колоний, без предварительного согласия на то канцелярии главного правления, — С[анкт]-П[етер]бургский цензурный комитет имеет честь отвечать, что оным комитетом положено поступать впредь согласно с отношением канцелярии главного правления. Вследствие сего Комитет отнесся к гг. издателям “Северной пчелы” коллежскому советнику Гречу и отставному капитану Булгарину с подтверждением, чтобы они впредь не присылали в цензуру никаких даже и переведенных с иностранных языков статей, до оной компании или колоний ее касающихся, без приложения компанейской печати и подписи кого-либо из чиновников канцелярии»^{628}. Издателям «Северной пчелы» было предписано дать опровержение.

*

Однако опровержение в «Северной пчеле» так и не появилось, а отношения Рылеева с ее издателем вскоре восстановились. Методы, с помощью которых Булгарину удалось этого достигнуть, свидетельствуют: отставной капитан был тонким психологом, прекрасно понимавшим особенности характера и мироощущения Рылеева. Собственно, печатным ответом Булгарина на обращение Рылеева в цензурное ведомство можно считать рецензию на поэму «Войнаровский».

Сохранившееся письмо Рылеева Булгарину, написанное по прочтении этой рецензии, свидетельствует: поэт понимал, что ему публично, грубо и бессовестно льстят, но ничего не мог с собой поделаться: «Любезный Фаддей Венедиктович. Читал твое суждение о “Войнаровском” с чувством. Вижу, что ты по-прежнему любишь меня; ничто другое не могло заставить тебя так лестно отозваться о поэме, и это обязывает меня благодарить тебя и сказать, что и я не переставал и, верно, не перестану любить тебя. Прошу верить этому. Знаю и уверен, что ты сам убежден, что нам сойтись невозможно и даже бесчестно: мы слишком много наговорили друг другу грубостей и глупостей, но, по крайней мере, я не могу, не хочу и не должен остаться в долгу: я должен благодарить тебя. Прилично или неприлично делаю, отсылая к тебе письмо это, — не знаю еще: следую первому движению сердца. Во всяком случае надеюсь, что поступок мой припишешь человеку, а не поэту. Прошу тебя также, любезный Булгарин, вперед самому не писать обо мне в похвалу ничего; ты можешь увлечься,

как увлекся, говоря о “Войнаровском”, а я человек: могу на десятый раз и поверить; это повредит мне — я хочу прочной славы, не даром, но за дело».

Булгарин на полученном послании приписал: «Письмо сие расцеловано и орошено слезами. Возвращаю назад, ибо подлый мир недостойн быть свидетелем таких чувств и мог бы перетолковать — а я понимаю истинно». Рылеев, вновь отсылая письмо Булгарину, добавил после его приписки: «Напрасно отослал письмо: я никогда не раскаиваюсь в чувствах, а мнением подлого мира всегда пренебрегал. Письмо твое и должно остаться у тебя»^[629].

Примирение, таким образом, было достигнуто. Рецензию Булгарина на «Войнаровского» как раз и можно считать искомым опровержением, вполне устроившим правителя дел Российско-американской компании. Собрание же акционеров прошло для него весьма удачно, вопрос об «антикомпанейских» публикациях поднят не был.

Однако на похвалах в адрес «Войнаровского» Булгарин не остановился. Через несколько дней он опубликовал еще одну рецензию — на сборник Рылеева «Думы», вышедший в Москве практически одновременно с «Войнаровским». «Любовь к отечеству и чистейшая нравственность суть отличительные черты сего сочинения. Достоинство пиитическое также неоспоримо», — утверждал рецензент. Еще несколько дней спустя в «Северной пчеле» появилось сообщение о выходе книжки альманаха на 1825 год: «Вообще заметно было с самого появления “Полярной звезды” (в 1823 г.), что в ней преимущественно и стихи и проза говорили нам о нашей отчизне или посвящены были ее воспоминаниям. В нынешней “Полярной звезде” это еще яснее видно»^[630].

Об окончательном восстановлении «горячности нежной дружбы» Рылеева и Булгарина свидетельствует появление 9 сентября в «Северной пчеле» еще одной статьи о Русской Америке: «Принадлежащий Российско-американской компании бриг “Волга”, отправленный мая 4-го сего года из главной фактории колоний, Ново-Архангельского порта, что на острове Баранова (Ситх), прибыл 6-го июля на Охотский рейд с значительным грузом пушных товаров. Плавание имел он благополучное. Главное правление Российско-американской компании, извещая о сем гг. ее соучастников, долгом поставляет уведомить их, что, по донесениям, в колониях состоит всё благополучно. В продовольствии всякого рода совершенный достаток, а с окружающими народами мир и доброе согласие»^[631]. Последним же известием из Америки, напечатанным в «Северной пчеле» до декабрьских событий 1825 года, было сообщение: «...

из частных писем, получаемых из Североамериканских колоний, узнали мы, что близ Александровского редута (в Кенайской губе), в утесах на берегу реки Кускохана, находят много мамонтовых костей, как то: позвонки, ребра, ноги, зубы сего зверя и т. п.»^{632}. Автором этих публикаций, по-видимому, снова был Рылеев (или — с его ведома или по его поручению — Орест Сомов).

*

Согласно позднейшим мемуарам Николая Греча, «Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: “Когда случится революция, мы тебе на ‘Северной пчеле’ голову отрубим”». Среди донесений Булгарина в Третье отделение есть подтверждения факта этого высказывания. Булгарин, рассказывая о себе в третьем лице, дважды возвращался к этому сюжету. В 1826 году он писал: «Что Булгарин вытерпел за свой образ мыслей от партии, некогда сильной в обществе, которой пагубные замыслы открылись впоследствии, сие известно всем, составлявшим круг их знакомства. Булгарина даже стращали публично, что со временем ему отрубят голову на “Северной пчеле” за распространение неевропейских (так они называли) идей». Два года спустя в очередном донесении он конкретизировал свой рассказ: «Известно, что Рылеев угрожал Булгарину за столом у купца Северина при многочисленном собрании, что придет время, когда ему, Булгарину, отрубят голову на “Северной пчеле”. — До такой степени газета сия была ненавистна заговорщикам»^{633}.

По-видимому, Рылеев действительно позволил себе пошутить над Булгариным — и эта шутка в связи с последовавшими вскоре трагическими событиями стала восприниматься как свидетельство идейных расхождений между друзьями-журналистами. По крайней мере, такой трактовки очень хотел сам Булгарин: дружба с казненным преступником легла темным пятном на его позднюю биографию.

Между тем содержание «Северной пчелы» на 1825 год, публикация там произведений самого Рылеева, а также рецензий на его «Думы» и «Войнаровского» свидетельствуют об обратном: образ мыслей Булгарина в то время вовсе не был «верноподданническим». Даже если литератор и имел тайное желание «перейти в стан реакции», он не мог не понимать: явленное вольнолюбиво настроенной публике, это желание приведет к

упадку его журнальных предприятий.

Фраза о необходимости «отрубления» болгаринской головы явно была вызвана «нереволюционными» причинами. Рылеев произнес свою угрозу «за столом у купца Северина при многочисленном собрании». Андрей Северин, один из директоров Российско-американской компании, был прямым начальником Рылеева. Вряд ли за его столом правитель дел мог говорить о будущей «революции» — речь шла скорее о «российско-американских» публикациях в болгаринской газете, по-видимому, хорошо известных всем собравшимся на обеде у директора.

С точки зрения и самого Рылеева, и его друзей, многие из которых тоже служили в компании, Булгарин, опубликовав «антикомпанейскую» статью, выказал себя негодяем и потому был вполне достоин казни на экземпляре собственной газеты, но сумел оправдаться перед Рылеевым, а потому был допущен на обед к Северину, вновь стал «своим», с ним снова можно было иметь дело.

Конечно, возможности, которые открыла перед Рылеевым должность правителя дел Российско-американской компании, он использовал для нужд заговора.

Вслед за Рылеевым готовность сотрудничать с компанией изъявили многие будущие участники заговора. Давно подмечено: если бы не восстание на Сенатской площади, к началу 1826 года ряд ответственных должностей в администрации компании мог оказаться в руках членов тайного общества. Правда, большинство историков не дают четкого ответа на вопрос о целях такого «захвата должностей» в компании — за исключением общих фраз о том, что члены тайных обществ стремились «расширить свои связи за счет оппозиционно настроенной части купечества»^[634].

*

Один из самых сложных вопросов, которые предстояло решать Рылееву и его сподвижникам, — вопрос о судьбе императора и царской фамилии в случае победы революции. Тема эта обсуждалась практически с начала существования тайных обществ. С 1817 года, времени так называемого московского заговора, она была самым тесным образом связана с вопросом о цареубийстве.

Руководитель Южного общества Павел Пестель показывал на следствии: «Все говорили, что революция не может начаться при жизни

государя императора Александра Павловича и что надобно или смерть его обождать, или решиться оную ускорить, коль скоро сила и обстоятельства общества того требовать будут. В сем точно по истине были все согласны. Но справедливость требует также и то сказать, что ни один член из всех теперешних мне известных не вызывался сие исполнить, а, напротив того, каждый в свое время говорил, что хотя сие действие, может статься, и будет необходимо, но что он не примет исполнения оногo на себя, а каждый думал, что найдется другой для сего. Да и подлинно большая разница между понятием о необходимости поступка и решимостью оный совершить»^{635}.

В Южном обществе обсуждалось несколько более или менее реальных планов цареубийства и устранения царской семьи. Этот акт был сочтен южными заговорщиками одним из обязательных элементов будущей революции. Под давлением Пестеля на «истребление» всей «фамилии» согласились главные участники заговора на юге. Южное общество занималось, в частности, поисками людей, готовых осуществить эту меру^{636}.

Вопрос о судьбе царской семьи обсуждался и петербургскими конспираторами. Рылеев на следствии показал, что на одном из первых совещаний, на котором ему довелось присутствовать, он задал вопрос: «А что делать с императором, если он откажется утвердить устав представителей народных?» После некоторых рассуждений заговорщики решили вывезти монарха и его семью за границу^{637}.

Признание Рылеева красноречиво свидетельствует: северные заговорщики были не столь кровожадны, как южные, планировавшие убийство императора и его семьи; они предполагали оставить царя в живых и вывезти из страны.

От этой идеи северные заговорщики не отказались до самого 14 декабря. Например, своему другу Александру Бестужеву Рылеев сообщил, что императорскую фамилию собираются арестовать и вывезти из России морем. «Донесение Следственной комиссии» констатировало: мнение Рылеева по данному вопросу разделяли Трубецкой, Никита и Матвей Муравьевы, Оболенский и Николай Тургенев^{638}.

Планы петербургских заговорщиков, связанные с вывозом и содержанием императорской фамилии в случае победы революции, историки, за редким исключением, подробно не исследовали. Попытку проанализировать эти планы сделал П. О'Мара, посвятив этому целую главу своей монографии о Рылееве; однако и эти изыскания привели

историка лишь к выводу: «Во всяком случае неясно, куда именно “за границу” Рылеев предлагал отправить императорскую фамилию»^[639].

Между тем вывоз царской семьи в Европу был невозможен: Россия была скреплена с ней узами Священного союза, а члены правящей династии приходились родственниками многим европейским владетельным домам. Этот факт и Рылеев, и его друзья хорошо осознавали; Иван Пущин прямо заявлял о том, что в Европе члены «фамилии» станут «искать помощи чужестранных государств»^[640]. Единственным местом, куда можно было бы вывезти венценосную семью, не опасаясь немедленной реставрации, были русские колонии в Америке.

Естественно, Рылеев и его ближайшие сподвижники предпочитали на следствии не распространяться на эту тему, ибо понимали, что участие в конкретных планах вывоза «фамилии» может намного утяжелить их судьбу. Однако из их показаний можно сделать вывод: на квартире Рылеева шли постоянные разговоры как о колониях вообще, так и о «селении нашем в Америке, называемом Росс»^[641].

Самое южное русское владение в Америке, селение Росс, основанное в 1812 году, с крепостью, которую в принципе можно было сделать неприступной, вполне подходило для содержания царской семьи. Политическая ситуация в Верхней Калифорнии, на территории которой был расположен Росс, была крайне нестабильной. Формально Верхняя Калифорния принадлежала Мексике, только в 1821 году освободившейся из-под владычества Испании. Испанцы, мексиканцы, а также претендовавшие на плохо контролируемые мексиканские земли американцы выясняли отношения друг с другом, и можно было надеяться, что вмешиваться в российскую политику они не станут. Таким образом, императорская фамилия оказывалась в заложниках у заговорщиков: при начале европейской интервенции можно было отдать приказ о ее истреблении, и он мог бы быть выполнен без особого труда.

Много лет спустя Александр Беляев писал в мемуарах: «Это местечко, населившись, должно сделаться ядром русской свободы. Каким образом ничтожная колония Тихого океана могла иметь какое-либо влияние на судьбы такого громадного государства, как Россия, тогда это критическое воззрение не приходило нам в голову — до такой степени мы были детьми»^[642]. Трудно сказать, был ли Беляев в курсе всех рылеевских замыслов, однако несомненно, что и он принимал участие в разговорах о Калифорнии и Россе.

Михаил Назимов утверждал на следствии: «Я слышал от Рылеева...

что общество предполагало возмутить Калифорнию и присоединить ее к североамериканским российским владениям и что туда отправлялся один из членов, не знаю, кто именно, для исполнения сего»^{643}. Как видим, в этих показаниях также отразились соответствующие разговоры Рылеева со своим ближайшим окружением.

*

В связи с гипотезой о существовании у Рылеева планов по вывозу царской фамилии именно в Америку особое значение приобретает его деятельность по подбору персонала в русские колонии. Прежде всего следовало сделать так, чтобы на посту главного правителя колоний оказался свой человек.

Должность главного правителя была одной из ключевых в Российско-американской компании. Именно он выполнял в колониях функции главы местной администрации, «поелику правительство не полагает еще ныне нужным иметь от себя в колониях чиновника», отвечающего за соблюдение российских законов. Кандидатура правителя представлялась компанией на высочайшее утверждение. Согласно учредительным документам компании, «главный колоний правитель» «должен быть непременно из офицеров морской службы», поскольку он автоматически становился комендантом Ново-Архангельского порта и все капитаны прибывающих русских судов, в каком бы воинском звании ни находились, оказывались в его подчинении^{644}.

С 1819 года пост главного правителя занимал капитан-лейтенант Матвей Муравьев. В колониях ему пришлось нелегко: именно во время его правления Русскую Америку постиг голод, связанный с запрещением торговли с иностранцами. Судя по письмам, которые Муравьев слал в Петербург, он очень устал, тяжело заболел и должность свою исполнять больше не мог. В 1824 году в колонии был отправлен корабль «Елена»; его командир, лейтенант Петр Чистяков, имел предписание сменить Муравьева. Однако, согласно этому предписанию, Чистяков должен был исполнять обязанности главного правителя только в течение двух лет, «ежели на то не будет какого-либо особенного случая»^{645}, а в 1826 году в колонии должен был отправиться новый главный правитель. В поисках надежного человека на эту ключевую должность Рылеев познакомился с молодым флотским офицером Дмитрием Завалишиным.

Завалишин — одна из авантюрных фигур заговора 1825 года. Безусловно талантливый и предприимчивый, он обладал болезненным самолюбием, слепо верил в свое исключительное предназначение, был склонен к мистификации и сильно преувеличивал свою роль в событиях, связанных с заговором. Однако анализ документальных материалов показывает: многое из того, что Завалишин говорил следователям, а затем писал в мемуарах, соответствует истине^{646}.

Связи Завалишина с членами тайных политических организаций не раз становились предметом изучения^{647}. Известен Завалишин, прежде всего, основанием Вселенского Ордена Восстановления, в который он пытался принять даже императора Александра I. Не ставя перед собой цели анализировать деятельность этого полумифического ордена, остановимся лишь на тех мотивах, которые заставили Рылеева вести с Завалишиным долгие переговоры.

Завалишин, тогда мичман, принявший участие в кругосветной экспедиции на фрегате «Крейсер», руководимой легендарным Михаилом Лазаревым, с ноября 1823 года по февраль 1824-го был в российских колониях в Америке. Вернувшись из путешествия, он получил чин лейтенанта. В начале 1825 года состоялось его знакомство с Рылеевым. Сам Рылеев пояснял на следствии, что через Завалишина «много надеялся сделать в Кронштадте», но надежды его не оправдались. Собственно, в полном соответствии с этими показаниями данное знакомство и толковалось исследователями^{648}.

Однако на самом деле Завалишин был интересен Рылееву отнюдь не только своими кронштадтскими связями.

За время путешествия молодому офицеру удалось хорошо изучить Америку и даже создать проекты присоединения всей Верхней Калифорнии к России. Он пытался заинтересовать этими проектами Александра I, а затем руководство Российско-американской компании^{649}. Как признавался сам Рылеев, «по случаю» этого знакомства он снова обратился к мысли об отправке императорской фамилии за границу. Рылеев также сообщил следствию, что Завалишин заинтересовал его постольку поскольку только что вернулся из колоний: «Знакомясь с ним, я имел прежде в виду получить от него обстоятельные сведения о состоянии заведений и промышленности Российско-американской компании на берегах Северо-Западной Америки. Сии сведения были мне нужны как правителю канцелярии упомянутой компании». Это подтверждает и сам Завалишин: «Уже с самого прибытия (в Петербург. — А. Г., О. К.) обращено

было на меня внимание заговорщиков... я тогда занимался... делами Рос[сийско-] Американской] компании»^{650}.

Завалишин не случайно занимался делами компании: он рассчитывал вскоре получить должность правителя Росса и реализовать свои планы присоединения к России Верхней Калифорнии. Затем и вовсе могло состояться назначение Завалишина правителем всех русских колоний в Америке. Лейтенант, согласно его собственным мемуарам, был уверен: именно ему было предназначено «устроить в течение двух лет земледельческие колонии в Калифорнии, а затем еще пять лет пробыть главным правителем колоний для проведения там реформ»^{651}. Очевидно, эту уверенность он сумел передать Рылееву.

Однако, несмотря на то, что Рылеев связывал с Завалишиным большие надежды, сообщать лейтенанту о заговоре он долго не решался. Вероятно, правитель Росса, как и главный правитель колоний, должен был, по плану Рылеева, узнать о произошедшей в России революции лишь тогда, когда в Русскую Америку придет бы корабль с царской семьей. Рылеев рассказал Завалишину о тайном обществе лишь в апреле 1825 года, когда стало понятно, что ни правителем Росса, ни правителем колоний император Завалишина не сделает «из опасения, чтобы какою-нибудь самовольною попыткою» он не привел в исполнение свои «обширные планы» и «не вовлек бы Россию в столкновение с Англией и Соединенными Штатами»^{652}. Очевидно, именно тогда Рылеев стал рассматривать Завалишина как своего человека в Кронштадте.

После того как стало ясно, что Завалишин в колонии назначен не будет, Рылеев стал искать другую кандидатуру на эту должность и занимался этим практически всё лето и большую часть осени 1825 года. Он сообщил следствию, в частности, что предпринял одну из поездок в Кронштадт летом 1825 года, чтобы «узнать лично от капитана 2-го ранга Панафидина^[16], согласится ли он принять на себя должность гл. правителя колоний Компании в Америке»^{653}. По-видимому, капитан от предложения отказался; по крайней мере, никаких сведений о том, что переговоры с ним продолжились, обнаружить не удалось.

Судьба улыбнулась Рылееву лишь в начале ноября 1825 года: ему удалось, наконец, найти человека, согласившегося занять ключевой пост главного правителя колоний. Более того, подполковник инженерной службы Гавриил Батеньков согласился войти в заговор.

Батеньков — одна из самых загадочных фигур в истории тайных обществ. Он был своим в кругу двух знаменитых деятелей 1820-х годов,

которые, по выражению Пушкина, стояли «в дверях противоположных» александровского царствования, как «гении Зла и Блага»^[654], — Алексея Аракчеева и Михаила Сперанского.

Родившись в Сибири, окончив кадетский корпус в Петербурге, приняв участие в Отечественной войне и Заграничных походах и получив после войны назначение обратно в Сибирь, Батеньков в 1819 году познакомился в Тобольске со Сперанским, назначенным генерал-губернатором Сибири. Сперанский приблизил к себе толкового чиновника, тем более что с окружением прежнего генерал-губернатора Ивана Пестеля у Батенькова были постоянные конфликты. Батеньков стал помогать Сперанскому в проведении преобразований, в том числе и кадровых, в результате которых почти все сибирские чиновники лишились должностей. В 1821 году генерал-губернатор отправился в Петербург с отчетом о проведенной им ревизии, а Батеньков получил приказание ехать вслед за ним^[655].

В июле 1821 года Батеньков познакомился в Петербурге с Аракчеевым: их связала совместная деятельность в Сибирском комитете, созданном «для рассмотрения отчета, представленного сибирским генерал-губернатором по обозрению сибирских губерний». В комитете, заседавшем под председательством Аракчеева, Батеньков исполнял обязанности секретаря и сумел понравиться графу. В январе 1823 года подполковник был назначен «к особым поручениям по части военных поселений»; он стал также «членом комиссии составления проекта учреждения оных»^[656]. Но сотрудничество с Аракчеевым не поссорило Батенькова со Сперанским, в дом которого он по-прежнему был вхож.

При этом Батеньков никогда не был близок к кругам вольнолюбивой молодежи, за исключением последнего месяца 1825 года. «Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его», — писал хорошо знавший и заговорщиков, и Батенькова Николай Греч. Участники заговора «почитали опасным доверять более человеку, близкому по комитету поселений к графу Алексею Андреевичу Аракчееву», утверждал Николай Бестужев^[657].

Никакой особой симпатии к Рылееву Батеньков не испытывал; впрочем, Рылеев отвечал ему тем же. «Знакомство мое (с Рылеевым. — А Г., О. К.) не доходило и до простой светской приязни, да и сам он, видимо, избегал сближения со мною, опасаясь моего положения, близкого при графе Аракчееве», — вспоминал подполковник. Вхожий в столичные литературные круги Батеньков не мог не знать о наделавшей в 1820 году много шума сатире Рылеева «К временщику». Для него Аракчеев вовсе не

был «надменным временщиком» — скорее, покровителем и старшим другом. «В обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненным совершенно искренен и увлекается всеми страстями», — характеризовал подполковник своего патрона^{658}.

Однако в конце 1825 года сближение Рылеева и Батенькова всё же произошло, и основой его стало непомерное честолюбие, присущее обоим. Батеньков на следствии прямо заявлял: «Я от природы безмерно самолюбив», «мне всегда хотелось быть ученым или политиком», «поелику революция в самом деле может быть полезна и весьма вероятна, то непременно мне должно в ней участвовать и быть лицом историческим». Когда перед самым восстанием 14 декабря члены тайного общества стали прочить Батенькова в секретари Временного правительства, он особо настаивал, чтобы в это правительство не был включен Сперанский, ибо «при нем не мог бы уже я играть главной роли»^{659}.

Сближению с Рылеевым способствовала и карьерная неудача, постигшая Батенькова осенью 1825 года. 10 сентября в аракчеевском имении Грузино, где подполковник провел всё лето, была убита крепостными любовница и экономка всесильного временщика Настасья Минкина. Неизвестно, как на самом деле воспринял Батеньков гибель фаворитки Аракчеева, но недоброжелатели подполковника начали активно распространять слухи о том, что он одобряет ее убийство. Начальник штаба военных поселений Петр Клейнмихель, расследовавший преступление, получил соответствующий анонимный донос.

Батеньков не стал дожидаться развязки и, будучи уверен в том, что не сможет «продолжать службы без ближайшего руководства и благодетельного покровительства», подал прошение об отставке. Вероятно, он всё же рассчитывал, что патрон не отвернется от него, но 14 ноября 1825 года был освобожден от обязанностей, связанных с военными поселениями. Свое отстранение Батеньков назвал «деспотической мерой» и решил вовсе покинуть военную службу^{660}.

«Служить более я не намерен. Запрячусь куда-нибудь в уголок и понесу с собою одно сокровище — чистую совесть и сладкое воспоминание о минувших мечтаниях», — признавался он в частном письме. Желание «запрятаться» и подтолкнуло бывшего соратника Аракчеева к поиску должности в Российско-американской компании. «Поняв, что я в России не найду уже приюта... решил удалиться и начал искать места правителя колоний Американской компании на Восточном океане», — показал он на следствии^{661}. Очевидно, получить согласие

руководства компании на это назначение помог Батенькову Сперанский, принимавший деятельное участие в ее делах^{662}. Без сильной протекции стать главным правителем колоний подполковник не мог, ибо морским офицером никогда не был. Можно предположить, что перевод из инженерной службы на флот был обязательным условием получения искомого места.

В связи с переговорами о назначении в колонии Батеньков попал в сферу внимания Рылеева. Сам Батеньков на следствии довольно подробно восстановил эпизод вовлечения его в заговор:

«Между тем положение мое было затруднительно и горестно. Это дало удобность членам т[айного] о[бщества] действовать на меня. У Прокофьева могли они видеть меня почти каждый день... Около половины ноября я заболел. Александр] Бестужев приехал ко мне ввечеру... Мы говорили, что действительно перемена в России необходима. Он старался утверждать в той мысли, что лучше сделать ее нам, нежели допустить других...

После приехал Рылеев. Мне ясно уже было, что он в связи с Бестужевым. Разговор завел прямо о том, что в монархии не может быть ни великих характеров, ни истинных добродетелей».

Батенькову, по его собственному признанию, не понравился образ мыслей Рылеева. Однако разница во взглядах оказалась в данном случае вторичной, первичными были общность интересов и стремление стать «людьми историческими», совершить революцию, не дожидаясь, пока это сделают другие. По всей вероятности, Рылееву пришлось открыть Батенькову некоторые свои планы: честолюбивый подполковник, конфидент Сперанского и Аракчеева, никогда не согласился бы с ролью пешки в чужой игре.

К середине декабря 1825 года было достигнуто и соглашение с Российско-американской компанией об отправке Батенькова в колонии: он «обязывался служить 5 лет за 40 т[ысяч] ежегодно»^{663}. Однако события, произошедшие 14 декабря на Сенатской площади, помешали Батенькову приступить к исполнению своих новых обязанностей: 28 декабря он был арестован по делу «о злоумышленных обществах» и 20 последующих лет провел в одиночной камере Петропавловской крепости. Главным же правителем колоний до начала 1830-х годов вынужден был остаться Чистяков.

В конце 1824-го — начале 1825 года в планы Рылеева неожиданно вторглась большая международная политика: были приняты Русско-американская и Русско-английская конвенции о разграничении владений этих государств в Северной Америке. Руководство Российско-американской компании выступало против принятия конвенций, мотивируя тем, что конвенции наносят ущерб компании. В протестах принимал участие и Рылеев, даже получивший за чрезмерную активность выговор от императора^{664}. Возражения не были приняты во внимание. Между тем последствия принятия этих конвенций могли оказаться самыми печальными для Рылеева — и как правителя дел Российско-американской компании, и как заговорщика.

С принятием конвенций для компании заканчивалась эра дорогостоящих исследовательских кругосветных экспедиций — их государственное субсидирование сворачивалось, ибо освоение новых территорий, ставших, согласно конвенциям, чужими, воспрещалось. Самой же компании было не под силу часто отправлять корабли из Кронштадта в Америку. Голоса о том, что ежегодные кругосветки обходятся слишком дорого, стали звучать и внутри самой компании^{665}. При подобном положении дел могла создаться ситуация, когда, случись удачный переворот, царскую семью просто не на чем было бы вывезти за границу.

Между тем в Петербурге стало известно, что Англия готовила последнюю «большую» экспедицию в свои американские колонии; в 1826 году английский шлюп отправился к берегам Северной Америки. Соответственно, летом 1825 года Россия также начала готовить к отправке подобную экспедицию. Специально для нее на Охтинской верфи в сентябре были заложены два брига, имевшие до получения официальных названий номера 7 и 9. Экспедиция должна была завершить эпоху научных кругосветных путешествий русских военных кораблей^{666}. Ходили слухи, что отправка ее должна состояться в конце весны — начале лета 1826 года.

*

Четвертого января 1826 года штабс-капитан Вятского пехотного полка Аркадий Майборода, конкретизируя свой первый донос на полкового командира Пестеля, сообщил: восстание было запланировано на весну 1826 года «при Белой Церкви, где, говорят, наверное будут в сборе 3-й и 4-й корпуса»^{667}. Следователи без труда выяснили, что сбор двух корпусов 1-й

армии, на котором предполагалось присутствие императора, должен был проходить в мае. Многим членам Южного общества, в том числе и Пестелю, был задан вопрос о существовании «майского» плана — и большинство опрошенных ответили утвердительно.

Исследователи обычно трактуют этот план как один из череды сценариев, разрабатывавшихся Васильковской управой Южного общества. Эта управа во главе с подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом славилась своими фантастическими замыслами, связанными с появлением государя на том или ином армейском смотре. Действительно, и в этом случае инициатива принадлежала Васильковской управе. Однако Пестель, на предшествовавшие планы реагирующий скептически, на этот раз согласился с Муравьевым^{668}.

Дата восстания возникла не случайно и была связана не столько с присутствием государя на южном смотре, сколько с ситуацией в Петербурге и, в частности, в Российско-американской компании в связи с отправкой последней кругосветной экспедиции.

Летом 1825 года на Украину отправился отставной полковник Александр фон дер Бриген, получивший от Рылеева несколько поручений. В частности, он должен был встретиться с Сергеем Трубецким, с начала этого года служившим в Киеве. Побывав в Киеве, Бриген действительно увиделся с Трубецким, своим «старым знакомым»; во встрече участвовали также Сергей Муравьев-Апостол и его друг, сопредседатель Васильковской управы Михаил Бестужев-Рюмин. Бриген рассказал собеседникам о планах Северного общества^{669}.

«Меры, предполагаемые Северной Директорией, были: лишить жизни государя, а остальных особ императорской фамилии отправить на корабле в первый заграничный порт», — показывал на следствии Бестужев-Рюмин. Муравьев-Апостол «считал больше всего на общество, которое Рылеев составил в Кронштадте». Именно Бестужев-Рюмин сообщил информацию, привезенную Бригеном, Пестелю^{670}.

Таким образом, именно конец весны — лето 1826 года стали для северных и южных заговорщиков общей датой начала революционного выступления. Очевидно, предполагалось, что южным заговорщикам удастся в ходе смотра «истребить» или арестовать царя. Затем должен был наступить черед их петербургских единомышленников — им предстояло заниматься вывозом «фамилии» за границу.

В связи с началом строительства двух военных кораблей для кругосветного плавания пошли слухи и о том, что капитаном одного из них будет назначен капитан-лейтенант Константин Торсон^{671}. Участник знаменитого кругосветного плавания Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева слыл среди современников личностью почти легендарной: он был автором многих проектов преобразования флота, его имя к началу 1820-х годов уже носил остров в океане. «Торсон был баярд идеальной честности и практической пользы; это был рыцарь без страха и упрека на его служебном и частном поприще жизни»^{672}, — писал о нем близкий друг, участник заговора Михаил Бестужев. В середине 1820-х годов Торсон служил адъютантом начальника Морского штаба адмирала Антона Моллера.

Вступить в тайное общество Торсона, очевидно, заставило общее недовольство состоянием флота, помноженное на несправедливость, проявленную морским начальством лично к нему. В марте 1824 года Торсон получил под свое командование корабль «Эмгейтен», который должен был переделываться в соответствии с его собственными предложениями. В мае «Эмгейтен» был назначен для плавания великого князя Николая Павловича с супругой в немецкий Росток, но буквально накануне отплытия корабль у Торсона отобрали, назначив другого капитана^{673}. В конце 1824-го капитан-лейтенант стал членом тайного общества, однако поначалу активного участия в делах заговора не принимал.

Михаил Бестужев писал в воспоминаниях, что назначение Торсона командиром одного из отправлявшихся в кругосветное плавание кораблей должно было стать компенсацией за лишение «Эмгейтена». «Предложение было так заманчиво, — писал Бестужев, — так хорошо соответствовало его (Торсона. — А. Г., О. К.) постоянному направлению к пользе наук и славе отчизны, что он согласился и дал обещание молчать. Но накипевшее негодование не могло скоро уходить. В частых беседах со мною Торсон раскрывал душевные раны». Согласно этим же мемуарам, капитан-лейтенант должен был составить инструкцию, определявшую цель и даже маршрут нового кругосветного плавания; ему было предоставлено право самому набирать офицеров на корабли^{674}.

Летом 1825 года, когда стало ясно, что экспедиция точно будет отправлена и Торсон может стать одним из ее руководителей, Рылеев начал активно сотрудничать с капитан-лейтенантом, привлекая его к делам конспирации.

Однако руководитель заговора не спешил полностью открывать свои

планы и Торсону. Лишь когда подготовка к восстанию вступила в решающую фазу, он повел с капитан-лейтенантом более откровенные разговоры. Торсон показывал на следствии: «В начале (как помнится) декабря 1825 года Рылеев спросил, можно ли иметь надежный фрегат, т. е. положиться на капитана и офицеров, я отвечал: “Не знаю, но если меня сделают начальником, не знаю офицеров, но думаю, что может быть”, и спросил его, для чего это? “Отправить царствующую фамилию за границы”». Торсон возразил, «что царствующей фамилии надо оставаться в России» и следует избрать императора^[675].

По-видимому, разговор этот так и не был закончен. Последовавшие вскоре события, связанные с подготовкой реального восстания, отодвинули вопрос о вывозе «фамилии» за границу на второй план. Правитель дел Российско-американской компании, надо полагать, просто не успел договориться с возможным руководителем кругосветного путешествия о совместных действиях.

Двадцать третьего декабря 1825 года, уже после ареста Торсона, перепуганный начальник Морского штаба Моллер просил Николая I подтвердить распоряжение Александра I о назначении «судов в дальний вояж будущим летом», а также испрашивал «высочайшего вашего величества разрешения снабдить их и содержать во всём по прежним примерам или на том точно основании, как были отправлены прежние отряды или суда». Николай I повелел продолжать снаряжение экспедиции^[676].

В августе 1826 года последняя организованная государством кругосветная экспедиция вышла в море, брига № 7 и 9 получили названия «Моллер» и «Сенявин». 23 февраля одним из руководителей экспедиции был назначен капитан-лейтенант Федор Литке, впоследствии знаменитый адмирал и президент Академии наук. Интересно отметить, что и Литке был связан с деятелями тайных обществ, часто бывал на «чашке чая» в кружках моряков-заговорщиков. Родной брат Литке, Александр, служил в Гвардейском экипаже, 14 декабря некоторое время был на Сенатской площади и едва избежал крепости. Сам же будущий адмирал хранил в своих бумагах несколько антиправительственных произведений^[677].

Литке был уверен: в декабре 1825 года от ареста его «чудесным образом» спасла судьба. В мемуарах он писал: «Даже в самую первую минуту большое счастье было для меня, что, когда я стоял на Исаакиевском мосту, мне... не было видно Гвардейского экипажа. Увидь я его, разумеется, я пошел бы узнать, что это за история? Меня увидели бы на

площади с возмущившимся Экипажем, и тогда кончено. Вот явилось бы и подозрение. Обвинить меня, разумеется, ни в чем бы не могли, но впечатление осталось бы, и очень может быть, что меня не назначили бы в предстоящую экспедицию и вся моя будущая карьера принята бы совсем другое направление. Притом я был знаком со многими из заговорщиков, а с Бестужевыми даже в тесной дружбе с самого детства... В то время было в моде бранить правительство; между молодыми людьми не было другого разговора. Это был некоторого рода шик, да, правду сказать, и поводов к тому было довольно»^{678}.

Согласно «Донесению следственной комиссии», для вывоза императорской семьи за границу Рылееву было «от Думы велено готовить кронштадтский флот чрез надежных офицеров»^{679}.

Известно, что и в тайных обществах, и в восстании 14 декабря принимали участие многие офицеры-моряки. Тому были свои причины: флот в царствование Александра I влачил жалкое существование. «России быть нельзя в числе первенствующих морских держав, да в том ни надобности, ни пользы не предвидится»; «русский флот... есть обременительная роскошь подражания, зависящая от доброй воли государей»^{680} — таковы были мнения сподвижников Александра, заседавших в специально созданном Комитете для образования флота. Так же в итоге стал считать и сам император.

«Если бы хитрое и вероломное начальство, пользуясь невниманием к благу отечества и слабостью правительства, хотело, по внушениям и домогательству внешних врагов России, для собственной своей корысти, довести различными путями и средствами флот наш до возможного ничтожества, то и тогда не могло бы оно поставить его в положение более презрительное и более бессильное, в каком он ныне находится. Если гнилые, худо и бедно вооруженные и еще хуже и беднее того снабженные корабли; престарелые, хворые, без познаний и присутствия духа на море флотоводцы; неопытные капитаны и офицеры и пахари, под именем матросов, в корабельные экипажи сформированные, могут составить флот, то мы его имеем», — описывал состояние флота путешественник и писатель вице-адмирал Василий Головин. Он замечал, что русский флот 1820-х годов похож на «распутных девок»: «Как сии последние набелены, нарумянены, наряжены и украшены снаружи, но, согнивая внутри от греха и болезни, испускают зловонное дыхание, так и корабли наши, поставленные в строй и обманчиво снаружи выкрашенные, внутри повсюду вмещают лужи дождевой воды, груды грязи, толстые слои плесени

и заразительный воздух, весь трюм их наполняющий»^[681].

Практически единственным «настоящим» делом для морских офицеров было участие в кругосветных экспедициях, направлявшихся к далеким американским берегам. В готовых отправиться «вокруг света» не было недостатка. «Желание увидеть отдаленные страны было так велико, — писал командир первой русской кругосветки Иван Крузенштерн, — что если бы принять всех охотников... то мог бы укомплектовать и многие большие корабли отборными матросами Российского флота». «Когда шлюпы уже были почти готовы, мы приступили, по предоставленным нам правам, к избранию офицеров и служителей. Невзирая на трудности и опасности, каковых надлежало ожидать в предназначенном плавании, число охотников из офицеров было так велико, что мы имели не малое затруднение в избрании... не могли удовлетворить всех желающих быть нашими сотрудниками», — вторил Крузенштерну командир легендарной антарктической экспедиции Фаддей Беллинсгаузен^[682].

Недовольство состоянием флота было помножено у моряков на традиционное вольнолюбие Александровской эпохи, и их участие в общественном движении 1820-х годов представляется вполне логичным. Тот же Головнин, престарелый и заслуженный вице-адмирал, не имевший отношения к заговорщикам, настолько ненавидел власть, что, по некоторым сведениям, «предлагал пожертвовать собою, чтобы потопить или взорвать на воздух государя и его свиту при посещении какого-нибудь корабля»^[683].

Именно почти нескрываемая ненависть морских офицеров к правительству помогла Рылееву привлечь их к делу подготовки переворота. Некоторые из них служили в Кронштадте — крупнейшем порту и месте дислокации экипажей Балтийского флота. По сведениям, собранным следствием, Рылеев пытался создать среди кронштадтских офицеров отдельное тайное общество, впоследствии в историографии получившее название Морской отрасли Северного общества (иногда ее называют Морским обществом и Кронштадтской группой), для чего дважды посещал Кронштадт^[684].

Однако, по всей видимости, из этой затеи ничего не вышло. «Я... убедил уже Рылеева в бесполезности его намерений в рассуждении Кронштадта, что он сам туда ездил и уверился в справедливости наших слов», — показывал на следствии Николай Бестужев. Князь Евгений Оболенский, один из руководителей петербургской конспирации, утверждал, что Морское общество никогда отдельно от Северного не существовало. «Рылеев, посетив Кронштадт, не стал возлагать на него

особых надежд», — утверждает историк М. В. Нечкина^{685}.

Кроме Кронштадта, «прикосновенные к делу» моряки служили в Гвардейском экипаже — элитном батальоне, состоявшем из матросов, под командованием морских офицеров. Особенностью Экипажа была его принадлежность одновременно и к пехоте, и к флоту. Отдельные офицеры и матросы принимали участие в кругосветных плаваниях. После событий на Сенатской площади понесли наказание многие офицеры этого подразделения: лейтенанты Антон Арбузов, Михаил Кюхельбекер, Федор Вишневский, Борис Бодиско и Николай Окулов, мичманы Михаил Бодиско, Александр и Петр Беляевы и Василий Дивов.

Тайная организация, известная как Общество Гвардейского экипажа, в отличие от Морского общества, не была «мнимой», имела даже устав, составленный Антоном Арбузовым и Александром Беляевым^{686}. Среди целей этого общества были «свобода» и «равенство». Арбузов и Беляев договорились также об «утверждении дружбы и согласия помогать друг другу, защищать. Пособствовать в разных случаях жизни, в любви, в доставлении каких-нибудь выгод, в случае ссор или дуэлей». Предполагалось также «исправление нравов, защищение невинности и... гонение разврата и злости»^{687}. Некоторые из участников этого общества впоследствии вошли в состав «рылеевской отрасли». 14 декабря Гвардейский экипаж принял участие в восстании в полном составе.

Однако гвардейские моряки в качестве исполнителей плана вывоза «фамилии» за границу Рылеева интересоваться не могли. Экипаж как воинская часть с 1825 года входил в состав корпуса гвардейской пехоты, комплектовался и снабжался подобно другим пехотным подразделениям; своих кораблей у него не было. Участие Гвардейского экипажа в надвигавшихся событиях было желательно постольку, поскольку важна была поддержка любой воинской части.

Для Рылеева гораздо интереснее пропаганды в Кронштадте и в Гвардейском экипаже было знакомство с отдельными моряками, в том числе и не состоявшими в гвардии, в особенности с теми, кто, будучи близок к тайным обществам, уже служил в Российско-американской компании или желал перейти туда. Таких людей в окружении Рылеева было немало. Среди них в первую очередь можно назвать Михаила Кюхельбекера, братьев Беляевых и Владимира Романова^{688}.

Лейтенант Гвардейского экипажа Михаил Карлович Кюхельбекер был братом известного литератора Вильгельма Кюхельбекера, имевшего с лидером «северян» не только конспиративные, но и в первую очередь

литературные связи. Видимо, через брата он и познакомился с Рылеевым. Сам Михаил Кюхельбекер поведал следствию, что знаком с ним «с лишком год», «впрочем... не очень знаком, а только по Американской компании»^{689}.

Служебная карьера Михаила Кюхельбекера сложилась гораздо счастливее, чем судьба многих его сослуживцев-моряков, все плавания которых ограничивались Финским заливом. В 1819 году на бриге «Новая Земля» Кюхельбекер ходил в Северный Ледовитый океан, а в 1821 — 1824 годах принимал участие в спонсируемом Российско-американской компанией кругосветном плавании на шлюпе «Аполлон».

На следствии Кюхельбекер утверждал: «...о существовании тайного общества никогда не слышал прежде, а в первый раз услышал при допросе в Комитете. Членом же никакого общества не бывал, кроме масонского, и со времени закрытия лож уже не принадлежу никакому обществу». Это подтверждалось другими показаниями^{690}. 14 декабря в составе Гвардейского экипажа Михаил Кюхельбекер участвовал в восстании, после чего явился к великому князю Михаилу Павловичу, был арестован и на следующий день отправлен в Петропавловскую крепость.

Участниками восстания на Сенатской площади были и мичманы Гвардейского экипажа братья Беляевы. На следствии каждый из них, как и Кюхельбекер, утверждал, что «ни к какому тайному обществу никогда не принадлежал». Однако следствием было выявлено, что оба брата состояли в Обществе Гвардейского экипажа. Но членами «рылеевской отрасли» мичманы Беляевы, по всей видимости, действительно не были. Более того, в отличие от Кюхельбекера, квартиру Рылеева братья не посещали^{691}, а о готовящемся восстании узнали от лейтенанта Арбузова, вступившего в эту «отрасль». Из материалов их следственных дел даже не следует, что они были лично знакомы с правителем дел Российско-американской компании. Однако оба мичмана были, лично или заочно, хорошо известны Рылееву.

Во-первых, в вопросах преобразования России братья были настроены весьма решительно. С лейтенантом Завалишиным они обсуждали планы вывоза царской семьи за границу. «Мы часто говорили о сей любимой для нас материи»^{692}, — показывал на следствии Александр Беляев. Во-вторых, в конце 1825 года оба брата выразили желание служить в Российско-американской компании.

Карьера Беляевых сложилась гораздо менее удачно, чем карьера Кюхельбекера. Плавания их, не считая посещения российских портов на Балтике, ограничились для старшего, Александра, несколькими

европейскими портами, а для младшего, Петра, лишь немецким Ростокom. «Эти морские компании так пристрастили нас к морю, что мы с братом, желая обширнейшей практики, решились вступить в службу в Американскую компанию, которой дана была привилегия иметь командирами своих судов офицеров императорского флота. Этим офицерам во всё время этой службы производилось половинное жалование и считалась служба коронная... Мы стали хлопотать в управлении Компании, и чрез рекомендацию некоторых из наших друзей, знакомых с членами управления, нам удалось достигнуть цели», — вспоминал в мемуарах Александр Беляев^{693}.

В том, что об этих «хлопотах», относившихся к началу 1825 года, знал Рылеев, который непосредственно занимался вопросами подбора служащих для компании, сомневаться не приходится. Как вспоминал Александр Беляев, они с братом уже заключили с компанией контракт на пять тысяч рублей и подали соответствующее прошение на имя императора. Однако им было отказано на том основании, что «об офицерах Гвардейского экипажа нельзя представлять государю императору»^{694}, поскольку экипаж принадлежал к корпусу гвардейской пехоты. Чтобы поступить на службу в Российско-американскую компанию, необходимо было сначала перевестись из Гвардейского экипажа на флот.

Желание служить в компании у Беляевых оказалось настолько сильным, что в ноябре 1825 года оба подали прошения о переводе. Такое же прошение подал и Михаил Кюхельбекер. На службу в компанию хотел перейти также Антон Арбузов, разговаривавший о своем переводе с Кюхельбекером^{695}.

А уже служившего в Компании, участвовавшего в плавании в Русскую Америку и собиравшегося в отставку лейтенанта 2-го флотского экипажа Владимира Романова Рылеев просил повременить. «В исходе еще 1824 года подал я просьбу в отставку, то он упрашивал меня, чтобы я не оставлял службы, — показал Романов на следствии. — Я старался чрез знакомство его принести пользу и славу государству, а он старался привлечь меня в свою секту»^{696}.

По-видимому, именно на этих людей, а вовсе не на абстрактный и к тому же ненадежный «кронштадтский флот», надеялся Рылеев, планируя вывезти за границу императора и его семью.

Подводя итог деятельности Рылеева-заговорщика в связи с его служебной практикой, следует отметить: шансы организовать вывоз императорской фамилии за границу у него были. Очевидно, именно поэтому он и смог столь быстро занять в тайном обществе лидирующие позиции. Однако при анализе его планов остается неясным, каким Рылеев видел собственное будущее в случае успеха переворота.

Документы не дают точного ответа. И всё же понятно, что лидер переворота после победы вряд ли бы стал довольствоваться скромной ролью правителя дел коммерческой организации. Скорее всего, Рылеев не связывал свое будущее с Российско-американской компанией. Его должность должна была перейти к другому человеку, который, с одной стороны, находился бы в курсе всех дел компании, а с другой — был бы лично предан Рылееву и смог довести до конца операцию по вывозу царской семьи. Такой человек у Рылеева имелся — это был барон Владимир Иванович Штейнгейль.

О том, как произошло их знакомство, Штейнгейль повествует в своих мемуарах. Они встретились летом 1823 года в книжном магазине известного петербургского издателя и книготорговца Ивана Слёнина. Ко времени этого знакомства Штейнгейль успел уже послужить на флоте и в кавалерии, побывать чиновником по особым поручениям при сибирском генерал-губернаторе Иване Пестеле и адъютантом у московского генерал-губернатора Александра Тормасова, принять участие в восстановлении Москвы после пожара. Многочисленные конфликты с начальством разрушили карьеру Штейнгейля — он, как ни старался, не мог никуда определиться^{697}.

Барон, следивший за вольнолюбивой поэзией, сам искал встречи с Рылеевым. Он вспоминал:

«Я спросил у Слёнина, бывает ли у него в магазине Рылеев; при утвердительном ответе он прибавил: “А он о вас недавно спрашивал, не будете ли вы сюда”. — “Это как?” — И вдруг входит незнакомый человек, в котором Слёнин представляет мне Кондратия Федоровича Рылеева.

После первых взаимных приветствий я сказал ему: “Что мне было интересно узнать вас, это не должно вас удивлять, но чем я мог вас заинтересовать — отгадать не могу”. — “Очень просто, я пишу 'Войнаровского', сцена близ Якутска, а как вы были там, то мне хотелось попросить вас прослушать то место поэмы и сказать, нет ли погрешностей против местности”.

Я отвечал “с удовольствием”, и тотчас же Рылеев пригласил к себе на вечер и совершенно обворожил меня собою, так что мы расстались

друзьями»^{698}.

Штейнгейль действительно долго жил в Сибири, и его опыт в самом деле мог пригодиться поэту в литературном творчестве. Однако вряд ли он был интересен Рылееву только своими сибирскими знаниями. Несмотря на то, что к 1823 году Штейнгейль давно уже был в отставке, среди вольнолюбивых сограждан он был очень известной личностью.

Современники знали Штейнгейля прежде всего как яркого публициста: среди множества его сочинений особенно популярным было «Патриотическое рассуждение о причинах упадка торговли» (другие названия — «Рассуждение об упадке торговли, финансов и публичного кредита в России», «Патриотическое рассуждение московского коммерсанта о внешней российской торговле»). «Рассуждение» он написал в 1819 году, подал Мордвинову, которому оно очень понравилось, и тот передал его для рассмотрения министру финансов Дмитрию Гурьеву. Министр, видимо, не дал «Рассуждению» хода, однако оно широко распространялось в списках. Такой список был у руководителя Южного общества Павла Пестеля; Михаил Бестужев-Рюмин и вовсе использовал «Рассуждение» в качестве агитационного документа. Известно, что «Рассуждение» это было и у Рылеева^{699}.

Этот публицистический текст свидетельствовал не только о глубоких познаниях автора в экономике, но в первую очередь — о его либеральном образе мыслей. И именно отсюда происходила столь большая популярность «Рассуждения» в среде вольнолюбивой молодежи. «Совершенный упадок кредита, подтверждаемый общим отголоском, что не знают уже, чему и кому верить; увеличивающийся год от году упадок главной российской ярмарки, на коей товаров видятся груды, а покупателей нет; неимение звонкой монеты и даже в самих ассигнациях приметный недостаток — и, наконец, уменьшение купеческого сословия во всей России — не суть ли то несомненные признаки чрезвычайного упадка внутренней промышленности и отечественной торговли вообще?»^{700} — вопрошал автор «Рассуждения». В качестве мер по улучшению состояния экономики он предлагал, в частности, ограничить для иностранцев возможность торговать в России и, напротив, снять препоны в занятиях коммерцией для крестьян, укрепить российские банки. Всё это вполне соответствовало экономическим воззрениям членов тайных обществ.

Рылеев и Штейнгейль были единомышленниками. Их знакомство быстро переросло в дружбу, несмотря даже на разницу в возрасте (Рылеев был моложе на 13 лет). «Супруга Владимира Ивановича барона

Штейнгейля просит, чтобы ты, во время проезда своего чрез Москву, остановилась в их доме; она обещает показать тебе всё любопытное. Я у них был принят как родной, и это врезалось в сердце моем», — писал Рылеев жене в декабре 1824 года^{701}. Когда же Штейнгейль приезжал в Петербург, то останавливался в доме Российско-американской компании, где жил и правитель дел.

Обобщая имеющиеся в распоряжении историков источники, биограф Штейнгейля Н. В. Зейфман утверждает, что Рылеев принял его в общество в декабре 1824 года. Барон был знаком с конституцией Никиты Муравьева и сделал к ней не менее тридцати замечаний. Во время непосредственной подготовки восстания Штейнгейль разработал теоретические обоснования возведения на престол императрицы Елизаветы Алексеевны и даже написал соответствующее воззвание к войскам. Кроме того, Штейнгейль пытался составить один из проектов «Манифеста к русскому народу» — документа, который в случае победы заговорщиков должен был быть опубликован «от лица общего присутствия святейшего Синода и Сената, следовательно, и в выражениях, приличных сим сословиям»^{702}. Непосредственно же в самом восстании барон не участвовал — ему, человеку штатскому, среди восставших солдат делать было нечего.

Кроме единомыслия и членства в заговоре, Штейнгейля и Рылеева сблизили и тесные связи барона с Российско-американской компанией. Отец барона Иоганн Готфрид Штейнгейль по службе общался с одним из основателей компании Григорием Шелеховым, а сам он собирался служить в компании еще в 1806 году, будучи мичманом Иркутской морской команды. Перейти туда ему предложил знаменитый мореплаватель и функционер компании граф Николай Резанов. «Он дал мне слово, что возьмет меня с собою в Нью-Йорк для сопутствования ему через Орегон в Калифорнию, в порт Сан-Франциско... Провидение распорядилось иначе — он умер в Красноярске»^{703}, — писал Владимир Штейнгейль в мемуарах.

После смерти Резанова отношения Штейнгейля с Российско-американской компанией, по-видимому, прервались. Но, познакомившись с Рылеевым и вступив в тайное общество, барон оказался в курсе всех дел компании. Более того, в 1825 году Штейнгейль стал владельцем десяти акций компании, то есть акционером с правом решающего голоса. (Заметим в скобках, что столько же акций было и у самого Рылеева^{704}.)

Известно письмо Рылеева Штейнгейлю, написанное в марте 1825 года: правитель дел подробно рассказывает барону о ходе общего собрания

акционеров Российско-американской компании, посвященного утверждению баланса компании. Рылеев сообщает, что собрание это было «весьма шумное и не совсем разумное», что бывшему правителю колоний Муравьеву объявлена благодарность, а с одного из проворовавшихся директоров «определено» взыскать крупную сумму денег, и множество других мелких подробностей заседания. «Я и без компании молодец: лишь бы она цвела», — резюмирует Рылеев^{705}.

Более того, правитель дел давал Штейнгейлю, официально никаких постов в компании не занимавшему, ответственные «компанейские» поручения. В частности, тот занимался «делом директоров Крамера и Северина, чуть было не доведших компанию до банкротства»^{706}.

Таким образом, в случае победы заговорщиков Штейнгейль вполне мог сменить Рылеева на его посту в Российско-американской компании. Барон не только находился в курсе всех ее дел, но и имел либеральные убеждения и, самое главное, был лично предан Рылееву.

С первого знакомства Рылеев «обворожил» Штейнгейля, и это «обворожение» не прошло с годами. В старости, составляя свои мемуары, барон весьма скептически отзывался о своем прошлом, считал его следствием «заблуждения»; но его отзывы о погибшем друге всегда полны искреннего восхищения и почтения. Штейнгейль всю жизнь помнил Рылеева как «незабвенного, благородного автора “Дум” и “Войнаровского”»^{707}.

*

Неожиданные события, связанные со смертью Александра I, смешали карты заговорщиков. Ждать до лета 1826 года, когда планировался выход в море кругосветной экспедиции под командованием Торсона, было невозможно. Естественно, замыслы Рылеева не могли не измениться. Тактика, которой он придерживался накануне восстания, хорошо описана в воспоминаниях его друга Николая Бестужева: «Рылеев всегда говаривал: “Предвижу, что не будет успеха, но потрясение необходимо, тактика революций заключается в одном слове: дерзай, и ежели это будет несчастливо, мы своей неудачей научим других”»^{708}.

Тактика эта — во что бы то ни стало «выйти на площадь» и захватить дворец малыми силами, «с горстью солдат» — названа историками «революционной импровизацией»^{709}. С рациональной точки зрения она

кажется полным безумием, на самом деле диктовалась определенными обстоятельствами.

Рылеев не мог не понимать: если задержать императорскую фамилию не удастся, военный переворот успешным быть не может. Однако в драматичной ситуации междоусобицы, зимой, при отсутствии навигации, вопрос о немедленной морской экспедиции становился бессмысленным. Очевидно, отсюда возник план вывоза царской семьи в Шлиссельбург, под охрану «бывшего Семеновского полка». «В случае ж возмущения, пример Мировича^[17]»^[710]. Пребывание царской семьи в Шлиссельбурге должно было рассматриваться как мера временная — до того момента, пока корабли, снаряженные с участием Российско-американской компании, смогут выйти в кругосветное плавание.

Однако восстание на Сенатской площади было разгромлено, Рылеев арестован — и в компании началась паника.

Водивший тесную дружбу с заговорщиками, часто присутствовавший на их собраниях директор Прокофьев, по словам Завалишина, «со страху после 14 декабря сжег все бумаги, где даже только упоминалось мое имя, а не только те, которые шли лично от меня»^[711]. Этому свидетельству можно доверять, ибо многие документы Главного правления компании за 1825 год исчезли безвозвратно^[712]. Правда, вряд ли только имя Завалишина заставило Прокофьева уничтожить бумаги. Надо полагать, он испугался другого: по документам компании легко прочитывался план, составленный Рылеевым.

Арестованный правитель дел писал из крепости жене, что чувствует свою вину перед директорами компании, особенно перед «Иваном Васильевичем», как он в письмах называл Прокофьева^[713]. Думается, что «вина» заключалась не только в административных неприятностях, которые могли постигнуть компанию в связи с арестом начальника ее канцелярии. По-видимому, Рылеев осознавал ответственность за вовлечение Прокофьева в круг заговорщиков.

Естественно, на следствии Рылеев всячески пытался скрыть свои «морские» замыслы, утверждая, что «сношений с морскими чиновниками, кроме Николая Бестужева, Арбузова и Завалишина, не имел ни с кем». Более того, он утверждал, что «вовсе не говорил с ними (морскими офицерами. — А. Г., О. К.) о намерении увезти царствующую фамилию в чужие края», а сам лишь слышал об этом плане от Пестеля^[714]. Рылеев понимал, что вскрытие следствием его реальной деятельности по подготовке вывоза императорской семьи за границу не оставляет ему

шансов сохранить жизнь.

Труднее объяснить другое — нежелание следователей разбираться в служебной деятельности Рылеева в Российско-американской компании. Причина этого, надо полагать, заключалась в нежелании императора показывать истинные масштабы заговора. Следовало убедить как Европу, так и российских подданных в том, что «число людей, способных принять в оных (тайных обществах. — А. Г., О. К.) участие, долженствовало быть весьма невелико, и сие, к чести имени русского, к утешению всех добрых граждан, совершенно доказано производящимся следствием»^{715}.

Не хотел император и того, чтобы под судом оказались представители «низших» сословий — купцы. Ибо тогда надо было признать, что властью недовольна не только кучка дворян, воспитанных иноземными наставниками и начитавшихся европейских книжек. Очевидно, именно это и спасло от наказания и директора Прокофьева, и многих других должностных лиц компании. Все слухи и факты относительно причастности компании к заговору сконцентрировались в анекдоте, ходившем по Петербургу в конце 1825-го — начале 1826 года и записанном литератором Александром Измайловым. При допросе друга Рылеева, столоначальника компании и литератора Ореста Сомова, Николай I спросил его: «Где вы служите?» — «В Российско-американской компании». — «То-то хороша собралась у вас там компания»^{716}. Впрочем, Сомова после допроса пришлось отпустить как ни в чем не виновного.

Но, судя по всему, сам император в какой-то мере распознал рылеевский план, поскольку люди, связанные с этим планом, получили неадекватно тяжелые наказания. Дмитрий Завалишин был приговорен к вечной каторге, по 20 лет каторжных работ получили Константин Торсон, Владимир Штейнгейль и Гавриил Батеньков — при этом никто из них в восстании не участвовал. Не был 14 декабря на Сенатской площади и сам Рылеев, тем не менее он был казнен. А за три с половиной месяца до казни, 26 марта 1826 года, из Главного правления Российско-американской компании в колонии в Америке было отправлено уведомление: «...по случаю выбытия из службы компании правителя канцелярии сего правления Кондратия Федоровича Рылеева должность его впредь до времени поручена старшему бухгалтеру Платону Боковикову»^{717}.

Глава пятая.

«ТУТ НАДО НЕ ЧЕРНИЛ, А КРОВИ»

«Главная причина всех беспорядков и убийств»

В исторической науке давно устоялось мнение, что именно Рылеев был главным организатором восстания на Сенатской площади. Это мнение подкреплено множеством доказательств: показаниями арестованных заговорщиков, их позднейшими мемуарами, заключениями следователей, судей и позднейших историков. Согласно «Записке о силе вины», подготовленной по итогам следствия над Рылеевым, он «был пружиной возмущения в Санкт-Петербурге, воспламенял всех своим воображением, возбуждал настойчивостью; давал наставления, как не допускать солдат к присяге и как поступать на площади». В тексте вынесенного поэту приговора утверждалось: он «приуготавливал главные средства к мятежу и начальствовал в оных»^{718}.

Свою лидирующую роль в организации восстания признавал на следствии и сам Рылеев: «Признаюсь чистосердечно, что я сам себя почитаю главнейшим виновником происшествия 14 декабря, ибо... я мог остановить оное и не только того не подумал сделать, а, напротив, еще преступною ревностью своею служил для других... самым гибельным примером». Однако, по мнению поэта, вину с ним должен был разделить другой заговорщик — князь Трубецкой, избранный диктатором, военным руководителем восставших войск. «Он не явился и, по моему мнению, это есть главная причина всех беспорядков и убийств, которые в сей несчастный день случились», — констатировал поэт^{719}.

И в этих, казалось бы, взаимоисключающих признаниях была большая доля правды. Ведущая роль Рылеева в подготовке восстания определялась не только тем, что большинство подготовительных совещаний проходило в доме Российско-американской компании на Мойке, у Синего моста, в самом центре столицы, где правитель дел компании занимал целый этаж. Вступив в заговор, Рылеев сформировал вокруг себя кружок радикально настроенных молодых офицеров, литераторов и функционеров компании, для которых он стал единственным начальником. Этим людям он дал уверенность в своих силах, в собственной гражданской значимости, а накануне 14 декабря — и в том, что

Нет примиренья, нет условий
Между тираном и рабом;
Тут надо не чернил, а крови;

Нам должно действовать мечом^{720}.

Однако Рылеев, при всем его вдохновенном энтузиазме, не мог на площади командовать войсками — они просто не стали бы слушать «статского». Именно поэтому он был вынужден сотрудничать с Сергеем Трубецким. Но, обвиняя князя в неявке на площадь, Рылеев лукавил, поскольку сам он 14 декабря тоже особой активности не проявил: придя утром к Сенату и не застав там восставших частей, ушел, затем вернулся и, «увидев совершенное безначалие», больше в рядах мятежников не появлялся. Согласно «Донесению следственной комиссии», Трубецкой, не выйдя на площадь, обманул товарищей — но и Рылеев «не сдержал слова» встать в ряды восставших солдат^{721}.

Показание поэта, обвиняющее Трубецкого в «беспорядках» и «убийствах», — отражение не столько ситуации самого восстания, сколько сложившихся задолго до 14 декабря конфликтных отношений двух лидеров.

Историк М. Н. Покровский считал участие Трубецкого в заговоре «ненормальностью». Люди его круга, представители богатейшей высшей знати, в большинстве своем поддерживали правительство. Отсюда, по мнению историка, и нравственные терзания диктатора накануне и в самый день восстания, и его «невыход» на Сенатскую площадь: «всё же был солдат и в нормальной для него обстановке сумел бы по крайней мере не спрятаться»^{722}. Естественно, такой «вульгарно-социологический» подход к осмыслению заговора советские историки много раз опровергали, и в конце концов он был оттеснен на обочину историографии. Между тем в работах Покровского было много здравых идей. И в данном случае историк оказался прав: среди участников подготовки восстания 14 декабря Трубецкой действительно был чужим.

Дело конечно же не в том, что все люди его круга сплотились около трона. Трубецкой был прямым потомком великого князя Литовского Гедимины. Но среди заговорщиков были и другие представители древних княжеских родов: Сергей Волконский, Евгений Оболенский, Александр Одоевский, Александр Барятинский, Дмитрий Щепин-Ростовский. Диктатор на самом деле был очень богат, но, например, тот же Волконский или Никита Муравьев владели меньшими состояниями. Кроме того, все конституционные проекты, разрабатывавшиеся заговорщиками, предусматривали в случае победы революции полную отмену сословий.

Чужеродность Трубецкого в среде северных заговорщиков определялась другим. Князь много воевал, был полковником Преображенского полка, старшим адъютантом Главного штаба и опытным военным, а большинство из тех, с кем он готовил российскую революцию, в том числе и Рылеев, не имели боевого опыта, служили обер-офицерами или вышли в отставку опять же с обер-офицерскими чинами. Он являлся основателем Союза спасения, председателем и блюстителем Коренного совета Союза благоденствия, принимал участие в написании знаменитой «Зеленой книги», программного документа Союза — иными словами, был корифеем заговора, отдавшим ему девять лет жизни, тогда как его соратники провели в тайном обществе от нескольких дней до нескольких месяцев.

Почти весь 1825 год Трубецкого не было в столице: он служил в Киеве. Приехав в *десятых* числах ноября в Петербург, он столкнулся с новой реальностью: тайное общество в столице возглавил Рылеев.

Естественно, что ситуация, сложившаяся в тайном обществе к концу 1825 года, Трубецкому нравиться не могла. Ему, осторожному политику, не могли импонировать решительность и горячность молодых заговорщиков, примкнувших к «партии Рылеева». В мемуарах князь признавал, что, «может быть, удалившись из столицы... сделал ошибку». «Он (о себе Трубецкой писал в мемуарах в третьем лице. — А. Г., О, К.) оставил управление общества членам, которые имели менее опытности и, будучи моложе, увлекались иногда своею горячностью и которых действие не могло производиться в том кругу, в котором мог действовать Трубецкой. Сверх того, тесная связь с некоторыми из членов отсутствием его прервалась»^[723].

Нетрудно предположить: если бы не трагические события конца 1825 года — внезапная болезнь и смерть императора Александра 1 и междуцарствие, — князь уехал бы обратно к месту службы, так и не договорившись с «отраслью» Рылеева о конкретных совместных действиях.

Сложная ситуация с престолонаследием заставила Трубецкого начать действовать: пропустить столь удобный случай воплотить свои замыслы в жизнь он просто не мог. Однако единственной реальной силой, на которую князь мог опереться, была именно «отрасль» Рылеева. Трубецкому предстояло действовать вместе с людьми, которым он не мог доверять и к которым относился свысока. Один из участников подготовки восстания, Александр Булатов, утверждал: в разговорах с молодыми офицерами князь принимал «важность настоящего монарха». А Оболенский показывал на

следствии, что на бурных совещаниях в квартире Рылеева диктатор по большей части молчал, «не входил в суждения о действиях общества с прочими членами»^{724}.

Рылеев и «рылеевцы» не могли этого не замечать и, со своей стороны, не доверяли Трубецкому. Сам князь был им малоинтересен: им были важны его придворные связи и «густые эполеты» гвардейского полковника. Так, согласно показаниям Трубецкого, Рылеев, уговаривая его принять участие в готовившемся восстании, утверждал, что он «непременно для сего нужен, ибо нужно имя, которое бы ободрило». При избрании же князя диктатором Рылеев еще раз повторил ему, что его «имя» «необходимо нужно» для успеха революции^{725}.

«Кукольной комедией» назвал избрание Трубецкого диктатором ближайший друг Рылеева Александр Бестужев — но при этом считал, что отсутствие диктатора на площади имело «решительное влияние» на восставших офицеров и солдат, поскольку «с маленькими эполетами и без имени принять команду никто не решился». Участник событий Петр Свистунов размышлял в мемуарах: «Тут возникает вопрос... что побудило Рылеева, решившего действовать во что бы то ни стало, предложить начальство человеку осторожному, предусмотрительному и не разделявшему его восторженного настроения? Это объясняется очень просто. Рылеев, будучи в отставке, не мог перед войском показаться в мундире: нужны были если не генеральские эполеты, которых налицо тогда не оказалось, то по меньшей мере полковничьи». Неудавшийся же цареубийца Петр Каховский и вовсе предполагал, что диктатор был «игрушкой тщеславия Рылеева»^{726}.

Конечно, Каховский не прав: полковник князь Трубецкой не был игрушкой в руках отставного подпоручика поэта Рылеева. Но и последний, ощущавший себя безусловным лидером петербургского заговора, действовать по указке Трубецкого не собирался. По-видимому, Рылеев и Трубецкой, разыгрывая каждый свою карту в сложной политической игре, пытались в этой игре использовать друг друга. И именно это взаимное недоверие оказалось роковым для итога восстания.

«Человек, заслуживающий доверия»

Биография Сергея Трубецкого, чьи политические амбиции в столкновении с политическими амбициями Рылеева во многом способствовали гибели столичного заговора, заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов.

М. Н. Покровский называл Трубецкого «северным Пестелем по занимаемому им в заговоре положению»^{727}. Но лидер Южного общества Павел Пестель много лет единолично руководил тайной организацией; свое право на главенствующую роль в заговоре он подтверждал и «Русской правдой» — проектом законов, которые следовало принять *после* победы революции. Пестель планомерно разрабатывал конкретный план захвата власти, и эта его деятельность была известна многим членам тайных обществ. Наконец, большинство заговорщиков признавали за южным лидером превосходство в уме и необходимых политику познаниях.

Заслуги Трубецкого перед тайным обществом были намного скромнее. Тем не менее переписка и следственные дела арестованных заговорщиков, а также мемуары современников свидетельствуют: авторитет князя в глазах его товарищей был очень высок. Один из самых искушенных в политике заговорщиков, подполковник Гавриил Батеньков, утверждал: «Обращая всё внимание на Трубецкого, я полагал, что прочие составляют не важное звено и сами собою без решения и подкрепления из других мест ничего делать не могут, а может быть, и не знают истинного состояния дела». А искренне презиравший Трубецкого мемуарист Николай Греч признавал, что князь «вошел в славу и почет у наших либералов»^{728}.

Собственно, исключительность Трубецкого среди заговорщиков во многом определялась его служебным положением. Конечно, ни Рылеев, ни его сторонники никогда не поднимались до таких карьерных высот.

Пока Трубецкой был за границей (1819—1821), в России произошла «семеновская история». Даже те офицеры-семеновцы, которых в момент беспорядков не было в Петербурге, были серьезно понижены в служебном статусе. К примеру, штабс-капитан Семеновского полка Матвей Муравьев-Апостол служил на Украине адъютантом малороссийского генерал-губернатора Николая Репнина, к беспорядкам в столице никакого отношения не имел и ничего о них не знал, тем не менее спустя год без всяких объяснений был переведен с чином майора в армейский Полтавский полк^{729}. Ему не оставалось ничего другого, как подать в отставку. Те же,

кто в момент восстания находился «при полку налицо», были лишены права не только на отставку, но и на отпуск.

Однако правительственные репрессии не коснулись Трубецкого. Он тоже был переведен — но в лейб-гвардии Преображенский полк, считавшийся таким же «коренным», как и Семеновский. Из-за границы он вернулся в сентябре 1821 года, а через четыре месяца получил чин полковника^{730}. При этом он сохранил и полученную в 1819 году должность старшего адъютанта Главного штаба.

Пожалуй, самая яркая страница служебной биографии Трубецкого — его деятельность в последний перед арестом год. В декабре 1824-го он был назначен дежурным штаб-офицером 4-го пехотного корпуса со штабом в Киеве, а в феврале 1825-го приступил к исполнению новых обязанностей. Корпус, в котором он служил, входил в состав 1-й армии. Командовал ею генерал от инфантерии граф Фабиан фон Остен-Сакен, начальником армейского штаба был генерал-лейтенант барон Карл фон Толь. Главная квартира армии располагалась в Могилеве.

Перейти на службу в 4-й корпус Трубецкому предложил генерал от инфантерии Алексей Щербатов, с которым тот познакомился за границей. «Когда князь Щербатов, будучи назначен корпусным командиром, предложил мне ехать с ним, то я с одной стороны доволен был, что удалюсь от общества, с другой хотел и показать членам, что я имею в виду пользу общества и что там я могу ближе наблюдать и за Пестелем», — сообщал Трубецкой следователям^{731}. Свидетельству этому вряд ли стоит полностью доверять, поскольку на следствии борьба с Пестелем стала для Трубецкого одной из главных линий самозащиты. «Удаляться» же от общества князь и вовсе не собирался, и события декабря 1825 года — явное тому подтверждение.

Окончательное же решение о назначении Трубецкого в Киев принял император Александр I.

*

До Щербатова 4-м пехотным корпусом 1-й армии командовал знаменитый герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии Николай Раевский. Время, когда он, прославленный на полях сражений, вдохновлял своей деятельностью поэтов и художников, давно прошло. В Киеве генералу было решительно нечем заняться. О том, как проводил

время корпусный командир, читаем в воспоминаниях Филиппа Вигеля; «Тут прославился он только тем, что всех насильно магнетизировал и сжег обширный, в старинном вкусе, Елисаветою Петровной построенный, деревянный дворец, в коем помещались прежде наместники». А польский помещик Кржишковский в доносе на генерала сообщал: «Публика занялась в тишине соблазнительным магнетизмом и около года была совершенно заблуждена или не смела не верить ясновидящим и прочая, а более всего, что занимается магнетизмом заслуженный и первый человек в городе»^{732}.

В Киевской губернии не было генерал-губернатора и, таким образом, командир корпуса оказывался высшим должностным лицом. Раевского вовсе не интересовали его обязанности — но еще меньше они интересовали его подчиненных по гражданской части: гражданского губернатора Ивана Ковалева и обер-полицмейстера Федора Дурова. В губернаторской канцелярии процветало взяточничество. В 1827 году было обнаружено, например, что секретарь Ковалева Павел Жандр, действуя в основном с помощью «откатов», в несколько лет присвоил себе 41 150 рублей (для сравнения: годовое жалованье армейского капитана составляло 720 рублей)^{733}. При этом, конечно, и сам Ковалев в убытке не оставался.

Уровень преступности в городе был очень высоким. Одним из самых распространенных преступлений было корчемство — незаконная торговля спиртными напитками, прежде всего водкой. Монополия на производство таких напитков принадлежала государству, частные лица откупали у него право на торговлю ими. Система откупов порождала желание торговать водкой, не платя за это казне. Корчемство вызывало к жизни целые преступные сообщества, занимавшиеся незаконным производством водки, ее оптовой закупкой, ввозом в город и последующей перепродажей в розницу^{734}.

Кроме того, в 1820-х годах в Киеве обреталось множество всяких подозрительных личностей. Особая их концентрация наблюдалась на знаменитых ежегодных январских «контрактах» — торгах, на которых заключались подряды на поставки для армии. В это время в город съезжались владельцы окрестных имений, шла активная игра в запрещенные законом азартные игры, возлияния часто бывали неумеренными, помещики и офицеры ссорились и дуэлировали, а иногда устраивали банальные драки. Ситуация в городе очень беспокоила императора.

С 1823 года за картежниками была установлена слежка, ни к чему, однако, не приведшая. Полицмейстер Дуров, сам игрок, рапортовал, что

помещики «приезжали сюда по своим делам домашних расчетов в контрактовое время» и играли в карты «вечерами в своих квартирах, к коим временами съезжались знакомцы и также занимались в разные игры, но значительной или весьма азартной игры, а также историй вздорных чрез оную не случалось во всё время»^{735}.

В Киеве активно действовали и масоны, не прекратившие свои собрания после императорского указа (1822) о запрещении масонских лож и тайных обществ. В Петербург постоянно шли доносы: «... существовавшая в Киеве масонская ложа не уничтожена, но переехала только из города в предместье Куреневку»^{736}. Но местная администрация, проводившая по этому поводу следствие, ложу не обнаружила. «С того времени как последовало предписание о закрытии существовавшей здесь ложи, она тогда же прекратилась, и могущие быть общества уничтожились, особенных же тайных сборищ по предмету сему здесь в городе и в отдаленностях окрестных, принадлежащих к городу по его пространству, никаких совершенно не имеется»^{737}, — отчитался Дуров губернатору.

Особенную тревогу высших должностных лиц империи вызывали жившие в Киеве и его окрестностях поляки: их априорно считали виновными в антироссийских настроениях. Ковалеву и Дурову было поручено следить и за ними. Однако и эта слежка ни к чему не привела. «Суждений вольных я не заметил, кои были предметом моего наблюдения», — рапортовал Дуров. Ковалев докладывал императору, что польские помещики «ведут себя скромно и осторожно, стараются даже показывать вид особенной к правительству преданности»^{738}.

В Киеве начала 1820-х годов можно было обнаружить не только корчемников, масонов, азартных игроков и неблагонадежных поляков. Город был излюбленным местом встреч членов тайного антиправительственного заговора. На киевских «контрактах» проходили «съезды» руководителей Южного общества во главе с Пестелем. Кроме того, в 30 верстах от Киева, в уездном городе Василькове, был расквартирован полковой штаб Черниговского пехотного полка — это был центр Васильковской управы Южного общества, возглавляемой подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом, командиром батальона Черниговского полка.

Документы свидетельствуют: Сергей Муравьев-Апостол был ярким харизматичным лидером, умевшим очаровывать людей и силой собственного властного обаяния вести их за собой. Причем сам он хорошо знал эту свою способность и, без сомнения, причислял себя к «энергичным

вождям», чья «железная воля» — залог победы революции^[739]. Муравьев, человек безусловной личной храбрости и заговорщической дерзости, соблюдать элементарные правила конспирации никак не желал. Васильковская управа — самое решительное из всех отделений Южного общества — занималась активной вербовкой сторонников и пропагандой идей военной революции и цареубийства. При этом Муравьев мог вести опасные разговоры, не опасаясь преследования местных властей: проведя кампанию 1814 года «при генерале от кавалерии Раевском», участвуя вместе с ним в боях за Париж, он был своим человеком в киевском доме генерала. Кроме того, Муравьев-Апостол тоже был не чужд увлечения магнетизмом^[740].

В марте 1823 года киевскому безвластию пришел конец: на должность генерал-полицмейстера 1-й армии был назначен генерал от инфантерии Федор Эртель. Первым заданием, которое он получил, было задание разобраться с ситуацией в Киеве.

Имя генерала Эртеля, начинавшего военную карьеру в гатчинских войсках цесаревича Павла, в конце XVIII — начале XIX века служившего московским, а затем петербургским обер-полицмейстером, а в 1812—1815 годах являвшегося генерал-полицмейстером всех действующих армий, наводило на современников ужас. Согласно Вигелю, «сама природа» создала Эртеля начальником полиции: «...он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться... Все знали... что он часто делал тайные донесения о состоянии умов... всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы»^[741]. И даже те немногие современники, которые приветствовали полицейскую деятельность генерала, видя в ней точное исполнение «воли монарха» и служебных обязанностей, признавали: Эртель любил действовать тайно, «невидимо» и жестоко. В Москве у него была целая шпионская сеть, состоявшая из «знатных и почтенных московских дам», получавших за свою работу крупные суммы^[742].

Сам Эртель в автобиографической записке сообщал, что был послан в Киев «1-е) для следствия о корчемниках, убивших трех и ранивших шесть человек; 2-е) для открытия масонской ложи с членами; 3-е) для отыскания

азартных игроков»^{743}. Его действия по наведению порядка в городе и прекращению «криминального разврата» были активными и успешными.

Искореняя корчемство, Эртель привлёк платных агентов — нижних чинов из 3-го и 4-го пехотных корпусов. Вскоре последовали результаты: по делам о корчемстве были арестованы около ста человек: в основном солдат и мещан. Под суд попали 11 офицеров — начальников военных подразделений, чьи солдаты активно занимались незаконной торговлей водкой^{744}.

Эртель регулярно присылал в Петербург списки «подозреваемых в азартных картежных играх, которые здесь в Киеве живут только временно, а по большей части по большим ярмонкам во всей разъезжают России»; в них попал, кстати, и родной брат киевского полицмейстера. По ходу следствия о картежниках было решено у лиц, «в списке поименованных... отобрать... подписки, коими обязать их иметь постоянно и безотлучно свое пребывание в местах, какие себе изберут, и что ни в какие игры играть не будут, затем, поручив их надзору местных полиций, отнять у них право выезжать по чьему бы то ни было поручительству»^{745}.

Наибольший интерес генерал-полицмейстера вызвала слежка за масонами. Основываясь на тайных розысках, он выяснил, что, «коль скоро воспоследовал указ 1822 года августа 1-го о закрытии тайных обществ, тотчас киевские ложи прекратили свое существование», однако от закрытых лож «можно сказать, пошли другие отрасли масонов». Секретная деятельность масонов, согласно собранным Эртелем сведениям, заключалась в том, что они магнетизировали друг друга, давали друг другу деньги в долг, ели на Масленицу 1824 года «масонские блины», а за год до этого тайно собирались «каждое воскресенье по полудни в пять часов» и гуляли во фруктовом саду «до поздней ночи»^{746}.

Конечно же деятельность киевских масонов никакой опасности для государства не представляла. Однако Эртель всеми силами стремился доказать, что на самом деле они занимаются «подстреканием революции». Руководил же «подстрекателями», по его мнению, генерал Раевский. «Отставной из артиллерии генерал-майор Бегичев тотчас по уничтожении масонов прибег к отрасли масонского заговора, то есть... открыл магнетизм, которому последовал и г. генерал Раевский со всем усердием, даже многих особ в Киеве сам магнетизировал», — сообщал он в марте 1824 года в штаб 1-й армии^{747}.

Ведя полицейскую и разведывательную деятельность, регулярно докладывая о ее результатах руководству 1-й армии и лично императору,

Эртель постоянно выносил частные определения в адрес местных военных и гражданских властей: «Военная полиция не имеет никаких чиновников, а на тамошнюю гражданскую полицию нельзя положиться, чтобы ожидать желаемого успеха»; «происшествия (связанные с корчемством. — А. Г., О. К.) ...суть следы послабления местного гражданского начальства»; «обыватели, не имея примеров наказанности, полагали простительным, а воинские чины, видя частое их упражнение и будучи ими же получаемы, не вменяли себе в преступление кормчество. Но отлучка их по ночам на 5 верст за город означает слабость употребленного за ними надзора ближайших начальников». Соглашаясь с мнением Эртеля о ненадежности киевской администрации, армейское начальство командировало в его распоряжение целый штат следователей и полицейских^{748}.

Расследование Эртеля закончилось для Раевского увольнением в ноябре 1824 года в отпуск «для поправления здоровья», но всем было понятно, что к обязанностям корпусного командира он больше не вернется. «Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не приходится корпусному командиру знакомиться с магнетизмом», — констатировал хорошо знавший генерала Матвей Муравьев-Апостол^{749}. Вскоре на место скомпрометировавшего себя магнетизера был назначен Алексей Щербатов.

Но даже приезд Эртеля и отставка Раевского не смогли заставить Сергея Муравьева-Апостола быть осторожнее. И он сам, и его сподвижники по-прежнему часто бывали в Киеве и вели там громкие и опасные разговоры — гласно и, в общем, никого не опасаясь. Почти открыто Васильковская управа проводила переговоры с Польским патриотическим обществом о совместном революционном перевороте. На «контрактах» 1824 года, уже при Эртеле, Муравьев и его друг, подпоручик Полтавского пехотного полка Михаил Бестужев-Рюмин, молодой и горячий заговорщик, обсуждали с поляками животрепещущую тему: следует «уничтожить вражду, которая существует между двумя нациями, считая, что в просвещенный век, в который мы живем, интересы всех народов одни и те же и что закоренелая ненависть присуща только варварским временам». А для этого необходимо было заключить русско-польский революционный союз, в котором поляки обязывались подчиняться русским заговорщикам и признать после победы революции республиканское правление. Взамен им были обещаны независимость и даже территориальные уступки — они могли «рассчитывать на Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и Волынской»^{750}.

Между тем под подозрение Эртеля попали люди, входившие в ближайшее окружение Муравьева-Апостола. Руководитель Васильковской управы тесно общался с «подозрительным» поляком, масоном и магнетизером графом Александром Хоткевичем — именно от него южные заговорщики узнали о существовании Польского патриотического общества.

В списке масонов, пересланном Эртелем в Петербург, оказались два бывших адъютанта Раевского, участники Союза благоденствия Алексей Капнист и Петр Муханов. Первый был близким родственником Муравьева, а второй — его светским приятелем. Кроме того, в списки Эртеля попал руководитель Кишиневской управы заговорщиков Михаил Орлов. Сам Муравьев-Апостол, бывший командир роты Семеновского полка и участник «истории», регулярно входил в списки «подозрительных» офицеров 1-й армии; за ним предписывалось иметь особый бдительный надзор^{751}.

Исследователей, изучающих деятельность генерал-полицмейстера, ставит в тупик простой вопрос: как могло случиться, что полицейский с огромным опытом, ловя картежников, поляков и масонов, всё же не сумел разглядеть у себя под носом военный заговор с цареубийственными намерениями? В 1823—1824 годах у Эртеля был неплохой шанс вмешаться в ход истории, предотвратить и Сенатскую площадь, и восстание Черниговского полка. Однако факт остается фактом: следствие о «тайном обществе» так и ограничилось поисками масонов и магнетизеров. Ни в одном известном на сегодняшний день донесении генерал-полицмейстера фамилия Сергея Муравьева-Апостола не упоминается.

О причинах этой роковой ошибки можно только гадать. Но гадать следует в совершенно определенном направлении.

*

В первых числах апреля 1824 года в Петербурге появился польский помещик и масон, член Польского патриотического общества и киевский губернский предводитель дворянства (маршал) граф Густав Олизар, друг Сергея Муравьева-Апостола, известный вольнолюбивыми взглядами и нескрываемой ненавистью к крепостному праву. Кроме того, поляк был весьма близок к семейству генерала Раевского, в 1823 году сватался к его дочери Марии, но получил отказ — по «конфессиональным» и «национальным» соображениям. Отказ этот он переживал весьма

болезненно, и Муравьев был одним из его «утешителей». Эртель установил за Олизаром усиленную слежку, не без оснований подозревая его в антиправительственной деятельности.

Когда поляк собрался в столицу, генерал Толь известил Дибича: «Легко быть может, что цель поездок графа Олизара есть та, чтоб посредством тайных связей или членов своих, в различных управлениях в С[анкт-]Петербурге находиться могущих, выведать о последствиях поездки генерала Эртеля». Нужно было прежде всего выявить круг его общения. В столице Олизар пробыл около месяца — и всё время за ним велась слежка, которую, по просьбе Дибича и Потапова, курировал столичный обер-полицмейстер генерал-лейтенант Иван Гладков^{752}. В итоге граф был без объяснения причин выслан обратно в Киев.

Но за месяц граф успел подробно рассказать столичным друзьям о ситуации в Киеве — собственно, сделал то, о чем Толь и предупреждал Дибича. Слухи о миссии Эртеля мгновенно проникли в среду петербургских и московских конспираторов и посеяли среди них панику. Всем стало ясно: опытный сыщик очень скоро обнаружит реальный, а не мифический масонский заговор и первой «явной» жертвой вполне может стать Сергей Муравьев-Апостол.

«Вскоре по первом приезде генерала Эртеля разнесся слух, что он имеет тайное повеление разведать о заведенном на юге обществе, к которому принадлежал будто бы и подполковник Муравьев — все меры, принятые г. Эртелем, то свидетельствовали», — показывал на допросе Муханов. Другой заговорщик, Петр Свистунов, услышав, что Эртель послан в Киев «для надзора над поляками», «заключил, что должны быть сношения между поляками и Обществом юга»^{753}.

У жившего в 1824 году в столице брата Сергея Муравьева-Апостола полученное от Олизара известие вызвало настоящую истерику. На следствии Матвей Муравьев показывал: узнав, что «генерал от инфантерии Эртель в Киев приехал и что никто не знает, зачем он туда послан», он решил, что его брата арестовали, тем более что уже несколько недель не получал от него писем.

Для спасения брата Матвей Муравьев-Апостол задумал немедленно убить императора. Своими опасениями и планами он поделился с Пестелем — весной 1824 года тот жил в Петербурге и участвовал в «объединительных совещаниях», неудачной попытке договориться о совместной деятельности со столичной тайной организацией. «Я видел Пестеля и сказал ему, что, верно, Южное общество захвачено и что

надобно бы здесь начать действия, чтобы спасти их. Пестель мне сказал, что я хорошо понимаю дела», — показывал Матвей на следствии. «Я с ним соглашался, что ежели брат его захвачен, то, конечно, нечего уже ожидать»^{754}, — подтверждал Пестель.

Вскоре Матвей Муравьев-Апостол получил письмо от брата, и вопрос о немедленном цареубийстве и восстании был снят с повестки дня. Однако спустя несколько месяцев, в октябре, он опять предупреждал Пестеля и других об осторожности: «...в Киеве живет генерал Эртель нарочито, чтоб узнавать о существующем тайном обществе, кое уже подозреваемо правительством»^{755}. Пестель же, вернувшись на юг, осенью 1824 года отстранил Сергея Муравьева от переговоров с Польским патриотическим обществом — за нарушение правил конспирации (с ведома и согласия руководителя Васильковской управы было написано письмо полякам с просьбой в случае начала русской революции устранить цесаревича Константина Павловича)^{756}.

Скорее всего, Трубецкой еще с 1823 года, будучи старшим адъютантом Главного штаба, знал об откомандировании Эртеля в Киев. Однако рассказы Олизара сделали эту информацию актуальной. В показаниях князя содержится любопытное свидетельство о встрече с поляком: «Г[осподин] Олизар приезжал сюда, кажется, в 1823 году; я встретился с ним и меня познакомили... Он мне сделал визит. Между тем, осведомился я также, что он здесь в подозрении, потому что слишком вольно говорит, я дал ему о сем сведение, прося, чтобы меня ему не называли, но посоветовали бы ему быть осторожным. Тем сношения мои с ним и ограничились»^{757}.

Показания эти примечательны. Во-первых, Трубецкой имел доступ к секретной информации о слежке за Олизаром. Во-вторых, называя дату встречи, князь откровенно лгал: Олизар приехал в разгар петербургских «объединительных совещаний», последствием его столичного вояжа был «цареубийственный» план Матвея Муравьева-Апостола, поддержанный Пестелем. Участник всех этих событий, Трубецкой не мог просто так «забыть» год приезда опасного поляка. С полной уверенностью можно утверждать, что, давая показания, Трубецкой не желал, чтобы в сознании следователей визит Олизара в столицу увязывался с его отъездом в Киев.

Между тем решение князя поехать в Киев было, скорее всего, результатом этой встречи и последовавших за ней событий. Принимая должность в штабе Щербатова, Трубецкой не мог не понимать: авантюрная поездка поляка вполне могла обернуться катастрофой лично для него. Но

деятельность Эртеля угрожала не только Сергею Муравьеву, давнему близкому другу и однополчанину Трубецкого, — она несла в себе смертельную угрозу тайному обществу. Служба в Киеве давала князю шанс спасти заговор — дело всей его жизни.

Очевидно, именно поэтому Трубецкой проявил немалую настойчивость, добиваясь для себя должности дежурного штаб-офицера.

*

Обязанности Трубецкого на новой должности были, так сказать, военно-полицейскими: он должен был инспектировать входившие в корпус воинские подразделения, наблюдать за личным составом корпуса. Дежурный штаб-офицер мог «за упущение должности» арестовывать обер-офицеров, а нижних чинов «за малые преступления» просто наказывать без суда. Он был обязан «наблюдать за охранением благоустройства и истреблением бродяжничества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малейшего ропота против начальства»^[758]. Дежурному штаб-офицеру подчинялся обер-гевальдигер, главный полицейский чин корпуса.

Более того, есть все основания полагать, что, не случись восстания 14 декабря, Трубецкого ожидало скорое повышение по службе. Начальник Главного штаба корпуса, генерал-майор Афанасий Красовский, был болен и мечтал об отставке, а на его место прочили князя. Когда в июне 1825 года Красовский уехал из Киева лечиться, то спокойно передал дела дежурному штаб-офицеру^[759], с которым у него сложились доверительные отношения.

Таким образом, в 1825 году в руках Трубецкого сконцентрировалась немалая власть, прежде всего полицейская, причем не только над войсками 4-го корпуса, но и над городом. Принимая назначение в Киев, Трубецкой не потерял должность старшего адъютанта Главного штаба, а потому был практически независим и от киевских властей, и от Щербатова, и мог сообщать обо всём напрямую в Петербург, императору. Полномочия Трубецкого во многом сомкнулись с полномочиями Эртеля.

В начале своей деятельности в Киеве генерал-полицимейстер сетовал, что ни среди киевских полицейских, ни в 4-м корпусе нет «надежного чиновника», который мог бы помочь ему проводить следствие^[760]. Очевидно, что в 1825 году такой «чиновник» нашелся — и им оказался князь Трубецкой. Как видно, например, из дел по корчемству, дежурный штаб-офицер активно помогал Эртелю в расследовании. Генерал-майор

Михаил Орлов, к 1825 году отошедший от заговора, показывал на следствии, что по приезде в Киев Трубецкой стал часто посещать его. «Я, привыкший к пытке и к обороне, думал, что он тоже станет меня склонять к вступлению в Общество, но он ничего не говорил, кроме о общих предметах, и сие меня немало удивило», — писал Орлов^{761}. Можно предположить, что Трубецкой, зная об охлаждении генерала к «общему делу», приходил к нему вовсе не для того, чтобы «склонить» его к возвращению в заговор. Орлов, зять Раевского, как уже говорилось выше, подозревался Эртелем в масонской деятельности—и уже поэтому был достоин внимания дежурного штаб-офицера.

Трубецкой конечно же сделал всё, чтобы спасти от разгрома антиправительственный заговор; правда, о том, что именно он предпринимал, исследователи, наверное, уже никогда не узнают. Но в одном из «оправдательных» рапортов, написанном в конце декабря 1825 года, командир корпуса Щербатов утверждал: «Все сведения, полученные мною как от начальника корпусного штаба генерал-майора Красовского... так и от здешнего губернатора Ковалева, удостоверили меня, что как в войске, так и в городе не замечено никаких собраний, ни разговоров, сумнению подлежащих»^{762}.

Восьмого апреля 1825 года 58-летний Эртель умер. Смерть его была загадочной: чувствуя лихорадку, он, тем не менее, отправился в штаб 1-й армии и скончался по приезде в Могилев. Вне зависимости оттого, была ли эта смерть естественной или насильственной, она была на руку Трубецкому (кстати, в его киевской квартире при обыске была найдена банка с мышьяком^{763}).

Следственные дела, которые Эртель не успел довести до конца, после его смерти перешли в руки дежурного штаб-офицера 4-го корпуса. Так, с июня 1825 года Трубецкой фактически руководил разбирательством по корчемству, давал предписания соответствующей военно-судной комиссии, получал из нее копии допросов арестованных и т. п.^{764} Расследование же дел «неблагонадежных» картежников, поляков и масонов, которое прямо входило в обязанность дежурного штаб-офицера, странным образом вообще остановилось.

Заговорщики же после смерти Эртеля могли действовать, никого не опасаясь.

Узнав о скором приезде Трубецкого в Киев, Сергей Муравьев-Апостол был весьма обрадован предстоящей встречей с другом. Он надеялся, что князь договорится, наконец, с южными заговорщиками о совместных действиях. В феврале 1825 года Муравьев рекомендовал своего друга участнику заговора полковнику Василию Тизенгаузену: «Я уверен, что он Вам понравится своим характером и мыслями»^{765}. Тизенгаузен не был убежденным революционером, постоянно сомневался в правильности собственных действий — и Муравьев был убежден, что знакомство с Трубецким сделает полковника более решительным.

Как свидетельствует частная переписка руководителя Васильковской управы, Трубецкой поначалу не оправдал его ожиданий. В письме брату Матвею Сергей Муравьев сетовал, что князем овладела «петербургская бесстрастность и осторожность», и просил брата приехать в Киев, «дабы заставить действовать Трубецкого над 4-м корпусом»^{766}. Своими сомнениями относительно Трубецкого Муравьев-Апостол поделился с некоторыми соратниками — в частности с молодым и рвущимся «в дело» прапорщиком Федором Вадковским. И Вадковский советовал одному из вступивших в общество офицеров «не открываться Трубецкому, который своим равнодушием может вредно повлиять на его пылкое молодое сердце»^{767}.

Однако после смерти Эртеля Трубецкой преобразился. Уже в апреле 1825 года в его киевской квартире Сергей Муравьев-Апостол принял в общество штабс-капитана гвардейского Генерального штаба, приятеля Рылеева Александра Корниловича^{768}. В июле Муравьев сообщил брату: князь не только «искренне присоединяется к Югу, но и обещает присоединить к нему весь Север — дело, которое он действительно исполнит и на которое можно рассчитывать, если он обещает»^{769}. Руководитель Васильковской управы приписывал эту перемену влиянию подпоручика Бестужева-Рюмина. Однако представляется, что одного лишь мнения юного подпоручика было явно недостаточно, чтобы маститый заговорщик переменил свой образ действия.

С лета 1825 года квартира Трубецкого стала местом постоянных встреч заговорщиков. Михаил Орлов показывал на следствии, что «у Трубецкого вскоре поселились почти без выхода Сергей и Матвей Муравьевы с Бестужевым». Его показания подтверждал и сам Трубецкой: «9-я дивизия начала ходить в караул в Киев, я стал часто видаться с Муравьевым и Бестужевым»; «Муравьев и Бестужев, приезжая в Киев, останавливались у меня»^{770}.

Командир Киевского драгунского полка подполковник Максим Гротенгельм показывал, что, зайдя однажды к Трубецкому, застал в его квартире не только Сергея Муравьева-Апостола, но и других видных деятелей Васильковской управы. При этом Муравьев открыто рассуждал о том, «какое правление лучшее, и что конституциональное есть по нынешним временам превосходнейшее, замечая притом, что все вообще состояния в России теперешним положением своим недовольны»^{771}.

Разговоры о всеобщем недовольстве, будущей конституции и возможной революции зазвучали на квартире дежурного штаб-офицера столь громко, что их испугалась жена князя Екатерина Трубецкая. Согласно воспоминаниям ее сестры Зинаиды Лебцельтерн, княгиня отозвала в сторону Сергея Муравьева-Апостола и сказала ему: «Ради бога, подумайте, что вы делаете, вы и нас всех погубите, и свои головы положите на эшафот», — на что руководитель Васильковской управы ответил: «Неужели вы думаете, княгиня, что мы не делаем всё, что нужно, чтобы обеспечить успех наших замыслов? К тому же речь идет о совершенно неопределенном времени, не бойтесь же»^{772}.

В ноябре 1825 года Трубецкой оказался в столице, приехав в краткосрочный отпуск. Причина этого отпуска была частная, семейная: его шурин, корнет лейб-гвардии Конного полка Владимир Лаваль, проигравшись в карты, покончил жизнь самоубийством^{773}. Собственно, целью поездки князя в столицу было свидание с убитыми горем родителями жены. Однако в Петербурге Трубецкой услышал о смерти Александра I — и решил дожидаться развязки событий.

*

Сергей Муравьев-Апостол был уверен: Трубецкой — «человек, заслуживающий доверия»^{774}. Эту уверенность разделяли с руководителем Васильковской управы не только участники заговора; того же мнения были высшие должностные лица империи, включая императора Александра I. Трубецкой, как следует из документов, обладал редким даром входить в доверие к окружавшим его людям, делать их своими союзниками. Однако и в заговоре, и на службе князь был самостоятельной фигурой, доверяя по преимуществу только самому себе. Опытный и осторожный политик, князь сорвал масштабную полицейскую операцию по выявлению тайного общества в Киеве — и тем сделал возможными и восстание на Сенатской

площади, и восстание Черниговского полка.

Рылеев же, поглощенный в 1825 году делами столичных конспираторов и Российско-американской компании, всех этих тонкостей не знал. Прямых связей с южными конспираторами у поэта не имелось: с Сергеем Муравьевым-Апостолом он не был знаком, его отношения с Пестелем были более чем прохладными, а от Трубецкого ждать откровенности не приходилось. Вполне естественно, что поэт не понял, почему полковник, вернувшись в столицу, стал претендовать на единоличное лидерство в заговоре.

«Странная смесь зверства и легкомыслия»

Один из самых сложных вопросов, с которым неминуемо сталкивается каждый, кто изучает тайные общества 1820-х годов, — вопрос о планах захвата власти в России. Особенный интерес вызывают те из них, которые разрабатывались накануне 14 декабря 1825 года: если бы они были реализованы, история России вполне могла бы пойти по иному пути.

Между тем можно констатировать, что в ходе расследования по делу о тайных обществах вопрос этот остался непроясненным. Историк М. М. Сафонов констатирует: ни следователи, ни позднейшие исследователи так и не сумели «четко понять, что же задумали лидеры, что из задуманного было исполнено, а что осталось невыполненным, почему это произошло и кто виноват»^{775}. Это было вызвано прежде всего крайней невняtnостью основного источника сведений — следственных показаний арестованных. Заговорщики понимали, что по законам Российской империи всем им грозит смертная казнь, и на следствии старались всячески преуменьшить свою вину. Ответ на поставленный следствием вопрос напрямую зависел от тактики, которую избирал для себя тот или иной арестант, его душевного состояния в тот момент, условий его содержания, методов, применявшихся на допросах, и т. п. Кроме того, многие из рядовых членов тайных обществ не были в курсе замыслов руководителей, зачастую они на допросах «добраивали» эти замыслы в соответствии с собственным пониманием ситуации. К тому же и следователи, исполнявшие волю императора Николая I, вовсе не желали добиваться от заговорщиков *всей* правды. Нити заговора вели к высшим государственным сановникам и руководителям крупных воинских соединений. Однако Николай не хотел распутывать эти нити, дабы не демонстрировать всей Европе, что армия и государственные учреждения плохо управляемы и заражены революционным духом. Следствие свело заговор к дружеским беседам о формах правления, а вооруженные выступления — к непродуманным действиям молодых офицеров, преданных своими руководителями^{776}.

Впервые русская публика получила возможность ознакомиться с планами действий заговорщиков (в том числе и со сценарием, подготовленным петербургскими конспираторами) 12 июня 1826 года — в этот день газета «Русский инвалид» опубликовала «Донесение следственной комиссии», составленное главным на тот момент правительственным пропагандистом Дмитрием Блудовым. Согласно

«Донесению», единый план выступления 14 декабря разработали «директоры Северного тайного общества: Рылеев, князя Трубецкой, Оболенский и ближайшие их советники».

Начало составления этого плана Блудов отнес к концу ноября, к моменту, когда до заговорщиков «дошел слух, что государь цесаревич тверд в намерении не принимать короны». «Сия весть возбудила в заговорщиках новую надежду: обмануть часть войск и народ уверить, что великий князь Константин Павлович не отказался от престола, и, возмутив их под сим предлогом, воспользоваться смятением для испровержения порядка и правительства», — читаем в «Донесении». Несколько дней спустя диктатором был избран Трубецкой.

Местом же разработки плана стала квартира Рылеева, в которой происходили ежедневные совещания. Участники совещаний, согласно следствию, «представляли странную смесь зверства и легкомыслия, буйной непокорности к властям законным и слепого повиновения неизвестному начальству, будто бы ими избранному»^{777}.

Стратегия, которая в конце концов была выработана на этих «буйных» и «легкомысленных» собраниях, тоже была единой. Предполагалось под предлогом незаконности отречения Константина Павловича собрать войска на Сенатской площади и силой оружия заставить сначала Сенат, а затем и императора Николая вступить в переговоры об ограничении власти монарха, созыве парламента и организации Временного правления.

И всё же у двух главных организаторов восстания — Рылеева и Трубецкого — были расхождения тактического характера. Ссылаясь на показания Трубецкого, следствие утверждало, что он планировал «с первым полком, который откажется от присяги, идти к ближайшему, а там далее, увлекая один за другим... потом все войска, которые пристанут, собрать пред Сенатом и ждать, какие меры будут приняты правительством». Рылеев же, судя по «Донесению», считал, что полки надо собирать сразу на Сенатскую площадь, где «начальнику их, Трубецкому, действовать по обстоятельствам»^{778}. Но в итоге тактические расхождения были сняты: заговорщики решили выводить полки прямо к Сенату. 33 декабря князь Трубецкой обещал, как показал на следствии, «на другой день быть на Сенатской площади, чтобы принять главную команду над войсками, которые не согласятся присягать Вашему величеству; под ним же начальствовать капитану Якубовичу и полковнику Булатову». Тогда же Трубецкой предложил захватить Зимний дворец.

Однако и Рылеев, и Трубецкой, и Якубович с Булатовым в решающий

момент испугались. Говоря словами «Донесения», «все те, в коих заговорщики назначили своими начальниками, в решительный день заранее готовились их бросить». Восстание подняли младшие офицеры Гвардейского экипажа, лейб-гвардии Московского и Лейб-гренадерского полков. Этих офицеров главари якобы заманили — по большей части обманом — в свой заговор. Главным же виновником событий, по версии Блудова, был именно Трубецкой, тщеславный трус, в решительную минуту оставивший сообщников на произвол судьбы^{779}.

«Донесение следственной комиссии», декларировавшее единство действий руководителей петербургского восстания по выработке плана, оказало сильное влияние на исследователей, занимавшихся его анализом. Одни историки в большей или меньшей степени разделяют правительственную концепцию, другие спорят с ней.

К первым принадлежали, например, биограф Трубецкого Н. Ф. Лавров и М. В. Нечкина; ту же точку зрения разделяет Я. А. Гордин. Признавая некоторые тактические расхождения Трубецкого и Рылеева, исследователи, тем не менее, уверены: «...в результате долгих и страстных прений на совещаниях декабристов в дни междуцарствия» был создан единый план действий, предусматривавший движение прямо на Сенатскую площадь^{780}.

Одним из тех, кто не согласился с «Донесением следственной комиссии», был А. Е. Пресняков, утверждавший, что накануне 14 декабря сложилось два плана — условно говоря, план Трубецкого и план Рылеева: «Всё у Трубецкого сводилось к давлению на власть, которая должна будет уступить без боя». Пресняков считал, что Трубецкой стремился действовать «с видом законности»; мысль же Рылеева и его сторонников «была направлена на решительные революционные акты, которые одни могли бы дать, будь они осуществимы, победу революционному выступлению»^{781}.

На тех же позициях стоит и М. М. Сафонов. Разбирая вопрос, планировал ли Трубецкой захват Зимнего дворца, исследователь приходит к важным выводам: у руководителей восстания накануне решительных действий не только не было единого плана, но и возник острый конфликт по вопросам тактики. Согласно Сафонову, сценарий, который заговорщики пытались осуществить 14 декабря, был разработан именно Рылеевым. Используя показания не только Рылеева и Трубецкого, но и других участников восстания, автор утверждает: план этот был весьма радикальным, подразумевал взятие Зимнего дворца «малыми силами», «с горстью солдат», проведение — под угрозой применения силы —

переговоров с Сенатом о создании Временного правления и арест императора и его семьи^{782}.

К этому следует добавить, что Рылеев планировал и цареубийство. Согласно его собственным показаниям, внутренне он был убежден в необходимости физического устранения не только императора, но и всей его семьи: «Я полагал, что убийство одного императора не произведет никакой пользы, но напротив, может быть пагубно для самой цели общества, что оно разделит умы, составит партии, взволнует приверженцев августейшей фамилии и что всё это совокупно неминуемо породит междоусобие и все ужасы народной революции. С истреблением же всей императорской фамилии, я думал, что поневоле все партии должны будут соединиться или, по крайней мере, их легче будет успокоить»^{783}. И хотя, согласно признанию Рылеева, это «преступное мнение» он «никому не открывал», на роль цареубийцы он назначил своего приятеля, отставного поручика Петра Каховского — человека бедного, нервного и крайне тщеславного.

Трубецкой же, как справедливо замечает Сафонов, по этому плану действовать явно не хотел и тем более не был сторонником цареубийства. Исследователь утверждает: диктатор «считал необходимым вначале собрать все неприсягнувшие войска вместе, определить возможности восставших и только после этого решить, как действовать дальше». Но 13 декабря Трубецкой понял, что у заговорщиков «слишком мало сил» для реализации его замысла, что «надежда на успех более чем сомнительна», и решил, что «лучше не начинать, чем потерпеть поражение». «Сам диктатор, — пишет историк, — видя малочисленность сил, уверен, что выступление приведет в таком случае к катастрофе. Однако Рылеев настаивает, что надо выступать в любом случае, даже с малым количеством войск. Руководители тайного общества уже обречены на смерть, они слишком далеко зашли, возможно, их уже предали. Поэтому необходимо подниматься в любом случае и при любых условиях. Однако такая позиция была неприемлема для Трубецкого в принципе»^{784}.

*

Концепцию Сафонова можно было бы признать исчерпывающей, если бы не одно весьма важное обстоятельство: она совершенно противоречит показаниям Рылеева. Более того, на очной ставке 6 мая 1826 года их

подтвердил Трубецкой, отказавшись, таким образом, от собственной версии событий^{785}.

Рылеев несколько раз излагал на следствии их с Трубецким общий план действий, и его показания выглядят непротиворечиво. Согласно им, с момента избрания диктатором (10 декабря) Трубецкой «был уже полновластный начальник наш; он или сам, или чрез меня, или чрез Оболенского делал распоряжения. В пособие ему на площади должны были явиться полковник Булатов и капитан Якубович»^{786}.

Трубецкой поручил ротным командирам «распустить между солдатами слух, что цесаревич от престола не отказался, что, присягнув недавно одному государю, присягать чрез несколько дней другому грех. Сверх того сказать, что в Сенате есть духовная покойного Государя, в которой солдатам завещано 12-ть лет службы, и потом в день присяги, подав собою пример, стараться вывести, каждый кто сколько успеет, из казарм и привести их на Сенатскую площадь»^{787}.

Упоминал Рылеев и о конкретных поручениях, данных Трубецким участникам заговора: капитан Александр Якубович должен был «находиться под командою Трубецкого с Экипажем гвардейским и в случае надобности идти к дворцу, дабы захватить императорскую фамилию». «Дворец занять брался Якубович с Арбузовым, на что и изъявил свое согласие Трубецкой». Полковник Александр Булатов соглашался возглавить выступление лейб-гвардии Гренадерского полка, где он раньше служил и где его помнили и любили. После захвата дворца следовало силой «принудить» Сенат издать манифест об уничтожении старого правления, создании Временного правления и организации парламента — Великого собора^{788}.

Трубецкой много месяцев отрицал показания Рыльева. Он утверждал, что никому не давал «поручения о занятии дворца, Сената, крепости или других мест»^{789} и не собирался арестовывать императора и августейшую семью.

На очной ставке показания Рыльева были обобщены и сведены к следующему лаконичному утверждению: «Занятие дворца было положено в плане действий самим кн. Трубецким. Якубович брался с Арбузовым сие исполнить, на что к. Трубецкой и изъявил свое согласие. Занятие же крепости и других мест должно было последовать, по его же плану, после задержания императорской фамилии». Точка же зрения Трубецкого выглядела следующим образом: «Занятие дворца не было им положено в плане действия, и он... не говорил о том ни с Якубовичем, ни с Арбузовым,

и никому не поручал передать им сие или выискать кого для исполнения сего; не изъявлял также на то и своего согласия. Равным образом в план действия не входило ни занятие крепости, или других мест, ни задержание императорской фамилии»^{790}. В итоге очной ставки неудавшийся диктатор отказался от своих показаний и подтвердил правоту Рылеева.

Пытаясь объяснить это странное признание Трубецкого, Сафонов цитирует его мемуары: «Я имел очную ставку с Рылеевым по многим пунктам, по которым показания наши были несходны. Между прочим были такие, в которых дело шло об общем действии, и когда я не признавал рассказ Рылеева справедливым, то он дал мне почувствовать, что я, выгораживая себя, сваливаю на него. Разумеется, мой ответ был, что я не только ничего своего не хочу свалить на него, но что я заранее согласен со всем, что он скажет о моем действии. И что я на свой счет ничего не скрыл и более сказал, нежели он может сказать»^{791}.

По-видимому, очная ставка действительно была мероприятием тяжелым и мучительным для обоих лидеров заговора. Однако вряд ли в данном случае стоит полностью доверять воспоминаниям князя. Известно, что на следствии Трубецкой вовсе не был склонен выгораживать других за свой счет. С Рылеевым же, как справедливо отмечает тот же Сафонов, Трубецкой вел на следствии заочную дуэль. Все месяцы следствия — начиная с первого допроса в ночь с 14 на 15 декабря — Трубецкой перекладывал вину на Рылеева, и нет никаких оснований полагать, что на очной ставке он сознательно избрал другую тактику. Кроме того, вопрос о плане действий был лишь одним из одиннадцати пунктов, по которым обнаружились «разногласия в показаниях» Трубецкого и Рылеева, и, как свидетельствуют документы, в большинстве других случаев правду говорил именно Рылеев.

Вероятно, в вопросе о плане действий Рылеев тоже был искренен; не согласиться с ним на очной ставке значило для Трубецкого не признать очевидное и, как следствие, быть уличенным в даче ложных показаний. Трубецкой перед восстанием действительно поддержал радикальный план, подразумевавший взятие Зимнего дворца и арест императора. Но он, судя по всему, не лгал, когда говорил о своем несогласии с этим планом — только с оговоркой, что это несогласие было внутренним убеждением Трубецкого и Рылееву об этом почти ничего не было известно. По-видимому, Трубецкой был убежден, что, командуя восставшими войсками, он в любом случае сумеет удержать ситуацию под контролем.

На самом деле диктатор перед восстанием боялся только одного: что

поднимется малое количество войск. Накануне 14 декабря он убеждал Рылеева: «Не надо принимать решительных мер, ежели не будете уверены, что солдаты вас поддержат», — и услышал в ответ: «Вы, князь, всё берете меры умеренные, когда надо действовать решительно». Ему оставалось только выразить опасение: «Что же мы сделаем, ежели на площадь выйдет мало, роты две или три?»^{792}

Но и в этом случае последнее слово диктатор оставлял за собой. По крайней мере, барон Владимир Штейнгейль отмечал в показаниях, что вечером 13 декабря Трубецкой «рассуждал о приведении намерения их на другой день в исполнение». Участникам итогового, вечернего совещания было объявлено, что следует собраться на Сенатской площади и там ожидать приказаний Трубецкого^{793}, что, как известно, и было сделано.

Очевидно, Рылеев подозревал, что Трубецкой ведет какую-то иную игру, строит планы, отличные от тех, которые декларирует в разговорах с ним и его сторонниками. По крайней мере, уже на первом допросе он обвинил Трубецкого в сознательной провокации: «Страшась, чтобы *подобные же люди* (курсив наш. — А. Г., О. К.) не затеяли что-нибудь подобное на юге, я долгом совести и честного гражданина почитаю объявить, что около Киева в полках существует общество... Надобно взять меры, чтобы там не вспыхнуло возмущение»^{794}.

Все месяцы следствия, яростно оспаривая показания Трубецкого, Рылеев боролся с человеком, который, по его мнению, ради достижения целей, весьма далеких от благородных целей тайного общества, спровоцировал беспорядки в столице. Одной из главных задач Рылеева на следствии было вывести князя на чистую воду, не дать ему избежать ответственности: «Трубецкой может говорить, что упомянутые приготовления и распоряжения к возмущению будто бы делались только от его имени, а непосредственно были мои; но это несправедливо... Настоящие совещания всегда назначались им и без него не делались. Он каждый день по два и по три раза приезжал ко мне с разными известиями или советами, и, когда я уведомлял его о каком-нибудь успехе по делам общества, он жал мне руку, хвалил ревность мою и говорил, что он только и надеется на мою отрасль. Словом, он готовностью своею на переворот совершенно равнялся мне, но превосходил меня осторожностью, не всем себя открывая»^{795}.

Догодки Рылеева во время следствия были недалеки от истины: у диктатора перед восстанием действительно был свой план, о котором его коллега и конкурент не знал. Этот план Трубецкой в своих показаниях описывал несколько раз, крайне невнятно и противоречиво. Естественно, что, излагая его, он стремился, с одной стороны, не быть уличенным в прямой лжи, а с другой — скрыть самые опасные моменты, которые, став известными следствию, вполне могли привести автора плана на эшафот.

Собственно, основные моменты этого плана были разработаны задолго до 14 декабря. В показаниях Сергея Муравьева-Апостола читаем: «В конце 1825-го года, когда он (Трубецкой. — А. Г., О. К.) отъезжал в Петербург, препоручено ему было объявить членам Северного общества решение начинать действие, не пропуская 1826-й год, и вместе просьбу нашу, чтобы и они по сему решению приняли свои меры. Пред отъездом же Трубецкого в Петербург было положено, в случае успеха в действиях, вверить временное правление Северному обществу, а войска собрать в двух лагерях, одном под Киевом, под начальством Пестеля, другом под Москвою, под начальством Бестужева; а мне ехать в Петербург»^{796}.

Но вряд ли такой сценарий на самом деле устраивал Трубецкого. Документы свидетельствуют: князь не был откровенен не только с Рылеевым, но и со своим близким другом Муравьевым-Апостолом. Следователям Трубецкой сообщил, что план ему «не нравился», однако он согласился на его реализацию, «имея в мысли, что он может быть переменен»^{797}.

Судя по всему, Муравьев-Апостол был важен Трубецкому прежде всего как орудие борьбы против Пестеля. Кроме того, 3-й пехотный корпус, в котором Васильковская управа вела активную пропагандистскую работу, мог быть весьма полезен в случае начала революционных действий. Но во главе петербургской гвардии Трубецкой видел не подполковника Муравьева-Апостола, а гораздо более влиятельного и популярного в армии генерала Михаила Орлова, жившего в Москве. В декабре 1825 года Трубецкой пригласил Орлова приехать в Петербург и возглавить восстание; следовательно, движение на Москву в качестве серьезного элемента плана диктатор не рассматривал. Более того, свои основные надежды князь связывал с 4-м пехотным корпусом, в котором служил в качестве дежурного штаб-офицера. Согласно документам, союзником северного лидера был сам корпусный командир, генерал от инфантерии князь Алексей Щербатов^{798}. Естественно, Муравьев-Апостол об этом не знал.

На одном из первых допросов, 23 декабря 1825 года, Трубецкой утверждал: незадолго до событий на Сенатской площади он предупреждал Рылеева, «что это всё (предполагаемое восстание. — А. Г., О. К.) пустое дело, из которого не выйдет никакого толку, кроме гибели». Противопоставляя неподготовленному к действиям Северному обществу решительных южан, Трубецкой, по его собственным словам, просил отпустить его назад в 4-й корпус, ибо «там если быть чему-нибудь, то будет». Таким образом, Трубецкой пытался убедить следствие, что не желал начальствовать над петербургскими заговорщиками, а о 4-м корпусе заговорил «единственно с намерением отделаться от бывшего мне тягостным участия под каким-нибудь благовидным предлогом». «Надежды предпринять что-либо в 4-м корпусе я иметь не мог, потому что в оном общество не распространено», — конкретизировал 15 февраля Трубецкой свои первоначальные показания^{799}.

Следователи, видимо, удовлетворились этими разъяснениями, поскольку некоторое время не спрашивали Трубецкого о 4-м корпусе. Однако уже в конце следствия, 8 апреля 1826 года, показания на эту тему дал Рылеев. По его словам, князь, вернувшись из Киева, рассказывал ему и Оболенскому, «что дела Южного общества в самом хорошем положении, что корпуса князя Щербатова и генерала Рота^[18] совершенно готовы»^{800}.

Свидетельство Рылеева предъявили Трубецкому 4 мая, и тот начал его отчаянно опровергать: «Корпуса князя Щербатова я не называл, и если Рылеев и к[нязь] Оболенский приняли, что я в числе готовых корпусов для исполнения намерения Южного общества полагал и 4-й пехотный, то они ошиблись; а мне сказать это было бы непростительным хвастовством, которое не могло бы мне удасться, ибо если бы они спросили у меня, кто члены в 4-м корпусе, то таковой вопрос оказал бы, что я солгал»^{801}.

Формально Трубецкой был прав. За всё время пребывания на юге он не принял в общество ни одного нового члена. Сергей Муравьев поведал следствию, что Трубецкой не выполнил его просьбу «стараться о приобретении членов в 4-м корпусе»^{802}. Вообще же к концу 1825 года в корпусе служили всего четверо причастных к заговору офицеров: подполковники Алексей Капнист, Александр Миклашевский и Иван Хотяинцев и юнкер Федор Скарятин, племянник корпусного командира. Все они попали в тайное общество помимо Трубецкого; после подавления восстания никто из них не понес серьезного наказания.

Но когда 6 мая 1826 года на очной ставке между Трубецким и Рылеевым следователи стали выяснять, говорил ли Трубецкой о своих надеждах на 4-й корпус, князь отказался от своих показаний и подтвердил справедливость слов Рылеева^{803}.

Вся история с рассказами Трубецкого о 4-м корпусе загадочна лишь на первый взгляд. Объяснение ей можно найти в следственном деле майора Вятского полка Николая Лорера, одного из самых близких к Пестелю заговорщиков. Хорошо ориентировавшийся в делах тайного общества Лорер показывал: «Тайное общество имело всегда в виду и поставляло главной целью обращать и принимать в члены... людей значащих, как-то: полковых командиров и генералов, и потому поручено было князю Трубецкому или он сам обещался узнать образ мыслей князя Щербатова и тогда принять его в общество»^{804}.

«Кажется, что главная роль Трубецкого заключалась в соответствующем воздействии на высшее командование корпуса. При благоприятном стечении событий в его руках могли оказаться все войска корпуса. Это обстоятельство, можно предполагать, заставляло держаться его возможно осторожнее», — считал биограф Трубецкого Н. Ф. Лавров^{805}.

Судя по всему, в декабре 1825 года основные политические интересы Трубецкого на самом деле лежали вне столицы. Ему нужна была длительная дестабилизация ситуации в Петербурге, открывавшая его сторонникам в 1-й армии возможность начать решительные действия. Отсюда — ставший известным следствию элемент «плана Трубецкого» — вывод восставших полков за город. Идея была не столь уж фантастической: чем дальше полки отошли бы от столицы и, соответственно, чем больше времени понадобилось бы на переговоры с ними, тем дольше продолжался бы паралич центральной власти.

*

Двадцать третьего декабря 1825 года Следственная комиссия заслушала показания корнета Кавалергардского полка Петра Свистунова, арестованного в ночь с 20 на 21 декабря в Москве. Тот, кроме прочего, утверждал: Трубецкой просил «письмо от него отвезти» в Москву, «г[енерал]-м[айору] Орлову». Допрошенный в тот же день несостоявшийся диктатор подтвердил показания Свистунова: «Я написал письмо к г.м.

Орлову, в котором я уговаривал его, чтоб он приехал; я чувствовал, что я не имею духу действовать к погибели, и боялся, что власти не имею уже, чтоб остановить, надеялся, что если он приедет, то он сию власть иметь будет»^{806}. Иными словами, Трубецкой убеждал следователей, что Орлов был нужен ему, поскольку своим авторитетом мог остановить начинавшийся военный мятеж.

Но долго настаивать на этой версии он не смог. Свистунов, оповещенный о содержании письма, сообщил следствию: «Трубецкой говорил Орлову, чтоб приехал в Петербург немедля, что войска, конечно, будут в неустройстве и что нужно воспользоваться первым признаком оногo... что происшествие, конечно, будет и желательно бы было, чтоб он ускорил своим приездом». Трубецкой был вынужден изменить показания — 15 февраля он уже утверждал, что просил Орлова приехать в Северную столицу, поскольку «что здесь будет, то будет, причем всё равно, как и без него»^{807}. Суммируя эти показания, можно сказать, что полковник Трубецкой приглашал генерал-майора Орлова приехать в Петербург, чтобы стать во главе восстания.

Генерал-майор Михаил Орлов был хорошо известен в гвардии и армии прежде всего своим блестящим прошлым: герой Отечественной войны, в 1814 году он подписал акт о капитуляции Парижа, а затем выполнял дипломатические поручения в Скандинавии. В 1818-м Орлов получил должность начальника штаба 4-го пехотного корпуса 1-й армии, с 1820-го по 1823-й командовал 16-й пехотной дивизией. Отменив в дивизии телесные наказания, отдав под суд тиранивших солдат офицеров, организовав при полках ланкастерские школы, он стал солдатским кумиром. Орлов был заговорщиком «со стажем»: он руководил Кишиневской управой Союза благоденствия и разрабатывал планы военного переворота под собственным руководством. В среде заговорщиков ни для кого не было тайной, что Орлов, несмотря на свой отход от заговора в 1823 году, по-прежнему мечтал о том, чтобы возглавить русскую революцию.

Приехав из Киева в Петербург, Трубецкой поделился с Рылеевым своими размышлениями по поводу Орлова. Судя по показаниям поэта, когда он «открывал» Трубецкому свои опасения насчет честолюбивых устремлений Пестеля, князь заметил: «Не бойтесь, тогда стоит только послать во 2-ю армию Орлова — и Пестеля могущество разрушится». «Но когда я по сему случаю спросил Трубецкого: “Да разве Орлов наш?” — то он отвечал: “Нет, но тогда поневоле будет наш”»^{808}.

Орлов, комментируя на следствии письмо Трубецкого (так до него и не дошедшее и известное ему лишь в пересказе), замечал: «Писать мне 13-го с просьбой прийти ему на помощь 14-го было со стороны Трубецкого нелепым безрассудством, за которое я не несу ответственности»^[809]. Но, принимая во внимание стремление диктатора организовать длительную дестабилизацию власти в столице, следует признать, что письмо это было не столь безрассудным. «Ясно, что Трубецкой вызывал Орлова... никак не для завтрашних действий, а для каких-то более отдаленных», — утверждала М. В. Нечкина, предполагая, что Трубецкой хотел «иметь надежного заместителя диктатора на севере» в случае собственного отъезда на юг^[810]. Скорее всего, она была права — с той только оговоркой, что генерал Орлов, известный всей армии честолобец, вряд ли согласился бы оставаться на вторых ролях, быть «заместителем» полковника Трубецкого. Очевидно, что в случае принятия предложения Трубецкого диктатором должен был стать именно Орлов. Трубецкой же собирался, «запустив» столичное восстание и поставив во главе его генерала Орлова, ехать на юг, где с помощью Сергея Муравьева-Апостола и князя Щербатова организовать революционный поход двух корпусов на Петербург. Отсюда — его второе письмо, написанное накануне 14 декабря. Оно было адресовано как раз Муравьеву-Апостолу^[811].

Трудно судить, как повел бы себя Орлов в критической ситуации: когда ему стало известно о предложении Трубецкого, восстание в столице уже несколько дней как было разгромлено. Однако история с письмом Орлову показывает: план Трубецкого был весьма рискованным, даже авантюрным. На пути его реализации диктатора поджидал не только отказ Орлова, но и другие опасности, которые он, судя по всему, предвидел. Восстать могло малое количество войск, и тогда на переговоры с ними никто не пошел бы. Кроме того, восстание могло сопровождаться беспорядками, и в этом случае успех переговоров с властью становился призрачным. Очевидно, именно поэтому накануне 14 декабря Трубецкой уговаривал ротных командиров не начинать восстание «малыми силами». Теми же соображениями продиктован и его приказ первыми «стрельбы не начинать»^[812].

«Гибель казалась благополучием»

События 14 декабря 1825 года хорошо известны и многократно описаны. На Сенатскую площадь заговорщики вывели три неполных гвардейских полка; Московский, Гренадерский и Гвардейский морской экипаж; Финляндский полк, не присоединившись к мятежникам, тем не менее не стал выступать и против них. Большая часть полка под предводительством поручика Евгения Розена с середины дня стояла на Исаакиевском мосту через Неву и не поддавалась на уговоры и приказы примкнуть к правительственным войскам. Основная же часть гвардии, в том числе кавалерийские и артиллерийские части, с большим или меньшим энтузиазмом выступила против мятежников.

В ходе восстания были жертвы. В частности, пистолетным выстрелом и штыковым ударом был убит генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович. Позже следователи решили, что непосредственной причиной смерти графа был выстрел, который произвел отставной поручик Петр Каховский, за что он и был казнен. Поручик Евгений Оболенский, ударивший графа штыком, был приговорен к вечной каторге. Операцией по усмирению восставших руководил лично император. Сначала предпринимались попытки переговоров с восставшими, военачальники (тот же Милорадович) и представители духовенства пытались уговорить мятежные войска разойтись. Когда же уговоры не помогли, восставшие полки были разогнаны картечью.

Этот разгон красочно описал в мемуарах Николай Бестужев, брат издателя «Полярной звезды», в 1825 году капитан-лейтенант и начальник Морского музея:

«Первая пушка грянула, картечь рассыпалась; одни пули ударили в мостовую и подняли рикошетами снег и пыль столбами, другие вырвали несколько рядов из фрунта, третьи с визгом пронеслись над головами и нашли своих жертв в народе, лепившемся между колонн сенатского дома и на крышах соседних домов. Разбитые оконницы зазвенели, падая на землю, но люди, слетевшие вслед за ними, растянулись безмолвно и недвижимо. С первого выстрела семь человек около меня упали: я не слышал ни одного вздоха, не приметил ни одного судорожного движения — столь жестоко поражала картечь на этом расстоянии. Совершенная тишина царствовала между живыми и мертвыми. Другой и третий выстрелы повалили кучу солдат и черни, которая толпами собралась около нашего места. Я стоял

точно в том же положении, смотрел печально в глаза смерти и ждал рокового удара; в эту минуту существование было так горько, что гибель казалась мне благополучием. Однако судьбе угодно было иначе.

С пятым или шестым выстрелом колонна дрогнула, и когда я оглянулся — между мною и бегущими была уже целая площадь и сотни скошенных картечью жертв свободы. Я должен был следовать общему движению и с каким-то мертвым чувством в душе пробирался между убитых; тут не было ни движения, ни крика, ни стенания, только в промежутках выстрелов можно было слышать, как кипящая кровь струилась по мостовой, растопляя снег, потом сама, алея, замерзала»^[813].

Начавшись около девяти утра беспорядками в Московском полку, восстание закончилось в пятом часу дня. Количество жертв правительственных пушек установить трудно: мемуаристы и официальные источники называют от нескольких десятков до полутора тысяч убитых.

Однако к этим событиям Рылеев непосредственного отношения не имел: он появлялся на Сенатской площади эпизодически — и этим мало отличался от Трубецкого, вообще на нее не вышедшего. Представляется, что причины странного поведения обоих лидеров восстания схожи: им стало ясно, что выработанные накануне планы рухнули. Бессмысленное стояние восставших на площади, отсутствие внятного командования похоронило надежды Рылеева на быстрое занятие «с горстью солдат» дворца. Практически сразу же после начала восстания был убит граф Милорадович — и рухнул план Трубецкого: с людьми, запятнавшими себя «буйством» и кровью, император Николай ни в каком случае не пошел бы на переговоры. Восстание могло превратиться в братоубийственную резню, которой ни Трубецкой, ни Рылеев руководить не желали.

*

Последние часы перед арестом Рылеев провел дома: встречался с единомышленниками, избежавшими ареста непосредственно на площади, пытался связаться с Сергеем Муравьевым-Апостолом, жег документы, рукописи и письма.

Часть бумаг поэт, как уже упоминалось, отдал на хранение Фаддею Булгарину. Николай Греч вспоминал: «Булгарин... пришел к нему часов в восемь и нашел честную компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал: “Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой! Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и

ребенка”. Поцеловал его и выпроводил из дому»^{814}.

Рылеев был арестован в ночь с 14 на 15 декабря, на глазах жены и дочери. Брал его под стражу флигель-адъютант полковник Николай Дурново, записавший в дневнике некоторые подробности: «Немного спустя после полуночи император приказал мне привести ему поэта Рылеева, живого или мертвого, и сказал, что я отвечаю головой за выполнение этого поручения. Я ответил его величеству, что через полчаса я ему представлю вышеупомянутое лицо. Взяв с собой шесть человек из Семеновского полка, я прямо направился на квартиру к Рылееву, в дом Американской компании. Вначале встретились некоторые затруднения при входе, но, когда я объявил, что действую по приказу императора, двери открылись, я приказал провести себя в комнаты поэта, который спал или делал вид, что спал. Во всяком случае это пробуждение было не из приятных. Он повиновался без возражений и, одевшись, последовал за мной во дворец». Он сразу же был доставлен к императору. «В это мгновение ко мне привели Рылеева. Это — поимка из наиболее важных», — писал Николай I брату Константину^{815}.

После первого допроса у императора Рылеев был отправлен в Петропавловскую крепость. Император предписал коменданту крепости: «Присылаемого Рылеева посадить в Алексеевский рavelин, но не связывая рук; без всякого сообщения с другими, дать ему и бумагу для письма и что будет писать ко мне собственноручно, мне приносить ежедневно»^{816}.

Арестованные заговорщики вели себя на допросах по-разному. Многие из них пытались играть со следствием, предлагали свои версии произошедших событий. Так, Павел Пестель, в котором император с самого начала разглядел главного виновника произошедших беспорядков, пытался свести деятельность тайных обществ к «теоретическим» рассуждениям о революции, конституции и судьбе императорской фамилии. При этом он называл фамилии известных ему заговорщиков, подробно повествовал об истории тайных организаций, о «цареубийственных» планах. Таким образом он пытался скрыть — и в итоге это ему удалось — реальную подготовку к революционному походу, которая под его руководством велась на юге^{817}.

Сергей Трубецкой, стремясь избежать смертной казни, также выбрал далеко не безупречный способ самозащиты.

Его показания — причудливая смесь полуправды с откровенной ложью. В большинстве преступлений тайного общества со времени его основания Трубецкой обвинял Пестеля, в подготовке же мятежа 14 декабря — Рылеева. Во многом вследствие этих «откровений» Пестель и Рылеев

получили высшую меру наказания.

Однако из показаний Пестеля и Трубецкого следует: несмотря на покаянный тон, эти лидеры заговора не собирались раскаиваться в антиправительственной деятельности. Рылеев, в отличие от них, пережил в крепости острый приступ раскаяния. Естественно, этому во многом способствовало гуманное отношение Николая I к супруге поэта: как уже говорилось, император снабдил ее деньгами и разрешил переписываться с мужем практически сразу же после его ареста.

История с царским пожалованием имела для Рылеева весьма серьезные последствия. Известие о подарках морально унижало, практически уничтожало заговорщика: император, против которого, собственно, и был направлен заговор, которого в ходе восстания намеревались убить или арестовать, оказывался благородным и честным человеком, протягивал несчастной женщине руку помощи. Николай победил заговорщика своим христианским человеколюбием, Рылеев же в собственных глазах неминуемо должен был оказаться негодяем.

Получив от Натальи Михайловны сообщение о высочайших подарках, Рылеев ответил пространным посланием. Лейтмотив его сводился к следующему: «Молись Богу за императорский дом». О себе же арестованный заговорщик сообщал: «Я мог заблуждаться, могу и впредь, но быть неблагодарным не могу. Милости, оказанные нам государем и императрицею, глубоко врезались в сердце мое. Что бы со мной ни было, буду жить и умру для них»^{818}.

Давно замечено, что после этого Рылеев стал гораздо откровеннее на допросах. В частности, 24 апреля 1826 года он подтвердил, что вечером 13 декабря говорил Петру Каховскому: «Любезный друг! ты сир на сей земле; я знаю твое самоотвержение; ты можешь быть полезнее, чем на площади, — истреби царя!» Дополняя свое признание, заговорщик поведал следствию и о своих размышлениях накануне решающих событий: «Более всего страшился я, если ныне царствующий государь император не будет схвачен нами, думая, что в таком случае непременно последует междуусобная война. Тут пришло мне на ум, что для избежания междуусобия должно его принести на жертву, и эта мысль была причиною моего злодейского предложения»^{819}.

По-видимому, это показание во многом предопределило судьбу Рылеева: у императора появилось моральное право отправить его на виселицу. Тот, чью семью Николай I лично облагодетельствовал, оказался цареубийцей. Причем если Пестель и его единомышленники, члены

Южного общества, планировали убить Александра I, то в данном случае речь шла о покушении на самого Николая. Император не мог не понимать, что если бы обстоятельства сложились в пользу заговорщиков и Каховский выполнил бы поручение Рылеева, погибнуть могли и его собственные жена и ребенок.

«Если нужна казнь для блага России, то я один ее заслуживаю, и давно молю Создателя, чтобы всё кончилось на мне, и все другие чтобы были возвращены их семействам, отечеству и доброму государю его великодушием и милосердием», — утверждал поэт в одном из своих показаний; те же мысли он излагал и в письме императору^[820]. Но при этом его показания наполнены фамилиями участников заговора, подробными рассказами о подготовке восстания на Сенатской площади, пересказом собственных и чужих рассуждений о возможном цареубийстве.

Историк-мемуарист Дмитрий Кропотов, близкий к семье Рылеева и специально собиравший сведения о нем, утверждал в частном письме: «Впоследствии Рылеев отказался от всех своих заблуждений и раскаялся искренно. В искренности перемены своих убеждений и раскаяния не может быть никакого сомнения. Рылеев был не из тех людей, которых можно было бы приневолить или заставить отказаться от своих убеждений»^[821].

Но несмотря на признание в «цареубийственных» замыслах и призыв казнить его одного, заговорщик очень надеялся на снисхождение императора. В конце концов Николай I был отцом «златокудрого отрока», воспетого в оде «Видение» за два с половиной года до событий на Сенатской площади. Вполне возможно, что о реальности такого снисхождения поэту намекнул бывший министр Голицын, член Следственной комиссии, вошедший в ближний круг молодого императора. Голицын, как уже говорилось выше, искренне сочувствовал Рылееву и помогал его семье. О том, что следователь и подследственный имели возможность общаться в неформальной обстановке, сообщает в мемуарах Трубецкой: «По соглашению предмета, по которому была у нас очная ставка, кн. А. Н. Голицын вступил с Рылеевым и со мною в частный разговор и продолжал его некоторое время в таком тоне, как будто мы были в гостини; даже с приятным видом и улыбкой, так, что, вопреки всем дотоле бывшим убеждениям, пришла мне мысль, что, вероятно, кн. Голицыну известно, что дело наше не так худо кончится; что религиозный человек, каким он издавна почитался, не мог бы так весело разговаривать и почти шутить с людьми, обреченными смерти...»^[822]

Известно, что, зная о возможном смертном приговоре, Рылеев был

уверен: император этому приговору противится. Николай Бестужев рассказывает в мемуарах о некой «записке», посланной Рылеевым своим товарищам, — «когда он узнал о действиях Верховного уголовного суда». Записка, по словам Бестужева, «начиналась следующими словами: “красные кафтаны (т. е. сенаторы) горячатся и присудили нам смертную казнь, но за нас Бог, государь и благомыслящие люди”»^[823].

*

Рылеев, бывший политический сторонник Голицына, в тюрьме стал его идейным союзником. Последний цикл его стихов, написанный в Петропавловской крепости, имеет ярко выраженную мистическую окраску, нехарактерную для его предыдущих, вполне рационалистических произведений.

Эти стихотворения неизменно вызывают интерес исследователей:

...Творец! Ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон.
Приникни на мое моление,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши.
...
Для цели мы высокой созданы:
Спасителю, сей истине верховной,
Мы подчинить от всей души должны
И мир вещественный, и мир духовный.
Для смертного ужасен подвиг сей,
Но он к бессмертию стезя прямая;
И, благовествуя, речет о ней
Сама нам истина святая:
«И плоть и кровь преграды вам поставит,
Вас будут гнать и предавать,
Осмеивать и дерзостно бесславить,
Торжественно вас будут убивать,
Но тщетный страх не должен вас тревожить.
И *страшны* ль те, кто властен жизнь отнять

И этим зла вам причинить не может!..»

...

Ты прав: Христос спаситель нам один,
И мир, и истина, и благо наше;
Блажен, в ком дух над плотью властелин,
Кто твердо шествует к Христовой чаше.
Прямой мудрец: он жребий свой вернее,
Он предпочел небесное земному,
И, как Петра, ведет его Христос
По треволнению мирскому.
Душою чист и сердцем прав
Перед кончиною подвижник постоянный,
Как Моисей, с горы Навав,
Узрит он край обетованный^{824}.

Все эти стихи адресованы Евгению Оболенскому. Оболенский вспоминал, что они были наколоты на кленовых листьях, которые сторож принес ему в каземат. Однако сохранились эти строки не только в мемуарах Оболенского — черновики посланий были написаны на обороте писем Натальи Рылеевой мужу^{825}.

Стихи эти были многократно прокомментированы исследователями, «Религия была единственным исходом, к которому должна была прийти эта сентиментальная натура, когда всякий способ и предлог к проявлению энергии был у нее отнят», — писал Н. А. Котляревский. «Религиозность, никогда не покидавшая его в течение всей жизни, теперь всецело овладела его душой и часто облегчала его страдания», — вторил ему В. И. Маслов^{826}. Советские исследователи несколько откорректировали представления о последних стихотворениях Рылеева: к примеру, А. Г. Цейтлин услышал в них «несомненные ноты политического протеста» и, напротив, не увидел «полного отречения от целей борьбы»^{827}. Однако религиозный смысл этих рылеевских посланий ни один из них, конечно же, не оспаривал. Маслов, проведя текстологический анализ этих стихотворений, выяснил, что главными источниками вдохновения для Рылеева на этот раз стали Псалтырь, а также Евангелия от Матфея и Иоанна^{828}.

Однако, размышляя о предсмертных стихах Рылеева, исследователи часто упускают из виду еще один явный источник его религиозных

раздумий — книгу средневекового монаха и теолога Фомы Кемпийского «О подражании Христу», которая была у него в крепости. В начале следствия, 21 января 1826 года, он писал жене: «Пришли мне, пожалуйста, все 11 томов Карамзина Истории... они, кажется, стоят в большом шкафу... да прикажи также приискать в книжных лавках книгу “О подражании Христу”, переводу М. М. Сперанского». «Историю государства Российского» передавать Рылееву было запрещено, но книгу Фомы Кемпийского он вскоре получил. 5 февраля он поблагодарил жену за книгу: «Она питает меня теперь. Советую тебе снова прочесть ее: в час скорби она научает внятнее и высокие истины ее тогда доступнее»^[829].

Следовательно, дома у Рылеева сочинения Фомы Кемпийского, в отличие от «Истории» Карамзина, не было и в круг его активного чтения до ареста эта книга не входила. Между тем она была одной из главных мистических книг эпохи, в начале XIX века неоднократно переводилась на русский язык. Один из таких переводов осуществил знаменитый государственный деятель Михаил Сперанский, не чуждый увлечения мистикой. Первое издание этого перевода появилось в России в 1819 году, в последний раз перед событиями на Сенатской площади она была издана в 1821-м под эгидой голицынского министерства.

Собственно, смысл этой книги хорошо известен: «...если преуспеяние наше в благочестии поставляем мы в исполнении одних только внешних обрядов, то благоговение наше скоро исчезнет. Но обратим секиру на самый корень древа, дабы, очистив себя от страстей, наслаждаться душевной тишиною»^[830]. Это утверждение современные исследователи называют «индивидуальной религиозностью», а современники Рылеева именовали «внутренней Церковью».

Аскетизм, которым проникнута книга, выражается, в частности, в идее любви людей к Христу даже в том случае, когда ему «было угодно не посылать им никакой отрады», — именно в таком состоянии находился Рылеев в крепости. В сочинении средневекового теолога содержится и много других утешительных для узника изречений, в том числе «о пользе несчастий»: «...суды Божий различны от судов человеческих»; «...весьма великое дело пребывать в повиновении... и не быть в своей власти». Рылеев также мог найти у Фомы Кемпийского оправдание собственному поведению на следствии: «...если Бог пребывает с нами, нам нужно, для сохранения мира, иногда и отступать от наших мыслей». Рассуждал философ и об опасности дружеских связей, отвлекающих человека от познания божественных истин^[831].

В книге «О подражании Христу» Рылеев мог обратить внимание на мысли, созвучные собственным честолюбивым устремлениям. Еще в корпусе он писал отцу о том, что желает «вознестися» «превыше человеков» и готов для этого стоически переносить «все несчастья, все бедствия»^{832}. Траклат Фомы Кемпийского вполне мог убедить Рылеева в правильности подобных мечтаний — просто действовать следовало не на политическом поприще, а на поприще познания божественной истины: «Кто любит Иисуса и истину, кто действительно углублен во внутреннее и свободен от неправильных привязанностей, тот может свободно обращаться к Богу, возноситься духом превыше самого себя и покоиться усладительно»^{833}.

Все эти «утешительные», «питающие» узника мысли — о противостоянии «земного» и «небесного», о тщете всего мирского, о необходимости жертвы ради торжества Бога, об очищающей силе страдания — можно увидеть в последнем цикле рылеевских стихов.

*

Михаил Сперанский, переведший книгу «О подражании Христу», был и автором текста, определившего судьбу Рылеева, — приговора участникам тайных обществ. Рылеев по приговору объявлялся виновным в том, что «по собственному его признанию, умышлял на цареубийство, назначал к свершению оногo лица, умышлял на лишение свободы, на изгнание и на истребление императорской фамилии и приуготовлял к тому средства, усилил деятельность Северного общества, управлял оным, приготавливал способы к бунту, составлял планы, заставлял сочинить Манифест о разрушении правительства, сам сочинял и распространял возмутительные песни и стихи и принимал членов, приуготовлял главные средства к мятежу и начальствовал в оных, возбуждал к мятежу нижних чинов чрез их начальников посредством разных обольщений и во время мятежа сам приходил на площадь»^{834}.

По «силе вины» заговорщики были разделены на 11 разрядов. Вне разрядов оказались Рылеев и еще четверо заговорщиков, которых «по тяжести их злодеяний» нельзя было сравнить с остальными. В общем списке подсудимых его фамилия стояла второй, силой «злодеяний» он уступал только Павлу Пестелю. Во «внеразрядную» группу вошли также Петр Каховский и активные участники южного заговора Сергей Муравьев-

Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин. Верховный уголовный суд решил, что «за преступления, сими лицами соделанные, на основании воинского устава (1716 года) артикула 19» следует «казнить их смертью, четвертовать»^{835}.

Однако, как известно, император с таким приговором не согласился. Генерал Дибич сообщил председателю суда князю Лопухину, что «его величество никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряженную»^{836}. Четвертование было заменено повешением. 12 июля в Комендантском доме Петропавловской крепости приговор был объявлен осужденным. Несколько часов спустя, в ночь на 13 июля, он был приведен в исполнение. Местом совершения казни стал вал крепостного кронверка — дополнительного фортификационного укрепления за крепостными стенами.

Перед смертью Рылеев написал жене письмо, проникнутое всё теми же религиозными мыслями: «Бог и государь решили участь мою: я должен умереть, и умереть смертью позорною. Да будет его святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле всемогущего, и он утешит тебя. За душу мою молись Богу, Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на него, ни на государя; это будет и безрассудно, и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды непостижимого? Я ни разу не возроптал во всё время моего заключения, и за то Дух Святый дивно утешал меня. Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобою и нашею малюткою, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе. О, милый друг, как спасительно быть христианином. Благодарю моего создателя, что он меня просветил и что я умираю во Христе»^{837}.

Через два дня после казни князь Голицын сообщал коменданту крепости, генералу Александру Сукину: «...государь император указать соизволил, чтобы образ, бывший в каземате у Рылеева, и письмо, им писанное к жене, вы доставили ко мне для возвращения жене»^{838}.

Эпилог.

«НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОДЕРЖАТЬ СЕМЕЙСТВО»

«...13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го... По совести нахожу, что казни и наказания несоразмерны преступлениям, из коих большая часть состояла только в одном умысле... Провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные», — писал в записной книжке князь Вяземский, помогавший Рылееву издавать альманах «Полярная звезда», публиковать «Думы» и «Войнаровского». О том, под каким сильным впечатлением от казни заговорщиков находился князь, свидетельствует его письмо жене: «О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а всё прибывает меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место»^{839}.

Казнь была мероприятием публичным: на ней присутствовали специально приглашенные зрители — сотрудники иностранных посольств, гвардейский генералитет, сводные батальоны и эскадроны гвардейских полков, военный оркестр, а также случайные зрители. Осужденных вешали под специфическое музыкальное сопровождение: при их появлении под виселицей военные барабанщики ударили «тот же бой, как для гонения сквозь строй», и эти звуки сопровождали смертников до самого конца^{840}.

Император Николай I, лично придумавший процедуру казни, вряд ли преследовал лишь цель наказать виновных и обеспечить должные «тишину и порядок». Естественно, что столь тщательно разработанная церемония была призвана подчеркнуть незыблемость российского самодержавия. Она имела и воспитательное значение. Согласно изданному в день казни императорскому манифесту, «вмения... кому-либо в укоризну» родство с преступниками было строжайше запрещено^{841}. Однако в войсках, стоявших перед крепостью, было много родственников, друзей и знакомых осужденных; по повелению императора все они поневоле стали палачами. Вне зависимости от политических взглядов, их отношения к произошедшим событиям участие этих людей в казни было несовместимо с понятием дворянской чести. Завоевав доверие новой власти, они лишились

морального права на какие бы то ни было оппозиционные действия в дальнейшем.

Следует отметить, что у тех, кого власть определила в участники процедуры казни, был выбор. В принципе от этого можно было отказаться — и тем навсегда утратить доверие императора. Так, один из осужденных к каторжным работам, Александр Муравьев, вспоминал: «...бедный поручик, сын солдата, георгиевский кавалер, уклонился от приказа, который был ему предписан, — сопровождать на казнь пятерых приговоренных к смерти. “Я честно служил, — сказал этот человек с благородным сердцем, — и на склоне лет не хочу быть палачом людей, которых я уважаю”. Граф Зубов, кавалергардский полковник, отказался возглавить свой эскадрон, чтобы присутствовать при казни. “Это мои товарищи, и я не пойду”, — был его ответ»^[842].

Однако далеко не все из тех, кому было приказано участвовать в процедуре казни, повели себя подобно «бедному поручику» и Александру Зубову — внуку Суворова, вынужденному вскоре выйти в отставку^[843]. Впоследствии наиболее серьезные нравственные претензии у современников возникли к офицерам гвардейского Павловского полка, который по распоряжению императора конвоировал преступников к месту казни.

*

История одного из офицеров-павловцев, ставшего командиром конвоя, столь же интересна, сколь и поучительна — в аспекте методов, которыми власть в лице императора и его приближенных добивалась офицерской лояльности.

Осужденный на бессрочную каторгу Евгений Оболенский на закате дней вспоминал, что в ночь на 13 июля видел через окно «взвод Павловских grenадер и знакомого мне поручика Пальмана» и пятерых смертников, «окруженных grenадерами». Те же солдаты под командованием того же офицера потом сопровождали осужденных на каторжные работы к месту проведения церемонии гражданской казни. Согласно воспоминаниям другого приговоренного к каторге, Андрея Розена, павловскими grenадерами, выстроившимися в каре, внутри которого проходил обряд гражданской казни, командовал «капитан Польшман». А один из полицейских, помощник квартального надзирателя,

рассказывал впоследствии: «Когда их (пятерых смертников. — А. Г., О. К.) установили, мы пошли в таком порядке: впереди шел офицер Павловского полка, командир взвода, поручик Пильман, потом мы пятеро в ряд с обнаженными шпагами. Мы были бледнее преступников и более дрожали, так что можно было сказать скорее, что будут казнить нас, а не их. За нами шли в ряд же преступники. Позади их двенадцать павловских солдат и два палача»^{844}.

Оболенский называет командира конвоя поручиком Пальманом, Розен — капитаном Польманом, помощник квартального надзирателя — поручиком Пильманом. Однако из документов и, в частности, из полковой истории следует, что 13 июля 1826 года осужденных сопровождал на смерть штабс-капитан Павловского полка Василий Петрович Польман.

*

В РГВИА удалось обнаружить документы, проливающие свет на биографию Василия Польмана. Согласно послужному списку, летом 1826-го ему было 34 года; следовательно, родился он в 1792-м. Происходил Польман «из дворян», службу начал в Тверском батальоне, созданном в июле 1812 года и снаряженном на личные средства великой княгини Екатерины Павловны. Василий Польман, тогда двадцатилетний молодой человек, откликнулся на патриотический призыв великой княгини и с 22 августа числился в этом батальоне юнкером^{845}.

В первый же год службы судьба свела его с одним из тех, кого спустя 14 лет он конвоировал на эшафот, — с Сергеем Муравьевым-Апостолом. «Несколько дней тому назад, — писал Муравьев отцу 18 ноября 1813 года, — была здесь великая княгиня Катерина Павловна, шеф нашего батальона, мы все имели счастье у ней обедать. Она со всеми говорила и благодарила нас за наше хорошее поведение во все время, и даже сказать изволила, что мы честь делаем ее имени, и что государь император в награждение за наши труды приказать изволил, чтобы мы с гвардией вместе остались»^{846}. События, о которых идет речь, происходили в тот момент, когда активные военные действия закончились, а батальон квартировал в прусском местечке Ганау.

Семнадцатилетний автор письма был только что произведен в капитаны — за храбрость в лейпцигской Битве народов. Муравьев-Апостол был моложе Польмана на четыре года, однако к тому времени уже успел

два года отучиться в Институте корпуса инженеров путей сообщения, в составе инженерных частей повоевать под Бородином и Малоярославцем. В отряде своего родственника графа Адама Ожаровского Сергей Муравьев принимал участие в партизанских действиях под Красным, участвовал в переправе через Березину.

Польман, подобно Муравьеву-Апостолу, воевал храбро: за отличие под Люценом он получил чин прапорщика, за Кульм был награжден орденом Святой Анны 4-й степени, за храбрость, проявленную в Битве народов, произведен в подпоручики^{847}. Вскоре оба они (как, впрочем, и другие офицеры батальона) были переведены в гвардию: по высочайшему приказу от 1 марта 1815 года Польман стал прапорщиком Павловского полка, а Муравьев-Апостол — поручиком Семеновского полка.

Естественно, что, прослужив после войны больше десяти лет в гвардии, в столице, Польман не мог не знать или хотя бы не слышать о Рылееве — знаменитом поэте, о чьих вольнолюбивых стихах говорил тогда весь Петербург. И точно известно, что он очень хорошо знал Евгения Оболенского, с которым состоял в 3-й гренадерской роте Павловского полка^{848}.

Оболенский, в отличие от Муравьева-Апостола и Рылеева, в 1826 году остался жив — его спасли принадлежность к титулованной российской знати, родство и знакомство с влиятельными сановниками. Вина тридцатилетнего князя была вполне соотносима с виной Муравьева: он был одним из главных организаторов событий 14 декабря на Сенатской площади. После неявки на площадь Сергея Трубецкого Оболенский пытался руководить мятежными полками. В пылу мятежа именно он нанес штыковой удар генерал-губернатору Петербурга Милорадовичу; возможно, что именно эта рана, а не нанесенная пулей Каховского, оказалась смертельной. Всего нескольких судейских голосов не хватило для того, чтобы Оболенский стал шестым приговоренным к повешению. Он был осужден на пожизненную каторгу.

Офицеры-павловцы не любили Оболенского, в феврале 1820 года убившего на дуэли их сослуживца, восемнадцатилетнего прапорщика Петра Свинына. Об обстоятельствах этого поединка в документах сохранились лишь глухие упоминания, зачастую опровергающие друг друга. Согласно обобщенным сведениям, собранным Павлом Пестелем, «вследствие разлада между некоторыми офицерами полка» Оболенский «был принужден драться с одним из товарищей и имел несчастье убить его. Но его величество государь нашел причины настолько значительными и

поведение молодого человека настолько хорошим, что ему ничего не сделали и даже не посадили под арест». После дуэли Оболенский решил сменить место службы. Пестель хлопотал о его переводе во 2-ю армию^[849]. Однако в итоге он был переведен в лейб-гвардии Финляндский полк и перешел на адъютантскую должность.

Естественно, дуэль Свиньина и Оболенского и последовавшие за ней события не прошли мимо Дольмана, служившего с Оболенским в одной роте. Офицеры-павловцы, в отличие от императора, не поддерживали будущего организатора восстания; их симпатии были на стороне убитого Свиньина. Однако нелюбовь к Оболенскому, а также верноподданнические чувства, которые наверняка испытывал Польшман, не могут объяснить, почему он согласился стать палачом.

*

Документы свидетельствуют: Польшман был беден, и это обстоятельство оказалось для него роковым.

Девятого июня 1826 года, когда вряд ли кто-то из непосвященных в тайну следствия и суда мог предположить, чем закончится громкий политический процесс по делу о «злоумышленных обществах», штабс-капитан написал императору Николаю I письмо с рассказом о собственных «стесненных» обстоятельствах:

«Имеv несчастье вскоре после потери отца испытать таковую же потерю и матери, тем более для меня тягостную, что она при беднейшем ее состоянии пеклась о содержании и воспитании трех сестер и малолетнего брата, оставшихся ныне без собственного пристанища и без родственников, к коим бы они в настоящем их положении могли прибегнуть, я как старший в семействе обязан принять на себя священный долг иметь о них попечение и не предвижу к сему иного средства, как токмо присоединить их к себе, но, не имея ни малейшей возможности содержать здесь таковое семейство, осмеливаюсь, Всемилостивейший Государь, повергнуть участь мою с тремя сестрами и одним малолетним братом Высочайшему Вашему воззрению и покровительству, умоляя Ваше императорское величество благостию к Вашим верноподданным всемилостивейшее повелеть: снабдить меня заимообразно выдачею пяти тысяч рублей на десять лет без процентов.

Сие благодеяние будет само по себе великим для семейства сирот и запечатлется в них вечною благодарностию. Что же касается собственно до меня, то я, сверх утешения видеть благосостояние их, буду иметь

счастье оставаться в настоящем служении моем до тех пор, доколе оно будет угодно Вашему императорскому величеству»^{850}.

Однако эта частная просьба пересеклась с соображениями государственной важности. За три дня до прошения Польшмана император Николай I писал брату Константину: «Затем последует казнь — ужасный день, о котором я не могу думать без содрогания»^{851}. До вынесения приговора оставалось еще три недели, до объявления его заключенным — почти месяц.

Очевидно, что неминуемость казни хорошо осознавали высшие чины Гвардейского корпуса. По-видимому, задолго до этой мрачной церемонии было решено, что конвойные обязанности исполнит гвардейский Павловский полк, на Сенатской площади проявивший полную лояльность императору.

И послание Польшмана решили, по-видимому, придержать.

Ему был дан ход только 11 июля. Командир Гвардейского корпуса генерал Воинов представил копию письма и послужной список штабс-капитана военному министру Татищеву с аттестацией: «...как свидетельствует полковой командир флигель-адъютант полковник Арбузов, по отлично усердной службе и совершенно расстроенным семейным обстоятельствам, заслуживает испрашиваемой им монаршей милости». Очевидно, принципиальное согласие Польшмана руководить конвоем было достигнуто как раз в этот день^{852}.

Казнь состоялась спустя два дня.

*

Около двух часов ночи конвой под командованием Польшмана вывел осужденных на смерть из тюремных камер и разместил в одном из земляных помещений под валом, на котором стояла виселица. Здесь они пробыли около полутора часов: в три часа ночи на территории кронверка начался и продолжался в течение часа обряд гражданской казни. Кроме того, виселицу к нужному моменту достроить не успели. Очевидец рассказывал: «Эшафот был отправлен на шести возах и неизвестно по какой причине вместо шести возов прибыли к месту назначения только пять возов; шестой, главный, где находилась перекладина с железными кольцами, пропал, потому в ту же минуту должны были делать другой брус и кольца»^{853}.

В ожидании окончания строительства приговоренных расковали, переодели в смертническую одежду (длинные белые рубахи с черными кожаными квадратами на груди, на которых были написаны фамилии осужденных, и с капюшонами, закрывавшими лица), их собственную одежду сожгли на костре. Затем их связали веревками (по другим свидетельствам — кожаными ремнями). Выведя под виселицу, их поставили на колени, еще раз прочли приговор, а затем подняли на эшафот.

Но исполнение приговора опять пришлось задержать — «за спешностью виселица оказалась слишком высока или, вернее сказать, столбы ее недостаточно глубоко были врыты в землю, а веревки с их петлями оказались поэтому коротки и не доходили до шей». Пришлось брать «школьные скамьи» из находившегося неподалеку здания училища торгового мореплавания. Скамьи были поставлены на доски, преступников втащили на скамьи, надели им на шеи петли, а капюшоны натянули на лица^{854}.

Еще одно промедление в исполнении смертного приговора произошло оттого, что не выдержали нервы у палача. По свидетельству одного из полицейских чиновников, когда тот «увидел людей, которых отдали в его руки, от одного взгляда которых он дрожал, почувствовав ничтожество своей службы и общее презрение, он обессилел и упал в обморок. Тогда его помощник принял вместо него за исполнение этой обязанности»^{855}.

Однако «когда отняли скамьи из-под ног, веревки оборвались, и трое преступников... рухнули в яму»^{856}. Среди возможных причин падения с виселицы свидетели называют также плохо затянутые на шеях осужденных веревочные узлы. Согласно официальной версии, с виселицы сорвались Рылеев, Каховский и Муравьев-Апостол. Сорвавшиеся сильно разбились при падении, однако находились в сознании.

Большинство свидетелей запомнили этот момент как самый тяжелый во всей процедуре исполнения смертного приговора.

Не выдержал этого зрелища, в частности, генерал Александр Бенкендорф — один из следователей по делу о тайных обществах, будущий шеф российской тайной полиции. Мемуарное свидетельство сохранило рассказ присутствовавшего при казни протоиерея Мысловского: «...видя, что принимаются снова вешать этих несчастных, которых случай, казалось, должен был освободить», Бенкендорф воскликнул: «Во всякой другой стране...» и оборвал себя на полуслове^{857}. По воспоминаниям Николая Лорера, «чтоб не видеть этого зрелища», Бенкендорф «лежал ничком на шее своей лошади»^{858}. Однако столичный генерал-губернатор Павел

Голенищев-Кутузов, занявший эту должность после смерти Милорадовича, отдал приказ о повторном повешении.

Но починить виселицу в кратчайшие сроки не удалось: «Запасных веревок не было, их спешили достать в ближних лавках, но было раннее утро, всё было заперто; почему исполнение казни еще промедлилось»^[859].

Существует множество свидетельств о том, как вели себя сорвавшиеся с виселицы смертники, ожидавшие повторной казни. В частности, источники фиксируют диалог Рылеева с Голенищевым-Кутузовым:

«Весь окровавленный Рылеев... обратившись к Кутузову сказал:

— Вы, генерал, вероятно, приехали посмотреть, как мы умираем. Обрадуйте вашего государя, что его желание исполняется; вы видите — мы умираем в мучениях».

На возглас Кутузова «Вешайте их скорее снова» Рылеев ответил: «Подлый опричник тирана. Дай же палачу твои аксельбанты, чтоб нам не умирать в третий раз»^[860].

Некоторые мемуаристы приписывают этот разговор с Голенищевым-Кутузовым Каховскому. По свидетельству Ивана Якушкина, осужденного в 1826 году на каторгу, «Каховский выругался по-русски. Рылеев не сказал ни слова»^[861]. Есть и свидетельство о том, что Рылеев, у которого при падении «колпак упал и видна была окровавленная бровь и кровь за правым ухом», сказал подошедшим к нему полицейским: «Какое несчастье!»^[862]

Когда виселица была готова, троих сорвавшихся повесили вторично. «В таком положении, — сообщает очевидец, — они оставались полчаса, доктор, бывший тут, объявил, что преступники умерли»^[863]. Однако другой наблюдатель сообщает, что «через три четверти часа» после повторного повешения «было 6 часов, и тела не смели висеть доле сего срока; сняли, внесли в сарай; но как они еще хрипели, то палачи должны были давить их, затесняя (затягивая. — А. Г., О. К.) петли руками»^[864].

*

Казнь на валу кронверка Петропавловской крепости впоследствии была многократно описана в мемуарах. Вспоминали об этом событии многие — даже те, кто не был ее непосредственным свидетелем, а слышал рассказы от родных, друзей или знакомых.

Правда, штабс-капитан Польшман, до конца стоявший рядом со

смертниками и видевший и возведение на эшафот, и повторное повешение, и снятие казненных с веревок, — вспоминать произошедшее не захотел. Для этого у него были свои основания: 21 июля, спустя неделю после казни, «государь император, снисходя на всеподданнейшее прошение штабс-капитана лейб-гвардии Павловского полка Польшана, высочайше повелеть соизволил выдать ему заимообразно на 10-ть лет без процентов 5 т. руб. ассигнациями»^{865}. О том, как сложилась жизнь штабс-капитана и его семьи после 13 июля, стало ли его семейство счастливым и богатым или продолжало жить в бедности, сведений обнаружить не удалось.

Конечно, трудно упрекать Польшана, кормильца большого семейства, за его поведение в июле 1826 года. Однако частная судьба этого офицера ставит перед изучающими российскую историю вечный вопрос о пределах допустимого и в служебной деятельности, и в частной жизни. Что лучше — быть казнящим во имя вполне здравых, рационалистических целей, во имя благополучия семьи и блага государства — или казнимым во имя лучшего будущего? В советское время ответ на этот вопрос был однозначным. Сегодня каждый решает его для себя.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТВОРЧЕСТВА К. Ф. РЫЛЕЕВА

1795, 18 сентября — в семье командира батальона Эстляндского егерского корпуса подполковника Федора Андреевича Рылеева и его жены Анастасии Матвеевны родился сын Кондратий.

1796, 6 ноября — смерть императрицы Екатерины II, восшествие на престол Павла I.

1800, 18 апреля — по протекции великого князя Константина Павловича поступил в малолетнее отделение 1-го Кадетского корпуса.

1801, 1 марта — убийство заговорщиками Павла I, восшествие на престол Александра I.

1813, 13 сентября — смерть отца.

1814, 10 февраля — окончил Кадетский корпус, получил чин прапорщика и назначение в 1-ю конноартиллерийскую роту 1-й резервной артиллерийской бригады.

Февраль—сентябрь — служил в Саксонии под началом своего родственника генерал-майора Михаила Рылеева.

3 декабря — вернулся в Россию.

1816, 28 июля — переименование 1-й конноартиллерийской роты в 11-ю.

1818, 26 марта — переименование 11-й конноартиллерийской роты в 12-ю.

12 декабря — вышел в отставку с чином подпоручика.

1819, 22 января — женился на Наталье Тевяшовой в городе Острогожске Воронежской губернии.

1820, март — начал печатать стихи в журнале Александра Измайлова «Благонамеренный».

23 мая — рождение дочери Анастасии.

Осень — окончательный переезд в Санкт-Петербург.

16—18 сентября — беспорядки в лейб-гвардии Семеновском полку.

20 ноября — разрешение петербургской цензуры печатать номер журнала «Невский зритель» с сатирой «К временщику».

1821, 24 января — избран заседателем Санкт-Петербургской уголовной палаты.

25 апреля — избран в члены-сотрудники Вольного общества любителей российской словесности.

19 декабря — избран в действительные члены Вольного общества любителей российской словесности.

1822, 30 ноября — разрешение петербургской цензуры печатать первый выпуск альманаха «Полярная звезда».

1823, 5 апреля — избран в действительные члены Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

29 августа — разрешение петербургской цензуры печатать номер журнала «Литературные листки» с одой Рылеева «Видение».

Сентябрь — рождение сына Александра.

20 декабря — разрешение петербургской цензуры печатать второй выпуск альманаха «Полярная звезда».

Конец года — вступил в тайное общество.

1824, февраль — стрелялся на дуэли с прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка Константином Шаховским.

Март — встретился с приехавшим в Петербург руководителем Южного общества Павлом Пестелем.

16 апреля — назначен правителем дел Российско-американской компании.

Апрель—май — начал разрабатывать план вывоза императорской фамилии в Америку в случае начала революции.

15 мая — отставка Александра Голицына с должности министра духовных дел и народного просвещения.

2 июня — смерть матери.

6 сентября — смерть сына от простуды.

22 декабря — разрешение московской цензуры печатать поэтический сборник Рылеева «Думы».

1825, 8 января — разрешение московской цензуры печатать поэму Рылеева «Войнаровский».

20 марта — разрешение петербургской цензуры печатать третий выпуск альманаха «Полярная звезда».

Осень — начало декабря — готовил к изданию альманах «Звездочка», тираж которого впоследствии уничтожен.

19 ноября — смерть императора Александра I.

14 декабря — восстание на Сенатской площади. Восшествие на престол императора Николая I.

Ночь с 14 на 15 декабря — арестован в своей квартире в доме Российско-американской компании на Мойке.

19 декабря — прошение Натальи Рылеевой на имя Николая I о свидании с мужем; высочайшее распоряжение об оказании ей финансовой помощи и разрешении переписки с мужем.

1826, 26 марта — уволен с должности правителя дел Российско-американской компании.

30 июня — приговор Верховного уголовного суда о четвертовании Рылеева и еще четверых заговорщиков.

11 июля — замена четвертования повешением.

12 июля — объявление приговора осужденным. Предсмертное письмо жене.

13 июля — приговор приведен в исполнение на валу кронверка Петропавловской крепости.

БИБЛИОГРАФИЯ

Базанов В. Г. Вольное общество любителей российской словесности. Петрозаводск: Госиздат Карело-Финской ССР, 1949.

Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном / Предисл. В. А. Ковалева. Красноярск: Книжное изд-во, 1990.

Бестужев Н. А. Сочинения и письма / Подг. текста С. Ф. Коваля. Иркутск: Мемориальный музей декабристов, 2003.

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ. М.: Реалий-Пресс, 2003.

Булгарин Ф. В. Воспоминания. М.: Захаров, 2001.

Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М.: Захаров, 2003.

Вишленкова Е. А. Заботясь о душах подданных: Религиозная политика в России первой четверти XIX в. Саратов: С ГУ, 2002.

Воспоминания Бестужевых/ Ред. и коммент. М. К. Азадовского. СПб.: Наука, 2005.

Гордин Я. А. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 г. 2-е изд., перераб. и доп. Л.: Лениздат, 1989.

Греч Н. И. Записки о моей жизни, М.: Захаров, 2002.

Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX в. М.: НЛО, 2001.

Ивинский Д. П. О Пушкине. М.: Интрада, 2005.

Ивинский Д. П. Пушкин и Мицкевич: История литературных отношений. М.: Языки славянской культуры, 2003.

Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. СПб.: Нестор-История, 2008.

Киянская О. И. Южное общество декабристов: Люди и события: Очерки истории тайных обществ 1820-х гг. М.: РГГУ, 2005.

Кондаков Ю. Е. Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX в. СПб.: РГПУ им. Герцена, 2005.

Котляревский Н. А. Рылеев. СПб.: Типогр. тов-ва «Общественная польза», 1908.

Лапин В. А. Семеновская история. Л.: Лениздат, 1991.

Майофис М. Л. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 гг. М.:

НЛО, 2008.

Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. М.: Наука, 1976.

Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира; АО печ. и изд. дела Н. Т. Корчакновицкого, 1912.

Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи / Подг. текста Б. Е. Сыроечковского. М.; Л.: Госиздат, 1926.

Мироненко С. В. Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М.: Мысль, 1990.

Нечкина М. В. Движение декабристов: В 2 т. М.: АН СССР, 1955.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: Биография. М.: Захаров, 2010.

О'Мара П. К. Ф. Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста / Пер. с англ. А. Л. Величанского; вступ. ст. и ред. В. А. Федорова. М: Прогресс, 1989.

Оболенский Е. П. Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов. *Северное общество / Сост., общ. ред., вступ. ст. и коммент. В. А. Федорова.* М.: МГУ, 1981. С. 79-96.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым / Подг. текста В. А. Архипова, В. Г. Базанова, Я. Л. Левкович. М.; Л.: АН СССР, 1960 (серия «Литературные памятники»).

Проскурин О. А. Литературные скандалы Пушкинской эпохи. М.: ОГИ, 2000.

Пытин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. СПб.: Академпроект, 2001.

Пытин А. П. Религиозные движения при Александре I. СПб.: Академпроект, 2000.

Рылеев К. Ф. Сочинения / Сост., вступ. ст. и коммент. С. А. Фомичева. Л.: Художественная литература, 1987.

Сафонов М. М. Зимний дворец в планах выступления 14 декабря 1825 г. // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы / Отв. ред. О. И. Киянская. М.: РГГУ, 2008. С. 228-291.

Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. СПб.: Тип. 1 СПб. труд, артели, 1909.

Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности: В 2 т. / Подг. текста В. П. Павловой. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1983-1987.

Федоров В. А. Декабристы и их время. М.: МГУ, 1992.

Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. М.: АН СССР, 1955.

Шешин А. Б. К анализу событий восстания 14 декабря 1825 г. Дополнения, исправления, новые версии //Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы/ Отв. ред. О. И. Киянская. М.: РГГУ, 2008, С. 311-319.

Шильдер Н. К. Император Александр I, его жизнь и царствование, 1777-1825: В 4 т. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1904-1905.

Шильдер Н. К. Император Николай I, его жизнь и царствование: В 2 кн. М.: Чарли; Алгоритм, 1996.

Штейнгейль В. И. Сочинения и письма: В 2 т. / Подг. текста Н. В. Зейфман, В. П. Шахерова; отв. ред. С.В. Житомирская. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1985—1992.

Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М.: Художественная литература, 1979.

ИЛЮСТРАЦИИ



Н. Рылеев



Село Батово было пожаловано императором Павлом I Петру Малютину, подарено им в 1800 году Анастасии Рылеевой, а после ее смерти в 1824-м перешло к ее сыну Кондратию. Фото 1900-х гг.



Надпись на памятной доске, установленной в Батове, ошибочно утверждает, что Кондратий Рылов родился в этом селе



Экслибрис отца поэта, Федора Рылеева, тисненый золотом на переплете принадлежавшей ему книги. Вторая половина XVIII в.



Могила матери Рылеева на кладбище села Рождествена с надгробным камнем, установленным сыном



Карл Мердер, командир отделения гренадерской роты 1-го кадетского корпуса. Гравюра И. Матюшина



Федор Клиндер, директор 1-го кадетского корпуса. Гравюра К. Зенфа, 1807 г.



Здание корпуса — бывший дворец Александра Меншикова



Кадеты малолетнего отделения 1-го кадетского корпуса (1802—1813)



Гренадер 1-го кадетского корпуса (1810)

Иллюстрации из книги «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с рисунками, составленное по Высочайшему повелению» (2-е изд. Вып. 17. СПб., 1902)



Большой зал корпуса



Генерал Михаил Рылев, под началом которого Кондратий Рылев служил в 1814 году в Дрездене. Д.Доу. 1824 г.



Площадь Нового рынка в Дрездене со стороны Морицштрассе. Б. Беллотто. 1750 г.



Князь Николай Репнин, в 1814 году — вице-король Саксонии. Д. Доу. 1822-1823 гг.



Крепостные укрепления, ров и мост в Дрездене. Б. Беллотто. 1750 г.



Унтер-и обер-офицер Конной артиллерии (1812-1813).

Иллюстрация из книги «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск...» (2-е изд. Вып. 12. СПб., 1900)



Вид Воронежа. Литография Ф. Ж. Дюпрессуара, Первая половина XIX в.



Император Александр I. Д. Доу. 1826 г.



Граф Алексей Аракчеев, руководитель канцелярии Александра I. Д. Доу. 1823 г.



Министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Голицын соперничал с Аракчеевым в борьбе за «особливое доверие императора». Л. Брюллов. 1840 г.



Журналист и баснописец Александр Измайлов, издатель журнала «Благонамеренный»



Поэт Михаил Милонов. Литография по рисунку Ф. Война. 1821 г.



В октябрьском номере журнала «Невский зритель» за 1820 год была опубликована сатира Рылеева «К времени» — подражание Милонову



Друг Рылеева, журналист и издатель Фаддей Булгарин. Гравюра И. Фридерика. 1828 г.



Издатель, публицист, переводчик Николай Греч. Гравюра Э. Бушарди. 1817 г.



Титульный лист 59-го номера журнала Греча «Сын отечества» за 1820 год



Александр Пушкин. Рисунок Г. Гиппиуса. 1828 г.



Антон Дельвиг. Литография П. Бореля 1860-х гг. по рисунку В. Лангера 1830 г.



Альманах «Северные цветы», издаваемый Дельвигом



*Купец и книготорговец Иван Слёнин, финансировавший издание альманахов «Полярная звезда»
и «Северные цветы»*



Соиздатель «Полярной звезды» Александр Бестужев. Н. Бестужев. 1823-1824 гг.



В 1823—1829 годах на первом этаже дома 30 по Невскому проспекту располагалась книжная лавка Слёнина. Литография И. и П. Ивановых по акварели В. С. Садовникова. 1830—1835 гг.



Обложка альманаха «Полярная звезда» на 1825 год



Карандашный портрет Рылеева, найденный после его гибели



Член Северного общества Владимир Штейнгейль. Е. Эстеррейх. 1823 г,



В доме Российско-американской компании на Мойке с 1824 года до ареста жил Рылеев и подолгу останавливался, приезжая из Москвы, барон Штейнгейль



Морской офицер Дмитрий Завалишин намеревался поступить на службу в Российско-американскую компанию. М. Тербенев. Первая четверть XIXв.



Подполковник Гавриил Батенько в рассчитывал получить место управляющего русскими колониями в Америке. К. Зеленцов, 1822 г.



Флаг Российско-американской компании, утвержденный императором Александром I в 1806 году



Русское владение в Америке — селение Росс. Гравюра 1828 г.



Форт-Росс. Современный вид



*Столица Русской Америки Но во Архангельск (ныне — Ситка). Литография П. Смирнова.
Середина XIX в.*



Ново-Архангельск. Рисунок И. Вознесенского. Первая половина XIX в.





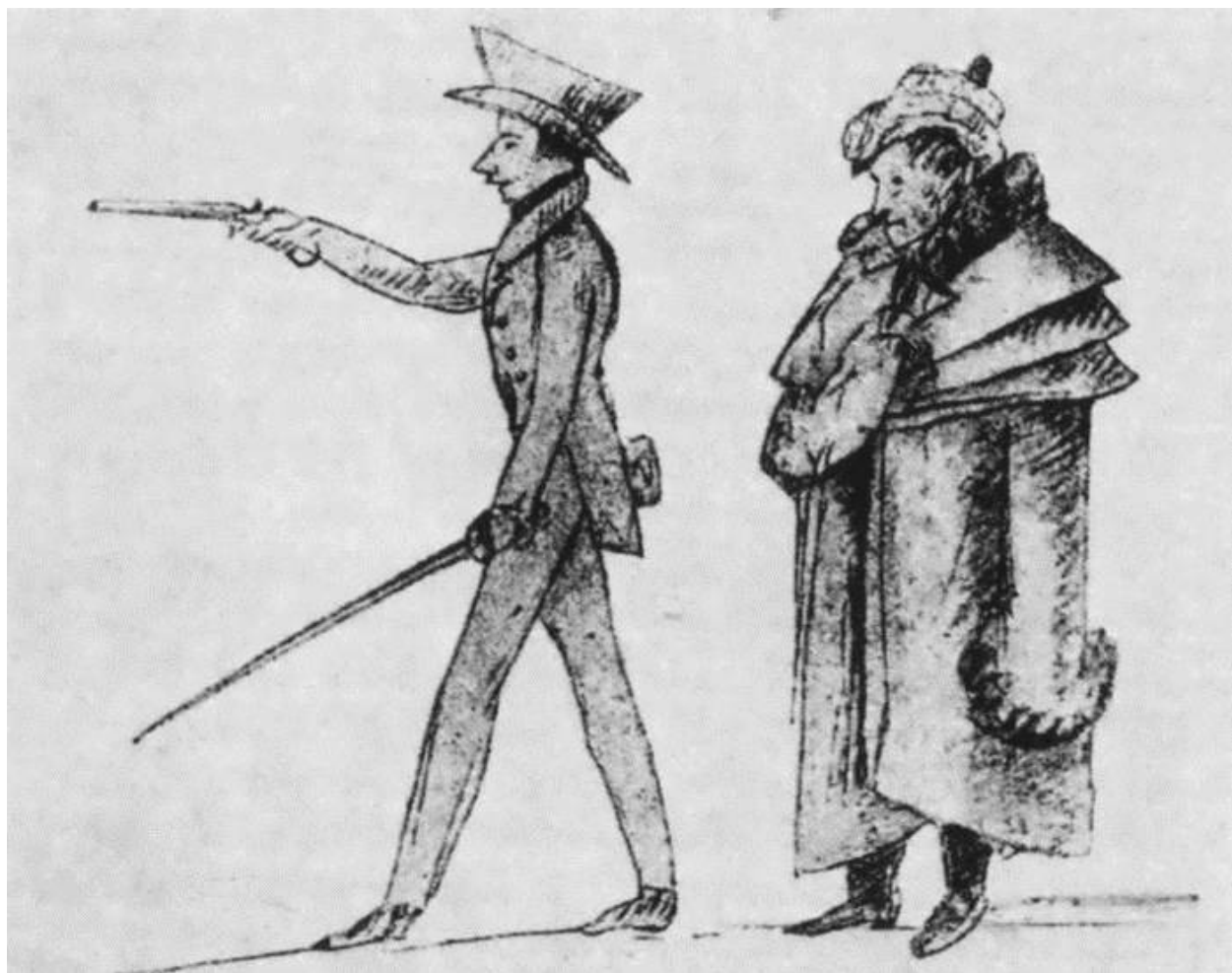
В 1825 году Сергей Трубецкой встречался в Киеве с руководителем Васильковской управы Южного общества, батальонным командиром Черниговского полка подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом



Киев. Гравюра первой половины XIX в.



Великий князь Николай Павлович (будущий император Николай I). Д. Доу. Начало 1820-х гг.



*Вильгельм Кюхельбекер и Кондратий Рылеев на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.
Рисунок А. Пушкина. Май—июль 1827 г.*



Сенатская площадь. Литография Л. Арну. 1824—1827 гг.





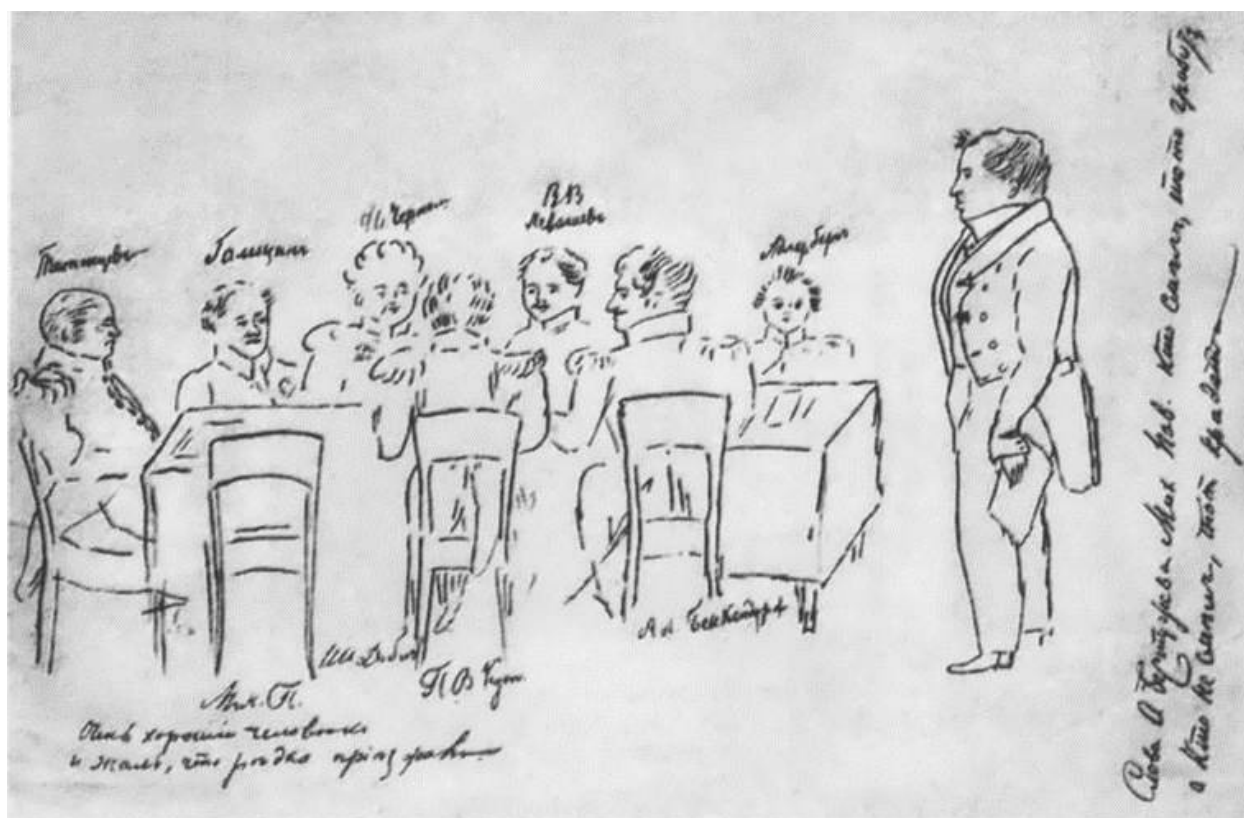
Отставной поручик Петр Каховский и поручик Евгений Оболенский покушались на жизнь петербургского генерал-губернатора Милорадовича. Неизвестно, какая рана — от пули Каховского или штыка Оболенского — стала смертельной



Восстание 14 декабря 1825 года. В. Тимм. 1853 г.



Петропавловская крепость зимой. М. Дамам-Демартре. 1813 г.



Заседание Следственной комиссии. Сидят слева направо: военный министр А. Татищев, А. Голицын, генерал-адъютант А. Чернышев, петербургский военный генерал-губернатор П. Голенищев-Кутузов, генерал-адъютант В. Левашов, генерал-адъютант А. Бенкендорф, флигель-адъютант В. Адлерберг; пустой стул — место великого князя Михаила Павловича. Стоит, вероятно, один из секретарей. Рисунок В. Адлерберга или делопроизводителя А. Ивановского. 1826 г.



Комната Комендантского дома Петропавловской крепости, где был оглашен приговор участникам тайных обществ

Анастасии Михайловны Рылеевой.



моему некроваменному Житию Твое. Прости меня
Твое все забвение и возмущение и я желаю
Тебе, что Ты еще была возмущена при тебе. Сча-
стием пережить от нас всех христианских и чуждых
- и она будет удивлена неимоверно не сказать?
: обратности души, и когда будет кисть му-
жа, то удивительный наш, как ты, мой ли-
чий, мой добрый и неугомонный друг, изданный.
Твоя ладь и продолжение твоего моего. Могуши,
мой друг, благодарить тебя оловом или немолчу.
Вспомнишь твой мой. Твое тебе изгнание из
те. Упомянувши Твоего Рылеева не забудешь
милую, преданную благодарности Твоей! В
любви отговоришь. До будет все светом тебе

Мой неугомонный друг П. Рылев

У меня есть 530. Моего Твоего
отдадут тебе

1. Государственные преступники, осужденные к смертной казни гильотинами		
Головинский Пётр	1	Подолинский, Владимир Рисом, СЛБ - 1826. 2000 июля 13. 612
Аб... ..	2	
Поручик Рылев	3	
Головинский Сергей	4	
Рылев Михаил в а	5	
постой - . - .		
Подолинский -		
Беззубовский Михаил		
Поручик Ко		
Ховский - . - .		
Повешены		

«Роспись государственным преступникам», осужденным приговором Верховного уголовного суда к смертной казни, с пометой «повешены». Второй в списке — Рылев, ошибочно названный поручиком. 13 июля 1826 г.



Рисунки Пушкина на полях V и VI строф пятой главы «Евгения Онегина»: Наполеон, юный Пушкин, Рылеев и Пушкин (зачеркнутый двойной портрет), Пушкин во время последней встречи с Пушкиным, Дельвиг, пять изображений Кюхельбекера в разном возрасте, молодая женщина в траурном одеянии (возможно, одна из сестер Кюхельбекера), Рылеев. Начало января 1826 г.



«И я бы мог, как шут...» Один из пяти рисунков Пушкина, изображающих виселицу с пятью казненными. Между 9 и 28 ноября 1826 г.



Гранитный обелиск, установленный на месте казни Павла Пестеля, Кондратия Рылеева, Петра Каховского, Сергея Муравьева-Апостола, Михаила Бестужева-Рюмина на восточном земляном валу кронверка Петропавловской крепости. Скульпторы А. Игнатьев и А. Дёма. 1975

notes

Примечания

Активный участник итальянского национально-освободительного движения Феличе Орсини 14 января 1858 года совершил неудачное покушение на французского императора Наполеона III.

Сказано (лат.).

Старший корпусной повар Кулаков скоропостижно умер, стоя у плиты.

Фухтель (*нем.* шпага, палаш) — здесь: телесное наказание, удар по спине плашмя обнаженным клинком.

Авл Персии Флакк (34—62) — римский поэт, в своих шести сатирах (изданы посмертно) в патетическом тоне рассуждал на темы, традиционные для стоической философии: о необходимости исправления нравов, воспитании, самопознании, истинной свободе, разумном пользовании богатством.

Луций Элий Сеян (ок. 20 до н. э. — 31) — префект преторианской гвардии в Риме, казненный по обвинению в подготовке заговора против императора Тиберия.

Луций Сергий Катилина (ок. 108—62 до н.э.) — глава заговора против республиканского строя, разоблаченный в римском Сенате речами консула, оратора и философа Марка Туллия Цицерона (106—43 до н. э.).

Гай Кассий Лонгин (85—42 до н. э.) — римский полководец и общественный деятель, *главный* организатор и участник убийства диктатора Гая Юлия Цезаря (44 до н. э.). *Марк Юний Брут* (85—42 до н. э.) — римский сенатор, участник республиканского заговора и убийства Цезаря. *Марк Порций Катон Младший* (95—46 до н. э.) — римский судебный оратор, философ-стоик, республиканец и политический противник Цезаря.

«Монитёр» — официозная французская политическая газета, основанная в 1789 году; в описываемое время — третья по популярности среди парижских ежедневных изданий.

Когда ты меня любила — я наслаждался жизнью (*фр.*).

Увы! Нет дня, нет ночи без страдания (*фр.*).

Карл Людвиг Занд (1795—1820) — немецкий студент, в 1819 году со словами «вот изменник отечества!» заколовший кинжалом в Мангейме писателя Августа Коцебу, которого ошибочно считал автором «Записки о нынешнем положении Германии», направленной против университетской свободы.

Мартинизм — одно из направлений в европейском и русском масонстве; в переносном смысле мартинист — заговорщик, член тайного общества.

Согласно Ю. Г. Оксману, предисловие, выделенное кавычками и особым шрифтом, было написано «по требованию цензуры». Эту точку зрения разделяют и многие позднейшие исследователи.

Шеффель — здесь: мера объема сыпучих тел, использовавшаяся в основном в германских государствах и сильно различавшаяся по величине — от 55 литров в Пруссии до 177 литров в Вюртемберге.

Захар Иванович Панафидин (1786—1830) — в 1825 году капитан второго ранга, дважды бывал в колониях: в 1816—1819 годах в качестве участника кругосветной экспедиции на корабле «Суворов» и в 1819—1821 годах в качестве командира корабля «Бородино», совершавшего кругосветное плавание.

Свергнутый в 1741 году и содержащийся в Шлиссельбурге кой крепости император Иван Антонович 5 июля 1764 года при попытке освобождения, предпринятой поручиком Василием Мировичем, был в соответствии с высочайшей инструкцией убит охранниками.

Генерал-лейтенант Логгин Рот командовал 3-м пехотным корпусом, в состав которого входил Черниговский пехотный полк.

comments

Ссылки

См., например: *Сиротинин А. Н.* К. Ф. Рылеев — биографический очерк // *Русский архив* (далее — РА). 1890. Кн. 2. Вып. 6. С. 113—208; *Котляревский Н. А.* Рылеев. СПб., 1908; *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Киев, 1912; *Нейман Б. В.* К. Ф. Рылеев. Жизнь и творчество. М., 1946; *Пигарев К. В.* Жизнь Рылеева. М., 1947; *Мордовченко Н. И.* Рылеев // *История русской литературы: В 10 т. Т. 4.* М.; Л., 1953. С. 77—90; *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. М., 1955; *О’Мара П.* К. Ф. Рылеев: Политическая биография поэта-декабриста. М., 1989; *Фомичев С. А.* Рылеев Кондратий Федорович // *Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. Т. 5.* М., 2007. С. 405—410 и др.

Котляревский Н. А. Указ. соч. С. 101.

Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы / Под ред. Ю. Н. Тынянова. Л., 1939. Т. 1. С. 101.

Бестужев Н.А. Воспоминание о Рылееве // Воспоминания Бестужевых. СПб., 2005. С. 7, 11,15,25.

А. И. Письма к будущему другу // Герцен А. И. Собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 18. М., 1959. С. 97; Огарев Н. П. Предисловие к «Думам» Рылеева (1860) // Рылеев К. Ф. Думы. М., 1975. С. 128.

Авербух А. Образ Рылеева в легендарно-поэтической традиции // Историко-литературные опыты. Иркутск, 1930. С. 77.

Цейтлин А. Г [Примечание к письму К. Ф. Рылеева к жене от 13 июля 1826 г.] // *Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений* / Ред., вступ. ст. и коммент. А. Г. Цейтлина. М.; Л., 1934. С. 838; Базанов В. Г., Архипова А. В. Творческий путь Рылеева // *Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений*. М., Л., 1971. С. 5, 52; Фомичев С. А Указ. соч. С. 410.

См.: *Семевский В. И.* Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 1909. С. 67; *Котляревский Н.А.* Указ. соч. С. 194; *Базанов В. Г. К. Ф. Рылеев // Рылеев К.Ф.* Стихотворения. Статьи. Докладные записки. Письма. М., 1956. С. 5, 39; *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. С. 280—281; *Гофман В. А.* Литературное дело Рылеева// *Рылеев К. Ф.* Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 66.

Нечкина М. В. Движение декабристов: В 2 т. М., 1955. Т. 1. С. 256.

Восстание декабристов: Документы и материалы: В 21 т. (далее — ВД). Т. 14. М., 1976. С. 188-189; Т. 3. М.; Л., 1927. С. 246.

См.: Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 535. Оп. 1. Д. 31. Л. 82-82 об.; Д. 24. Л. 30; Д. 27. Л. 13.

Буслаев Ф. И. Мои досуги: Воспоминания. Статьи. Размышления. М., 2003. С. 90.

См.: Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. Ч. 20. № 12. С. 340; Пушкин А. С. Письма: В 3 т. Т. 1. М.;Л., 1926. С. 45, 117.

Вигель Ф. Ф. Записки: В 2 кн. М., 2003. Кн. 2. С. 1204; Кошелев А. И. Записки. Берлин, 1884. С. 18.

ВД. Т. 17. М, 1980. С. 202.

Там же. Т. 1. М.;Л., 1925. С. 444.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 481.

Гинзбург К. Широты, рабы и Библия // Новое литературное обозрение.
2004. № 65. С. 29.

Долгоруков П. В. Записки князя Петра Долгорукова. СПб., 2007. С. 186.

Тысячная книга 1550 г. и дворовая тетрадь 50-х годов XVII в. М.; Л., 1950. С. 176,390.

Цит. по: *Григоров А. А.* Из истории костромского дворянства. Кострома, 1993. С. 233-235, 232.

См.: Российский государственный военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043. Л. 1 об.; РГИА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 19. Л. 400.

Цит. по: *Плестерер Л.* История 62-го Суздальского генералиссимуса князя Италийского, графа Суворова-Рымникского полка. Белосток, 1902. Т. 2. С. 108; *Николаенко А.* Вождь башкирского народа, пугачевский бригадир Салават Юлаев // Исторический журнал. 1940. № 11. С. 84—85.

См.: Центральний державний історичний архів України, Київ. Ф. 6.
Оп. 1. Д. 13. Л. 454-456.

См.: Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (далее — РО РНБ). Ф. 423. Д. 1427. Л. 1—4; Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА СПб.). Ф. 268. Оп.2,Д. 530.Л. 147.

Суворов А. В. Письма. М., 1986. С. 218; Тургенев А. М. Записки Александра Михайловича Тургенева // Русская старина (далее — РС). 1887. Т. 53. Кн. 1 (январь). С. 92; Из старой Соймоновской записной книжки // РА. 1904. Кн. 1. Вып. 3. С. 538.

Храповицкий А. В. Памятные записки. М., 1862. С. 232.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 433—434.

См.: Суворов А. В. Указ. соч. С. 215; Григоров А. А. Указ. соч. С. 236—239.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 2. С. 828, 324-325.

См.: *Серков А. И.* Русское масонство. 1731—2000: Энциклопедический словарь. М., 2001. С. 665, 1086-1089.

См.: Морозов П. О. Граф Дмитрий Иванович Хвостов. 1757—1835 гг.: Очерки из истории русской литературы первой четверти XIX века // РС. 1892. Т. 75. Кн. 8. С. 412.

Цит. по: Там же. С. 115.

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043. Л. 2.

См.: Руководители Санкт-Петербурга / Под ред. А. Л. Бауман. СПб.; М., 2003. С. 186.

РГИА. Ф. 1280. Оп. 2. Д. 19. Л. 400-400 об.

Там же. Л. 399-399 об.

См.: Серков А. И. Указ. соч. С. 719, 964, 971.

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043. Л. 1 об.

Подробнее о егерских корпусах времен Екатерины II см.: *Дубровин Н. Ф. А. В. Суворов среди преобразователей екатерининской армии. СПб., 1886.*

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043, Л. 1 об.

Там же. Л. 2.

Фотокопию указа см.: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений.
Вклейка между страницами 846 и 847.

РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 2043, Л. 2.

Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 8.

Котляревский Н. А. Указ. соч. С. 10; Маслов В. И. Указ. соч. С. 58.

Российский государственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 423. Оп. 1. Д. 43. Л. 1; *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 8.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.

Там же. Л. 1 об.-2.

Цит. по: *Маслов В. И.* Указ. соч. Приложения. С. 115, 116.

См.: Там же. С. 58; *О'Мара П.* Указ. соч. С. 49; *Нечаев В.* Батово, усадьба Рылеева// *Звенья.* Т. 9. М., 1951. С. 194. Ср.: *Лобойко И. Н* Мои записки// *Вильна 1823—1824: Перекрестки памяти.* Минск, 2008. С. 151.

ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 53-56 об.

См.: *Нечаев В.* Указ. соч. С. 195-196; РО РНБ. Ф. 423 (А. Н. Лбовский), Д. 1427. Л. 1.

См.: РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 37. Л. 9; Д. 61. Л. 33 об.; *Рылеев К. Ф.* Сочинения / Сост., вступ. ст., коммент. С. А. Фомичева. Л., 1987. С. 291.

ВД. Т. 21. М., 2008. С. 74-75.

Послужной список П. Ф. Малютина см.: РГВИА. Ф. 489. Оп. 1. Д. 1281. Л. 1, 86об.; Ф.385 .Оп. 1,Д. 1. Л.623.

См.: *Шильдер Н К.* Император Павел I. М., 1996. С. 225.

Щербатов А. Г. Мои воспоминания. СПб., 2006. С. 36; *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Кн. 1.С. 85.

См.: РГВИА. Ф. 385. Оп. 1. Д. 13. Л. 49 об.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 86,

РГВИА. Ф. 385. Оп. 1. Д. 11. Л. 44, 46, 273; Д. 13. Л. 1.

См.: Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ).
Ф. 728. Оп. 1. Д. 280. Л. 11; Столетие города Гатчины: В 2 т. / Под ред. С.
Рождественского. Гатчина, 1896. Т. 1. Исторические сведения. Приложения.
С. 65—68.

Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 36.

РГИА. Ф. 1346. Оп. 43. Д. 89. Л. 4.

См.: Российская гвардия 1700—1918: Справочник. М., 2005. С. 47.

Висковатов А. В. Историческое обозрение лейб-гвардии Измайловского полка. СПб., 1850. С. 127-128, 140, 144, 147-148, 155; Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769-1920. М., 2004. С. 136.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 86.

См.: *Вельяминов-Зернов А. Н* Записки // Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников. СПб., 1908. С. 121, 127; *Коцебу А.* Неизданное сочинение об императоре Павле I // Там же. С. 421.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 86; Вельяминов-Зернов А. Н Указ. соч. С. 127.

Жихарев С. П. Записки современника. М., 2004. С, 493.

Булгарин Ф. В. Воспоминания. М., 2001. С. 175-176.

Поступление подушных податей в деревнях генерал-майора Петра Федоровича Малютина // Музей-усадьба «Рождествено». Научно-справочный фонд. Д. 54. Л. 9 об. —10; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 439.

РО РНБ. Ф. 423. Д. 1427. Л. 1-4.

ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 3, Д. 184. Л. 15.

Маслов В. И. Архив К. Ф. Рылеева. СПб., 1910. С. 924; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 760.

См.: *Ефремов П. А. К. Ф. Рылеев. 1795-1826*//РС. 1875. Т. 14. Кн. 9. С. 73.

ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 151 об.

См.: Слюдикова Т. Б. Київська спадщина К. Ф. Рилеева // Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст. Київ, 2007, Вип. 3. С. 129; ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 149-149 об.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 449.

Там же. С. 435-436.

Там же. С. 429.

Там же. С. 488; РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 42. Л. 17.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 446.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1, Д. 42. Л. 17.

См.: *О'Мара П.* Указ. соч. С. 57, 56.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 428—429, 430, 431.

Он же. Сочинения. С. 268-269.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 42. Л. 4 об.

Рылеев К, Ф. Полное собрание сочинений. С. 439, 443—444.

Там же. С. 447.

Ефремов П. А. Указ. соч. С. 73.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 460.

Там же. С. 350; *он же*. Полное собрание стихотворений. М., Л., 1971. С.290.

Цит. по: *он же*. Полное собрание сочинений. С. 717.

Алпер С. Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге, или Адресная книга, с планом и таблицею пожарных сигналов. СПб., 1822. С. 162, 260, 512.

См.: Серков А. И. Указ. соч. С. 359, 975; Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения. С. 106—108.

См.: *Аллер С.* Руководство к отысканию жилищ по Санкт-Петербургу, или Прибавление к адресной книге: Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге. СПб., 1824. С. 273, 627; РГИА. Ф. 1348. Оп. 51. Д. 401. Л. 10 об., 23 об.; ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 16 об.; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. Оп. 1826. Д. 61. Ч. 147. Л. 2 об., 18, 21 об. и др. Ср.: *Нистрем К.* Книга адресов С.Петербурга на 1837 г., изданная с разрешения и одобрения С. Петербургского г. военного генерал-губернатора Карлом Нистремом. СПб., 1837. С. 116.

РГИА. Ф. 535. Оп. 1. Д. 17. 1820 г. Л. 452-453 об.

См.: *Аллер С.* Руководство к отысканию жилищ по Санкт-Петербургу.
С. 168.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л.30 об.

См.: *Нечаев В.* Указ. соч. С. 196.

См.: ВД. Т. 21. С. 72; РГИА. Ф. 535. Оп. 1. Д. 17. 1820 г. Л. 452.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 431.

См.: *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения. С. 106; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 476; РГВИА. Ф. 400. Оп. 9. Д. 155. Л. 11-15 об.

См.: Былое. 1925. №5(33).

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1, Д. 37. Л. 1, 6, 10.

Там же. Д. 39. Л. 1.

Там же. Д. 38. Л. 1.

Рылеев К. Ф. Собрание сочинений: В 2 т. / Под ред. Г. Балицкого. М., 1907. Т. 2. С. 135.

Былое. 1925. №5 (33). С. 44.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 519.

См.: Литературное наследство. Т. 16-18. М., 1934. С. 590-591; Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. (далее — ПСЗРИ-1). СПб., 1830. Т. 43. Ч. 2. № 27335. С. 89.

См.: *Чернов С.И.* Имущественное положение декабристов // Красный архив. 1926. № 2 (15). С. 170.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 30, 32.

РГИА. Ф. 1348. Оп. 51. Д. 401. Л. 10.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 30 об.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 19. № 13909. С. 631-658.

См.: РГИА. Ф. 1348. Оп. 51. Д. 401. Л. 10, 22 об.-23 об., 26 об.-27.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 19. № 13909. С. 651.

См.: Общий алфавит фамилиям владельцев Российской империи, которых недвижимые имения находятся под запрещением, составленный из трех периодических изданий: А. Сенатских Объявлений, Б. Примечаний к ним и В. Свода Запрещений, до 1833 года напечатанных: Литера М. М., 1834. С. 46; Литера Р. М., 1834. С. 169; РГАЛИ. Ф. 423. Оп. К Д. 61. Л. 30 об.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 22. № 16407. С. 627; Т. 27. № 20285. С. 158; Т. 36. № 27915. С. 326-327; № 27919. С. 328-330; № 28057. С. 520-521.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 33.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 307,

Там же. С. 502, 509.

См.: ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 304. Л. 56 а-57.

ПСЗРИ-1. Т. 19. № 13997. С. 777.

ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 304. Л. 58, 59.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 503,

См.: ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 98-98 об.

См.: Там же. Л. 34, 93 об.; РГИА. Ф. 1348. Оп. 51. Д. 401. Л. 16 об. Ср.:
Общий алфавит фамилиям владельцев Российской империи... Литера Р. С.
167.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 31. № 24516. С. 549-550.

См.: *Рейтблат А. И.* Литературный гонорар в России XIX — начала XX в. // Книжное дело в России во второй половине XIX — начале XX в. Вып. 3.Л., 1988. С. 132.

Оболенский Е. П. Воспоминания о Кондратии Федоровиче Рылееве // Мемуары декабристов. Северное общество. М., 1981. С. 85.

См.: Российский государственный архив Военно-морского флота (далее — РГАВМФ). Ф. 1375. Оп. 1. Д. 4. Л. 100; РГИА. Ф. 1348. Оп. 51. Д. 401. Л. 21 об.

Воспоминания Бестужевых. С. 241.

См.: *Удодов Б. Т. К. Ф. Рылеев в Воронежском крае. Воронеж, 1971.*

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 42. Л. 9-10.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 441—442.

Там же. С. 446.

Кропотов Д. Л. Указ. соч. С. 17.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 360.

Из переписки отца Петра Мысловского // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв. Новая серия. Вып. 12. М., 2003. С. 98.

См.: *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 328—329.

См.: ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 2. Д. 530. Л. 62; РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 398. Л. 1-1 об.

Воспоминания Бестужевых. С. 14, 18; Письма В. А. Олениной к П. И. Бартеневу//Декабристы. М., 1939. С. 487; Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 51; *Азадовский М. К.* Страницы истории декабризма: В 2 т. Иркутск, 1991. Т. 1. С. 265-266.

См.: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского Дома) (далее — РО ИРЛИ). Ф. 269. Оп. 2. Ед. хр. 47. Л. 1-2 об.; РГВИА. Ф. 395. Оп. 71. 2 отд. 3 ст. 1820 г. Д. 1668; Оп. 66. 2 отд. 1819 г. Д. 1782. Л. 4 об.

РО ИРЛИ. Ф. 269. Оп. 2. Ед. хр. 47.

Рассказы о Рылееве рассыльного «Полярной звезды». С. 51; Глинка Ф. Н. К. Ф. Рылеев // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 59; Оболенский Е. П. Указ. соч. С. 81.

Воспоминания Бестужевых. С. 37.

Междоусобице 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. М.; Л., 1926. С. 227.

Цит. по: *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 109.

Там же. С. 110.

РГИА. Ф. 1101. Оп. 1. Д. 398. Л. 1 об.-2.

См.: Несколько слов в память Николая Павловича // РС. 1896. Т. 86. Кн. 6. С. 462; *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 110.

Боленко К. Г. Верховный уголовный суд по делу декабристов и русское общество // *Декабристы в Петербурге: Новые материалы и исследования.* СПб., 2009. С. 295.

См.: Чернов С. Н. Указ. соч. С. 164—213; Рахматуллин М. А. Император Николай I и семьи декабристов // Отечественная история. 1995. № 6. С. 3-20.

Рахматуллин М. А. Указ. соч. С. 17.

См.: *Николай Михайлович, вел. кн. Казнь пяти декабристов 13 июля 1826 г. и император Николай I* // Исторический вестник (далее — ИВ). 1916. Т. 145. № 7. С. 102 (оригинал записки Николая I — на французском языке).

Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 22.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 519.

Записки институтки // Семейные вечера. Отдел для юношества или семейного чтения. 1873. № 5. С. 164.

РГИА. Ф. 759. Оп. 19. Д. 67. Л. 271-271 об.

Цит. по: *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 110.

Из переписки отца Петра Мысловскою С. 97—98.

Там же. С. 99-100.

Письма Ф. И. Миллера Н. М. Рылеевой см.: РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61, 62. Частично опубликованы из них лишь те, которые в 1925 году были откомментированы Б. Л. Модзалевским: *Невелев Г. А. Декабристский контекст: Документы и описания*. СПб., 2012. С. 259—269.

Видок Фиглярин: Письма и агентурные записки Ф. В. Булгарина в III отделение / Публ., сост., предисл. и коммент. А. И. Рейтблата. М., 1998. С. 63.

См.: РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 16 об.

См.: *Боленко К. Г.* Указ. соч. С. 292.

Цебриков Н. Р. Воспоминания, заметки, письма// Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг.: В 2 т. Т. 1. М., 2008. С. 295.

См.: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 427; *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения. С. 116.

Цит. по: *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения. С. 116.

[Воспоминания генерал-лейтенанта Косовского Александра Ивановича о К.Ф. Рылееве] // РГАЛИ. Ф. 423. Оп. L Д. 42. Л. 1-20 об. Первую полную публикацию см.: Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии // *Готовцева А. Г., Кыянская О. И.* Правитель дел: К истории литературной, финансовой и конспиративной деятельности К. Ф. Рылеева. СПб., 2010. С. 217.

Бокова В. М. Отроку благочестие блюсти... Как наставляли дворянских детей. М., 2010. С. 215.

Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения.
С. 99-100.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 18.

Там же. Л. 17 об., 23.

Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 17; Измайлов А. Е. Письмо И. И. Дмитриеву от 7 марта 1824 г. // РА. 1871. Кн. 2. Вып. 7-8. Стб. 984.

Переписка А. С. Пушкина: В 2 т. М., 1982. Т. 1. С. 480, 453, 455.

Письмо А. А. Бестужева к Я. Н. Толстому от 3 марта 1824 г. // РС. 1889. Т. 64. Кн. 11. С. 375-376; *Измайлов А. Е.* Письмо И. И. Дмитриеву от 7 марта 1824 г.. Стб. 984.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 43. Л. 2.

Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 17.

Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. С. 508—509.

См.: ЦГИА СПб. Ф. 258. Оп. 2. Д. 530. Л. 152, 154, 161-161 об. и др.

Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. С. 509.

Он же. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. С. 136, 141.

Он же. Полное собрание сочинений. С. 512.

Цит. по: *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. Приложения. С. 99—100.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 15; Д. 62. Л. 6 об.

Тамже.Л. 12об., 14,18.

См.: Письмо П. А. Плетнева А. С. Пушкину от 2 января 1827 г. // Переписка А. С. Пушкина. Т. 2. С. 114—115.

РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 61. Л. 22-22 об.

Там же. Л. 24.

См.: *Шешин А. Б.* К анализу событий восстания 14 декабря 1825 г. // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М, 2008. С. 311 — 319.

ВД. Т. 17. С. 11,245.

Цебриков Н. Р. Указ. соч. С. 295, 313, 283, 296.

Там же. С. 295—296; *Гессен С. Я.* [Примечания к очерку Н. Р. Цебрикова «Анна Федоровна Рылеева»] // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. 1. С. 314.

Цебриков Н. Р. Указ. соч. С. 296, 312.

См.: Тынянов Ю. Н. В. К. Кюхельбекер // Кюхельбекер В. К. Указ. соч. Т. 1. С. XLI-XLII; Оболенский Е. П. Указ. соч. С. 83; РГАЛИ. Ф. 423. Оп. I. Д. 43. Л. 2 об,

Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 18.

Цит. по: *Висковатов А. В.* Краткая история первого кадетского корпуса. СПб. J 832 С 109-110.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 17. № 12741. С. 959-992.

Кропотов Д. А. Указ. соч. СПб.

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С 109-112.

[*Титов Н.А.*] Выдержки из записок Н. А. Титова. Малолетнее отделение в 1808 году// РС 1870. Т. 1.2-е изд. С 217; *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С. 9; *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С 107-108, 113, 114.

Грен И. И. Записки о моей жизни. М., 2002. С 307.

Кропотов Д. А. Указ. соч. С. 9-10.

Шредер Ф. А. Новейший путеводитель по Санкт-Петербургу, с историческими указаниями, изданный Ф. Шредером, коллежским ассессором, с планом и картинкой. СПб., 1820. С 66.

См.: *Кропотов Д. А.* Указ. соч. С 9; *он же.* К. Ф. Рылеев. Заметка о годе его рождения // РС. 1872. Т. 6. Кн. 11. С. 603; *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С 58; РГАЛИ. Ф. 423. Оп. 1. Д. 43. Л. 1.

См.: РГВИА. Ф. 25. Оп.1/160. Д. 684. 1811-1814 гг. Л. 1; Д. 682. Л. 8 и др.

Полетика П. И. Мои воспоминания. Начаты 16 янв. 1843 г. *Прим. П. И. Бартенева/* РА. 1885. Кн. 3. Вып. 11. С. 307-308.

См.: РГВИА. Ф. 314. Оп. 1. Д. 344. Л. 34 об.

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 103; [Титов К А.] Указ. соч. С. 216, 218.

Полетика П. К Указ. соч. С. 308.

ПСЗРИ-1. Т. 17. № 12741. С. 965.

[Титов И. А.] Указ. соч. С. 216.

Там же.

Полетика П. И. Указ. соч. С. 308; Булгарин Ф. В. Указ. соч. С 104.

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С 121.

Там же. С 122-123.

См.: Там же. С 127.

Цит. по: С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. Пг., 1919. С 148.

См.: ВД. Т. 4. М.; Л“ 1927. С. 89; *Булгарин Ф. В.* Указ. соч. С. 127.

Греч И. И. Указ. соч. С. 307; *Кропотов Д. А.* Несколько сведений о Рылееве. С. 13.

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С. 117, 127, 129, 150.

Там же. С. 133; *Шредер* Ф. А. Указ. соч. С 69,

Булгарин Ф. В. Указ. соч. С 117.

Гребенкин А. И. Социокультурный облик преподавателей российских военных учебных заведений в первой трети XIX в. // Ученые записки Орловского государственного университета. 2009. № 1. С 33—34.

См.: *Рылеев К.Ф.* Сочинения. С 268.

Жуковский А. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. СПб., 1902. Т. 10. С. 28; *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. М.; Л., 1949. С. 327.

Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве. С. 11; [*Титов Н. А.*] Указ. соч. С. 219; *Розен А. Е.* Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 67; [Некролог К. К. Мердера] // Северная пчела. 1834. № 101. С. 402.

Розен А. Е. Указ. соч. С. 66, 67; Кропотов Д. А. Несколько сведений о Рылееве. С. 7.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 330, 349, 337, 339.

Он же. Сочинения. С. 276.

См.: Там же. С. 289, 316, 335, 342.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 214.

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 33. 1842. 1 отд. 3 стол. Д. 289. Л. 1-35.

ВД. Т. 1.С. 155.

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 33. 1842. 1 отд. 3 стол. Д. 289. Л. 35.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 356.

Боровков А. Д. Алфавит членам бывших тайных злоумышленных обществ и лицам, прикосновенным к делу, произведенному высочайше учрежденною 17-го декабря 1825-го года Следственной комиссией, составлен 1827-го года//Декабристы: Биографический справочник / Подг. С. В. Мироненко. М., 1988. С. 219.

ВД. Т. 18. М., 1984. С. 287.

Бестужев А. А. Письмо П. А. Вяземскому 23 июня 1824 г. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. М., 1956. С. 221—222; Остафьевский архив князей Вяземских: В 5 т. Т. 3. СПб., 1899. С. 41.

См., например: *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. С. 202; *Кузовкина Т. Д.* Феномен Булгарина: Проблема литературной тактики. Тарту, 2007. С. 40-41.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 470.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 12. М.; Л., 1949. С. 159; *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 308; *Бестужев А. А.* Письмо П. А. Вяземскому 12 января 1825 г. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 228.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 469.

См.; *Он же*. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 79;
Антокольский П. Г. Поэт-декабрист//Литературная газета. 1945. 29
сентября.

Лесков Н. С. Кадетский малолеток в старости (К истории «Кадетского монастыря») // ИВ. 1885. Т. 20. № 4. С. 118-119.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 319, 325, 327.

Архив внешней политики Российской империи (далее — АВПРИ). Ф. 339. Оп. 926. Д. 87. Л. 22 об.

Цит. по: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 708—709.

АВПРИ. Ф. 339. Оп. 926. Д. 87. Л. 21.

Там же.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 213;
Афанасьев В. В. Рылеев. М., 1982. С. 20.

См.: ВД. Т. 1. С. 151; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 433.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 228.

Он же. Полное собрание сочинений. С. 433.

См.: Григоров А. А. Указ. соч. С. 235.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 433—434.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С 211-212.

АВПРИ. Ф. 339. Оп. 926. 1814 г. Д. 88. Л. 57, 92, 98, 99, 103, 202, 203 и др.

См.; Там же. Л. 173-174 об.

См.: Там же. Д. 87. Л. 1.

Там же. Л. 4.

Там же. Д. 88. Л. 65, 179-192; Д. 87. Л. 6.

Там же. Д. 88. Л. 66, 83; Д. 87. Л. 8-8 об.

Там же. Д. 87. Л. 121,150.

Фелкнер А. И. Предчувствие Рылеева о своей судьбе // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 23—24.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 434.

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 60. 2 отд. 1 ст. 1816 г. Д. 818. Л. 1.

См.: Там же. Оп. 71. 2 отд. 3 ст. 1820 г, Д. 1668. Л. 9 об., 11.

См.: Из неизданной переписки // Литературное наследство. Т. 59. IVL, 1954. С. 156-164; Удодов Б. Т. Указ. соч. С. 16-20; Высочайшие приказы о чинах военных. 1822. Январская треть. 15 февраля, [СПб., 1823]. С. 98.

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 73. 1822 г. Д. 1137. Л. 2-2 об., 10-10 об.; Оп. 160. 1854 г. Д. 5. Л. 10об.-11.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 463.

Там же. С, 96-97.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Александр I. Его жизнь и царствование: В 4 т. Т. 4. СПб., 1898. С. 16-17.

Цит. по: *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Граф Киселев и его время: В 4 т. СПб., 1882. Т. 1. С. 86.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование: В 2 кн. М., 1996. Кн. 1. С. 100.

Гордин Я. А. Дуэли и дуэлянты. СПб., 1997. С. 27.

См.: Воспоминания о Рылееве его сослуживца по полку А. И. Косовского (1814—1818) // Литературное наследство. Т. 59. С. 238—250.

Цейтлин А. Г. Предисловие к «Воспоминаниям о Рылееве его сослуживца по полку А. И. Косовского» // Там же. С. 237.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 211-213, 216-217, 219-220, 222-223.

ВД. Т. 17. С. 52.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 221.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 65.

Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 2. С. 40-41.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 220.

См.: *Басаргин И. В.* Воспоминания, рассказы, статьи. Иркутск, 1988. С. 63-64; *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 19.

РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 432. Л. 35 об.-36; Д. 313.

См.: *Потто В. А.* История Новороссийского драгунского полка. СПб., 1866. С. 63—68; *Готовцева А. Г.* К вопросу о настроениях в армии перед восстанием декабристов. Из истории Новороссийского драгунского полка // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Вип. 52. Сер. Історичні науки. № 5. Чернігів, 2008. С. 65—72.

См.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... (Из истории формирования идеологии и политической организации декабристов. 1816-1825). М., 1975. С. 235-239.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 283-284.

Воспоминания о службе К. Ф. Рылеева в конной артиллерии. С. 212.

295

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 66/328. 2 отд. 1819 г. Д. 1809. Л. 6-6 об.

См.: Высочайшие приказы о чинах военных. 1818. Майская треть. 19 августа. [СПб., 1819]. С. 471.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 283.

РО ИРЛИ. Ф. 269. Оп. 2. Ед. хр. 47. Л. 2 об.; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 296.

Рылеев К. Ф. К временщику. Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию» // Невский зритель. 1820. Ч. 4. № 10. С. 26—28; *он же.* К временщику (Подражание Персиевой сатире «К Рубеллию») // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 89—90.

Милонов М. В. К Рубеллию. Сатира Персиева // Цветник. 1810. Ч. 4. № 10. С. 63.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 571; Вяземский П. А. Старая записная книжка // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений: В 12 т. X 8. СПб., 1883. С. 345.

Орлов В. Н. Сатирическая поэзия начала 1800-х гг. // История русской литературы: В 10 т. Т. 4. М., 1999. С. 58; Альтшуллер М. Г., Лотман Ю. М. М. В. Милонов// Поэты 1790-1810-х гг. Л., 1971. С. 511.

Цит. по: *Песков А. М.* Буало в русской литературе *XVIII* — первой трети *XIX* в. М., 1983. С. 82, 162.

Тацит Корнелий. Сочинения: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 232, 262, 276.

Милонов М. В. Письмо Н. Ф. Грамматину от 20 февраля 1820 г. // *Марин С. П., Милонов М. В.* Стихотворения. Драматические произведения. Сцены и отрывки. Письма. Воронеж, 1983. С. 288.

Вяземский П. А. Старая записная книжка // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 8. С. 346; *Лонгинов М. Н.* Материалы для полного собрания сочинений Михаила Васильевича Милонова// РА. 1864. Кн. 1. Вып 3. Стб. 340; *Альтшуллер М. Г., Лотман Ю. М.* [Комментарий к сатире М. В. Милонова «К Рубеллию»] // Поэты 1790-1810-х гг, С. 851; *Удодов Б. Т.* [Комментарий к сатире М. В. Милонова «К Рубеллию»] // *Марин С. Н., Милонов М. В.* Указ. соч. С. 309.

Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти // Дмитриев М. А. Московские элегии. М., 1985. С. 279.

См.: РО ИРЛИ. Ф. 269. Оп. 2. Ед. хр. 47; *Рылеев К. Ф.* Пустыня (К М. Г. Бедраре) // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 105.

Словарь Академии Российской: В 6 т. Т. 1 (А—Д). СПб., 1806. Стб. 724.

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951. С. 20.

Пушкин А. С. Письмо П. А. Вяземскому. Одесса. 24—25 июня 1824 г. //
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. М.; Л., 1937. С 98.

См.: *Тургенев Н. И.* Россия и русские. М., 2001. С. 75.

Цит. по: *Рыбаков И. Ф.* Тайная полиция в «семеновские дни» 1820 г. // *Былое*. 1925. № 2 (30). С. 73.

См.: *Лобойко И. Н.* Указ. соч. С. 174.

Цит. по: *Базанов В. Г.* Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 178.

Кругликов Г. П. Из воспоминаний участвовавшего в русских периодических изданиях первой *половины XIX* столетия // Петербургская газета. 1871. № 34. 9 марта. С. 3; *Греч Н. И.* Указ. соч. с. 305.

Лорер Н. И. Записки декабриста. Иркутск, 1984. С. 67; *Завалишин Д. И.* Воспоминания. М., 2003. С. 142; *Штейнгейль В. И.* Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 130; *Бестужев П. А.* Указ. соч. С. 12.

Цит. по: *Семевский В. И.* Волнение в Семеновском полку // *Былое*. 1907. № 2. С. 83—86, 92—93. См. также: *Лапин В. А.* Семеновская история. Л., 1991. С. 150 и далее.

Цит. по: *Лапин В. А.* Указ. соч. С. 166.

Сборник Императорского русского исторического общества (далее — Сборник РИО). Т. 73. СПб., 1890. С. 138.

ВД. Т. 20. М., 2001. С. 125.

См.: Рыбаков К Ф. Указ. соч. С. 69-86; РО РНБ. Ф. 859 (Н. К. Шильдер). К.40.Д. 17 и др.

См.: *Гиллельсон М. И.* П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969.
С. 37-38, 71 и др.

Гинзбург Л. Я. П. А. Вяземский // Вяземский П. А. Стихотворения. Л., 1986. С. 13.

Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. Кн. 1. М.; Л., 1947. С. 153,328.

326

РГИА. Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 469. Л. 1.

Искаженный цензурой вариант стихотворения см.: *Вяземский П. А. Послание к Каченовскому // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1880. С. 219—223. Полный вариант см.: он же. Послание к Каченовскому // Вяземский П. А. Стихотворения. С. 148—151.*

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. 1820—1823. СПб., 1899. С. 130, 142-143.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 454.

См.: Вильк Е. А. Невский зритель // Пушкин в прижизненной критике, 1820-1827. СПб., 1996. С. 486-488.

331

См.: РГИА. Ф. 733. Оп. 118. 1820 г. Д. 452. Л. 4-6 об.

Там же. Д. 461. Л. 2.

Цит. по: *Левкович Я. Л.* Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 8. Л., 1978. С. 155.

См.: *Щебальский П. К.* Материалы для истории русской цензуры // Беседы в обществе любителей российской словесности при Императорском Московском университете. Вып. 3. М., 1871. С, 24.

Рылеев К, Ф. Полное собрание сочинений. С. 460.

См.: *Удодов Б. 7. К. Ф. Рылеев в Воронежском крае. С. 88.*

См.: *Проскурин О. А.* Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 191; *Эйхенбаум Б. М.* Мой современник. Л., 1929. С. 63; «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. М.; Л., 1960. С.269.

[Рылеев К. Ф.] Эпиграмма («Ты знаешь Фирса, чудака») // Благонамеренный. 1820. Ч. 9. № 5. С. 334; *он же*. Надпись к портрету одного старого воина, умершего от кровопускания («Вот верное изображение») // Там же. С. 335; *он же*. Романс («Как счастлив я, когда сию с тобою») // Там же. №6. С. 414-415.

Рылеев К. Ф. К Делии («Почто, о Делия! с коленопреклоненьем») // Там же. Ч. II. № 13. С. 50—52; [он же.] «Безделок несколько наш Бавий накропав» // Там же. С. 54.

Цит. по: *Лобойко И. Н.* Указ. соч. С, 174.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т 2. С. 151; *Бестужев Н. А.*,
Указ. соч. С. 12.

Цит. по: *Лобойко И. Н.* Указ. соч. С. 174—175.

Бокова В. М. Эпоха тайных обществ: Русские общественные объединения первой трети XIX в. М., 2003. С. 525.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. ПО.

Кругликов Г П. Указ. соч. С. 3; Анонимная записка о биографии К. Ф. Рылеева // Готовцева А. Г., Киянская О. И. Указ. соч. С. 238.

Троицкий Н. А. Александр I и Наполеон. М., 1994. С. 269.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 2. С. 776.

Вяземский П. А. По поводу записок графа Зента // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 7. СПб., 1882. С. 452; *Вигель Ф. Ф.* Указ. соч. Кн. 2. С. 776-777.

См.: Ячменихин К. М. Армия и реформы: военные поселения в политике российского самодержавия. Чернигов, 2006.

Геце фон П. П. Князь А. Н. Голицын и его время // РА. 1902. Кн. 3. Вып. 9. С. 101. *Жиркевич И. С.* Записки Ивана Степановича Жиркевича. 1789-1848. М., 2009. С. 31.

ВД. Т. 14. С. 143; *Дубровин Н. Ф.* Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I (1807—1829). М., 2006. С. 430; *Вяземский П. А.* По поводу записок графа Зента. С. 460.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 540.

Голицын А. Н. [Письма к архимандриту Фотию] // РС. 1882. Т. 34. Кн. 4. С. 215; Кн. 5. С. 437.

Цит. по: *Бартенев Ю. Н.* Рассказы А. Н. Голицына: Александр I и его время // Там же. 1884. Т. 41. Кн. 1. С. 126.

Рассказы А. Н. Голицына. Из записок Ю. Н. Бартенева // РА. Кн. 2.
Вып. 5. С. 82.

См.: *Флоровский Г. В., прот.* Пути русского богословия. Минск, 2006. С. 133; *Вишленкова Е. А.* Заботясь о душах подданных: Религиозная политика в России первой четверти XIX в. Саратов, 2002. С. 46, 99—100; *Майофис М. Л.* Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815—1818 гг. М., 2008. С. 290.

Пытин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000. С. 126-127.

Там же. С. 126.

Довнар-Запольский М. В. Идеалы декабристов. М., 1907. С. 43-44, 45.

Видок Фиглярин. С. 49—50.

Флоровский Г. В., прот. Указ. соч. С. 133.

Вишленкова Е. А. Указ. соч. С. 136; Майофис М. Л. Указ. соч. С. 292.

Довнар-Запольский М. В. Указ. соч. С. 45.

О взаимоотношениях Голицына и Жуковского см.: Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла... Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX в. М., 2001. С. 269—295.

Геце фон П. П. Указ. соч. С. 107; *Зейдлиц К. К.* Жизнь и поэзия В. А. Жуковского: По неизданным источникам и личным воспоминаниям. СПб., 1883. С. 139; *Смирнова-Россет А. О.* Автобиография (Неизданные материалы). М., 1931. С. 123; *Вяземский П. А.* Озеров // *Вяземский П. А.* Полное собрание сочинений. Т. 7. С. 263Г

Пушкин А. С [На кн. А. Н. Голицына]; Второе послание к цензору//
Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. Кн. 1. С. 117, 327.

Сборник РИО. Т. 73. С. 81, 97, 184, 182, 474 и др.; Т. 78. СПб., 1891. С. 204, 214 и др.; *Николай Михайлович*, вел. кн. Генерал-адъютанты императора Александра 1. СПб., 1913. С. 47; *Заблоцкий-Десятовский А. П.* Указ. соч. Т. К С. 84.

См.: Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 69; *Вяземский П. А.* По поводу записок графа Зента. С. 458.

Толстой Л. Н. Война и мир // Толстой Л. И. Собрание сочинений: В 20 т. Т. 7. М., 1963. С. 313.

Бумаги покойного председателя Государственного совета И. В. Васильчикова// РА. 1875. Кн. 1. Вып. 3. С 355.

Пытин А. Н. Указ. соч. С. 107.

Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. Царствование императора Александра I. 1802—1825. 2-е изд. СПб., 1875. С. 889, 1020, 1286.

См.: Там же. С. 1230—1233; Месяцеслов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1820. Часть 1. Министерство духовных дел и народного просвещения. Особые заведения. Санкт-Петербургское общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. СПб., 1820. С. 811.

Бумаги покойного председателя Государственного совета И. В. Васильшкова // РА. 1875. Кн. 1. Вып. 3. С. 354; Кн. 2. Вып. 6. С. 128.

Лорер К К Указ. соч. С. 67.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 272.

См.: Рыбаков И. Ф. Указ. соч. С. 84—85.

См.: РО РНБ. Ф. 859. К. 40. Д. 17 и др.

См.: Муравьев-Апостол М. И. Воспоминания и письма. Пг., 1922. С. 45; Нечкина М. В. Указ. соч. Т. 1. С. 308; Лапин В. А. Указ. соч. С. 68-71.

380

См.: РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 751. Л. 19.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 2. Кн. 1. С. 328.

См.: Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 1. С. 1568.

[Рылеев К. Ф.] Польской // Невский зритель. 1820. Ч. 4. № 10. С. 29-31.

Вяземский П. А. Польской // Сын отечества. 1814. Ч. 14. № 26. С. 280-281; Пушкин В. Л. Хор // Там же. С. 282.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. Переписка князя П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым (1812—1819). СПб., 1899. С. 22.

К. Ф. Рылеев: Дума, сатира на Аракчеева и послание *Сообщ. П. А. Ефремов* / РС. 1872. Т. 5. Кн. 2. С. 270.

См.: Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 1—2;
Котляревский Н. А. Указ. соч. С. 40.

См.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4т. Т. 3. М., 1958. С. 26; Т. 4. М., 1960. С. 415.

Сомов О. М. Романс («Любить тебя — вот жизни утешенье») // Благонамеренный. 1819. Ч. 5. № 6. С. 333.

См.: РО ИРЛИ. Ф. 269 (Рылеев). Он. 1. Д. 91. Л. 1 об.-2.

Там же. Л. 2 об.

См.: *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 377.

РО ИРЛИ. Ф. 269. Оп. I Д. 91. Л. 1, 3.

Акимова Я. Н. Ф. В. Булгарин: литературная репутация и культурный миф. Хабаровск, 2002. С. 44—45.

Дай Бог такого министра! Восточный анекдот // Литературные листки.
1823. № 1.С. 8.

См.: Н. Д. [Дубровин Н. Ф.] К истории русской литературы. Булгарин и Греч как издатели журналов // РС. 1900. Т. 103. Кн. 9. С. 559—563; Письма Фаддея Булгарина к Иоахиму Лелевелю: Материалы для истории русской литературы, 1821—1830 гг. [Варшава], 1877. С. 8—9; РГИА. Ф.733. Оп. 87. Д. 199. Л. 6.

Цит. по: Видок Фиглярин. С. 77.

См.: Кузовкина Т.Д. Указ. соч. С. 49—59; Письма Фаддея Булгарина к Иоахиму Лелевелю. С. 4, 6; Шишкова Т. Б. Литературная позиция и тактика Ф. В. Булгарина-журналиста в 1820-е гг: формирование и развитие: Дисс. канд. филол. наук. М., 2009. С. 48.

См.: Глинка Ф. Н. Сила имени Божия («Леса над безднами дремали...») // Литературные листки. 1823. № 2. С. 27—28; он же. Казнь грешных (Из пророка Исайи) // Там же. № 5. С. 62—63; он же. Правдивый муж: Подражание псалму 1-му («О, сколь блажен правдивый муж...») // Там же. 1824. Ч. 2. № 9-10. С. 368-369.

[Булгарин Ф. В.] Письма о Петербурге. Прогулка в город // Там же. 1823. № 1. С. 7—8; № 3. С. 31; [Булгарин Ф. В.] Прогулка по тротуару Невского проспекта. Продолжение//Там же. 1824. Ч. 1. № 5. С. 160—161.

См.: *Рылеев К. Ф.* Видение. Ода надень тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года//Там же. 1823. № 3. С. 39-40; ВД. Т. 1. 1925. С. 176.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 230—232. В первой публикации ода была снабжена рядом верноподданнических примечаний, принадлежащих перу Ф. В. Булгарина.

См.: Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С 325—327; Котляревский Н. А. Указ. соч. С. 69—73; Оксман Ю. Г. К. Ф. Рылеев // Звезда. 1933. № 7. С. 150.

Жуковский В. А. Государыне великой княгине Александре Федоровне на рождение в. кн. Александра Николаевича. Послание: («Изображу ль души смятенной чувство?..») // *Жуковский В. А.* Собрание сочинений: В 4 т. М.; Л., 1959. Т. 1. Стихотворения. 1959. С. 310.

Оксман Ю. Г. Указ. соч. С. 151.

См., например.: *Цейтлин А. Г.* [Комментарий к стихотворению Рыльева «Видение. Ода на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 621—622; *Архипова А. В., Ходоров А. Е.* [Примечания к стихотворению Рыльева «Видение. Ода на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *он же.* Полное собрание стихотворений. М., Л., 1971. С. 410; *Фомичев С. А.* [Комментарий к стихотворению Рыльева «Видение. Ода на день тезоименитства его императорского высочества великого князя Александра Николаевича, 30 августа 1823 года»] // *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 359.

См.: ВД. Т. 3. С. 163; Т. 14. С. 92, 160.

Герцен А. И. Письмо к императору Александру II// Герцен А. И. Собрание сочинений и писем. Т. 12. М., 1958. С. 273.'

ВД. Т. 14. С. 104.

См.: Там же. Т. 1. С. 449-450.

Цит. по: *Шильдер Н. К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. Кн. 1. С. 595-596.

См.: *Высочков Л. В.* Император Николай I: Человек и государь. СПб., 2001. С. 209—210; *Шильдер Н. К.* Император Николай I. Его жизнь и царствование. Кн. 1. С. 136; *Филарет (Дроздов), митр.* Избранные труды, письма, воспоминания. М., 2003. С. 806.

См.: *Андреева Г. В.* Тайные общества в России в первой трети XIX в.: Правительственная политика и общественное мнение. СПб., 2009. С. 546; *Мироненко С. В.* Страницы тайной истории самодержавия: Политическая история России первой половины XIX столетия. М., 1990. С. 87.

Завалишин Д. И. Указ. соч. С. 145.

См.: 14 декабря 1825 г. и его истолкователи: Герцен и Огарев против барона Корфа. М., 1994, С. 226, 311.

Филарет (Дроздов), митр. Указ. соч. С. 807.

См.: *Пытин А. И.* Указ. соч. С. 144; *Скабичевский А. М.* Очерки истории русской цензуры. СПб., 1892. С. 200—201; *Чистович И. А.* Руководящие деятели духовного просвещения в первой половине текущего столетия. СПб., 1894. С. 228—238; *Котович А. Н.* Духовная цензура в России (1799-1855). СПб., 1909. С. 130-132; *Кондаков Ю. Е.* Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX в. СПб., 2005. С. 259-324.

Записка о крамолах врагов России // РА. 1868. Кн. 2. Вып. 9. Стб. 1377.

Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 270-271, 276-278.

Цит. по: Там же. С. 280.

Там же. С. 291.

Там же. С. 263.

Глинка Ф. Н. Правдивый муж. С. 368—369.

Гуковский Г. А. Пушкин и русские романтики. М., 1965. С. 269.

См.: РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 438; *Булгарин Ф. В.* Поездка в Грузино в 1824 г. // Новоселье. СПб., 1846. Ч. 3. С. 201-220.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 75.

Цейтлин А. Г [Комментарий к стихотворению «Стансы»] // *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 649.

Рылеев К.Ф. Думы. С. 139.

Там же. С. 139-140.

Он же. Сочинения. С. 75. Ср.: *он же.* Полное собрание сочинений С. 265—266 (опубликовано с искажениями текста автографа).

См.: Е. Я. [Якушкин Е. И] По поводу воспоминаний о К. Ф. Рылееве // Деятнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартевым. М., 1872. Кн. 1. С. 354. Ср.: Бестужев Н. А. Указ. соч. С. 28.

Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 337.

См.: Цейтлин А. Г [Комментарий к стихотворению «Гражданин»] // Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 657—658; Пигарев К. В. Указ. соч. С. 206; Оксман Ю. Г [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 397.

См.: Лрхипова А. В., Ходоров А. Е. [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. М.; Л., 1971. С. 414; Фомичев С. А, [Комментарий к стихотворению «Я ль буду в роковое время...»] // Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 75, 360 и др.

Фризман Л. Г. «Думы» Рылеева // Рылеев К. Ф. Думы. С. 174.

Бестужев А. А. Взгляд на старую и новую словесность в России // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 23; *он же.* Ответ на критику «Полярной звезды», помещенную в 4, 5, 6, и 7 номерах «Русского инвалида» 1823 г. // Сын отечества. 1823. Ч. 83. № 4. С. 183—184; *Вяземский П. А.* Замечания на краткое обозрение русской литературы 1822-го года, напечатанное в № 5 Северного Архива 1823-го года // Новости литературы, 1823. Кн. 4. № 19. С. 91.

Ф. Б. [Булгарин Ф. В.]. Думы, стихотворения К. Рылеева, Москва, в типогр. С. Селивановского, 1825, в осьм., VIII, 172 стр. // Северная пчела. 1825. №37. 26 апреля. С. 2.

Впервые опубликовано: Деятнадцатый век. Кн. 1. С. 370—371.

См.: Цейтлин А. Г. [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] // Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 571— 573; Оксман Ю. Г. [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] // Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 399—400; Фризман Л. Г. Состав и принципы издания // Рылеев К. Ф. Думы. С. 227—228 и др.

Оксман Ю. Г. [Комментарий к думе «Алексей Петрович в Рожестве»] С. 448; 370; Фризман Л. Г. Состав и принципы издания. С. 244; Фомичев С. А. [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рожестве»] // Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 367.

Памяти декабристов: Сборник материалов. В 3 т. Т. 1. Л., 1926. С, 48.

См.: *Фомичев С. А.* [Комментарий к думе «Царевич Алексей Петрович в Рождестве»] С. 367.

Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 225.

См.: Азадовский М. К. Затерянные и утраченные произведения декабристов // Азадовский М. К. Указ. соч. Т. 2. С. 176.

Фотий (Спасский), архим. Борьба за веру. Против масонов. М., 2010.
С. 368-369, 373.

См.: Оксман Ю. Г. [Комментарий к думе «Наталья Долгорукова»] // Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 433.

Там же. С. 162.

См.: *Рейтблат А. И., Бочков В. Н.* Свиньин Павел Петрович // Русские писатели. 1800—1917. Т. 5. С. 519—525; *Проскурин О. А.* Первые «Отечественные записки», или О лжи и патриотизме // Отечественные записки. 2001. № 1. С. 270—277; *Кулакова И. П.* Отечественный мечтатель // Там же. 2002. № 3. С. 361-373.

Свиньин П. П. Поездка в Грузино // Сын отечества. 1818. Ч. 49. № 39. С. 3-4, 24-25; № 40. С. 72.

Липранди А. П. Из дневника и воспоминаний // Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 3-е изд. СПб., 1998. Т. 1. С. 304—305.

Переславский И. О Библейских обществах // Сын отечества. 1818. Ч. 49. №41. С. 115.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 1. С. 129.

[Булгарин Ф. В.] Критика: Письмо от читателя «Отечественных записок» к издателю «Северного архива» // Литературные листки. 1823. № 2. С. 25-26.

Булгарин Ф. В. Журналы // Северный архив. 1823. Ч. 5. № 5. С. 413.

[Измайлов А. Е.] Лгун: Сказка («Павлушка — медный лоб...»)//
Благонамеренный. 1824. Ч. 25. № 1. С. 50—52; Измайлов А. Е. Лгун: Сказка
(«Павлушка — медный лоб...») // «Полярная звезда», изданная А.
Бестужевым и К. Рылеевым. С. 388—390; он же. Кулик-астроном («Кулик
велик! Кулик велик!..») // Дамский журнал. 1824. Ч. 8. № 24. С. 218—219.

Данилов Д. Д. Дедушка русских журналов // ИВ. 1915. Т. 141. № 7 (июль). С. 114-116.

Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 216-218.

См., например: Кулакова И. П. Указ. соч. С. 368—369; Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979. С. 229.

См.: Бестужев А. А. Письмо П. А. Вяземскому от 13 октября 1823 г. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 208; Письма от 6 и 9 ноября 1823 г. // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 365—366.

Измаилов А. Е. Письмо П. Л. Яковлеву от 19 апреля — 11 мая 1825 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 8. С. 172—173.

Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. С. 223; *Павлов-Сильванский Н. П.* Очерки по русской истории XVIII— XIX вв. // *Павлов-Сильванский Н. П.* Сочинения: В 3 т. СПб., 1910. Т. 2. С. 246; *Архипов В. А., Базанов В. Г., Левкович Я. Л.* Литературно-эстетические позиции «Полярной звезды» // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым, С. 806, 818, 883.

Маслов В. И. Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 370.

Бестужев А. А. Эсфирь, трагедия из Священного писания в трех действиях в стихах, сочинение Расина, перевод с французского. С.П.б. 1816 года в типогр. Дрехслера // Сын отечества. 1819. Ч. 51. №3. С. 107—124; он же. Липецкие воды, или Урок кокеткам. Комедия в 5 действиях в стихах. 1815 года. В типогр. импер. театра // Там же. № 6. С. 252—273.

Томашевский Б. В. Пушкин: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 257.

Базанов В. Г. Ученая республика. С. 288.

[Булгарин Ф. В.] Полярная звезда, карманная книжка для любительниц и любителей российской словесности, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым // Северный архив. 1823. Ч. 5. № 3. С. 293; Полярная звезда. Карманная книжка для любителей и любительниц русской словесности на 1823 год, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. СПб. в тип. Н. Греча // Русский инвалид, или Военные ведомости. 1823. № 4. 6 января. С. 15; [Шаликов П. И] Полярная звезда. Карманная книжка, изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым // Дамский журнал. 1823. Ч. 1. Кн. 1. № 1. С. 38.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 278.

Там же. С.21.

Остафьевский архив князей Вяземских. X 2. С. 365.

См.: [Благой Д. Д.] Комментарий к стихотворению: Батюшков К. П. К творцу «Истории государства Российского» // Батюшков К, П. Сочинения. М; Л., 1934. С. 576.

[Рылеев К. Ф.] Эпиграмма // Невский зритель. 1820. Ч. 4. № 10. С. 41.

Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка: В 2 ч. СПб., 1862. Ч. 1. С. 11 —12. О взаимоотношениях Карамзина и Рылеева см.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Сатира К. Ф. Рылеева «К временщику»: Опыт историко-литературного комментария // Вопросы литературы. 2010. №3. С. 336-338.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2, С. 365, 366.

Цит. по: *Ланда С. С.* Указ. соч. С. 356.

Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 2. С. 151.

Бестужев А. А. Письма П. А. Вяземскому от 5 апреля 1823 г., 13 октября 1823 г., 1 — 18 января 1824 г., 28 января 1824 г. //Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 202, 208, 211, 213.

Там же. С. 210.

Там же; Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг.
Письмо П. А. Вяземского А. А. Бестужеву от 20 января 1824 г. // РС. 1888.
Т. 60. Кн. 11. С. 324.

См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 119—124.

*[Булгарин Ф. В.] Литературные новости // Литературные листки. 1824.
Ч. 1. №2. С. 64-65.*

Бестужев А. А. Ответ на критику «Полярной звезды»... С. 174—175;
[Греч Н. И.] Новости неполитические // Сын отечества. 1822. Ч. 82. № 48. С
84.

Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 205, 158.

Там же. Т. 2. С. 459; *Рылеев К. Ф.* Письмо к А. С. Пушкину от января 1825 г. // *Рылеев К.Ф.* Полное собрание сочинений. С. 479.

Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо В. А. Жуковского А. А. Бестужеву 21 августа 1822 г. // РС. 1888. Т. 60. Кн. 11. с. 311

Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо Д. В. Давыдова А. А. Бестужеву // Там же. С. 166.

Бестужев А. А. Письма Н. А. и К. А. Полевым // Русский вестник.
1861. Т. 32. №3. С. 304.

См.: Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо Е. А. Баратынского А. А. Бестужеву и К. Ф. Рылееву // РС. 1888. Т. 60. Кн. И. С. 321—322; *Рылеев К.Ф.* Послание к Тнедичу // *Рылеев К.Ф.* Полное собрание сочинений. С. Ж—114; *он же.* Письмо Ф. В. Булгарину от 20 июня 1821 г. (о Гнедиче) // Там же. С. 458; *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 20—21.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 327.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 13, 26, 29, 265, 266, 488, 489, 490, 491.

Письмо А. С. Пушкина А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г. // *Пушкин А. С. Полное собрание сочинений*: В 16 т. Т. 12. М.; Л., 1937. С. 64; Письмо А. С. Пушкина А. А. Бестужеву. Конец мая — начало июня 1825 г. // Там же. С. 177-178.

Письмо А. С. Пушкина А. А. Бестужеву. Конец мая — начало июня 1825 г. С. 178—179; Письмо К. Ф. Рыльева А. С. Пушкину. Первая половина июня 1825 г. // *Рылеев К.Ф.* Полное собрание сочинений. С. 496; Письмо А. С. Пушкина К. Ф. Рылееву. Вторая половина июня — август 1825 г. // *Пушкин А. С.* Полное собрание сочинений: В 16 т. Т. 13. С. 218.

См., например: *Томашевский Б. В.* Пушкин: В 2 кн. М; Л., 1961. Кн. 2. Материалы к монографии (1824—1837). С. 117; *Алексеев М. П.* Реплика Пушкина «Народ безмолвствует» // *Алексеев М. П.* Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л., 1972. С. 237.

Письмо А. С. Пушкина А. А. Бестужеву. Конец мая — начало июня
1825 г. С. 180.

Цит. по: *Архипов В. А., Базанов В. Г., Левкович Я. Л. Указ. соч. С 881.*

Котляревский Н. А. Александр Александрович Бестужев-Марлинский
// Котляревский Н. А. Декабристы. СПб., 2009. С. 225, 235.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 25, 20-21.

Там же. С 17, 493.

Там же. С 18-19, 12.

Александр Бестужев на Кавказе 1829—1837. Неизданные письма его к матери, сестрам и братьям // Русский вестник. 1870. Т. 87. № 6. С. 506-507.

Цит. по: *Архипов В. А., Базанов В. Г., Левкович Я. Л. Указ. соч. С.849.*

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 28.

Лорер Н. И. Указ. соч. С. 60.

Измайлов А. Е. Письмо И. И. Дмитриеву от 1 января 1823 г. // РА. 1871.
Кн. 2. Вып. 7-8. Стб. 975.

См.: Переписка А. С. Пушкина. Т. 1. С. 462; Т. 2. С. 25; Из литературной и общественной истории 1820—1830 гг. Письмо П. А. Вяземского А. А. Бестужеву от 20 января 1824 г. С. 322—325.

[Булгарин Ф. В.] Литературные новости. С. 66.

Бестужев А. А. Письмо П. А. Вяземскому от 28 января 1824 г. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 213—214.

Бестужев А. А., Рылеев К. Ф. Объявление // Литературные листки. 1824. Ч. 4. № 23—24. С. 180; они же. Объявление // Сын отечества. 1825. Ч.99. №1. С. 111.

См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 47—59.

Оболенский Е. П. Указ. соч. С. 85; Воспоминания Бестужевых. С. 241.

Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига-Пушкина. М., 1978. С. 9.

См.: Бестужев А. А. Письма П. А. Вяземскому от 20 сентября 1824 г., 3 ноября 1824 г. // Литературное наследство. Т. 60. Кн. 1. С. 223, 226; Письмо Рылеева и Бестужева к Воейкову от 15 сентября 1824 г. // Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 309.

Бестужев А.А. Письма П. А. Вяземскому от 20 сентября 1824 г., 3 ноября 1824 г. С. 223, 226.

Бестужев А. А. Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и в начале 1825 г. // «Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 497.

Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. С. 272.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С.492.

Рылеев К. Ф. Несколько мыслей о поэзии. Отрывок из письма к *NN* // Сын отечества. 1825. Ч. 104. № 22. С. 154.

Письма В. А. Жуковского А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 204—211.

Цит. по: *Дубровин Н. Ф. В. А. Жуковский и его отношение к декабристам*// РС. 1902. ТЛЮ. Кн. 4. С. 80-81.

Братья А. И. и Н. И. Тургеневы в декабре 1825 — феврале 1826 г.
Письма А. И. Тургенева В. А. Жуковскому//Декабристы в Петербурге. С.
40.

Там же. С. 45-46.

Шишков А. С. Записки. М., 1869. С. 1-2.

Фотий (Спасский), архим. Указ. соч. С. 377, 378.

Шишков А. С. Указ. соч. С. 8, 65, 123.

См.: Письмо Фотия к императору Николаю I // РС. 1905. Т. 122. Кн. 5. С. 431-438; *Пытин А. Н.* Указ. соч. С. 215-218.

Фотий (Спасский), архим. Указ. соч. С. 364.

Братья Булгаковы: Письма: В 3 т. М., 2010. Т. 2. С. 433.

Граф Н. С. Мордвинов, А. А. Закревский, П. Д. Киселев, князь А. Н. Голицын, Балашев и А. П. Ермолов в доносе на них 1826 г. // РС. 1881. Т. 30. Кн. 1. С. 187, 190.

Видок Фиглярин. С. 203.

Россия под надзором: Отчеты III Отделения. 1827—1869. М., 2006. С 69.

Цит. по: *Гордин Я. А.* Мистики и охранители: Дело о масонском заговоре. СПб., 1999. С. 213.

См.: *Пытин А. Н.* Общественное движение в России при Александре I. СПб., 2001. С. 361—446; *Дубровин Н. Ф.* После Отечественной войны 1812 года (Из русской жизни начала XIX в.). Наши мистики-сектанты. СПб., 2009. С. 219—233; *Чернов С. Н.* У истоков русского освободительного движения. Саратов, 1960. С. 1—45; *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 185-212; *Андреева Т. В.* Указ. соч. С. 340-362 и др.

Устав Союза благоденствия // Избранные социально-политические и философские произведения декабристов: В 3 т. М., 1951. Т. 1. С. 240— 242, 248-249.

Там же. С. 241-242, 265; ПСЗРИ-1. Т. 32. № 27106. С. 814.

Устав Союза благоденствия. С. 266, 267.

См.: Там же. С. 243, 244; ПСЗРИ-1. Т 32. № 27106. С. 819.

Устав Союза благоденствия. С. 243, 262.

См.: Там же. С. 262; ПСЗРИ-1. Т. 33. № 26257. С. 938, 939.

ПСЗРИ-1. Т. 32. № 25287. С. 474.

См.: Месяцеслов с росписью чиновных особ, или общий штат Российской империи на лето от Рождества Христова 1820. Часть 1. Министерство духовных дел и народного просвещения. Особые заведения. Санкт-Петербургское общество учреждения училищ по методе взаимного обучения. С. 811.

ВД. Т. 18. С. 174; Т. 14. С. 190.

Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. СПб., 2007. С. 44—45.

См.: Бумаги И. Б. Пестеля // РА. 1875. Кн. 1. Вып. 4. С. 401; *Круглый А. О. П. И. Пестель* по письмам его родителей // Красный архив. 1926. Т. 3(16). С. 175.

Николай Михайлович, вел. кн. Император Александр I: Биография. М., 2010. С. 264-265.

ВД. Т. 1.С. 153, 174.

См.: *Бокова В. М.* Эпоха тайных обществ. С. 454.

Цит по: Аракчеев: Свидетельства современников. М., 2000. С. 226.

Николаенко П. Д. Князь В. П. Кочубей — первый министр внутренних дел России. СПб., 2009. С. 557.

Цит. по: *Томсинов В. А.* Аракчеев. М., 2003. С. 400.

См.: Кондаков Е. Ю. Указ. соч. С. 288.

ВД. Т. 1. С. 230.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 235.

ВД. Т. 12. М., 1969. С. 95; Т. 1.С. 112.

Там же. Т. 4. С. 102-103.

См.: Рапорт К. Ф. Рылеева М. Н. Рылееву от 20 июня 1814 г. // *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Правитель дел. С. 199.

ВД. Т. 1.С. 178.

Там же. Т. 4. С. 163; Т. 1. С. 16.

Там же. Т. 4. С. 163.

См., например: *Аксенов К. Д.* Северное общество декабристов. Л., 1951. С. 138-302; *Нечкина М. В.* Движение декабристов. Т. 2. С. 27-34.

ВД. Т. 1.С. 444.

См.: *Киянская О. И.* Пестель. М., 2005. С. 121-122, 214-215, 234-235.

Оболенский Е. П. Указ. соч. С. 86, 87.

См.: Дубровин Н. Ф. Николай Алексеевич Полевой, его сторонники и противники по «Московскому телеграфу» // РС. 1903. Т. 113. Кн. 2. С. 260; Письмо К. Ф. Рылеева П. А. Вяземскому от 12 января 1825 г. // *Рылеев К Ф. Сочинения.* С. 312—313.

См.: Рылеев К. Ф. А. А. Бестужеву // Рылеев К. Ф. Войнаровский. М., 1825. С. III—IV.

Там же. С. IV.

А. К. [Корниловина А. О.]. Жизнеописание Мазепы // Там же. С. XV—XVI; А. Б. [Бестужев А. А.]. Жизнеописание Войнаровского // Там же. С. XIX-XX; Рылеев К. Ф. [Примечания] // Там же, С. 24.

Рылеев К. Ф. Войнаровский. С. 23—24, 34, 38, 34; *он же*. Полное собрание сочинений. С. 214.

Он же. Войнаровский. С. 13.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылевым. С. 219.

Письма П. А. Катенина к Н. Н. Бахтину // РС. 1911. Т. 146. Кн. 6. С.594.

См., например: *Гуковский Г. А.* Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 95; *Благой Д. Д.* Историческая поэма Пушкина («Полтава») // Пушкин. Исследования и материалы: Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции. М.; Л., 1953. С. 260; *Цейтлин А. Г.* Творчество Рылеева. С. 115, 117.

См.: История руссов или Малой России. Киев, 1991 С. 2; *Киянская О. И.* Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. СПб., 2008. С. 251—301; *Ульянов Н. И.* Происхождение украинского сепаратизма. М., 2007. С. 160.

Рылеев К.Ф. Думы. С. 76-77.

См.: Сын отечества. 1822. Ч. 78. № 23. С. 130—134; Соревнователь просвещения и благотворения. 1822. Ч. 18. № 6. С. 542—545; Русский инвалид. 1822. №45.

См.: *Жаркевич Н. М.* Творчество Ф. Н. Глинки в истории русско-украинских литературных связей. Киев, 1981. С. 120—121, 124. Ср.: *Фризмая Л. Г.* [Примечания к «Думам»] // *Рылеев К. Ф.* Думы. С. 240 и др.; *Глинка Ф. Н.* Письма к другу, содержащие в себе замечания, мысли и рассуждения о разных предметах с присовокуплением исторического повествования «*Зиновий Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия*»: В 3 ч. СПб., 1817. Ч. 3. С. 159-160.

См.: Соревнователь просвещения и благотворения. 1819. Ч. 5. № 1. С.1-16; № 2. С. 129-170; Ч. 6. № 4. С. 1-26; № 6. С. 237-266.

Жаркевич Н. М. Указ. соч. С. 118-119.

История руссов или Малой России. С. 99.

Жаркевич Н. М. Указ. соч. С. 110, 116.

См.: *Сиповський В. В.* Україна в російському писменстві. Київ, 1928. 4.1.

См.: *Гоздаво-Годомбиевский А. А.* Князь Николай Григорьевич Репнин
// Сборник биографий кавалергардов: В 4 т. / Под ред. С. А. Панчулидзева.
М., 2001. Т. 3. 1801-1825. С. 56.

Сухтелен П. П. Из записной книжки // РА. 1876. Кн. 1. Вып. 3. С. 354.

См.: Когут З. Е. Коріння ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України. Київ, 2004. С. 67—69.

Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России, со времени присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением состояния сего края: В 4 т. М., 1822. Т. 1. С.V.

Там же. Т. 4. С. 25, 63, 137.

См.: *Ульянов Н. И.* Указ. соч. С. 167; *Шевчук В.* Неразгаданные тайны «Истории Русив» // www.izbornyk.ru/istrus/rusiv9.htm

История руссов или Малой России. С. 2.

Там же. С. 2, 6.

Там же. С. 120.

Яковенко Н. Н. Вступ до історії. Київ, 2007. С. 149. Ср.: *Булкина И. С.* Киев в русской литературе первой трети XIX в.: пространство историческое и литературное. Тарту, 2010. С. 34.

См.: Киянская О. И. Н. Г. Репнин и общественное движение в Малороссии // Киянская О. И. Очерки из истории общественного движения в России в правление Александра I. С. 251—301.

ВД. Т. 4. С. 101.

Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. С. 413, 416; *он же.* Думы. С. 81.

См.: Оксман Ю. Г. [Комментарий к поэме К. Ф. Рылеева «Войнаровский»] // Рылеев К.Ф. Полное собрание стихотворений. Л., 1934. С. 458.

Рылеев К.Ф. Полное собрание сочинений. С. 495.

Там же. С 213.

«Полярная звезда», изданная А. Бестужевым и К. Рылеевым. С. 713-714.

См.: Оксман Ю. Г. Секретне слідство про «Исповедь Наливайко» К. Ф. Рилэва року 1825 // Юбілейний збірник на пошану акад. Д. И. Багалія. Київ, 1927. С. 874-878.

ВД. Т. 20. С. 325.

Басаргин Н. В. Указ. соч. С. 76.

Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. С. 10; *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. С. 310.

ПСЗРИ-1. Т. 25. № 19030. С. 700.

Там же. Т. 37. № 28756. С. 848.

603

РГАВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 688. Л. 6.

История Русской Америки (1732—1867): В 3 т. (далее — ИРА) / Отв. ред. Н. Н. Болховитинов. Т. 2. М., 1999. С. 10; *Окунь С. Б.* Российско-американская компания. М.; Л., 1939. С. 91. Список акционеров компании по состоянию на июнь 1825 г. см.: *Петров А. Ю.* Российско-американская компания: Деятельность на отечественном и зарубежном рынках: 1799-1867 гг. М., 2006. С. 285-293; ПСЗРИ-1. Т. 37. № 28756. С.843.

См.: ПСЗРИ-1. Т. 37. № 28756. С. 824-832.

См.: *Петров А Ю.* Указ. соч. С. 98-100; ИРА. Т. 2. С. 378-379.

См.: *Петров А. Ю.* Указ. соч. С. 107.

См.: Там же. С. 108; ИРА. Т. 2. С. 333; *Ермолаев А. Н.* Главное правление Российско-американской компании: состав, функции, взаимоотношения с правительством, 1799—1871 // *Американский ежегодник*. 2003. М., 2005. С. 281.

См.: АВПРИ. Фонд Российско-американской компании. Оп. 888. Д. 307. Л. 1-1 об.

См.: ИРА. Т. 2. С. 338; *Петров А. Ю.* Указ. соч. С. 109.

См.: *Петров А. Ю.* Указ. соч. С. ПО.

612

РГАВМФ. Ф. 1375. Оп. 1.Д.4.Л. 100.

ПСЗРИ-1. Т. 25. № 19030. С. 711.

Северная пчела. 1825. № 32. 14 марта. С. 1—4.

615

РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 443. Л. 1-1 об.

Северная пчела. 1825. № 1. 1 января. С. 1.

617

Там же. № 4. 8 января. С. 1.

Там же. № 6. 13 января. С. 1.

См.: Journal de St.-Petersburg. 1825. № 2. 3/15 января. С. 3; № 5. 10/22 января. С. 4; № 7. 15/27 января. С. 5.

См.: Северная пчела. 1825. № 2. 3 января. С. 4.

Цит. по: *Павлюченко Э. А.* Из истории литературного движения 1820-х гг. // Русская литература. 1971. № 2. С. 114.

См.: Масанов И. Ф. Указ. соч. Т. 1. М., 1956. С. 318.

Северная пчела. 1825. № 15. 3 февраля. С. 3.

Там же. 1825. № 20. 14 февраля. С. 1.

См.: Journal de St.-Petersburg. 1825. № 21. 17 февраля / 1 марта. С. 6.

См.: *Рылеев К. Ф.* Сочинения. С. 325—326.

См.: *Измайлов А. Е.* Письмо П. Л. Яковлеву от 1 сентября 1825 г. // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 8. С. 175.

628

РГИА. Ф. 777. Оп. 1. Д. 443. Л. 5-5 об.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 488.

Северная пчела. 1825. № 37. 26 марта. С. 1—3; № 41. 4 апреля. С. 2.
Ср.: Там же. № 40. 2 апреля. С. 1—4.

Там же. № 116. 26 сентября. С. 1. Ср.: Journal de St.-Petersburg. 1825.
№117. 28 сентября.

Северная пчела. 1825. № 119. 3 октября. С. 1.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 443; Видок Фиглярин. С. 75, 245.

Окунь С. Б. Указ. соч. С. 102.

635

ВД.Х4.С. 103.

См., например: *Нечкина М. В.* Указ. соч. Т. 1. С. 399—400, 424;
Киянская О. И. Пестель. С. 205 и др.

См.: ВД. Т.1. С. 177.

См.: Там же. Т. 1. С. 499; Т. 17. С. 49.

О'Мара П. Указ. соч. С. 128.

640

ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.

ВД. Т.1. С.21.

Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и переживаемом. Красноярск, 1990. С. 119.

ВД. Т. 15. М., 1979. С. 197.

См.: ПСЗРИ-1. X 37. № 28756. С. 853; ИРА. Т. 2. С. 372.

См.: Исследования русских на Тихом океане в XVIII — первой половине XIX в.: В 4 т. (далее — ИРХО). Т. 4. М., 2005. С. 199; ИРА. Т. 2. С.392.

См.: ИРА. Т. 2. С. 274; *Шешин А. Б.* Основание Ордена Восстановления // 14 декабря 1825 г.; Источники. Исследования. Историография. Библиография. Вып. 1. СПб., 1997. С. 41.

См., например: *Еропкин Б. И.* Декабрист Д. И. Завалишин // Сибирь. 1971. № 2. С. 76—91; *Шатрова Г. Н.* Декабрист Д. И. Завалишин: проблема формирования дворянской революционности и эволюция декабризма. Красноярск, 1984; *Шешин А. Б.* Устав Ордена Восстановления // 14 декабря 1825 г.: Источники. Исследования. Историография. Библиография Вып. 2. СПб., 2000. С. 139-174.

См.: ВД. Т. 1. С. 182, 235; *Шешин А. Б.* Декабрист К. П. Хорсон. Улан-Удэ, 1980. С. 75.

См.: ИРА. т.2. С. 257—274; *Шешин А. Б.* Основание Ордена
Восстановления

ВД. Т.1. С.235; т.3. С.299.

Завалишин Д. И. Вселенский Орден Восстановления и отношения мои к «Северному Тайному Обществу» // РС. 1882. X 33. Кн. 1. С. 31.

См.: Там же. С. 54; *Шешин А. Б.* Устав Ордена Восстановления. С. 140-141.

ВД. Т. 3. С. 236.

Пушкин А. С. Дневники. Записки. СПб., 1995. С. 36.

См.: Брегман А. А. Декабрист Гавриил Степанович Батеньков//
Батеньков Г. С. Сочинения и письма: В 2 т. Иркутск, 1989. Т. 1. С. 17, 23.

Учреждение Сибирского комитета // РС. 1903. Т. 114. Кн. 6. С. 624; ВД.
Т. 14. С. 34.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 348; ВД. Т. 14. С. 44.

ВД. Т.14. С. 44, 143.

Там же. С. 92, 93, 95, 139.

Батеньков Г. С. Указ. соч. Т. 1. С. 206, 209; ВД. Т. 14. С. 97.

Батеньков Г. С. Указ. соч. ТА. С. 207; ВД. Т. 14. С. 97.

См.: ИРА. Т. 2. С. 316-321, 327.

ВД. Т. 14. С. 97.

См.: ИРА. Т. 2. С. 437-438.

См.: Записка Н. С. Мордвинова // ИРХО. X 4. С. 183.

См.: ИРА. Т. 3. М., 1999. С.88; РГАВМФ. Ф. 132. Оп. 1. Д. 1349. Л. 2;
Пасецкий В. М. Арктические путешествия россиян. М., 1974. С. 119—120.

См.: *Киянская О. И.* Павел Пестель: офицер разведчик, заговорщик. М., 2002. С. 401-402.

См.: ВД. Т. 11. М., 1954. С. 112-113.

См.: Там же. Т. 1. С. 163-164; Т. 14. С. 429-430, 433-434.

Там же. Т. 9. М., 1950. С. 114, 264; Т. 4. С. 119-120.

См.: *Шешин А. Б.* Декабрист К. П. Торсон. С. 46; *Пасецкий В. М.* Указ. соч. С. 119.

Воспоминания Бестужевых. С. 258.

См.: *Шешин А. Б.* Декабрист К. П. Торсон. С. 43-45.

Воспоминания Бестужевых. С. 273—274.

ВД. Т. 14. С. 203-204.

676

См.: РГА ВМФ. Ф. 166. Оп. 1. Д. 688. Л. 6-6 об.

См.: Там же. Л. 15—15 об.; *Безобразов В. П.* Граф Ф. П. Литке. Т. 1. 1797-1832. СПб., 1888. С. 109-110; *Захаров В. А.* Истоки конституционных идей декабристов // Труды Государственного исторического музея. Вып. 105. 170 лет спустя... Декабристские чтения 1995 г. М., 1999. С. 15.

14 декабря 1825 г.: Воспоминания очевидцев. СПб., 1999. С. 431—432.

ВД. Т. 17. С, 49.

См.: *Белавенец П. И.* Значение флота в истории России. 2-е изд. Пг., [1916]. С. 181; *Чичагов П. В.* Записки. М., 2002. С. 30.

[Головнин В. М.] О состоянии русского флота в 1824 г.: Сочинение мичмана Мореходова. СПб., 1861. С. 1, 36—37.

Крузенштерн И. Ф. Путешествие вокруг света в 1803, 4, 5 и 1806 годах на кораблях «Надежде» и «Неве»: В 3 ч. СПб., 1809. Ч. 1. С. 18;
Беллинсгаузен Ф. Ф. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжение 1819, 20 и 21 годов, совершенные на шлюпах «Востоке» и «Мирном»: В 2 ч. СПб., 1831. Ч. 1. С. 6.

Завалишин Д. И. Воспоминания. С. 313.

См.: *Ненкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 107; *О'Мара П.* Указ. соч. С. 152—156; *Шешин А. Б.* Морская управа Северного общества // Вопросы истории. 1979. № 2. С. 115-128; ВД. Т. 3, С. 236.

ВД. Т. 2. М.; Л., 1926. С. 81; Т. 1. С. 267; *Ненкина М. В.* Указ. соч. Т. 2. С. 107.

См.: *Шешин А. Б.* Декабристское общество в Гвардейском морском экипаже // Исторические записки. Т. 96. М., 1975. С. 107—127; *Бокова В. М.* Эпоха *тайных* обществ. С. 505—516.

ВД. Т. 14. С. 256; Т. 2. С. 27.

См., например: *Штрайх С. Я.* Моряки-декабристы. М.; Л., 1946; *Пасецкий В. М.* Вперед — неизвестность пути. М., 1969; он же. Географические исследования декабристов. М., 1977; *Смирнова Н. А.* Братья Беляевы // Годы и люди. Саратов, 1988. [Вып. 3]. С. 4—16; *Барановская М. Ю.* Декабрист Н. Бестужев. М., 1954; *Шешин А. Б.* Декабрист К. П. Торсон; *Тальская О. С.* Декабрист Ф. Г. Вишневецкий // Урал. 1960. № 11. С. 177—179; *Шатрова Г.П.* 77. Указ. соч.

ВД. Т. 15. С. 34-35.

Там же. С. 35. См. также показания К.Ф. Рылеева (Там же. Т. 1. С. 162), С. П. Трубецкого (Там же. С. 21), Е. П. Оболенского (Там же. С. 233).

См.: ВД. Т. 14. С. 235, 266.

Там же. Т. 2. С. 248.

Беляев А. П. Указ. соч. С. 102.

Там же. С. 102, 110.

См.: РГВИА. Ф. 14664. Оп. 1. Д. 1592, 1597; ВД. Т. 2. С. 11-12.

696

ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 78. Л. 17 об.

См.: Зейфман Н. В. Декабрист Владимир Иванович Штейнгейль // Штейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 7—19.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 130.

См.: ВД. Т. 4. С. 47; Т. 9, С. 117; *Азадовский М. К.* Указ. соч. Т. 2. С. 41.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 2. С. 148-149.

Там же. С. 311.

См.: Зейфман Н. В. Указ. соч. С, 23-24, 26-27; ВД. Т. 14. С. 168-169.

Штейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 63, 104-105.

См.: *Петров А. Ю.* Указ. соч. С. 292.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 326-327,

Штейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 130.

Там же. С. 145, 149.

Воспоминания Бестужевых. С. 32.

См.: *Гордин Я. А.* Мятеж реформаторов. Л., 1989. С. 65; *Сафонов М. М.*, Зимний дворец в планах выступления 14 декабря 1825 г. // *Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы.* С. 240.

ВД. Т. 1. С. 182-183; Т. 14. С. 203.

Завалишин Д. Ю. Воспоминания. С. 116.

Петров А. Ю. Указ. соч. С. 113.

См.: *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 503, 508 и др.

714

ГАРФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 6. Л. 13 об.-14.

Санкт-Петербургские ведомости. 1826. № 9. 29 января. Прибавление.
С. 1.

Цит. по: *Азадовский М. К.* 14-е декабря в письмах А. Е. Измайлова // Памяти декабристов. Т. 1. С. 242.

РГАВМФ. Ф. 1375. Оп. 1. Д. 5. Л. 130.

ВД. Т. 1. С. 218; Т. 17. С. 111.

Там же. Т. 1. С. 185, 152.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 641.

См.: ВД. Т. 1. С. 161, 165; Т. 17. С. 54-55.

Покровский М. Н. Избранные произведения: В 4 кн. Кн. 2. М., 1965.
С.265.

С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности:
В 2 т. Иркутск, 1983. Т. 1. С. 228.

ВД. Т. 18. С. 295; Т. 1. С. 247.

Там же. Т. 1. С. 6, 19.

Там же. С. 347, 443; *Свистунов П. Н.* Сочинения и письма. Иркутск, 2002. С. 171.

Покровский М. Н. Предисловие к 1-му тому серии «Восстание декабристов» // ВД. Т. 1. С. IX.

ВД. Т. 18. С. 86; *Греч Н. И.* Записки о моей жизни. С. 318.

См.: ВД. Т. 9. С. 180,217.

730

См.: Там же. Т. 1.С.5.

Там же. Т. 1. С. 35.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 2. С. 1040; РГВИА. Ф. 35. Оп. 5/246. Св. 313. Д. 1841 а. Л. 8.

См.: Документы о финансовых махинациях секретаря киевского гражданского губернатора П. А. Жандра // Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. С. 94; ПСЗРИ-1. Т. 43. Книга штатов. Ч. 2. С 89

РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361-363. 2 отд. Д. 178. Л. 4, 6-7.

Державний архів Київської області (далее — ДАКО). Ф. 2. Оп. 3. Д.
4634. Л. 5.

РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1, Д. 167. Л. 1; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 25. Д. 12, Л.
1.

737

ДАКО. Ф. 2. Оп. 145. Д. 320. Л. 5.

Там же. Оп. 3. Д. 4634. Л. 5; Оп. 147. Д. 12. Л. 1 об., 2.

См.: ВД. Т. 11. С. 246.

См.: Там же. Т. 4. С. 233; *Муравьев-Апостол М. И.* Указ. соч. С. 76.

Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Кн. 1. С. 158.

См.: *Второв И. А.* Москва и Казань в начале XIX в. // РС. 1891. Т. 70. Кн. 6. С. 11.

743

РО ИРЛИ. Ф. 617. Д. 1. Л. 6.

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 77/361-363. 2 отд. Д. 178. Л. 27-31.

Там же. Ф. 14414. Оп. 1. Св. 25. Д. 181. Л. 5-6, 8; Ф. 846. Оп.16. Д. 800.

746

Там же. Д. 183. Л. 1, 3 об., 4 об.-5.

747

Там же. Л. 3-3 об.

Там же. Ф. 395. Оп. 77/361-363. 2 отд. Д. 178. Л. 3, 33, 39-39 об.

Муравьев-Апостол М. И. Указ. соч. С. 76.

ВД. Т. 9. С. 72-73.

751

См.: РГВИА. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 183. Л. 2-2 об.; Д. 186.

См.: Там же. Ф. 14414. Оп. 1. Д. 183. Л. 9-9 об.; Ф. 36. Оп. 3/847. Св. 4. Д. 12. Л. 2.

ВД. Т. 3. С. 139-140; Т. 14. С. 339.

Там же. Т. 9. С. 259; Т. 4. С. 187.

Там же. Т 9. С. 214.

Там же. Т. 9. С. 132; Т. 4. С. 116.

Там же. Т. 12. С. 332-333.

ПСЗРИ-1. Т. 32. № 24975. С. 53, 59.

См.: РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 510, 596, 627 и др.; Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749. Л. 667 об.

760

См.: Там же. Ф. 395. Оп. 77/361-363. 2 отд. Д. 178. Л. 3.

ВД. Т. 20. С. 173.

Щербатов А. Г. Указ. соч. С. 196.

См.: ВД. Т. 1.С. 78.

764

См.: РГВИА. Ф. 16231. Оп. 1. Д. 749.

ВД. Т. 11. С 246.

См.: Порох И. В. Восстание Черниговского полка // Очерки из истории движения декабристов. М., 1954. С. 148; ВД. Т. 9. С. 189.

ВД Т. 11. С. 198.

См.: Там же. С. 256.

Цит. по: *Порох И. В.* Указ. соч. С. 148.

ВД. Т. 20. С. 173; Т. 1.С. 35.

Там же. Т. 4. С. 238.

Цит. по: *Лебцельтерн З. И.* Екатерина Трубецкая // Звезда. 1975. № 2. С. 184.

См.: РГВИА. Ф. 35. Оп. 3/244. Св. 144. Д. 1662; *Муравьев-Апостол М. И.* Указ. соч. С. 85.

Цит. по: Порох И. В. Указ. соч. С. 148.

Сафонов М. М. Указ. соч. С. 228, 230.

См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* Движение декабристов в государственной пропаганде 1825—1826 гг. //Декабристы: Актуальные проблемы и новые подходы. С. 447—493; *Киянская О. И. П. И. Пестель на следствии*// Россия XXI. 2007. № 1. С. 162-196.

ВД. Т. 17. С. 49, 51.

Там же. С. 53.

Там же. С 55, 58.

См.: Нечкина М. В. Указ. соч. Т. 2. С. 225—226; она же. День 14 декабря 1825 г. М., 1985. С. 22; Лавров Н. Ф. «Диктатор 14 декабря» // Бунт декабристов. Л., 1926. С. 203; Гордин Я. А. Мятеж реформаторов. С. 168—169, 183, 184.

Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 г. М.; Л., 1926. С. 90-91, 93.

См.: Сафонов М. М. Указ. соч. С. 228-291.

ВД. Т. 1.С. 188-189.

Сафонов М. М. Указ. соч. С. 240, 236.

См.: ВД. Т. 1.С. 103-104.

Там же. С. 160.

Там же. С. 161.

См.: Там же. С. 162, 158, 187-188 и др.

Там же. С. 69.

Там же. С. 103-104.

С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности.
Т. 1. С. 176.

ВД. Т. 1.С. 488.

См.: Там же. Т. 14. С. 151; Т 1. С. 248, 347.

Там же. Т. 1.С. 152.

Там же. С. 184-185.

Там же. Т. 4. С. 284. Ср.: Там же. Т. 4. С. 103-104; Т. 9. С. 190.

Там же. Т. 1. С. 100, 101.

См.: Киянская О. И. Генерал Щербатов и его мемуары // *Щербатов А. Г* Указ. соч.

ВД. Т. 1.С. 19,58.

Там же. С. 179.

Там же. С. 94.

Там же. Т 4. С. 284.

См.: Там же. Т. 1. С. 103-105.

Там же. Т. 12. С. 47.

Лавров Н. Ф. Указ, соч. С. 189.

ВД. Т. 14. С. 334; Т. КС. 19.

Там же. Т. 14. С. 334; Т. 1. С. 58.

Там же. С. 164.

Там же. Т. 20. С. 165.

Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. 2. С. 246.

См.: *Готовцева А. Г., Киянская О. И.* К истории несостоявшейся революции (С. П. Трубецкой и восстание Черниговского полка) // *Россия XXI*. 2007. № 6. С. 102-159.

ВД. Т. 1. С. 154.

Воспоминания Бестужевых. С. 41—42.

Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 313.

К истории восстания 14 декабря 1825 г.: Из дневника флигель-адъютанта Н. Д. Дурново // Записки Отдела рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина. Вып. 3. Декабристы. М., 1939. С. 5; Междуцарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. С. 145.

Цит. по: *Щеголев П. Е.* Николай I — тюремщик декабристов // Декабристы. М.; Л., 1926. С. 267.

См.: *Киянская О, И.* Пестель. С. 293-309.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 500—501.

ВД. Т. 1. С. 188,216.

Там же. С. 185; *Рылеев К. Ф.* Полное собрание сочинений. С. 517.

Письма Д. А. Кропотова к А. К. Рылеевой-Пушиной // Декабристы. М., 1938. С. 286.

С. П. Трубецкой: Материалы о жизни и революционной деятельности.
Т. 1. С. 276-277.

Воспоминания Бестужевых. С. 39.

Рылеев К. Ф. Сочинения. С. 81—82. Ср: *он же*. Полное собрание сочинений. С. 267—268.

См.: Оболенский *Е. П.* Указ. соч. М., 1981. С. 91-93. Ср.: Рылеев *К. Ф.* Сочинения. С. 361.

Котляревский Н. А. Рылеев. С. 176; *Маслов В. И.* Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 103.

Цейтлин А. Г. Творчество Рылеева. С. 231, 232.

См.: *Маслов В. И*, Литературная деятельность К. Ф. Рылеева. С. 345.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 504.

О подражании Христу. Четыре книги Фомы Кемпийского / Пер. М. М. Сперанского. СПб., 1821. С. 30.

Там же. С. 20-24, 148.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 429.

О подражании Христу. С. 111.

ВД. Т. 17. С. 203.

Там же. С. 153-154.

Там же. С. 246.

Рылеев К. Ф. Полное собрание сочинений. С. 518.

Цит по: Декабристы: Биографический справочник. С. 162.

Вяземский П. А. Старая записная книжка // Вяземский П. А. Полное собрание сочинений. Т. 9. СПб., 1884. С. 81—82; Письмо П. А. Вяземского В. Ф. Вяземской от 20 июля 1826 г. // Остафьевский архив князей Вяземских. Т. 5. Вып. 2. СПб., 1913. С. 54-55.

См.: ВД. Т. 17. С. 280.

Там же. С. 253.

Муравьев А. М. Записки и письма. Иркутск, 1999. С. 101.

См.: Граф Александр Николаевич Зубов 1-й; Граф Платон Николаевич Зубов 2-й // Сборник биографий кавалергардов. Т. 3. С. 267, 305.

Оболенский Е. П. Указ. соч. С. 95; *Розен А. Е.* Указ. соч. С. 173; Из рассказа полицейского // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 263.

845

См.: РГВИА. Ф. 395. Оп. 81. 1825 г. 2 отд. Д. 245. Л. 5 об.

Декабристы: Материалы для характеристики. М., 1907. С. 11.

847

См.: РГВИА. Д. 395. Оп. 81. 1825 г. 2 отд. Д. 245. Л. 6.

См.: Там же. Ф. 2581 (Павловский полк). Оп. 2. Д. 11. Л. 180.

Письмо П. И. Пестеля П. Д. Киселеву. 14 февраля 1820 г. // РО ИРЛИ.
Ф. 143. Д. 21 (29.6.100). Л. 8-8 об.

850

РГВИА. Ф. 395. Оп. 81. 1826 г. 2 отд. Д. 245. Л. 2-4.

Междоусобице 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи. С. 196.

852

РГВИА. Ф. 395. Оп. 81. 1826 г. 2 отд. Д. 245. Л. 1-1 об., 9.

Со слов присутствовавшего по службе при казни // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. КС. 257.

См.: Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова // Там же. С. 255.

Рассказ Б. Я. Княжнина в записи И. К. И, Руликовского // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х гг. Т. 2. М., 1933. С. 421.

Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова. С. 255—256.

Из дневника С. Ф. Уварова // *Лунин М. С. Письма из Сибири.* Дополнения. М., 1988. С. 295.

Лорер Н. И, Указ. соч. С. 111.

Рассказ В. И. Беркопфа в записи Н. А. Рамазанова. С, 256.

Воспоминания Бестужевых. С. 337—338.

Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. С. 83.

Со слов присутствовавшего по службе при казни. С. 259.

863

Там же.

Рассказ самовидца о казни, совершённой в Петербурге 1826 года 13 июля // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 271.

865

РГВИА. Ф. 395. Оп. 81. 1826 г. 2 отд. Д. 245. Л. 11.